1 р. 80 к.

Индекс 73276



«Нева», 1991, № 5, 1—208

НЕВА 5/1991

ISSN 0130—741X

5/1991

А. ЗЛОБИН
Мешок законов
Записки бывшего филолога

В. ДРУЖИНИН
Именем Ея Величества
Роман

Нева

Дневники Буниных

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

А. ГОРЛОВ
Случай на даче

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Г. ТУЛЬЧИНСКИЙ
Безответственная терпимость



«Стрелка Васильевского острова»
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

5/1991

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА



Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

Старший технический редактор Г. И. Огородник
Корректоры А. Ю. Семина. О. Б. Смирнова

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакции не возвращает.

Глеб ГОРБОВСКИЙ

Домой

Кое-как, не по прямой,
вперевалку, утицей —
я иду к себе домой
по Офицерской улице.

Где тот дом святых обид,
благодати всяческой?
Он на улице стоит —
на Малой Подъяческой.

Там живет моя родня
и собачка с котиком.
Дома не было меня,
ох, сорок девять годиков.

Сколько я чего постиг,
сколько вчуже прожито,—
а ведь выбежал на миг,
как будто за мороженым.

Открутись назад, кино!
Где вы, годы ранние?!
Вон летит мое окно
с пунцовыми геранями.

Я на кнопочку нажму,
дверь обвиснет парусом...
Если спросят: «Вы к кому?»
Скажу: «Ошибся адресом».

Отменные времена

Уж не спешит страна
по чугуну и стали...
Какие времена
отменные настали.
Культ яростных знамен
и караульных вышек
отныне отменен,—
должно быть, кем-то свыше.
Была у нас не сталь
бесценной и отменной,—
была у нас печаль
безмерной, вдохновенной!
Как будто страшный сон,
клубилась ложь над правдой...
Отменный отменен
порядок аппаратный.
Напомним про запас
сухим, надменным лицам,
что на крови — не Спас,
а русская землица.
Отменная судьба
в псевдокремлевском стиле...
А все-таки в раба
народ не превратили.
Душа его чиста,
хоть был пророком Мрак сам...
А все-таки Христа
не заменили Марксом.

В предчувствии улыбки

На Николаевском мосту
стою, предчувствуя улыбку...
Я больше в небо не расту,
хоть дождь кропит меня, как липку.

Я в этой жизни фронтовой
был не однажды ранен в сердце,
но вот стою — вполне живой —
с Невой державной по соседству.

Там, за рекой, мои друзья,
кто — сам в себе, а кто — в дурмане...
И холодком небытия
из-под моста за ворот тянет.

На Николаевском мосту
стою под тучкой проливною.
Я жизнь предчувствую — не ту,
что отшумела за спиною.

Не ту, в которой сплю и ем,
а — в звездах и протуберанцах!
Ту жизнь, в которой нет проблем,
как говорят американцы.

♦♦♦

Царю Небесный,
источник веры,
Тобою в бездны
земные ввергнут.

Во дни житейски
и в сны больные...
Прости, что действа
люблю земные:

слова и мысли,
траву и воздух,
сиянье истин
хмельных и постных.

О, если б только
я жил всечасно
отдачей Долга —
душа б погасла!

Пусть ангел свыше
трубит о Благе,
а сердце дышит
дымком отваги,

эпохой лютой,
промозглой новью!
Пусть люди любит
Твоей любовью.

...Царю Небесный,
Благая сила,
прости, что песню
пою уныло.

Еще не поздно,
еще мгновенье —
и хлынут слезы
отдохновенья.

Совершенно секретно

Лирический детектив

Перед тем, как сжечь бумаги
в несгораемом шкафу,—
произвел глоток из фляги,
лег с ногами на софу.

Из штанов извлек бумажник:
деньги, паспорт, партбилет.
Бросил в печку. И отважно
взял за жабры пистолет.

Улыбнулся. Горько, хмуро.
«Что ж,— сказал,— в душе бардак...»
...Это все литература!
В жизни было все не так.

Дача. Миска винегрета.
Старость, ночь. Паучья нить.
Надоело жить секретно.
За́ нос партию водить.

Врать высокому начальству,
чушь приемля за Мечту...
Лучше и стишок печальный
в завершение прочту.

Я припас его к итогу:
«В этой жизни, господа,
я не верил даже Богу!
А уж Марксу — никогда.

Жил я скучно, безупречно.
Но имел подпольный пыл:
в этой жизни быстротечной
о-о-ч-чень водочку любил!»

Участники

Участники сражений
спортивных и... войны,
участники свершений
подъема целины,
участники экскурсий
астральных — к небесам...
А я — участник грусти
по голубым глазам.

Участники блокады,
стахановских трудов,
участники захвата
полей и городов,
участники процессий
у бездны на краю...
А я — участник песни,
которую пою.

Участники собраний,
репрессий и побед,
участники дерзаний,
в которых проку нет,
участники разлуки,
погромов и засад...
А я — участник вьюги,
накрывшей Летний сад.

Участники реформы,
творцы идей благих,
участники платформы
розлива «на троих»,
участники туризма
из детства — в царство зла...
А я — участник жизни,
которая прошла.

Стихи о стихах

Запретная тема,—
в стихах говорить о стихе.
Родимая, где мы?
В словесной увязли трухе.

Все зыбко и мглисто,
и наши редеют полки.
Теснит модернисты
прозрачную ясность строки.

Чем фраза игривей,
чем гуще звучащая муть,
тем меньше в порыве—
дыханья! Тем призрачней суть.

Не лица, а ряшки,
вот с рожками некто возник...
А в нашей упряжке,
похоже, сдает коренник.

Хрипит пристяжные...
Где, где верстовые столбы?
Лишь волки степные
глядит из метельной судьбы.

Все глухо и немо.
В смятении стих-чародей...
Родимая, где мы?
И нет ли из дома вестей?

◆◆◆

Мерзость запустения

Библейской фразы полыханье
в мозгу — томительней огня.
Ее горячее дыханье,
как бред, преследует меня.

Надежды гаснут, звезды меркнут,
с лица земли бежит Арал...
И впрямь Россией правит мерзость!
Узнать бы, кто ее наслал?

Большевики, исчадье ада?
Масоны, слуги сатаны?
А может, сами виноваты:
гульнули всласть, и... нет страны?

И не спасут ни возлиянья,
ни Красной площади парад...
И только слезы покаянья
еще о чем-то говорят.

◆◆◆

В окружении алчущей свиты
комаров и других летунов
сквозь смиренные сельские виды
я иду к постиженью основ.

Это здесь, на пеньке, на полине
я постиг кардинальный вопрос,
что российское слово крестьянин
происходит от слова Христос.

Это здесь появилась потреба
рифмовать, мудрецов не боись,
Хлеб (канадский) с архангельским Небом,
тела с духом исследуя связь.

...В излучении звездных дождинок,
что мерцают на лунной тропе,
я иду, просветленно, как инок,
от себя, Вседержитель,— к Тебе!

По спирали иду, по спирали,
в покаянную высь — от себя!
...Как естественно мы умирали,
как таинственно жили, любя.

Скорбь вселенская

Случилось бедствие: разгневалась Земля,
кроша дворцы и хижины — в руины!
Всем мертвым — воскрешение суля,
а всем живым — увечья и седины.

Из-под плиты бетонной кисть руки
торчит наружу — ногти в красном лаке...
И мир скорбит. И грудь полна тоски
у каждого, кто внял земной атаке.

А где-то — в дебрях, на тропе лесной,
забытый всеми, кроме Бога-Духа,
старик-охотник вытаял весной
из-под сугроба (первым всплыло ухо!)...

Ему, должно быть, не хватило сил,
насущной пищи и еще чего-то,—
пожалуй, времени... И вот он смерть вкусил
на лютом холоде, подальше от народа.

И мир скорбит, но... только не о нем,—
о павших в бедствии нелепо,
Но старца и толпу согрев одним огнем,
скорбит негаснущее Небо.

По шпалам

По шпалам, по шпалам,
как курва с котелком...
Из народной песни

По шпалам... Колея
расшита трын-травой.
В далекие края,
е поющей головой!

С размашистой рукой
по шпалам — вдоль страны,
с надеждой — не е клюкой —
на явь, что смоет сны!

За Волгу, за Урал,
сквозь мрачную Сибирь,
где лагерный Централ,
где дьявол — поводырь.

По шпалам босиком —
за остров Сахалин,
в Америку пешком,
где зло — всего лишь сплин,

сердечная тоска,
зато свобода — бог!
...Идти туда — века.
И вряд ли хватит ног.

Пусть без штанов-кальсон,—
по шпалам!.. как-нибудь!..
Неужто этот сон
и есть — России Путь?

◆◆◆

Я мог бы стать светлей,
чем в озере вода,
когда бы яд с полей
не попадал туда.

Я мог бы стать нежней
рыдающих берез
в лесоповале дней,—
да не хватает слез.

Умерив в сердце злость,
я мог познать Христа,
прозрев себя насквозь,
да... совесть не чиста:

не разглядеть сквозь муть —
что там лежит на дне:
алмаз иль что-нибудь,
сгоревшее во мне?—

Кровь, ставшая водой
на жертвеннике зла,
или — любви святой
холодная зола?

Заточники

В нашем темном государстве,
там, где глушь, где нет тропы,—
жили солнечные старцы,
хоронились от толпы.

Укрощали дух и тело,
затихали до поры...
А случись святое дело —
и брались за топоры!

За Христа — не за Емельку,
от любви, что сердце жгла,
за родимую земельку
вылезали из дупла!

...А когда долина тихла,
сеча делалась пуста,—
затворялись молча, дико
в захолустные места.

Там ждала их Божья Милость.
Пóтом кровь смывала с лиц.
И на плечи им садилась
Благодать — в обличье птиц.

◆◆◆

О, революция, ты дочь
Парижа! Но у нас в России
Твои карающая ночь
была длинней! Была красивей!

Пусть, пусть у нас тупей ножи,
гнилей пенька для вражьей шеи,—
зато уж слаще нашей лжи
нет в мире — слаще и прочнее!

Полураспад ее ядра
столь затяжного, злого свойства,
что проникает до нутра
и вызывает беспокойство

на континентах и морях!
В умах кровавых лихорадка
не оттого, что сладок страх,
а потому что... резать сладко!

Наш дом горит... И ночь, как век,
длинна! Огонь течет из óкон.
«Создатель Бога — человек!»
«Че-ка — Всевидящее Око!»

О, революция, ты — смерч,
опустошительный и душный.
Кровь на знаменах — это смерть
на площадях... Но прежде — в душах.

Людское сердце — вот скала,
вот, где тюрьма, вертеп насилий!—
чье очищение от зла
дороже взятия Бастилий!

Анатолий
ЗЛОБИН

МЕШОК ЗАКОНОВ

Записки бывшего филолога

Я целый день творю законы
Для блага подданных — и очень устаю.
А. Апухтин. «Записки сумасшедшего»

— И тогда послал всех, кто там был —
к Бениной маме.
Закон Ликурга

1. РАЗМИНКА

Если существует Мешок законов, то, следовательно, должен существовать Закон мешка. Последний гласит:

Закон в мешок не спрячешь. Он все равно наружу вылезет. (1)

Не следовало с утра заниматься внеслужебными законами. Я тут же влип в пробку на Ракетном бульваре, и Оборонном проезде и того хуже: ко мне приклеился хвост с двумя видеосистемами, пришлось петлять по кольцу Внутренней свободы, едва ушел от них на Второй Бронетанковой.

9.02 минуты. Наконец-то перевел дух в своем кабинете на пятом этаже. Разминка органов зрения уже началась. Настольный терминал со старческим урчанием разогревался для утренних свершений.

— Начинаем нашу разминку. Найдите три ошибки в изображении. Сотрудники, первыми давшие правильный ответ, получат в буфете банку с китайскими сосисками. Следите внимательно за изображением.

Стремительные кадры погони. Две машины гонятся за вишневым «фиатом», свернули на кольцо Внутренней свободы, вот и дом Согласия на Второй Бронетанковой.

У меня отлегло от сердца. Они же за мной гонятся. Значит, подозреняя в адрес моей персоны носят чисто учебный характер. Кто-то заработает на мне лишнюю порцию сосисок. Первая ошибка в изображении: преследуемому удалось уйти от преследователей.

— Переходим к разминке ушных раковин. Внимание! Увага! Алярм! Тревога! Как только что стало известно из хорошо дезинформированных источников, в стране готовится государственный переворот, назначенный на 15 часов 10 минут, дата, к сожалению, не установлена. Генеральный председатель обращается к населению: все желающие принять участие в государственном перевороте должны зарегистрироваться в районных комиссариатах по месту жительства. Признания принимаются ежедневно до 14 часов 59 минут. Лица, явившиеся для регистрации первыми, получат денежное вознаграждение в размере четырнадцатой зарплаты.

Закон высшей демократии гласит:

В данной Галактике высшей демократией является такая демократия, которая ниспослана нам свыше. (2)

А вот и мне знак. Терминал начал мигать багровым оком. Я нажал кнопку ответа: вижу, внимаю!

Живой строкой побежали державные слова:

— Срочно! Секретность второй степени! В память не закладывать. Явиться к О. Л. в 9.19. Тема доклада — свободная!

К Олегу Леонардовичу — ого! — либо для милости, либо для казни. А тут еще с намеком, неизвестно, к кому обращенным.

Закон пророка гласит:

Чем мрачнее предсказание, тем скорее оно сбудется. (3)

В кабине лифта девять человек, из них пятеро — подсадные утки. Кто повелел мне опоздать?

Журнальный вариант.

9.18. Вхожу в приемную. Помощник смотрит на меня с удивлением, но тут же берет себя в руки и распахивает дверь в заветные чертоги.

Олег Леонардович сидел на троне с высокой спинкой, окантованной лавровым венком, отлитым из платины. На меня он даже не глянул — листал свод законов. Вокруг него дугой светились на столе терминалы, но я их не видел. Дальняя стена была прикрыта занавеской, оттуда выглядывала дубовая трибуна. Это была персональная трибуна Генерального председателя, только он мог произносить с этой трибуны свои исторические слова.

Мало сказать, что наш Олег Леонардович был бездарен. Он был уныл. Всякий правитель накладывает свой отпечаток на эпоху. Вот почему у нас такое унылое законодательство, от которого вянут не только уши, но и души,— от Олега Леонардовича. Взойдя на престол, Олег Леонардович громогласно обещал нам по всем видимым и невидимым видеоканалам экономические реформы и всеобщее процветание. Слова растаяли в воздухе, реформы ушли в песок.

Ну и что? Зато Олег Леонардович стабилен и чуток, именно такие характеры расцветают в эпоху безвременья. Зато Олег Леонардович представителен и величав — какой торс! разворот плеч! Особенно хорошо смотрится Олег Леонардович на экране телевизора, когда зачитывает заранее написанные тексты, совершая демократические жесты правой рукой.

А какой успех у наших светских дам. Попасть в его резиденцию считалось даром судьбы. Кандидатки записывались в очередь на три года вперед.

Поэтому смысл нашей жизни состоял в том, чтобы как можно искренней и громче славить Олега Леонардовича. Ибо Закон независимости гласит:

В данной державе независимым считается каждый ее гражданин, который не знает, от кого он зависит. (4)

9.19. Видимо, Большой Элик подал знак Олегу Леонардовичу. Тот глянул на меня отработанным пустым взглядом.

— Под вашим мудрым руководством я готов, Олег Леонардович,— бодро начал я.

— Ага! Явился за четырнадцатой зарплатой,— прорычал он тоном бенгальского тигра, всегда готового к прыжку.

— Под вашим мудрым,— лепетал я.— Никак нет, Олег Леонардович. В этом году уже получил за преамбулу семнадцатую зарплату. Премного благодарен.

— Мелко лижешь. Не перелизывай,— брезгливо рубил он скрипучим голосом.— Едешь на Лесную дачу. Смотри там у меня. По болоту с ружьем не шляйся.

— Какой срок? — спросил я.

— От двух часов до двух лет. Меньше никак не проходит. Утверждено Наивысшим советом.

— Цель, Олег Леонардович? Под вашим мудрым...

— Откроешь что-нибудь такое-этакое. В духе нашей демократии. Для души и в то же время для общенародного применения. А то свод законов прохудился, хе-хе! — крякнул он.

— Олег Леонардович, — продолжал я, смелея.— Под вашим гениальным водительством наш свод прохудиться не может. Он непромокаем.

— Но-но! А то на дыбу тебя.

Олег Леонардович любил пошутить о протечках в нашей демократии, эта штука была утверждена четыре года назад на Законбюро. Однако сегодня он был явно не в духе.

— Всегда готов, Олег Леонардович. Разрешите идти? — я повернулся и пошел к двери, гася в себе желание оглянуться.

Но он остановил меня сиплым окриком:

— Мешок-то не забудь.

И собственноручно кинул мне вслед брезентовый мешок с завязками из белого шнура.

Ну и ну!

В вертолете я самым тщательным образом осмотрел мешок — но он был пуст, разве что несколько хлебных крошек, уцелевших после пылесоса. Еще там была банка с китайскими сосисками.

Закон приговора гласит:

Необъявленный приговор обжалованию не подлежит. (5)

Мы взлетали прямо с крыши. Пилот загнал меня в салон с задраенными иллюминаторами. Мы взяли единственно верный курс в неизвестном направлении.

На Лесную дачу наземной дороги не было, только вертолетом. Многие перебывали на этой даче, еще больше людей о ней слышали, но никто не знал, где она находится.

Марианна Маринэ ждала меня на террасе. Она была в обольстительной кофточке, открывающей грудь.

— Все готово,— объявила она, глядя на меня служебным взглядом.— Я подобрала литературу, заказала видеокассеты. Ты понял, в чем дело?

— Они узнали про Мешок,— бухнул я.— Меня на дыбу.

— Не паникуй. Мешок тут ни при чем. Большой Элик дал плохой прогноз. Общественное мнение взбудоражено. Появились подписанты. Резко возросло производство анекдотов на душу населения. Все ждут переворота. Срочно нужны новые успокоительные слова. Например, Закон души. Или Закон гармонии...

— А Закон помощника им не требуется?

— Опять ты за свое? Про что это?

— Закон помощника гласит:

Если ты умнее своего начальника, то можешь стать его помощником. (6)

— Призываю тебя к осторожности. Будь осторожен. Они могут все.

— К черту осторожность. Я так ждал нашей встречи. Иди ко мне. Ты такая обольстительная. Скорей.

— Ян, не сердись, я назначена на пытку.

— Кто ты — орудие пытки? Или сама под пыткой?

— И то и другое,— отвечала она с тоской.— Я буду прилетать каждый нечетный вторник. Прощай.

Ее не стало, словно она прошла сквозь стену. На письменном столе смутно белел листок. Я взял его.

РАСПОРЯДОК
в экспортном исполнении

Подъем. Разминка	— через день
Первая Лесная прогулка	— ежечасно
Муки творчества	— вечно
Бутерброд с маслом	— после еды
Воскресная частушка	— ежегодно
Задача на выживание	— до подъема
Вторая Лесная прогулка	— по требованию
Методом от противного	— после отбоя
Третья Лесная прогулка	— нет и неизвестно
Государственный переворот	— Никогда!

Форма одежды — без оружия

Питание — по трехразовым талонам. Стакан свой

Телефонная связь — без права передачи

Помни. Анархия — мать распорядка. Распорядок — отец анархии.

Кавычки закрыть.

Вы чувствуете этот утонченный стиль?

Над лесом парил вертолет, навевая прохладу.

Коль загадки заложены в распорядок дня, разгадки придут сами собой, можете не сомневаться.

В верхнем углу стояла знакомая завитушка подписи: утверждаю, О. Л. И дата — 06.06.198... года.

Интересно, подумал я про себя — и как можно тише: они полагают, что в таких условиях можно творить законы для успокоения общественного мнения? Ясно — меня засекли и убрали.

Наверху скрипнула половица. Я невольно прислушался.

— Все прогнило. Все коррумпировано. Где мы найдем лидера? — спрашивал скрипучий бас.

— Надо его проверить по всем параметрам,— ответил другой голос, с трудом проникающий сквозь потолок.

— Я за него ручаюсь. Он наш,— сказал первый.

Закон доверия гласит:

Семь раз проверь, один раз доверь. (7)

— Это должен быть настоящий парень, готовый на все. А главное: чтобы он не был замаран старым режимом.

Я схватил половую щетку, три раза стукнул тычком по потолку. Голоса испуганно смолкли, послышались торопливые шаги, похожие на паническое бегство.

Но я-то точно знал — над моей комнатой не было второго этажа.

Тишина и покой. Книги на полках заклеены белыми полосками бумаги с надписью: «стерильно». Железная койка заправлена серым полосатым одеялом. Под письменным столом валяется брезентовый мешок. Почему-то он был завязан тугим морским узлом, который я с трудом развязал.

Интересно, каким образом наполняется Мешок законов? С участием хозяина или нет? А может, этот Мешок вообще ничей и, следовательно, всеобщий. Мои законы национализированы.

Серые плотные бумажки, похожие на билеты лотереи «спринт», лежали в мешке. Я вытащил бумажку наугад, разорвал по линии пунктира.

Закон лотереи гласит:

Без выигрыша. (8)

Ни в коем случае не следовало становиться профессионалом и делать из радости источник дохода. Я надорвал другую бумажку.

Закон радости гласит:

Радость — это все то, что дается нам бесплатно. (9)

Следствие из Закона радости гласит:

Мы платим за удовольствия. (10)

Третья бумажка угодливо сообщала о том, что у Закона радости уже появилось исключение. Оно гласит:

Горе тоже дается нам бесплатно, хотя в отличие от радости стоит денег. (11)

Недавно было подсчитано, что на нашей планете законодатель такая же редкая профессия, как космонавт. Но если космонавта вполне можно вырастить на тренажере, взяв за основу любого здорового мужика с правильной анкетой, то с законодателями дело обстоит сложнее. Любой профан, любой бандит, захвативший власть, считал себя способным для такой работы. Ну и натворили делов! За шесть тысячелетий письменности было издано сто миллиардов законов и законодательных актов. 90 процентов этой законодательной чепухи безвестно канули в Лету. Еще 9 процентов произведенных законов по меньшей мере бесполезны. Еще 99 сотых от оставшегося процента это законы-однодневки, умирающие вместе со своими законодателями. Лишь тысячная доля процента служит людям — сюда входят и законы физические.

Уроки прошлого никого не учат. Люди, присвоившие себе право издавать законы, по-прежнему ни черта не смыслят в этом деле. Рескрипты, капитулярии, хартии, уложения, своды, указы, декреталии, эдикты, каноны, нормативные акты, унии, кодексы — вот какие они умники, вон сколько наплодили. Зато правят от имени народа.

Всенародный закон гласит:

Каждая кухарка должна править государством. А если не умеет, мы ее научим. А если не научится, мы ее заставим. (12)

Наплодили столько, что государство вообще перестало быть правовым. Кухарок не хва́тило.

Так и крутится из века в век шутовская карусель.

Я не готовил себя к профессии законодателя. Родился после войны. Кончил школу, университет, оставлен при аспирантуре. В 28 лет защитился по курсу филологии: «Стилистические особенности законов Ликурга». В наше время Большой Элик написал бы подобную работу за полтора часа. После защиты поступил в институт, занимающийся подготовкой к изданию больших и малых энциклопедий. Мне досталась буква «З» — от «за» до «зяблика». Начал пописывать небольшие статейки на слово «закон» и его производные.

У меня был слог, но не более того. Я напечатался три раза в толстых журналах — и был даже замечен, в популярной газете меня по плечу похлопали.

Словом, жил-поживал молодой филолог, не ведающий о своем истинном призвании. Много путешествовал, легко влюблялся, не задумываясь о последствиях.

Пока однажды...

Это было в нашем академическом санатории с четырехразовым научным питанием. Я оказался за одним столом сразу с двумя академиками: древним филологом в ермолке и молодым, но уже ходящим в гениях физиком-теоретиком. Мы гуляли по дорожке, которая называлась трактом прогресса второй степени. Разговор перескакивал с предмета на предмет: внеземные цивилизации и семейные разлады, растущая дороговизна и термоядерная война, технологическая стагнация и авангардизм в живописи.

Примерно после пятого прохода по тракту прогресса Теоретик остановился, разведя руками в стороны:

— Позвольте, джентльмены. Мы, сами того не ведая, провели настоящий симпозиум по проблемам мировых горизонтов. В таких случаях полагается принять резолюцию. У кого имеются предложения? — он с ухмылкой посмотрел на Ермолку.

Конечно же, я был тут для мебели. Но мне хотелось блеснуть перед учеными мужами, тогда я еще не знал, что истинный законодатель обязан быть анонимным. Нарушив субординацию, я бросил небрежно:

— Ну если о мировых горизонтах, тогда примерно таким макаром. Закон мировых горизонтов гласит:

Степень устойчивости падает в квадрате времени. (13)

— Хм-м,— Теоретик постучал по земле суковатой палкой, с которой он не расставался даже в столовой.— Тут что-то есть!

И той же палкой начертал на песке мой первый закон в обозначении международных символов, в данном случае на том языке, на котором велся наш разговор и пишутся эти записки.

$$Су = \frac{1}{Т^2}$$

— Степень устойчивости падает в квадрате времени,— задумчиво повторил он.— Все правильно. Простенько и со вкусом. Пожалуй, все это надо помножить на зет, тогда уж комар носа не подточит.

— Что такое «зет», господин Теоретик? — почтительно спросил я, догадываясь об ответе.

— Это авторский коэффициент. Вы кажется, Забелини? — утвердительно переспросил он, путая мою фамилию.— Следовательно, ваш авторский коэффициент «зет». Ставьте его где только сможете — и всегда будете правы.

Древний филолог смущенно кашлянул, явно не желая отставать от времени.

— Простите, я ничего не понимаю в ваших языческих символах. Нельзя ли как-нибудь попроще — на общечеловеческом языке. Только тогда ваши законы будут иметь общечеловеческое значение. Как вы сказали? Ваша фамилия Зет? Должно быть, редкая фамилия?

Я учтиво поклонился Ермолке:

— Разрешите представиться: Ян Бенедиктович Зет, бывший филолог. Мы сидим с вами за одним столом.

Теоретик смотрел на меня с любопытством:

— Прошу не отвлекаться от мировых горизонтов.

— Гуманитарный вариант Закона мировых горизонтов,— продолжал я, не задумываясь.— Извольте, джентльмены. Он гласит:

После Гитлера, Сталина, Мао мир постарел на тысячу лет. Человечество одряхлело, не успев возмужать. (14)

— Смотри-ка. Сечет! — восхитился Теоретик.— Извольте, коллега. Сформулируйте мне Закон начала. Даю вам 30 секунд.

Меня несло. Ощущение было такое, что я стою на подиуме и тысячи глаз устремлены на меня. Все жаждут услышать мое слово.

— Закон начала гласит:

Всякое начало обязано иметь продолжение. Если продолжения не последовало, значит, начало было неправильным. (15)

— Шесть баллов. Теперь Закон опоздания.

— Закон опоздания гласит:

Лучше поздно, чем никому. (16)

— Троечка. Это однополый закон и потому имеет пошлый запашок анекдота. Учтите, молодой человек, ведущий принцип. Истинный закон должен обладать всеобщностью. Ну, теперь что-нибудь посерьезнее. Ну, скажем, Закон телевизора.

Я сделал стойку:

— Закон телевизора гласит:

Если у вас дома звук опережает изображение, значит, на передающей станции все в порядке. (17)

— Предположим. Теперь последний вопрос. Что самое трудное в законе?

— Дать ему правильное название,— рубил я с плеча.

— Забито. Беру вас на двести шестьдесят тугриков,— объявил Теоретик.— За каждый новый закон прибавляю по трешке. Это стимул.

— Что я должен делать за такое богатство?

— Главным образом плевать в потолок. Вы будете мистер Законотворец.

— Хе-хе,— прошамкал древний филолог.— Лично я мог бы предложить вам двести два тугрика, не более. Это свидетельствует о том, сколь низко упала в цене древняя филология. И мне теперь ясно — почему. Вы только подумайте: три тирана в одном веке. Такого еще не бывало на нашей многострадальной планете.

Так я в один день поменял не только профессию, но и имя. Отныне я — Ян Зет. Поначалу меня это несколько удивляло, но постепенно я привык.

Вскоре после перемены имени я обнаружил, что попал во все энциклопедии мира. Там обо мне сообщалось примерно следующее:

ЗЕТ — дата рождения не установлена. Последняя буква латинского алфавита, применяемая для обозначения неизвестной величины.

Словом, величина. Правда — пока неизвестная.

2. ПЕРВАЯ ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Больше всего меня смущал Закон души. Я знал: Марианна просто так ничего не скажет. Все, что говорила Марианна, имело второе значение, даже если она говорила это в минуту страсти.

И вообще — кому она служит? Кто давал заказ на Закон гармонии?

Времени для размышления не было. Раздался третий звонок, призывая меня. Я вышел из дома и направился в сторону Ближневосточной поляны. Слева от меня торчал полосатый шлагбаум, всегда пребывающий в одном и том же состоянии пятидесятипроцентной приподнятости. Шлагбаум ничего не преграждал и никуда не вел, ибо за ним вообще не было дороги. Тем не менее он являлся неотъемлемой принадлежностью Лесной дачи, о чем наглядно свидетельствовал часовой с автоматом и кумачовый лозунг, натянутый меж двух столбов:

РЕШЕНИЯ О. Л. ПРЕТВОРИМ!

Световое табло над теннисным кортом показывало время: 00 час. 01 мин. 35 сек. Отсчет времени первой Лесной прогулки начался.

Я пошел по тропе, сложенной из красных кирпичей. Тропа волнисто струилась среди сосен.

Здесь хорошо дышалось. Я шел по Малому законодательному кругу. Тут и там торчали на колышках стрелки, указывающие путь в грядущее мне и моим согражданам.

ВПЕРЕД К ПЕРЕДОВОМУ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОСЛЕДНЕЕ МАЯ!

Через кирпичную тропу перебежал заяц. Я проводил его глазами, но все кругом было мирно, больше того — безмятежно.

Второй заяц сильными прыжками кружился вокруг сосны. Потом они оба уселись по разным сторонам тропы, уставившись на меня — за которым из них я погонюсь?

Я пошел по тропе — на зайцев ноль внимания. Лесная прогулка будет не из легких.

Конечно, они пронюхали о готовящемся перевороте. Иначе какой резон убирать меня из города. Но ведь я десятая спица в колеснице, а убирают именно меня. Значит, меня просто подставили, чтобы замести следы.

Закон снайпера гласит:

Снайпер не тот, кто стреляет, а кто кричит: «Попал, попал». (18)

Я запутался среди трех сосен. В том, что я столь негаданно попал на Лесную дачу, не было ничего необычного. Раз в два года все ответственные сотрудники Органов Зрения проходили спецпроверку на трех Лесных прогулках — обычный ритуал, записанный в программе Большого Элика. Все зависело от степени сложности испытаний, так как никто не знал заранее, какому испытанию он будет подвергнут на этот раз. Мы как бы сдавали экзамен по предмету, название которого не сообщается заранее.

Я чувствовал себя сжатой пружиной, готовой вот-вот подвергнуться действию со стороны. На сжатие или на растяжение — не все ли равно для пружины?

Я оглянулся. Лесная дача еще проглядывалась между сосен. В сущности, очень милое место, этакая пятикомнатная одиночка со всеми удобствами: тремя надзирателями, работающими по скользящему графику, поваром и карначом, исполняющим по совместительству обязанности чуткого садовника, для которого люди дороже всего. Карнач Марлен Марленович ничего не делал, ибо был персональным пенсионером времен культа личности. С течением времени старая история стерлась из памяти — то ли он сам сидел, то ли сажал других, но теперь, в свете новых веяний, упраздненная должность автоматически возродилась, и Марлен Марленович был приписан к Лесной даче с сохранением прежнего оклада и звания. Лично я полагал, что он был контрадмиралом. Получив эту синекуру, Марлен Марленович с утра до вечера раскладывал пасьянсы, которых он звал 84 штуки. На каждый день недели у него был свой пасьянс — сегодня «могила Наполеона». Когда я проходил мимо его беседки, он сделал вид, что не заметил меня.

А в лесу-то вообще никакой охраны. Я дышал воздухом свободы, хотя и чувствовал в душе, что он отравлен.

Большой Элик может записывать на любом расстоянии. Но ведь я сейчас ни с кем не разговариваю. Не беда — при известном усилии Большой Элик в состоянии записать и ваши мысли, все дело в размерах локатора. Вот он поблескивает седой паутиной на Ближней поляне.

Закон мысли гласит:

Всякая мысль существует вне закона и потому должна быть подвергнута срочной обработке, согласно закону стрижки (см. ниже). (19)

Вот у Теоретика действительно была вольготная жизнь. Мне выделили небольшую комнату, по сути каморку, и вручили программу исследований, которая начиналась словом «все» и завершалась словом «ничего». Я приезжал на работу к девяти часам и тут же принимался за чтение фантастики. После обеда мы до одурения резались в пинг-понг, установленный в конференц-зале.

За полгода я не открыл ни одного закона. Однако ежеквартальные премии шли регулярно. Я попробовал отказаться, но шеф, он же Теоретик, щедро похлопал меня по плечу:

— Это бывает, Старик. Некоторые великие ученые за всю свою жизнь создали всего один закон. Иным досталось и того меньше: ползакона, например, закон Бойля и Мариотта, один на двоих.

— Сообразим на троих,— огрызнулся я.— Возьмем в компанию Гей-Люссака.

— Чем дальше, тем интересней,— шеф ослепительно улыбался.

— Наверное, это Закон женской ножки? — нахально предположил я.

— Или фигового листка,— парировал шеф.

Я жил тогда один, имел «фиат» вишневого цвета. Мне удалось накропать два фантастических рассказа. Отнес их в редакцию. Один рассказ был тут же отклонен, зато другой был тут же принят.

А я был уверен, что это цикл.

Неизвестно, как бы сложилась моя судьба дальше, если бы меня не помяли на бульваре Ночных Бомбардировщиков. Наверное, одним законодателем на свете было бы меньше.

Но заднее правое крыло расшиблено в лепешку. Вина чужого водителя, наехавшего на меня, зафиксирована в протоколе, а это уже обретает силу закона. Ремонт за его счет.

Я сделался пятачковым гражданином, путешествующим в отрыве от преодолеваемого пространства — в метро. И вот там-то, на глубине 60 метров на перегоне проспект Мирный атом — Большая Радиоактивная в душном, битком набитом плотью вагоне, меня осенило. Мне открылся Закон чувства собственного достоинства. Он гласил:

Чем больше собственности у данного индивидуума, тем выше его собственное достоинство, причем чувство собственного достоинства растет в квадрате собственности. (20)

$$ЧСД = С^2$$

Например, у Франца в два раза больше собственности, чем у Фрица. Это означает, что чувство собственного достоинства — ЧСД — у Франца развито в четыре раза сильнее, нежели у Фрица.

Это было по дороге туда. Вечером, по дороге обратно, на том же перегоне, возможно, в том же вагоне я открыл Закон государственного переворота, который гласил:

Во время государственного переворота и после него все перемещается, но ничего не меняется. (21)

Назавтра явилось исключение из Закона госпереворота. Оно гласило:

За исключением тех людей, которые перемещаются. (22)

Машину починили, но я уже пристрастился к общественному транспорту. Вишневый «фиат» стал для меня одиночкой на колесах.

Моя верность была вознаграждена. Как сейчас помню этот чудодейственный миг: мы свисали гроздьями с эскалатора, несущего нас в глубины подземелья. Справа от меня сосед. Слева — соседка. Сзади и спереди — мои сограждане.

На выбросе из эскалатора клокочет воронка. Я роняю портфель и невольно чертыхаюсь. Меня влекут, толкают, топчут, пока я пытаюсь вырвать свой же портфель из перенасыщенного раствора плоти. Именно в этот миг явился Закон проходимости, один из наиболее глубоких моих законов, над которым я работал впоследствии больше пяти лет.

Сложенная из кирпичей тропа вела меня вдоль мироздания. За каждым поворотом скрывалось новое явление, требующее расшифровки или письменного сообщения.

Мыслей не было. Я чувствовал, как голова постепенно наполняется пустотой, и это было радостью, ибо она ничего не стоила. Я же говорил: несуществующие мысли не записываются.

Легкое трепыханье прервало мою радость. Меж двух березок веял транспарант:

НАШИ ЗАКОНЫ СТАНУТ САМЫМИ СПРАВЕДЛИВЫМИ В МИРЕ

Чуть дальше стояла юрта. Тускло светился красный фонарь. Я подошел ближе. Это был ночной бар «Междусобойчик».

У двери вывешено объявление:

Вход свободный.

Плата: 20 валютных тугриков в час.

С поцелуем дороже.

Я нажал кнопку. Засветился глазок. Затем раскрылось окошко с рыжей головой.

— Чего изволите, мсье?

— Пожалуйста, еще две порции секса. Да погорячее.

— Пардон, мсье. Сегодня рыбный день.

— Спасибо. Загляну завтра.

— Второй пардон. Завтра у нас спецобслуживание.

Окошко захлопнулось. Фонарь потух.

Закон цели гласит:

Цель считается достигнутой в момент ее провозглашения. Таким образом достигается небывалая экономия средств, потребных для достижения цели. (23)

На сосне висела черная тарелка. Шесть точек на карте дня: сигнал точного времени.

— Внимание! Говорит Альтернативное радио. Передаем хорошие новости. Сегодня в 15 часов 10 минут в Большой стране произошел государственный переворот. Заговорщикам удалось ворваться на 33 этаж Большого дома, где они пытались захватить Главную трибуну, однако силы охраны и порядка оказались на высоте. Все заговорщики были разоружены и сдали свои транспаранты, микрофоны и тезисы, с помощью которых они готовились совершить переворот. Жертв и разрушений нет. Создана правительственная комиссия по расследованию данного инцидента. А теперь немного музыки.

Тарелка замолчала. Я пошел дальше.

Под березой нагло торчал гриб подберезовик. Я с удивлением уставился на него. От моего взгляда подберезовик начал разогреваться — и вдруг засветился.

Шел прямой репортаж с Ракетного бульвара. Над колоннами демонстрантов плыли портреты Олега Леонардовича. Многие из них были перечеркнуты жирными крестами. Олег Леонардович как бы оказался за решеткой.

Что бы это значило?

Я поддал подберезовик ногой и он разлетелся на сотни сверкающих брызг. Изображение неохотно рассеивалось, однако тюремная решетка еще некоторое время висела в воздухе, потом и она растаяла.

Закон покаяния гласит:

Покаяние возможно лишь в том случае, когда скорость забывания старых ошибок выше скорости нарастания новых грехов. (24)

С левой березки на розовой ленте свисала Книга жалоб и предложений. Я подошел и как можно разборчивее расписался на свободном листке:

— Благодарю за отличное обслуживание.

3. НИ ДНЯ БЕЗ ГОНОРАРА

Закон проходимости почти глобален и приложим к самым разным видам нашего прогрессивного искусства. Но мне как заядлому филологу ближе всего одно из его значений — применительно к литературе.

Кажется, что может быть проще Закона проходимости, который гласит:

Каждое произведение отечественной литературы обязано быть проходимым. (25)

В отличие от юридических законов литературные (равно как и физические) законы в состоянии иметь обратную силу. Все мы, не подозревая о том, ходим под Законом проходимости. Точно также законы всемирного тяготения или сохранения энергии всегда существовали и действовали, хотя было время такое, когда человечество не догадывалось об их существовании.

Плох или хорош закон всемирного тяготения, этот вопрос не ставится на обсуждение, хотя, с моей точки зрения, это наиболее отвратительный закон на свете. Если бы этого отвратительного закона не было, мы бы не ползали с таким трудом по земле, а парили бы в небе.

Увы, все мы подданные Закона всемирного тяготения, примерные законопослушники. Нам через него не перепрыгнуть. И мы безропотно терпим, более того, с помощью этого закона исчисляем силу, потребную для взлета.

Точно также можно и к Закону проходимости приклеить ярлык отвратительного закона, но не подчиниться ему нельзя.

Успехи нашей отечественной литературы не подлежат сомнению. Столь же очевидно, что открытие Закона проходимости приведет нашу литературу к новым великим свершениям, Закон проходимости становится величайшим стимулом.

Секрет проходимости в том, что произведение обязано быть проходимым. Одно неизвестное определяется через другое неизвестное.

Нонсенс. Закон оказался в тупике.

Значит, прежде всего следует определить, что же есть проходимость? С этой целью я принялся за разработку формулы проходимости. Попутно удалось открыть множество сопутствующих закономерностей. Чего не сделаешь во имя родной литературы.

На сегодняшний день формула проходимости имеет 58 компонентов: модулей, индексов, коэффициентов и прочее. Я говорю: на сегодняшний день, ибо формула проходимости не является чем-то застывшим и каноническим. Каждому ясно, что степень проходимости не есть величина постоянная и может меняться на каждый данный момент в зависимости от перемены внутренних или внешних условий.

Компонентов же, повторяю, 58, а в отдельные моменты и того больше. Как все это расставить, учесть, вычислить, дабы не промахнуться, не допустить самой малой осечки?

Формулу проходимости можно начинать с любого из компонентов.

ЧС — член творческого союза — имеет все основания для повышенной проходимости, ибо проникнуть в ряды ЧС не так-то просто — туда принимают с большим вкусом.

Что же делать, если ты не ЧС, а всего-навсего М — молодой? Будешь мыкаться на пороге, а то и вообще не допустят к литературному пирогу.

Значит так. ЧС — в числитель, М — в знаменатель.

Все по местам!

Д — должность автора произведения — также один из ведущих компонентов проходимости. Если ЧС занимает Д, то тем самым гарантируется не только его Л — лояльность, а также $ПР_1$ — преданность режиму. Эти компоненты занимают достойное место на верхней полке — в числителе. При этом Идейность и Преданность Режиму также возводятся в квадрат: $И^2$, $ПР_1^2$.

Д — писатель знает не только как писать, но и о чем писать. СХ же, свободный художник, не поддается контролю, он может сотворить нечто внеплановое и вообще непредсказуемое. Все же справедливости ради следует признать, что подавляющее большинство СХ также знают, о чем писать.

Т — талант. Здесь не может быть двух мнений: Т обратно пропорционален Степени проходимости (Спр.). Следовательно, из Т извлекается квадратный корень: $\sqrt{T}$.

$Т_1$ — тема, наоборот, способствует проходимости и потому возводится в более высокую степень — $Т^3$.

Кирпичик за кирпичиком — формула проходимости начинает постепенно складываться.

$$Спр. = \frac{(ЧС+Д)^2+И^2+ПР_1^2+Л+Р+Т^3}{СХ+ЧС+М+\sqrt{Т}} = \ldots \qquad (26)$$

Учитываться должно все, вплоть до КУ — коэффициент удачи. КУ способен на любые В — выкрутасы. Или возьмите хотя бы $К_1$ — коньяк. Разве он не оказывает влияния на степень проходимости? Еще в Древнем Риме с этой же целью устраивались обильные ЛО — литературные обеды.

Сами понимаете, мои Записки написаны на основе Закона проходимости — так хочется быть напечатанным в родной стране на родном языке. В то же время и от правды-матки старался не отступать, во всяком случае не более, чем на допустимое расстояние. Иначе придется иметь дело с синдромом непроходимости.

К Закону проходимости и его следствиям примыкает также Закон скорости развития нашей литературы, открытый мною на подступах к станции Мирный Атом.

Закон Скорости Развития Отечественной Литературы (СРОЛ) гласит:

Отечественная литература развивается со скоростью двух намеков в год. (27)

Недавно мне самому довелось убедиться в истинности собственного закона. Принес в толстый журнал статейку о нашествии татар. А мне и говорят:

— Ваша статья хороша, но она слишком острая. А лимит намеков на этот год нами уже исчерпан. Так что приходите через годик-другой.

Я уж и не рад был, что открыл и закон скорости и синдром непроходимости — против себя же шел. Рад бы закрыть их обратно, да что толку — они ведь все равно будут действовать.

По сути, Закон проходимости являет собой венок законов, определяющих все наше поведение от «А» до «Я». Второй закон литературы гласит:

Ни дня без гонорара. (28)

Вот видите, я могу открывать и сладкозвучные законы.

Но венок Законов не может закрыться на столь благодушной ноте, ибо существует Первый закон отечественной литературы. И он гласит:

Велика русская литература, а отступать дальше некуда. (29)

И вот теперь надо открывать закон души...

Я так увлекся воспоминаниями, что едва не наступил на змею, которая выползла из травы на тропу и уже театрально вскинула голову с раздвоившимся языком, чтобы броситься на меня.

Я отпрянул назад, хотя не был уверен в том, что гадюка является подлинной. Присмотрелся. Так и есть. Это был уж. Мирно опустив голову, он синусоидой пересек тропу и скрылся в прилегающих травах.

Кажется, я дошел до конечной точки маршрута. Кирпичная тропа совершала в этом месте овальный изгиб наподобие трамвайного круга и возвращалась на прежнюю стезю.

На обратном пути мне не попалось ничего примечательного. Табло на корте показывало, что первая Лесная прогулка продолжалась 2 часа 42 минуты 37 секунд.

Сидя в беседке, меня поджидал вечный кариач Марлен Марленович. Самой примечательной частью тела Марлена Марленовича была его ослепительно круглая лысина, давно вошедшая во все хрестоматии по современному фольклору, так как на этой

блистательной лысине с помощью буйно-рыжих веснушек был в точности повторен отпечаток африканского континента, причем удалось пропечатать даже главные озера и прожилки крупнейших рек, вроде Нила и Конго. Сходство было разительным. Разница между глобусом и лысиной состояла лишь в том, что у Марлена Марленовича Африка лежала кверху ногами, упираясь мысом Доброй Надежды в затылок, и если вы хотели полюбоваться Африкой на лысине Марлена Марленовича, лучше всего было бы подвесить его за ноги, что мы и проделывали, разумеется, мысленно.

Когда я видел лысину Марлена Марленовича, мне невольно вспоминался Закон Африки, который гласит:

И Африка нам не нужна. (30)

Увидев меня, Марлен Марленович склонил голову, показывая опрокинутую Африку.

— С благополучным прибытием,— поздравил он, помахивая бубновым тузом из пасьянсной колоды.— Надолго к нам?

— Скорей всего до второй субботы,— ответил я наобум, ведь Марлен Марленович лучше меня был оповещен о моем сроке: ему же довольствие на меня выписывать.

— Как-нибудь проживем,— сказал он важно.— Мяса хватит. Барана я припас...

— Хорошо, что не быка.

Марлен Марленович обладал повышенной видовой выживаемостью при всех режимах. Он был рьян и предан, довольствуясь взамен самым неприхотливым прожиточным минимумом. Для взаимодействия с внешним миром у Марлена Марленовича были отработаны три улыбки: льстивая, мстительная и физиологическая, настоенная на сале. От этой третьей улыбки Марлен Марленович враз становился добрым малым, так и хотелось лобызнуться.

— Словом, отдыхайте на здоровье,— Марлен Марленович не дождался встречного вопроса и теперь извивался сразу всеми тремя улыбками.— Мы вам поможем. Так сказать, создадим все условия. Вот мечта у меня,— Марлен Марленович с надрывом вздохнул.— С самого детства. Имею цель создать закон Марлена. Но пока не подступал. Вот если бы вы произвели содействие в прохождении, Ян Бенедиктович...

— О чем закон-то?

— Закон Марлена такой, что трактует сразу обо всех прочих законах. Вот он и гласит, скажем, так: «Не тот закон хорош, что справедлив, а тот хорош, что не гневлив».

— Прекрасно сказано, Марлен Марленович. Но это, к сожалению, еще не закон.

— Вот те на! — три улыбки заиграли на его лице еще ярче. Африка закачалась, желая принять правильное положение.— Что же это, если не секрет?

— Это суждение о законе, вернее, ваше личное мнение, изложенное к тому же в форме поговорки.

— Ишь, какие хитрости. Спасибо за ценное указание, Ян Бенедиктович, вы специально к закону приставлены, вот как я к вам. А все равно хочется. Я в долгу не останусь, Ян Бенедиктович. Ну если не закон, то хотя бы следствие из него. Следствие Марлена, а?

— Хорошо, Марлен Марленович, я подумаю над вашим предложением. Но в любом случае это будет государственный закон, бодрый и жизнеутверждающий. Я составлю проект, а вы подадите его в Наивысший Совет.

— Ах, Ян Бенедиктович, вы редкостный человек. За мной не застрянет, вот увидите. Готов немедленно вам вручить бумагу.

— Спасибо, у меня на столе лежит целая пачка.

— Так это не та бумага. Там какая бумага? Для мыслей. А у меня бумага другого смысла. Извольте получить.

Он ловко выдернул из-за пазухи рулон туалетной бумаги.

Закон правды гласит:

Правда — ничто! Правдоподобие — все! Поэтому чем неправдоподобнее, тем правдивее. (31)

4. МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Спал я первую ночь плохо. Гуттаперчевое ухо, видимо, разладилось и бормотало без передышки всякую чепуху, не разбери поймешь. Электронное око вспыхивало и гасло, как бакен на реке. Лишь под утро забылся искусственным сном, вызванным таблеткой, и был ни свет ни заря разбужен громоподобным кличем:

— На муки — выходи строиться!

Марлен Марленович лихо командовал: смирно, шагом марш, встать, ложись! Погнал меня в сарай за кортом. Оказалось, что там дровяной склад. Толстенные сосновые чурбаны уложены до самой крыши в несколько рядов.

— Вот,— важно объявил Марлен Марленович.

— Что — вот? — удивился я.— Составить для вас закон чурбана?

— Девять кубов. Согласно инструкции.

Марлен Марленович взгромоздился на самодельную трибуну, стоявшую слева от входа, голос его, усиленный микрофоном, загремел под сводами сарая.

— Нынче весь наш великий народ находится на самообслуживании. Он потому и есть народ, что сам себя обслуживает, у него слуг нету. Организованно едем в поле, убираем капусту, картошку копаем. Яблоки и томаты сами рвем. А если ты курочки захотел, сам ее вырасти. Вырастишь — и сдашь государству. Это закон Марлена...

— Но при чем здесь дрова? — продолжал удивляться я.

— Так зима у нас дли-и-инная,— гремел Марлен Марленович со столба на улице.— В этом году снова засуха, значит, зреют холода. Так что давайте рубить, Ян Бенедиктович. При выполнении нормы выдается премия — коржик к чаю. Все прогрессивное человечество одобряет данное решение, как единственно мудрое и справедливое.

— Марлен Марленович, я вам заплачу за колку дров.

— Статья восемьсот сорок восемь: попытка подкупа служебного лица в рабочее время на рабочем месте. Карается — от двух до пяти.

Он вышел из сарая, и тут же в дверном проеме повисло электронное око.

Закон системы гласит:

Данная система имеет неоспоримое преимущество перед всеми прочими системами данной Галактики, которое состоит в том, что все ошибки данной системы совершаются в прошедшем времени. (32)

Давненько я не колол дрова. Чурбаки были сырые. Колун с рыдающим всхлипом всасывался в древесную плоть и не желал возвращаться в исходное положение. Горка поленьев почти не росла.

Не видать мне коржика.

За спиной послышался шорох. Я оглянулся. Трибуна уползла в сторону, приподнялась крышка люка, а в люке возникла голова Додина, моего однокашника, спасителя и друга, он же старший референт Особой очистительной комиссии, наблюдавшей за знаками препинания, он же Додон Трефилович Берендей.

Я кинулся к нему, помогая выбраться из люка.

— Как ты попал сюда?

— Не спрашивай, Яник. Я тут сидел третьего дня и слышал все, что они говорили. Вот увидишь, они провалятся. Мы обязаны действовать.

Додик импульсивен, легко подвергается веяниям. Он ясен, как на ладони, и он все время ускользает. Додик зыбок, он соткан из слухов.

Ибо закон слуха гласит:

Слух, овладевший массами, становится материальной силой. (33)

Сбиваясь и ускользая, Додик рассказал, что Олег Леонардович третьего дня прилетал на Лесную дачу для тайного совета. Решено произвести государственный переворот, дабы поднять производительность труда среди населения и укрепить собственное положение Генерального председателя, по неизвестным причинам внезапно пошатнувшееся. Главный риск — чтобы имитация переворота не переросла в подлинный переворот.

Поэтому обещаны новые вакансии, в том числе и ему, Додону.

У меня отлегло от сердца. Если это всего-навсего очередной государственный переворот, драчка под ковром, то, значит, я не засвечен, а просто-напросто отодвинут на время в сторону, как маложелательный свидетель.

— Пусть устраивают свои перевороты, а я дрова колоть. Мне коржик светит.

— Неужто ты не понимаешь,— кипятился Додик.— Мы обязаны вмешаться, тогда переворот пойдет по нашему сценарию. Я — Генеральный. Ты мой первый заместитель. Правая рука. А хочешь наоборот. Ты будешь Генеральным, я твоим замом.

— Мне власть не нужна.

— Но мы же будем делать добро. Мы же не для себя, исключительно для других...

— Ты знаешь Закон победы?

— Это какой?

— Тот самый. Он гласит:

Победителей, к сожалению, не судят. (34)

— Все равно. Я не сдамся,— твердил он.— Они думают, что загнали меня сюда, и я бессилен. Как бы не так! А это что? — Он вытащил из кармана пластину дистанционного управления.— Стоит мне нажать кнопку, и Большой Элик начнет работать по моей программе. Надеюсь, ты со мной?

— Разумеется. Но прежде надо доколоть дрова.

— Давай меняться,— тут же предложил Додик.— Я твои дрова, ты мои муки творчества.— Додик протянул мне затрепанную перфораторную ленту, полученную от Большого Элика. Омертвевшим машинным шрифтом там было напечатано: «К вопросу о рентабельности законодательства в странах реакции и странах прогресса. Жанр — проходимый. Цель — выведение очередного Закона гармонии. Срок — позавчера».

— Слушай, Додон, это же страшно интересно. Как раз круг моих идей. Но как же ты? Столько дров!

— Я Додик, а ты чудик,— был ответ.— Закон ясности гласит:

Если совершается что-то непонятное, значит, так и надо. (35)

Он ловко сдвинул в сторону одну из поленниц. Образовалась ниша, а в ней портативная гильотина времен короля Артура.

— А это? — я кивнул в сторону дверного проема, где по-прежнему висело электронное око.

— Он незрячее, я проверял. У него бельмо.— Додик уже прилаживал к гильотине портативный электромоторчик.

Нож гильотины сам вздымался и под действием кнопки рушился вниз. Додик только поспевал подставлять чурбаки. Работа кипела.

Я тоже проявил смекалку. Завалил трибуну на бок. Получился вполне съедобный письменный стол. Пододвинул чурбан. Образовался кабинет.

Пожалуйста, не думайте, будто так просто творить законы. Условие одно — чтобы это был закон во имя народа.

Не сразу я постиг эту простую истину, когда начал работать у Теоретика. Меня обуревала страсть. Два раза в день, утром и вечером, я спускался под землю. И начиналось. Закон подземелья гласил:

Все там будем. (36)

В вагоне метро, стиснутый со всех сторон согражданами, я был слит с моим народом, дышал едиными с ним генами.

Закон плебея гласит:

Плебеем вправе считаться всякий гражданин, признающий существование патрициев. (37)

Вливаемся на эскалатор сквозь узкое горлышко входной воронки. Спускаемся в подземелье, не переставая чувствовать локоть соседа, спину соседа, плечо соседа. Голос устало бормочет:

— Стойте справа, проходите слева.

Закон нравственного здоровья гласит:

В однородной среде стук распространяется быстрее звука. (38)

Отремонтированный «фиат» ржавел под открытым небом. Я продолжал ввинчиваться в соотечественников. Мы молча шуршали и терлись друг о друга. Да здравствует самое тесное в мире метро!

Второй закон обожания гласит:

Ты жалуешься, следовательно, ты не прав. (39)

Я познал сладость законодательства. Сколько законов сотворили люди, а хочется еще и еще.

Закон соблазнителя гласит:

Соблазнителем считается всякий мужчина, достигший 21 года, который умеет оказаться в нужный момент в нужном месте. (40)

Закон прибыли гласит:

Нам нужна не всякая прибыль, а только такая прибыль, которая не нужна народу. (41)

Закон головы гласит:

Я в нее ем! (42)

Процесс познания сладок тем, что в нем нет никакой отвлекающей корысти, кроме самого познания. Иным кажется, будто законодатель рвется к власти и даже добивается ее, но это иллюзия, ибо законодатель есть первый раб в своем государстве.

В том и состояла моя отрада: я творил законы, не стремясь проникнуть на должность штатного законодателя с правом пользоваться закрытым буфетом. Я создавал свои законы на общественных началах — и был свободен.

Вы заметили: все мои законы исходили из основополагающего закона проходимости, то есть они были проходимы, более того — доступны. Я перестал делать тайну из своей страсти. Мой вес в институте рос. Мои законы пользовались успехом, их повторяли. Шеф обещал устроить творческий вечер моих законов, как только мне удастся открыть Закон капустника.

Секрет моего успеха состоял в том, что я открыл совершенно новую сферу законодательства. Все прежние законодатели, работавшие до меня, совершали две ошибки: они создавали законы, способствующие либо укреплению их власти, либо запугиванию своих подданных. Мои же законы были абсолютно безвредными. Им можно было подчиняться, можно было пренебречь ими, а если очень хочется — нарушить их. Все зависело от доброй воли законопослушника.

Мои законы н е и м е л и с р о к а — вот в чем была их соль и сила. А это означает, что время не влияло на них, они были вечны, как древние фолианты.

Именно тогда мне удалось открыть второй Закон мешка, который гласил:

Мешок не виноват в том, что он является вместилищем для законов. (43)

Находясь в мешке, тем более в завязанном наглухо, закон — приятен он или отвратителен — действует с той же степенью устойчивости, что и вне мешка. Поэтому все попытки завязать мешок законов являются бесплодными.

Тащи закон на свет Божий. Закон народного благосостояния гласит:

Тот, кто не берет у государства, обкрадывает свою семью. (44)

А чурбаки все сыпались.

5. БУТЕРБРОД С МАСЛОМ

Крушение случилось по моей же вине. Будучи младшим теоретиком, я в нарушение всякой субординации решил стать экспериментатором.

Всего на один день, но этого оказалось вполне достаточно.

Уже был назначен мой творческий вечер под названием «Закон и мешок не спрячешь», уже напечатаны пригласительные билеты (450 экземпляров), уже разнесся слух о каком-то сногсшибательном Негасимом законе, который будет гвоздем программы, и так далее.

Я усиленно готовился к вечеру — и вдруг вспомнил Закон всемирной подлости — как бы его обыграть?

Согласно этому закону, бутерброд всегда падает маслом вниз.

Дерзкая идея поразила меня: это же ничего не стоит проверить. Бутерброды лежали в пакете, до обеда еще далеко, я успею.

Так я принял роковое решение проверить механизм действия Закона всемирной подлости, известного каждому интеллигенту, хотя автор данного закона до сих пор остается анонимным.

Известно лишь, что Закон всемирной подлости открыт в XX веке на территории Европы.

Сейчас мы все узнаем!

Разворачиваю пакет с бутербродами, отодвигаю стол в угол, чтобы бутерброды могли падать на пол в наиболее оптимальных условиях.

Метод бросания по принципу закручивания монеты: орел или решка.

Первый бутерброд взвивается под потолок и шлепается маслом вниз.

Удача!

Второй бросок — масло лежит вверх.

6 : 4 в пользу масла — не густо.

Второй тайм — 5 : 5 — ничья.

В этот момент кончаются бутерброды. Бегу в буфет, хватаю пять булок, в приемной шефа выхватываю из холодильника две пачки масла.

Третий тайм — 7 : 3 в пользу хлеба. Четвертый тайм — 5 : 5 — снова ничья.

Значит, Закон всемирной подлости не действует? Закон ошибочен!

Я решил изменить методику и тут же приготовил 10 бутербродов, чтобы сбросить их со стола на пол одновременно с помощью подноса, роль которого исполняла папка с конспектами законов для моего творческого вечера.

Получилось 7 : 3 в пользу масла и 6 : 4 в пользу хлеба. Первая серия из ста бросков дала следующий результат — 53 : 47 в пользу масла. Перевес был незначительным, на закон он явно не тянул.

Неужто нас и тут обманывают? Подсовывают нам фальшивые законы, выдавая их за высшее достижение человеческого гения?

Тогда и сам я предаюсь обману, мало того, обманываю других. Тогда и законы фальшивы.

Если Закон всемирной подлости не действует, значит, в мире не остается ничего святого.

Я подбрасывал их к потолку, закручивал винтом, спиралью, заставлял их низвергаться скопом или планировать, кидал вверх битой, лаптой и аж носком башмака. Они шлепались со смаком или глухо, я уже научился определять результат по звуку шлепка. Падал долу и тут же переносил полученный результат в таблицу.

Я чувствовал себя великим экспериментатором и не заметил, как кто-то вошел в мою каморку.

— Что ты здесь делаешь?

Передо мной стоял шеф, заключенный в скобки из собственных рук, которые он дугообразно воткнул в карманы пиджака.

Я продолжал с восторгом:

— Великое открытие, шеф. Закон всемирной подлости не действует в самых оптимальных условиях.

— Какой счет?

— Докладываю. Восемь серий по сто бросков в каждой серии. Вот тут у меня все зафиксировано. Общий счет 403 : 397 в пользу масла.

— Так, так,— молвил шеф, жуя губами воздух.— Кстати, где масло? Я утром купил две пачки для симпозиума. И что это такое у тебя на полу? Откуда эти пятна? Рабочий день окончен. Ты свободен.

Так я впервые в жизни на собственной шкуре убедился, какой вред может быть от нарушения самого невинного закона. Оплеванный, с выходным пособием в кармане я возвращался в поезде метро, плотно сдавленный согражданами.

И тут меня осенило. Закон всемирной подлости справедлив и точен. Все сходилось. Грех не в законе. Грех в нас самих. Мы не умеем пользоваться теми законами, которые даны в наше распоряжение. Закон всемирной подлости действует всегда, при любых обстоятельствах места и времени. Вероятность его действия составляет 800 : 0 в пользу масла. Чтобы данный закон действовал всегда и везде, необходимо лишь одно уточнение. Тогда Закон всемирной подлости будет гласить:

Бутерброд всегда падает маслом вниз при условии, если масло намазано с двух сторон. (45)

Я неправильно мазал масло. Я нарушил закон — и понес заслуженное наказание.

Так я стал безработным, пополнив собою многомиллионную армию шалопаев, не желающих или не умеющих заниматься общественно-полезным трудом. С утра занимал очередь на бирже в перенасыщенном хвосте таких же бедолаг. Едва открывалось окошко, мы скопом бросались к нему, пробиваясь вперед локтями, коленями, носом.

Закон заколдованного круга гласит:

Заколдованный круг нельзя бросать утопающему — не спасет. (46)

На следующее утро повторялось то же самое. Я был крепче других, первым пробился к окошку. Увы, им не требовались ни филологи, ни младшие теоретики. Им требовались душители кур на птицефабрику. Сразу двенадцать душителей.

Я брел к машине и ехал домой. Теперь мне не обязательно было спускаться в подземелье, втискивать себя в вагон метро. Мне вполне хватало толпы на бирже, но законы в этой толпе рождались какими-то безрадостными, им явно недоставало утренней свежести — а главное, проходимости.

Отеческий закон гласит:

Отцом отечества признается всякий властелин, причинивший данному отечеству максимальное количество зла в течение максимального количества времени. (47)

Я проехал через площадь Золотых медалей и повернул на проспект Нитратов. На краю тротуара против указателя подземного перехода стоял молодой человек в яркой средневековой нейлоновой куртке с капюшоном, делая знак рукой.

Черт подери, подумал я, заработаю пятерку, на худой конец трешку. Я подрулил к тротуару и узнал Додика.

Первые пять километров мы предавались хоровому пению на модный мотив: нуину! Потом дуэтом декламировали поэму:

Какты акакты?

Наконец, у четырнадцатого светофора Додик спросил:

— Где ты теперь? Каких вершин достиг?

— Служу у Теоретика,— бодро отвечал я.— Но думаю переходить на творческую работу. Пока решил пополнить армию безработных. Осмотрюсь вокруг себя.

— У нас безработицы нет,— отеческим тоном заключил Додик.

— А как же бюро по найму?

— Это безработица скрытая. Следовательно, ее не существует.

— Но зато какая борьба за несуществование,— с облегчением усмехнулся я, ибо в этот момент понял, что презираю Додика.— А где ты?

— Закон банды знаешь? — спросил он.

Я вздрогнул, ведь за секунду до этого я подумал, что Додик из той самой банды.

— Разве у банды есть закон?

— Всего один, но зато какой! Закон банды гласит:

Бандиты приходят и уходят, а банда остается. (48)

— Что же ты делаешь в этой банде?

Додик был очень важен. Он буквально пыжился.

— Лично я веду наблюдение за Большой дорогой. Это мой сектор.

— Откуда же ты наблюдаешь?

— Известно. Из Большого дома. Откуда еще?

— Ясненько,— сказал я, умирая от показной любви к Додику.— Я согласен. В виде вступительной взятки готов подарить тебе Закон развития.

Кто развивается, тот не спотыкается — так? (49)

— Вот видишь, Додик, ты всегда был у нас способным.

— Да,— чванливо согласился он.— Ты был на нашем курсе самым способным, но все-таки я был способнее тебя. Теперь это подтвердилось. Кандидат?

— Возможно.

— Член?

— Как и ты.

— Не состоял?

— Там, где ты думаешь,— нет.

— Годится. На двести сорок пойдешь? Для начала.

Так я проник под своды Большого дома, получив должность младшего послушника в Комиссии преамбул. С утра до вечера мы испускали из себя либо сами законы, либо преамбулы к ним, а Додик из своего сектора вел наблюдение за непреклонным исполнением.

В законопослушном заведении, естественно, был строжайший порядок. Я был просвечен электронными оками всех калибров, прошел проверку сквозь Большого Элика.

После этого я предстал перед очами Олега Леонардовича. Он глянул на меня немигающим глазом и задал один вопрос — но какой!

— Кому призван служить: родине или мне?

— Посредством служения вам, Олег Леонардович, я служу своей любимой родине.

— Свободен!

С меня взяли строжайшую расписку, что я не буду ни разглашать составленных законов, ни придумывать новых без предварительного указания.

Я перестал ездить в метро, ибо теперь мне подавали машину прямо к подъезду. Я мчался по городу, распугивая сиреной зазевавшихся плебеев. Меня прикрепили к закрытому медицинскому управлению с правом пользования одноместной палатой. У меня был закрытый буфет, правда, пока на втором этаже, но ведь и выше имеются закрытые буфеты, все зависело от меня самого. Я творил теперь законы для народа.

Это были годы стремительного возвышения Олега Леонардовича. Он был не только бездарен, но и добродетелен. Редкостное сочетание этих двух качеств привело его к небывалому честолюбию, честолюбие реализовалось в бешеной активности. В Большой стране настала эпоха гармонии. Мы покончили со слюнтяйством, навели дисциплину. На работу — вовремя. С работы — добровольно — на час позже. А главное — неукоснительное исполнение законов. Мы зажили прекрасно. В магазинах появились иголки и велюровые шляпы, был издан мудрый закон об ассортименте колбас — не менее шести сортов, прозванный в народе Законом шести колбас, который гласит:

Что на витрине, то и в магазине. (50)

Очереди были развеяны с помощью добровольцев из народных дружин.

Олег Леонардович процветал. Не мешкая, отхватил столь высокую должность, что и все мы, его ближайшие сотрудники, почувствовали себя повышенными. И правда, вскоре на нашем пятом этаже появился новый закрытый буфет еще более закрытого типа.

Олег Леонардович встречал гостей державы, зачитывал основополагающие доклады, подписывал наиболее важные некрологи и указы о награждении.

Вот когда оживилась наша законодательная деятельность. Новые законы сыпались как из рога изобилия.

Чем выше поднимался Олег Леонардович, тем таинственнее он становился. Раздался в плечах. Утолщилась шея. Олег Леонардович — это наш столп, возвышенный и тяжелый. Его истинный вес хранился в глубочайшей тайне, но однажды, во время державного визита в одну арабскую страну, Олег Леонардович при мне ступил в аэропорту на багажные весы, я успел зафиксировать вес. Вместе с двумя чемоданами, которые уже стояли там, Олег Леонардович весил 192 килограмма. На обратном пути мне удалось взвесить чемоданы отдельно от Олега Леонардовича. Таким образом я установил истинный вес Олега Леонардовича с точностью плюс-минус пять килограммов.

Он весил восемь с половиной пудов.

И вес его возрастал с каждым годом.

Я целиком отдавал себя работе. С законами для души покончено раз и навсегда. Так думал я.

Как же я заблуждался.

6. ВОСКРЕСНАЯ ЧАСТУШКА

Гильотина работала со скрипом, по всей видимости, смазка кончилась. Как-никак гильотина не рассчитана на столь активный ритм. Одна-две головы в день — это максимум.

Зато гора дров выросла под крышу.

Под мерный перестук гильотины поскрипывало и мое перо, я подбирался к завершающему абзацу.

— Ты скоро? — спросил Додик.

— Еще три буковки. И концовку.

— Нужна им твоя концовка. Им подавай обоснование. Ты знаешь, с чего началось-то?

Додик выключил гильотину времен короля Артура. В сарае стало тихо. Лишь со стороны беседки, где восседал Марлен Марленович, слышалось заунывное треньканье балалайки.

Марлен Марленович увлекся, голос его возвысился, потек по поляне:

Удивили мы Европу,
Показали простоту:
Десять лет лизали жопу,
Оказалось, что не ту.

Я аж вздрогнул, ибо в тот же миг мне явилась мысль: это же высший закон, ибо он спирален.

— Ну? Где же твой закон гармонии? — гундосил Додик.

Черт подери, даже здесь я не имею возможности побыть в полном одиночестве. А мне так необходимо додумать мой высший закон... Но я уже видел, что все сходилось.

В Севилью я попал вместе с Олегом Леонардовичем как раз под Рождество. Мы были приглашены в королевский дворец. И там, в этих царских чертогах, я увидел женщину моей мечты, шахиню Сорейя. Мы оказались рядом за столом, я уделял все внимание прославленной красавице, будучи не в силах оторваться взглядом от ее бездонных глаз, обещавших так много, практически — все. Я был тогда холост (как и сейчас), принцесса же только что развелась с шахом. Чем черт не шутит, пылко думал я, ободренный явным вниманием шахини.

После ужина мы пошли танцевать в зал и, глядя на меня из глубин вселенной, шахиня спросила:

— Что, по-вашему, самое прекрасное в женщине, мистер Зет?

— Ваше величество, самое прекрасное в женщине — это глаза.

— А я думаю, что джопа,— сказала принцесса, уходя от меня навсегда и покачивая бедрами в таком ритме, который знала она одна. Я только тогда увидел, что ее джопа обещает еще больше, чем ее глаза. Но было уже поздно.

Принцесса растворилась. От нее не осталось ничего, кроме названия великого закона.

7. ЗАДАЧА НА ВЫЖИВАНИЕ

Додик вырвал у меня листки и стал читать. Глаза у него сделались выпуклыми.

— Что ты тут понаписал? Я же просил тебя вывести Закон гармонии, а тут какая-то джопа новый год. Я смотрю — тебе пора на свежий воздух.

— Ах, Додик,— сказал я мечтательно,— если бы ты видел, какая это была джопа.

Треньканье балалайки послышалось ближе. Мы засуетились, задвигая на место гильотину. Додик показал мне кулак и скрылся в люке. Я едва успел водрузить трибуну на место, как в дверях показался Марлен Марленович.

— От имени приемочной комиссии торжественно заявляю. Ослепу-то не заметил. Норматив для законодателей третьего ранга не девять кубов, а шесть. Исключительно сослепу, в чем признаюсь и каюсь. Я бумажку-то вверх ногами держал, вот и вышла из шестерки девятка. Сугубо персональная ошибка, не обессудьте, Ян Бенедиктович. Я слышал, вы все время стучали колуном, не переставая.— Он удивленно замер перед наколотой поленницей.— Вот это работа. Тут все десять кубов будут. Вам полагается дополнительная премия: полтора коржика к вечернему чаю.

— Я старался оправдать...

— Я бы и раньше пришел,— не унимался Марлен Марленович,— да с часовым беда. Шлагбаумом по голове пристукнуло. Десять лет пребывал в застывшем положении — и на тебе, не удержался. Не к добру это. Переворот в умах готовится. Часовой никак не очухается, пришлось вызывать неотложку. При нашей-то связи. Что это у вас в руках, Ян Бенедиктович? Дозволенное?

— Упарился я, Марлен Марленович. Что-то в животе забурчало. Вот я и собрался с вашего разрешения в заветное место, бумажку приготовил.

— На что вам рулон выдаден? Использование служебной бумаги не допускается...

Но я демонстративно смял листок с набросками в кулаке и прошел сквозь Марлена Марленовича в сторону сортира. Он и бровью не повел, провожая меня задумчивым взглядом.

Я принимал душ, когда сквозь шум воды до меня донесся клекот вертолета. Я поспешил в свою келью. Передо мной стояла Марианна.

— Хочешь чаю? — спросила она.— Мы прилетели за ушибленным часовым.

Я поплелся за ней на кухню. Она налила заварки из пайкового чая. Премиальные коржики лежали на столе.

— Плохие новости, Ян,— сказала она грудным голосом, который возникал у нее в минуты страсти.— У нас будет это самое, ты понимаешь?

— Когда?

— По всей видимости, послезавтра. Я не посвящена в детали.

— А этого куда? — я указал пальцем в потолок.

— Его уходят.

— Вверх? Вниз?

— По касательной. Олег Леонардович едет чрезвычайным посланником в арабскую страну. Он уже предлагал мне должность культурного атташе.

— Как? И ты согласилась?

— Разве дело во мне, Ян. Ты должен возглавить новые процессы. Я буду предлагать твою кандидатуру. Во всяком случае попробую заложить ее в Большого Элика.

— И тогда пойдешь за меня, не так ли, госпожа атташе?

— Не будь идиотом,— она посмотрела на меня таким взглядом, что у меня мурашки по спине забегали. Я уже стоял перед ней, обнимая ее и пытаясь прикрыть электронное око картинкой от календаря, которую можно было бы выдать за реальную действительность.

— Милый, не сердись, но сегодня нельзя. Я сама умираю.

Чай успел остыть, пришлось подогревать. Премиальный коржик разделили на двоих.

Марианну я тоже нашел под сводами, хотя познакомились мы не в Большом доме. Ранней осенью я поехал в закрытый пансионат. Там была березовая роща. И под березой стояла Марианна в открытом сарафане. Меня поразили ее беззащитные плечи. Однако я не успел приблизиться к ней, она исчезла.

Вечером я увидел ее в курзале. Она играла на рояле. Я подошел к роялю, облокотился на блеск и сказал:

— Вы неважно играете.

— Я уже кончаю.

— А как насчет погулять?

Мы снова пошли в березовую рощу. Выяснилось, что мы оба трудимся в одном и том же Большом доме. Но наш дом действительно большой, с множеством подъездов, крыш, переходов, подземелий, открытых и закрытых флигелей, раскиданных по всему городу. Вряд ли есть человек, который мог бы похвастаться тем, что он знает до конца Большой дом.

Марианна состояла в Большом доме при Большом Элике, а Элик занимал весь 33 этаж, прямо над Олегом Леонардовичем. На 33 этаж допускались самые избранные законодатели (я там не был ни разу).

Бывший филолог и минипрограммистка — компания была более чем современная. Я попытался тут же облапать Марианну и схлопотал по мордам. Остаток путевочного срока ушел на замаливание грехов. Я попытался сформулировать закон трех попыток, но он никак не давался.

До самого нового года шла жесточайшая осада крепости, единственным защитником которой была женщина с ослабленной линией плеч. И был день — и взошло солнце. Марианна сама пришла ко мне, сама сделала все как хотела. Так было в моей жизни впервые, я не брал, я отдавался. Дающему да воздастся!

Про Марианну никогда нельзя было знать, говорит она правду или нет. Только тело ее никогда не лгало, но это ничего не значило, когда мы были разделены, а это бывало в девяносто девяти случаях из ста.

Но однажды Марианна позвонила мне по внутреннему телефону. Я сразу понял, что она не шутит, и дело гораздо серьезней, чем можно было предположить. Мы встретились в закрытом буфете на пятом этаже.

Я заказал сосиски. Она только кофе.

— Он начал выдавать законы,— сообщила Марианна, когда мы пристроились за дальним столиком в углу.

— Как это было? Когда? — спросил я, тут же поняв, что речь идет о Большом Элике.

— Сегодня утром. Была задача на преамбулу. А он вместо этого выдал закон.

— Какой? Ты можешь сказать?

— Второй Закон порядка гласит:

Поезд дальше не пойдет. (51)

— Не ахти что. Но методом владеет.

— Слушай, Ян, это только начало. Спустя 30 секунд, и это уже серьезно, он создал Закон законов.

— Ишь ты. Замахнулся. Закон законов гласит?..

Закон есть кратчайшее расстояние между мной и моими подданными. (52)

— Он явно страдает манией величия. Что же ты сделала?

— Я стерла все это из его памяти.

— Умница. Для начала надо его переналадить на строго официальную программу.

— Тебе не кажется, что начинать надо с тебя?

— Ты каким-то образом заряжаешься от меня, а Большой Элик тем же неведомым образом — от тебя, так? Это очень сложно и туманно. Я же на твоем этаже не бываю, всего один раз.

— Этого оказалось достаточно. Он такой чуткий,— сказала она с нежностью.

Что мне надо? О чем я размечтался? Под сводами Большого дома я нашел сносную работу, встретил Марианну, еще год испытательного срока, и мы поженимся. Не пора ли остепениться, зажить жизнью современного накопителя?

И вдруг из меня посыпались законы, да еще какие, огнеупорные, почти глобальные. Пытаюсь засунуть их обратно в мешок, а они лезут и лезут.

Я давно уже не ездил в метро, не посещал подземелий. Откуда же сыпятся законы? Они таятся под сводами. Кап-кап — и пятнышко на полу. Свод-то прохудился, я уже говорил.

Нас на каждом собрании призывали к борьбе с протечками в демократии.

Не выдержав, я снова поддался тайной страсти. Закон военного времени гласит:

Люди на войне дороже всего. Поэтому за одного убитого двух неубитых дают. (53)

Закон обороны гласит:

Надо обороняться не только до последнего солдата, но и до последней копейки. (54)

Историю с Большим Эликом удалось приглушить. Марианна каким-то образом переналадила его, и Большой Элик перестал творить недозволенные законы, выдав напоследок Закон высшей математики, который гласит:

Данное уравнение в данной Галактике остается незыблемым при всех температурных режимах. Клянусь вам: дважды два всегда четыре, повторяю всем, всем, всем! 2×2=4! Отклонения допускаются только в положительную сторону. (55)

Но кто в состоянии переналадить меня? Или я должен пойти в Управление ушных раковин и покаяться перед ними? Меня вышвырнут на улицу — только и всего.

А ведь я такой способный. За два года перескочил на три ступеньки, зарабатываю четыре сотни.

На дворе, набирая обороты, зарокотал вертолет. Марианна поднялась из-за стола:

— Умоляю тебя: будь начеку. В ближайшие часы все решится. Я улетаю. Возьми эту штуку. Я смогу сказать тебе самое необходимое — и лишь один раз. Со второго раза меня засекут.

На ее ладони лежал крохотный наушник с вопросительным знаком дужки, закладываемой за ухо.

— На всякий пожарный случай,— она чмокнула меня в щеку.— Надеюсь, он не пригодится. Знай, я пойду с тобой до конца. Что бы ни случилось, верь мне,— твердо повторила она, с тоской глядя в мои глаза.

8. ВТОРАЯ ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Закон страха гласит:

Страх полезен и необходим, так как он является связующей силой, объединяющей граждан данной страны в единое монолитное общество. (56)

Выше страха может быть только вера, дальше начинаются небесные выси.

Утро было чистым, солнечным, аккуратно промытым. Ничто не предвещало послеобеденной грозы. Я взял с собой компас и по звуковому сигналу старта вышел на крыльцо.

Табло отсчитывало мои первые шаги. Легкий ветерок дул в спину.

Большой законодательный круг, по которому я направился, имел форму международного полумесяца. На нем были расставлены искусственные препятствия: овраги с отвесными спусками, лесные завалы, насыпные гроты, ручьи с шаткими мостиками, один канал и две волчьи воронки, которые постоянно перемещались, маскируясь под цвет местности.

Искусственные препятствия создавались так ловко, что никогда нельзя было определить, что за препятствие перед тобой на этот раз: искусственное или естественное?

Канал я перешел по шаткой дощечке. Скорее всего это был оросительный канал, потому что на том берегу виднелись посевы хлопчатника. Вода в канале журчала от удовольствия.

Закон стоимости гласит:

Это тот самый закон, который ничего не стоит. (57)

Кирпичная тропа вывела меня в березовую рощу. Из ближней березы торчал розовый сучок. Увидев, что я на него смотрю, сучок начал подманивать меня, сгибая и распрямляя фаланги суставов. Я подошел ближе и увидел, что это был указательный палец с холеным ногтем.

— Чего тебе надобно, старче? — спросил я, стараясь сохранить в голосе как можно более подобострастия.

Палец в ответ насупился, приняв суровое вертикальное положение и грозя уверенно-отработанными движениями, показавшимися мне знакомыми.

Кто-то уже грозил мне таким макаром.

После этого палец застыл, указывая наверх, но там было лишь бездонное небо, косо перерезанное белой пушистой ниткой следа от невидимого самолета.

Я попробовал дотянуться до пальца. Он же в ответ что было сил захватил мою конечную фалангу и начал выкручивать ладонь. Мы боролись молча и яростно. Я призвал на помощь левую руку, пытаясь разжать чужой указательный палец, но тот был тверд, как железо, и не разгибался. Окружающие березы бесстрастно наблюдали за нашей борьбой.

Роща искрилась от солнца.

Мне делалось все больнее, но я не желал просить пощады, а вместо того быстро наклонился и куснул палец. В то же мгновение я получил щелчок по носу. Палец величаво распрямился, я успел заметить на белой коже розовую вмятину от моего зуба и свежую набухавшую капельку крови. Береза всосала палец в себя, и тут же разрез затянулся свежим пластырем коры.

Я почесал вздувшуюся шишку на носу и двинулся дальше.

Сразу за рощей начиналось болото. Кирпичная тропа нырнула в его пучину, прикрытую красивым зеленым ковром-паласом. Рядом торчала слега, исполненная в форме восклицательного знака. Я взял слегу в руки и решительно ступил на зеленый ковер. Он пружинисто прогибался подо мной, болотная жижа, испуская булькающие пузыри, накатывалась на ступни, иной раз захватывая и по щиколотку.

Болотная жижа густела и поднималась уже выше щиколоток. Я оперся было на слегу, но она легко и беззвучно проколола ковер. Я с трудом тащил слегу обратно, но лишь погружался глубже. В этот момент мои ноги почувствовали твердую опору тропы, а в трех метрах левее тропа выныривала из-под зеленого ковра.

Я ступил на каменную твердь.

— Ходят тут всякие,— с укором сказала слега голосом Марлена Марленовича и со всеми удобствами разлеглась на траве у моих ног.

Закон рабства гласит:

Мы не рабы. Рабы не мы. Рабы всегда другие. (58)

Второй Закон рабства гласит:

Рабство есть осознанная необходимость. (59)

Я оставил слегу на тропе и двинулся дальше. Вильнув в сторону мимо старого окопа неполного профиля со скелетом ржавого пулемета, тропа потянулась вверх по склону. Начиналась гора. А в горе дыра. Тропа ныряет в дыру. Я следом. Вползаю в чрево, наполненное дурнопахнущей чернотой. Дыра не дыра. Тоннель не тоннель. Скорее всего это была двенадцатиперстная кишка данной горы, которая непроизвольно сокращалась, проталкивая меня вперед вдоль себя. Я то удлинялся, то укорачивался, пытаясь ухватиться за липкие стены.

Интересно, подумал я, в каком виде состязаний я участвую? Что это? Больше всего, пожалуй, похоже на прыжки в высоту без разбега со связанными ногами.

Когда и где зафиксирован последний рекорд?

Клац! Я вывалился из анального отверстия дыры в черное полупрозрачное пространство, свободное от слизи и вони. На меня глядели агатовоалчные, близко поставленные нечеловеческие глаза. Лязгнули челюсти. Я попробовал уклониться. Мимо прошелестела лапа, царапая когтями воздух. С потолка свисал голодный удав, пытаясь дотянуться до меня алчущей глоткой.

Медленно рассветало. День обещал быть сереньким, возможны кратковременные осадки.

Я полагаю, фильм ужасов лучше смотреть на экране, нежели самому попасть в разыгрываемую ситуацию. Однако я не смею отвлекаться от полученного задания. Извольте.

Закон ужаса гласит:

$У = С^2$.

Или:

Ужас это страх в квадрате. (60)

Извлекается корень квадратный из ужаса, и вы обретете страх. Действуйте дальше, извлекайте корень квадратный из страха — получите испуг. Дальше, дальше. Корень квадратный из испуга. Что получается? Возможно, это уже удивление.

Дышите глубже, не делайте резких движений. Ага, вы уже чувствуете? Вам лучше. Вы совсем спокойны.

Закон глупости гласит:

Собственная глупость распространяется со скоростью звука. Глупость, передаваемая по телевизору, распространяется со скоростью света. (61)

Видя, что ему до меня не дотянуться, удав схватил пробегающего мимо зайца, обвиваясь вокруг него и жестко стягивая обручи. Заяц не делал никаких попыток освободиться или помешать удаву.

Закон свободы гласит:

Энергия свободы расходуется по мере борьбы за нее. Чем острее разгорается борьба, тем скорее совершается убывание свободы. (62)

Следовательно...

Лохматые клыки лязгнули над ухом, даже на расстоянии я ощутил их неистребимую остроту. Вдруг ко мне прильнула шкурка, пушистая и теплая, как рука Марианны. Я прижался к ней щекой, хотелось расслабиться и всплакнуть.

За свободу нельзя бороться силой, ибо именно свобода, а не рабство есть горючее всякой освободительной борьбы, в процессе которой и совершается убыль свободы. Свобода, внедряемая насильно, есть террор, в лучшем случае — вторичное рабство.

Свобода сгорает в огне победных салютов, так как энергия свободы не может быть бесконечной, как не может быть бесконечной сама свобода.

Закон борьбы гласит:

Начинается с борьбы за чистоту идеи, а кончается борьбой за чистоган. (63)

Удав покончил с зайцем и снова с вожделением тянулся ко мне. Я увертывался, а кругом теснота, по-видимому, данная гора переживала хронический жилищный кризис. Удав ухватил хвостом мою руку и пошел, пошел к локтю, ловко и быстро закручиваясь кольцами. У него была холодная потная кожа.

Мы можем только смириться. Тогда мы начнем копить в беде энергию свободы.

«Зачем бороться за права человека?» — думал он в объятиях удава,— так подумал я о самом себе, тоскуя от жалости.— Чем меньше прав, тем лучше. Как только людям начинают давать права, тут же начинается смертельная борьба за их расширение. Создаются всяческие комитеты, движения, открываются печатные органы, в том числе и самые зловонные. Людские потоки выливаются на улицы, площади городов. Изготовление транспарантов переведено на фабричный конвейер.

А кончается слезоточивым газом, пулеметными очередями, саперными лопатами и танками.

Энергия свободы расходуется безрассудно, еще чаще нелепо. А в результате оказывается, что прав стало еще меньше, чем было вначале.

Шесть степеней свободы соответствуют шести степеням рабства, хотя и не соприкасаются между собой.

Закон протеста гласит:

Я — за! (64)

Удав уже не давил так сильно, а как бы оглаживал меня со всей нежностью, на какую только был способен. Кем лучше быть: удавом или его жертвой? Не знаю, не знаю, для этого надо провести сквозь Наивысший совет Закон удава. Я представлю его на ваше рассмотрение в ту же минуту, в тот же час, как только выйду живым отсюда.

Общечеловеческий закон гласит:

Общечеловеческим законом вправе считаться такой закон, который ни при каких условиях не сможет причинить вреда или материального ущерба ни одному человеку, живущему на данной планете. (65)

А он опять меня давит, на этот раз в ритме секундной стрелки. Удав ведет со мной свой безмолвный диалог, он более чем красноречив. Отсчет секунд начинается обычно за минуту до финала. Я должен спешить.

Я и удав — нас двое. Но так ли это? А если я и удав — мы являем собой единую систему? Ведь светлое будущее настанет лишь тогда, когда мы сольемся вместе,— не так ли?

С этой целью утверждается новый общественный комитет действия — ОСВ-1, Один Супротив Всех Один. Провозглашаю его Устав, действие которого начинается с сего числа.

УСТАВ КОМИТЕТА ОСВ-1

§ 1. Комитет ОСВ-1 учреждается с чисто экологической целью защиты окружающей среды от воздействия дождя и снега, а также с целью защиты себя самого, то есть моего внутреннего мира от воздействия внешней среды (ВВС).

§ 2. Членом Комитета действия ОСВ-1 может быть лишь один человек.

§ 3. Членство других членов в Комитете действия ОСВ-1 не допускается. Они могут состоять в числе наблюдателей, число которых не ограничивается.

§ 4. Создание всякого другого Комитета действия ОСВ-1 считается недействительным, так как *Комитет действия Один Супротив Всех Один создается в единственном числе по волеизъявлению его единственного учредителя. (66)*

Составлено в Черной дыре 10. 06. 198... года.

Все против меня. И я Один Супротив Всех Один, начиная с удава и кончая Олегом Леонардовичем, загнавшим меня в эту дыру. Зачем они меня испытывают? С какой тайной целью?

Второй Закон борьбы гласит:

Если хочешь успешно бороться за свободу, научись сначала размножаться в неволе. (67)

Кольца удава ослабли, слепая кишка сократилась, проталкивая меня дальше, и я вывалился на склон горы. Мрачная ель колыхалась надо мной, дурманя меня ядовитым запахом хвои.

Свободу я вымолвил. Но отдышаться мне не было дано.

— Где закон души? — спросил Олег Леонардович из глубины еловых лап.

С ветки свесился черный мочевой пузырь микрофона, заготовленный, видно, для ответа.

— Под вашим мудрым, Олег Леонардович,— затараторил я,— мы составим и решим все законы. Мы поставим их на службу вам и только вам.

— Много болтаешь,— огрызнулся он.

Пузырь микрофона поднимался, наматываясь на провод. Я скатился в старую воронку. Из-под земли торчали черепа с пустыми глазницами, остатки конечностей, почерневшие кости. Тут был могильник. За что погибли эти люди? За что они боролись?

Земля безмолвствовала.

Из воронки вытекал ход подземного сообщения с крутыми непредсказуемыми поворотами. В бруствер вмонтировано светящееся табло с меняющимися цифрами:

Отставание от графика — 3 минуты 44 секунды.

Я машинально полез в задний карман штанов, который всегда запирал на молнию. Запор был на месте.

А где моя записная книжка?

9. МЕТОДОМ ОТ ПРОТИВНОГО

Дома на Лесной даче я самым внимательным образом обшарил ящики письменного стола — записной книжки нигде не было. Полез в мешок. И там нет. Зато к внутренней стороне мешка прилипло гуттаперчевое ухо. Я с досадой проткнул его подвернувшейся иголкой. Барабанная перепонка болезненно пшикнула.

Унижение мое было в другом — я не смел показывать вида, что обнаружил пропажу. Похищение записной книжки могло входить в программу испытаний. Я лишь выдал бы себя торопливыми действиями.

Я не роптал, ибо существовал и третий Закон мешка, который гласил:

Если мешок законов действительно существует, кто-то должен взвалить его на свои плечи и тащить вперед. (68)

Над лесом показался вертолет. Я тотчас подумал о Марианне, но вертолет не думал снижаться и вскоре скрылся за березовой рощей. Марлен Марленович внимательно следил за вертолетом.

Жизнь продолжалась. Никто не снимал с меня обязанностей законодателя.

Закон о распределении недостатков по данной территории гласит:

Все недостатки распределяются по данной территории равномерно. (69)

Доказательство данного закона проводится методом от противного.

Предположим, что все недостатки распределяются по данной территории неравномерно. Что произойдет в таком случае? В одном месте данной территории недостатков скопится больше, в другом месте их станет меньше или они вовсе исчезнут.

Например, в городе Детройте число безработных вдруг резко снизилось до небывалой цифры в полтора процента, а в городе Чикаго, наоборот, безработица подскочила до 14,5 процента. Узнав о столь чудовищном нарушении Закона о распределении недостатков, чикагские безработные тут же садятся в свои автомобили и мчатся в Детройт, где безработных всего полтора процента и, следовательно, есть все шансы получить работу. Чикагские безработные регистрируются на биржах труда в Детройте. Глядь, уровень безработицы в Детройте тут же подскочил до восьми процентов, а в Чикаго до стольких же процентов снизился.

Тут и там стало по 8 процентов. Что и требовалось доказать.

Таким образом действие Закона о равномерном распределении недостатков совершается по принципу сообщающихся сосудов: имеющие недостатки как бы переливаются по данной территории из одного места в другое до полного выравнивания.

Другой пример. В городе Афины внезапно появилось в продаже мясо и шесть сортов колбас, тогда как в Солониках и Спарте жители уже давно не видели мяса. Узнав об афинском чуде, спартанцы и солоничи садятся в автобусы, местные поезда и катят в Афины. Там они с ночи выстраиваются в очереди перед афинскими магазинами, пишут номерки на ладонях. Колбаса и мясо в афинских магазинах начинает таять, а спартанцы все едут и едут.

Но вот колбаса исчезла и в Афинах. Данный недостаток выровнялся по всей территории. Никто уже не спешит из Салоник и Спарты в Афины и наоборот, так как колбасы не стало ни там, ни тут.

Существует и действует лишь одно исключение из Закона о распределении недостатков. Оно гласит:

Зато достатки могут распределяться по данной территории неравномерно. (70)

Это и доказывать не надо — младенцу ясно.

Мне предстояло определить, что же я нарушил: сам закон или исключение из него? Причина похищения записной книжки могла быть отнюдь не однозначной.

Я начал незаметно вести наблюдение за беседкой. Марлен Марленович раскладывал пасьянс. Включив домашний калькулятор, подаренный Марианной, я медленно сжимал пространство, обводя Марлена Марленовича по периметру.

Так я и думал. Записная книжка спрятана у него в правом сапоге рядом с флягой. Но как извлечь ее оттуда?

Собственно, я мог не волноваться, так как все законы были зашифрованы. Как же все-таки добраться до правого сапога? Какой закон предложить ему в качестве первоначальной компенсации?

Закон искажения гласит:

Все, что может искажаться, должно быть искажено. Если что-то не поддается искажению, это значит, что оно было искажено раньше. (71)

Закон торжества гласит:

Торжества и юбилеи должны следовать одно за другим нескончаемой чередой, дабы у подданных не оставалось ни минуты свободного времени для размышлений. (72)

Пускай он попробует провести сей закон через отдел прохождений и комиссию запятых, пускай побегает по этажам, собирая визы и справки, пускай он узнает, что это такое.

Или дать ему на откуп Закон принципа, который действовал во все эпохи на всех континентах и во всех странах света. Пускай он попробует протащить Закон принципа через Наивысший Совет.

Закон принципа гласит:

Принцип — это самое главное из того, что было, что есть и что может быть. А в принципе главное — его провозглашение. Если принцип провозглашен правильно, то претворение его является не обязательным. (73)

— Мало игры,— сказал голос за спиной.

Я оглянулся. Додон Берендей выползал из-под койки в углу.

— Проныра! Как ты сюда попал?

— Прокопал подземный ход. Поскольку ты не желаешь разговаривать со мной по трубе. Выбирай, Ян, что тебе выгоднее. ГП скоро произойдет. Ты меня понимаешь?

— Я выбрал, Додик. Конечно, мне выгоднее работать на тебя. В противном случае дело вообще остановится.

— Граждане законодатели, к вам обращаюсь я.— На пороге, сверкая лысиной, стоял Марлен Марленович.— Имею срочное сообщение. Два часа назад на вверенной территории обнаружена посторонняя записная книжка в синей обложке. Текст антипатриотический. Прошу уважаемых граждан законодателей делать заявление.— Он достал из правого сапога записную книжку и со злорадной улыбкой показал ее нам.

— Почему вы решили, Марлен Марленович, что данная записная книжка в синей обложке является антипатриотической? — спросил Додик.

Я молчал.

— Текст якобы телефонный,— с достоинством отвечал Марлен Марленович.— Набираю для проверки номер 289-10-17, спрашиваю гражданина Зоила. Ответ: по данному номеру никогда не проживал. Звоню по другому номеру, а это не распределитель, но вовсе крематорий. Налицо агентурные данные. Убежден.

— Где вы нашли ее, Марлен Марленович? — спросил я, дабы не молчать дураком.

— Прямо на болоте. Сектор «г», квадрат «ж-два». Лежала исключительно на кочке.— Марлен Марленович хлопнул себя по лбу.— Али подбросили?

— Вы правы, Марлен Марленович, ваша бдительность должна быть отмечена и вознаграждена, я подам докладную.— Додик подошел к карначу, задумчиво полистал записную книжку.— Это действительно шифр, но несколько иного свойства. Мне не хотелось бы в этом признаваться, но я рассчитываю на вашу порядочность. Марлен Марленович. Это интимный шифр — вы меня понимаете? Мы же с вами мужчины. Зоил это Зоя, а распределитель — Земфира. Я правильно говорю, Марлен Марленович?

— Голоса отвечали женские, верно,— Марлен Марленович пребывал в полной растерянности.— В таком случае прошу принять книжку в хозяйские руки.— Он взял книжку у Додика и протянул ее мне.

— Это не моя книжка,— твердо заявил я.

— Разве вы не знаете, Марлен Марленович, наш Ян однолюб,— напевал Додик.— Надеюсь, чистосердечное признание смягчит мою вину. Прошу вас. Это моя книжка.

Марлен Марленович со вздохом передал книжку Додику.

— Распишитесь в получении. Мне чужой блуд не нужен. Моя вмиг уследит.

Додик спрятал записную книжку в боковой карман куртки, а клапан кармашка застегнул на пуговицу. Над лесом снова застрекотал вертолет. Со стороны беседки раздался резкий зуммер телефонного аппарата. Марлен Марленович суетливо поспешил из комнаты.

Мы остались одни.

— Отдай записную книжку,— сказал я.

— Она же не твоя,— Додик усмехнулся.— Теперь ты у меня на крючке. Поговорим после ГП...— Додик полез под койку и был таков.

10. ТРЕТЬЯ ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Завалился на ровном месте. Недаром Марианна предупреждала: будь осторожен, умоляю тебя, будь осторожен, они могут все.

Потом про него скажут с горькой ухмылкой:

— Он был молод, дерзок, любил играть с опасностью, что и привело к естественному финалу. А жаль. Он был не без способностей. Но увы, не умел готовить государственные перевороты.

Бежать отсюда. Но куда? Бессмысленная затея. Не успеешь доползти до проволоки, как сто восьмое око подаст сигнал тревоги.

От беседки раздался костлявый голос Марлена Марленовича:

— На лесную прогулку строиться выходи,— командовал мой закадычный страж под балалаечный перебор.— Равнение направо. Грудь четвертого человека. Смирна-о! — Голос у него въедливый, срывающийся на фальцет, но грудь колесом, старая закалка дает о себе знать.— На первый-второй рассчитайсь!

— Первый! — гаркнул я.

Молчание было ответом.

— Значит так,— обобщил Марлен Марленович, переходя на нормальный голос.— Будешь вторым номером. Ясно почему или объяснять?

— Так точно, ясно. Я всегда был вторым номером.

— Ответ признается правильным, шесть очков. Ставлю задачу. Дойдешь по тропе до точки М. Дальше — по стрелкам. Если встретишь кого — не сопротивляйся.

И я пошел. Никогда не мог понять, почему они идут на смерть с такой покорностью. Сами встают под дула винтовок, сами ложатся на ложе гильотины, сами копают себе могилу да еще торопятся при этом — как бы не опоздать. Вот и я побрел покорно и безмолвно по кирпичной тропе.

Под старой перекошенной березой, где я боролся с указательным пальцем, поперек тропы стоял двухтумбовый канцелярский стол, взятый напрокат из административной комиссии. У правой тумбы прибита металлическая бирка с инвентарным номером — 624, значит, это с шестого этажа, а там у нас дисциплинарный отдел.

За столом сидели трое в белых халатах. Один юркий, второй застывший, как монумент, третий средней подвижности.

Юркий, торопясь, достал из правой тумбы синюю записную книжку, точно такую же, какая была у меня, с ужимками протянул ее застывшему, который, по-видимому, был в этой тройке старшим.

Застывший полистал книжку и надолго задумался. Я стоял перед ними навытяжку, так как стула для меня не было.

— Ян Бенедиктович,— не разжимая губ, сказал застывший.— Мы вас слушаем. На что жалуетесь?

— Исключительно на самого себя,— быстро отвечал я.— Во всем виноват я сам.

— Расскажите нам, как вы дошли до такой жизни? — обрадованно прокукарекал юркий.

— До такой жизни я дошел методом ежедневных тренировок по правилам внутреннего распорядка, утвержденным Наивысшим Советом под председательством пожизненного председателя, а также под личным и чутким и к тому же мудрым руководством Олега Леонардовича, благодаря чему наш отдел выполнил пятилетний план за три с половиной года, и мы регулярно получали четырнадцатую и пятнадцатую зарплаты, так как работали не покладая рук.

— Разве вы не знаете,— осторожно перебил мужчина средней подвижности, наставив на меня розовый указательный палец,— что Олег Леонардович уезжает от нас в дружескую арабскую страну чрезвычайным и полномочным посланником?

— Уверен, что Олег Леонардович предложил бы мне место в своем самолете.

— Видите ли, вопрос еще не решен окончательно. Возможно, что в данную арабскую страну вместо Олега Леонардовича будете направлены вы, Ян Бенедиктович, или кто-то другой. Вы созрели для данной роли. Кроме того, имеется еще одна небольшая деталь. В этой арабской стране есть посол, он еще живой. Надо прежде его трудоустроить — вы нас понимаете? Ведь наша демократия самая демократическая в мире. Снять

посла просто так в никуда мы не имеем права. Арабский мир нас может понять превратно. Мы ждем.

— Предлагаю создать для живого посла новый орган под названием, скажем: «Арабский вестник». Это придаст дальнейший стимул... Или еще лучше: разделить данную арабскую страну на две примерно равных половины, Северную и Южную. Тогда для данной страны потребуются два наших посла...

— Ответ признается правильным: восемь баллов.

— Как вы спите, Ян Бенедиктович? — тараторил юркий.— Есть ли проблемы?

— Проблема одна — не могу проснуться.

— Разве у вас нет будильника? Ведь он полагается вам по штатному расписанию.

— Увы, я его не слышу.

— Пропишите Яну Бенедиктовичу электронный будильник,— сказал застывший, что-то занося в записную книжку.

— А вы его в кастрюлю ставьте, в кастрюлю,— верещал юркий.— Или еще лучше: в медный таз. Знаете, какой резонанс. Мертвый проснется.

— Расскажите о своей жизни,— попросил средний.— Как вы росли?

— Возможно, вы росли на ферме своего отца, да? — молвил застывший, не давая мне опомниться.

— Занимались онанизмом? — тут же подхватил юркий.— С какой интенсивностью?

— Теперь это называется несколько по-другому,— заметил я.

Юркий захихикал:

— Как? Подскажите. Умоляю.

— Самообладание.

— В этом вам не откажешь,— заметил средний.— Но по-моему, нынче точка зрения на это пересмотрена.

— Совершенно согласен,— затрещал юркий.— Я где-то читал. Специальная инструкция рекомендует организованное применение онанизма в отдаленных гарнизонах Гренландии, а также на атомных подводных лодках и, возможно, в космосе, это было бы логично. И рентабельно. Какая богатая тема. Например, на судах дальнего плавания имеется штатное расписание временных семей, составляемых на весь рейс до порта приписки и целью поднятия производительности труда. Поднимается в среднем на сорок процентов. Как шлагбаум.

Монумент молчал со склеенными губами.

— О чем мечтаете после этого? — средний крутил указательным пальцем,— скажем так, после насыщения? Предположим, вы думаете о законах. Что вам удалось в этом направлении? У вас имеется хоть один закон? Проект закона?

— Что вы! Дальше преамбулы я так и не продвинулся. Обычно в преамбуле расставляю знаки препинания, забытые Олегом Леонардовичем. Не подумайте, будто я хочу принизить значение его трудов. Наоборот. Думы Олега Леонардовича столь высоки и мудры, столь стремительны, что он просто не имеет времени задерживаться на знаках препинания. Я ведь как раз писал диссертацию о значении многоточия в трудах наших Отцов-основателей.

— Когда вы просыпаетесь — о чем ваша первая мысль?

— Я думаю о работе. О наблюдательной коллегии, куда меня перевели в прошлом месяце. Никогда не думал, что там будет так интересно.

— Вы неправильно поняли мой вопрос, Ян Бенедиктович. Я спрашивал вас о самой первой мысли в момент пробуждения. По субботам же, к примеру, у вас не бывает первой мысли о работе.

— Отчего же? Первая мысль в субботу такая: как жаль, что нынче не надо ехать на работу.

Застывший вскочил с перекошенным лицом.

— Вон! — гаркнул он.

Стол тут же сам собой сдвинулся в сторону, освобождая тропу. Юркий галантно расшаркался передо мной.

— Вы свободны, Ян Бенедиктович. Поздравляю вас. Такая блистательная будущность.

На дверях избушки на ракетных соплах висел ржавый амбарный замок. У крыльца стояла широкая лавка в три доски. Я вытянулся на лавке и долго лежал, приводя в порядок дыхание. Кажется, я задремал. Сначала мне снились мрачные городские дворы, среди которых я вырастал, одновременно и сам врастая в них. В этих старых, многосемейных, клопиных домах были узкие длинные ворота — и враз посыпались законы, сразу из всех сводов, которых было два, оба дырявые, свод законов мракобесия и свод законов прогресса. Законы так и сыпались. Марлен Марленович суетно бегал под сводами, подбирая законы и пряча их в мешок, но и мешок был дырявый, ветер гнал законы вдоль ворот, каждому своду свой закон, а дворник в кирзовых сапогах мел законы длинной метлой на помойку, где я спрятался среди гнилья, дожидаясь, когда

Корка начнет раздеваться. Корка жила в полуподвале при флигеле, ей уже четырнадцать лет, она водила к себе мужчин за деньги, и если в это время посмотреть в ее окно, расположенное как раз на уровне асфальта, то можно все увидеть от начала до самого конца, но ведь нельзя смотреть в ее окно на виду всего двора, надо сначала спрятаться; вот тогда нам повезло с этой помойкой, длинный помоечный ящик стоял прямо у Коркиного окна, стоило залезть в ящик, всегда полный отбросов, закопаться как можно глубже в гниль, а там щель в ящике на три пальца, и все видно сквозь окно, шикарный вид прямо на кровать с белыми шарами, наблюдательное место в помойке всего одно, сначала мы дрались за обладание щелью, потом разделили сферы влияния и установили дежурство, сегодня вторник, мой день, я с утра трепетал, раньше удрал из школы, нырнул в помойку с дурнопахнущими законами, а Корка в окне одна, чешет волосы перед зеркалом, наконец, она пошла за мужчиной на угол, а дворник метет на меня прогнившие законы из-под свода мракобесия, вот они пришли с бутылкой портвейна, пьют и пьют, он мужик видный, уж больно похож на кого-то, когда же они лягут и Корка юбку задерет и ноги раздвинет, я весь вспотел, а видный достает вторую бутылку, до чего омерзительно пахнет, мы отомстили Корке тем, что прозвали ее Корка-помойка, хотя она сама не имела к дворовой помойке ни малейшего отношения, вот сиди, жди, сглатывая слюну, ибо дожидаться Коркиного соития было необходимо для полноты собственного действия, я ведь на два года моложе Корки, она меня к себе не подпустит, и мечтать нечего, только из помойки, только сквозь щель, а они все хлещут, я уже не выдержал, сделал свое дело, дворняк снова метет законы, заглядывает в помойку, это же не дворник, а Марлен Марленович, он грозит мне указательным пальцем, в этот момент Корка-помойка ложится навзничь, раскрывая свое белое тело, а я уже все сделал и больше ничего не хочу.

Недавно я встретил Корнелию в городе. Она ехала на извозчике последней иностранной марки в ослепительной лисьей шубе, шляпа с золотым пером, валютные сигареты.

Узнала меня, замахала руками, выкрикивая на ходу:

— Где ты пропадаешь? Приходи. Вспомним старое. У меня отдельная однокомнатная на двенадцатом этаже в лесопарковой зоне. Звони.

Я вскочил от оглушительного трезвона. Звонил карманный будильник, поставленный в медный таз для варки варенья. Кто-то пристально наблюдал за мной, как я когда-то сквозь щель помойки. Я поежился.

С сосновой ветки свесилось электронное око. Слегка качаясь под ветерком, оно висело прямо на зрительном нерве. Интересно, может ли электронное око видеть мои сны? Никогда не имел повода задуматься над этим вопросом. Табло на сосне показывало, что я отстал от графика уже на полторы минуты.

Под лавкой валялся брезентовый мешок. Он был развязан. Я запустил руку в мешок и вытащил бумажную конфетку «спринт».

Закон бюджета гласит:

Все время трещит, но тем не менее выдерживает любое давление. (74)

Вторая бумажка тоже оказалась с выигрышем.

Закон безработицы гласит:

Кто ест, тот не работает. (75)

Закон копания гласит:

Хорошо копает тот, кто копает последним. (76)

Приведя себя таким образом в рабочее состояние, я быстро пошел по кирпичной тропе, огибая гору. Ветер дул мне в лицо, но я ничего не чувствовал, разве что небольшой гнилостный запашок, выпавший во сне в виде материализовавшегося осадка.

Тропа разделялась на три отростка. Я подошел ближе и увидел три стрелки.

Каждая из трех стрелок наглядно изображала мою судьбу. На правой стрелке нарисованы Красная Шапочка и Серый Волк в бабушкином чепце. Рисунок исполнен в модернистской манере уверенной контрастной кистью.

На средней стрелке нарисован кубик Рубика с тремя гранями, и на каждой грани девять разноцветных квадратиков, значит, кубик надо складывать. Рисунок кубика сделан небрежно, даже пренебрежительно, все квадраты оказались разномерными, краска еще не успела просохнуть, словно они торопились перед моим приходом.

Налево, в сторону поля, указывала третья стрелка с изображением орудий производства эпохи раннего феодализма: натуральный серп и натуральный молот намертво прибиты к стрелке трехдюймовыми гвоздями.

Я пошел на кубик Рубика. Сосновая роща тянулась недолго, я оказался на опушке и увидел перед собой бассейн с прыжковой ванной. Бетонная чаша бассейна напоминала арену для боя быков с той, однако, разницей, что трибуны практически отсутствовали, если не считать однорядной деревянной скамьи, обтягивающей бассейн по всему периметру. Вышка для прыжков была десятиметровая с тремя трамплинами. Когда я подходил, доска верхнего трамплина продолжала еще раскачиваться, словно с нее только что прыгнули.

Возможно, и бассейн был искусственным препятствием? Но меня ждало огорчение: в бассейне не было воды.

Тропа подошла к отвесной стене бассейна. Я осматриаался вокруг в поисках указующего знака — ну хотя бы капроновый шест для прыжков в высоту или просто пеньковый канат, каким пользуются в цирке. Прыгать без вспомогательных средств мне не хотелось.

Во всем этом угадывался четкий почерк Олега Леонардовича. Я был прав: его еще не свергли.

Тут я заметил лесенку, прислонившуюся к отвесной стене бассейна, вернее, даже не лесенку, а трап, спускаемый вдоль борта океанского лайнера после причаливания к пирсу.

Трап был явным продолжением тропы хотя бы по фонетическому признаку. Я пошел вниз. Шаткие ступеньки зыбко уплывали из-под ног.

Я стоял на дне бетонного колодца, мрачного, как городской двор моего детства. Тусклый квадрат клубящейся тучи светился над головой.

На швах кафельных плиток пробивалась трава, успевшая зачахнуть. Не было заметно никаких следов того, что чаша бассейна когда-либо наполнялась водой.

Красная тропа выныривала из-под кафеля и шла по дну бассейна как разграничительная черта водной дорожки. Я двинулся по тропе в дальний угол, пока не заметил нишу, вырезанную в стене. В нише стоял двухтумбовый канцелярский стол с тем же инвентарным номерком, прибитым двумя гвоздиками к правой тумбе.

За столом сидели три человека. Те или не те, какая разница, в любом случае они были подставными лицами. Все трое в одинаковой форме органов зрения: светло-голубые кители с отложными воротниками. На петлицах вышиты скрещенные золотые стрелы. У среднего были три золотые стрелы, по краям сидели двустрельчатые.

Мне указали на стул. Я присел, приглядываясь к столу и его обитателям. С правого края сидела женщина, отдаленно похожая на Марианну Маринэ. То ли это была сама Марианна, ловко загримированная под другую женщину, то ли чужая, неудачно загримированная под Марианну.

Ниша освещалась двумя палочками дневного света, вмонтированными в потолок. На правой стене — табло с бегающими зелеными глазками. По обе стороны от табло висели два спасательных круга с надписью «Лузитания».

Внизу под моим стулом деловито булькала вода, значит, бассейн не до конца пересох. И снова назойливый неприятный звук, который я уже не раз слышал в здешних местах: кап-кап-кап... Да вот никак не разберешь — откуда капает?

Сидя с непроницаемым лицом, Марианна подмигнула мне, показывая взглядом на среднего мужчину.

Перед каждым из них были смонтированы кнопки по моде пуговиц прошлого сезона.

А под табло был экран телевизора. Вот и все, что там было.

Обставлено со вкусом — в стиле ретро.

— Зовите меня Карл Вальтович,— сказал средний.— Мы пригласили вас сюда, чтобы проверить степень вашей компетентности, лояльности и коммуникабельности, а также прочие параметры. Надеюсь, вы не возражаете?

— Просим вас сформулировать Главный экономический закон.

— Статья 778 XIV тома Уложения запрещает нам самовольно давать формулировки законов, поэтому я не могу, Карл Вальтович, я давал расписку. Отпустите меня домой, я обеденный талон не использовал.

— Ставлю вам шесть баллов и освобождаю от запретительной статьи. Дайте формулировку Главного экономического закона.

— Смотря для какой экономики, Карл Вальтович.

— Экономика такая: наша родная, самая прогрессивная в мире.

— В таком случае Главный экономический закон гласит:

Получение минимальной прибыли путем производства максимальных затрат. (77)

— Ответ принят,— Карл Вальтович поднял руку и все трое склонились над своими кнопками. На табло зажглось: 6.0—6.0—5.9. Женщина, желающая походить на Марианну, явно работала против меня.

На каждый ответ давалось четко фиксированное время — 30 секунд.

Я продолжал:

— Второй экономический закон говорит о том, что производство существует не ради потребителя, но ради самого себя. Не товар диктует волю технологии, но технология диктует товару, каким ему быть. Поэтому второй экономический закон гласит:

Бери, что дают. (78)

— А если и этого нет? — пылко воскликнула Марианна.

— Это будет закон дефицита...

— Вы составили закон, Ян Бенедиктович. Однако возникает вопрос: насколько данный закон объективен? Ведь, несмотря на минимальную прибыль, данная экономика действует. Крутятся станки, работает метрополитен, ходят поезда, продается мороженое, а главное, люди получают зарплату и не высказывают при этом недовольства. По-моему, у вас не сходятся концы с концами. Что вы ответите членам Наивысшего совета, если вам зададут такой вопрос?

— Я отвечу им так: «Товарищи члены Наивысшего совета. Мы должны помнить о том, что в данной Галактике существует множество различных систем. Среди них имеются и такие, которые уже прекратили свое существование. Однако есть Высшая система, и у нее имеется свой Закон. Закон высшей системы гласит:

Высшей системой в данной Галактике является такая система, которая способна функционировать вне зависимости от конечного результата. (79)

— И это есть наша с вами система, дорогие товарищи депутаты. Это единственная высшая система не только в данной Галактике, но, возможно, и во всей Вселенной. Уверен, что наши дорогие депутаты согласятся со мной и примут данный закон».

6.5—6.4—5.8. Я набираю очки. Карл Вальтович трубно высморкался и начал копаться в шпаргалках, лежавших кучей на столе.

— Перед вами поставлена грандиозная задача — так сказать, проект века, может быть, тысячелетия. Задача такова — надо переместить земную ось в новое положение. С чего вы начнете, Ян Бенедиктович? Какая проблема при этом встанет перед вами в качестве первоочередной проблемы?

Марианна хлопнула в ладоши.

— Я знаю,— не выдержала она.— Главное при этом — следить за тем, чтобы не расплескались океаны...

— Предоставим слово автору проекта, Яну Бенедиктовичу,— перебил Карл Вальтович.

— Разумеется, это очень важно,— начал я,— не расплескать Мировой океан. Однако я назвал бы подобный подход внеклассовым подходом. Мы не имеем права пускать земную ось на самотек. Мы должны четко определить свои классовые позиции. Нам нужен не всякий Северный полюс, а только такой, который нам нужен. Если мы переменим земную ось — то где должен быть новый Северный полюс? Разумеется, вы согласитесь со мной — не у нас. Желательно вообще на другом материке, надеюсь, вы догадываетесь — на каком. Мы и без того хлебнули вечной мерзлоты. Так что во имя исторической классовой справедливости я бы вообще занялся географическим расположением нашей прекрасной страны. Этот вопрос явно недоработан природой, так как не был учтен классовый подход. Сейчас мы располагаемся между западом и востоком. Поэтому я предлагаю разместить новую земную ось таким образом, чтобы мы находились между севером и югом. В качестве экватора могу предложить Уральский хребет. Таким образом — и только таким — мир победит войну.

Второй закон гласности гласит:

Чем выше уровень гласности, тем ниже степень слышимости. (80)

— Я ставлю вам семь баллов,— сказал Карл Вальтович.— Но я не верю в искренность вашего ответа. Вы конформист, Ян Бенедиктович. О чем вы шептались в обнимку с удавом? Можете не отвечать, ибо я ставлю другой вопрос. Будьте искренним хоть раз в жизни — назовите процент собственного конформизма.

— Процент моего конформизма есть величина скользящая,— отвечал я, глядя на Марианну.

— Почему же?

— Боюсь, что для ответа мне не хватит тридцати секунд.

— Дадим вам еще минуту. Тем более, что на предыдущих ответах вы сэкономили время.

Я взошел на всемирный подиум и воздел руки в сторону невидимого человечества.

— Дамы и господа! Леди и джентльмены! Братья и сестры! Перед нами два поля: поле свободы и поле рабства. Оба поля существуют обособленно одно от другого. Они никак не соприкасаются, и все коммуникации между ними практически отсутствуют. Так легко стать рабом, человек беззащитен. Рабом можно стать за пять минут — вас захватили в плен, и вы раб. И как же трудно рабу стать свободным человеком! На это может уйти вся жизнь, а то и ее не хватит. Даже восставший раб не становится свободным. Ибо восставший раб превращается в диктатора. Так было во все века — у всех народов.

Дамы и господа! Где же выход? Мы должны набраться терпения. Ибо существует третье поле. Оно с нами. Оно в нас. Я повторяю. Поле свободы. Поле рабства. А между ними третье поле...

— Это партия,— вскричала Марианна, захлопав в ладоши.

— Молчи, дура,— обрезал Карл Вальтович.— Продолжайте, Ян Бенедиктович, эти пятнадцать секунд не будут засчитаны в регламент.

— Да, да, леди и джентльмены. Третье поле — это поле конформизма. Это то поле, которое соединяет несоединимое. Поле промежуточного состояния. Все зависит от того, в какую сторону мы движемся.

Братья и сестры! Не думайте освобождаться сами. Закон освобождения гласит:

— Я пришел освободить вас, чтобы вы добровольно стали моими рабами. Из освобожденных не всегда получаются достойные рабы, чаще всего они бунтуют. В этом случае начинает действовать Закон совершенства, который гласит:

Самые справедливые и совершенные законы те, которые начертаны дубинками. (81)

— Очень жаль, но ваше время истекло.

— Так приятно было слушать вас,— резвилась Марианна.— Я ставлю вам...

— Внимание, мы переходим на тайное голосование,— заявил Карл Вальтович.— Теперь никто не будет знать, какую оценку он выставил.

И в самом деле — табло потухло.

— Опровергните Закон бытия,— сказал ленивый мужчина с двумя стрелками.

— Бытие определяет сознание. Это даже не закон, скорее, аксиома, которую еще никто не доказал, хотя еще никто и не отверг. Если бы бытие действительно определяло сознание, в нашем прогрессивном обществе не было бы ни малейших антагонистических противоречий и стал бы ненужным Закон о шести колбасах. Поэтому я опровергаю Закон бытия встречной аксиомой, которая гласит:

Подсознательное определяет сознательное. (82)

Уверен, что я ближе к истине.

Они выставили мне тайные оценки, после чего на табло зажглась общая сумма баллов — 222,4.

— Черт подери,— в сердцах сказал Карл Вальтович, покачав головой.— Это слишком много. У нас, наверное, техника испортилась. Мы потом с карандашом пересчитаем.

— Я сдал или не сдал? — спросил я с тревогой.

— Вы не сдаете, Ян Бенедиктович,— вкрадчиво поправил он.— Вы участвуете в конкурсе. Три человека на одно место, вот что важно.

— Кто же третий? — удивился я непроизвольно.

— Вы и есть третий.

Любопытно, подумал я, если бы пошел по правой или левой стрелке, пришел бы я в этот бассейн или нет?

— У кого имеются вопросы? — спросил Карл Вальтович, оглядывая своих стрельчатых коллег.

— Скажите, как часто у вас возникает это желание? — спросил мужчина с двумя золотыми стрелками.

— Смотря какое. Не очень часто.

— А в каком месте это чаще всего случается? Чувствуете ли вы приближение этого?

— Это может быть везде, если вы имеете в виду то же самое, что и я.

— Я говорю в данном случае о толпе. Вы ведь любите толпу, да? Например, в метро.

— Мы живем в век специализации. Одни ездят в метро, другие пользуются индивидуальным транспортом.

— Но все-таки. Вот вы находитесь в толпе. Чувствуете ли вы какие-то излучения, исходящие от других?

— Вы подозреваете, что я экстрасенс? Никогда не замечал за собой ничего похожего.

— Мы просим вас помочь нам, Ян Бенедиктович,— крадущимся голосом заговорил Карл Вальтович.— Это не биополе. Тут совсем другое. Мы сами не знаем, что это, но оно есть.

— И не телепатия? — спросил я с живейшим интересом.

— Тут совсем что-то новое. Мы изучаем это явление. Создали специальный институт. Какой-то новый вид индукции. Возможно, это облучение, рожденное информационным взрывом. Вы не замечали?

— Нет не замечал,— ответил я, твердо глядя ему в глаза.

— Предположим, что мы подвергаем вас наказанию за обман. Какого наказания вы страшитесь более всего на свете, если не считать смертной казни?

— Быть выставленным у позорного столба.

— А если смертная казнь — ваш выбор?

Измеритель времени включился на табло. На ответ о жизни и смерти давалось 30 секунд.

— Совершенно безразлично, Карл Вальтович. Лишь бы не усыпление и без завязывания глаз. Я считаю все способы смертной казни совершенными, поскольку они дают стопроцентную гарантию как для палача, так и для жертвы.

— Итак, вы отказываетесь рассказать нам о своих ощущениях? — спросил он.

— Я просто не знаю, что вы имеете в виду.

— Прекрасно,— нежно проворковал он.— В таком случае мы будем вынуждены подвергнуть вас доказательству кипятком.

— Как вам угодно.— Тут я снова услышал мерный мерцающий звук: кап-кап-кап. Я увидел: капало из старой ржавой трубы, торчавшей в углу; кап-кап — и прямо в ночной горшок, стоявший на полу. Ночной горшок был синим, а на боку инвентарный номер, намазанный белилами — 46. Там уже порядком накапало, больше половины.

Увидев, что я смотрю на ночной горшок, Карл Вальтович кивнул Марианне:

— Приготовьте, пожалуйста, кипяток для доказательства,— молвил он.

Марианна вытащила из тумбы спиралевидный кипятильник на тысячу ватт. Размотала черный шнур, оглядывая нишу.

— Я не вижу розетки,— сказала она.

— В самом деле, этого мы не предусмотрели,— Карл Вальтович пожал плечами.— В таком случае мы подвергнем вас следующему испытанию. Вы готовы нажать кнопку, Ян Бенедиктович?

— Разумеется, Карл Вальтович. Ни минуты не задумываясь.

— Даже если это будет та самая красная кнопка?

— Пусть будет та самая.

— Готовы ли вы дать письменное обязательство, что, находясь на должном посту, вы со спокойной совестью и без каких-либо колебаний по первому приказу родины нажмете кнопку и пустите ракету именно на тот объект, который вам будет указан?

— Простите, пожалуйста. Я забыл дома карандаш. Где нужно расписаться?

Он подсунул мне грязный листок, захватанный многими руками до сальности. Я молча расписался.

— Зачем вы это сделали? — всхлипнула Марианна, прижимая к глазам батистовый платочек с голубыми цветочками.— Ведь это был такой хороший матерік.

Карл Вальтович подчеркнуто вздохнул:

— Ох, эти женщины. Вечно они стараются опередить события. Полнейшее отсутствие формальной логики. Не обращайте внимания, Ян Бенедиктович. Вы поступили, как настоящий мужчина. Можете быть спокойным, мы вас усыплять не собираемся.

— Хе-хе, дороговато будет,— хмыкнул двустрельчатый, и я вдруг увидел, что у него все двойное: два подбородка, две ямочки на щеках, две залысины, две симметрично расположенные бородавки.— Вы же сами только что нам доказали: минимальная прибыль все-таки необходима. Или вопрос рентабельности законов — кто изучал? Что вы можете сказать на это, Ян Бенедиктович?

— Специально не изучал, но полагаю, что наши законы самые дешевые в мире,— ответил я наобум.

— Мы все время отклоняемся,— с укоризной перебил Карл Вальтович, посмотрев на часы.— Давайте лучше посмотрим последние известия. Включите, пожалуйста.

Программа новостей уже началась. Показывали отъезд Олега Леонардовича в дружескую арабскую страну. Сам Олег Леонардович неторопливо и гордо шагал по расстеленному перед ним ковру, сопровождаемый крыльями свиты. Потом он столь же степенно повернулся в сторону собственных крыльев, началась длинная серия рукопожатий и поцелуев, которые режиссер еще не успел сократить.

Олег Леонардович обцеловал всех, кто находился вблизи, а прочих обнял мысленно щедрым разворотом рук и одиноко пошел вверх по трапу с грузом государственных забот на плечах.

Самолет круто входил в низкое покатое небо. Изображение померкло.

— Ну-с? — Карл Вальтович с торжествующим видом повернулся ко мне.— Что вы на это скажете?

— Этого не могло быть,— стойко отвечал я.

— Как не могло быть, если оно было? Мы же смотрели прямой репортаж.

— Простите, Карл Вальтович, но я точно разглядел: меня в свите провожающих нашего горячо любимого, нашего мудрого Олега Леонардовича не было. Из этого я заключаю: отъезд не состоялся. Олег Леонардович никогда не улетел бы, не попрощавшись со мной.

— Неужели вы и есть его наследник? — удивился Карл Вальтович.

— Я этого не говорил.

Он заторопился, привставая со стула.

— Кажется, мы несколько увлеклись. Скоро сюда придет сборная команда ватерполисток, сейчас их время, а мы еще не провели подогрев воды, надо найти розетку. Есть предложение — на этом завершить наши консультации. Надеюсь, у вас не имеется к нам претензий, Ян Бенедиктович, и вы учтете это на будущее?

— А как же результат? — спросила Марианна, не удержавшись, может быть, все это была она, во всяком случае на данную минуту.

— Вы знаете, Муза Гермесовна,— сухо заметил Карл Вальтович.— Результат выводит Большой Элик, мы лишь закладываем данные. Вас известят.— Он деловито поклонился в мою сторону.— Желаю вам доброго пути. Техника отказала, техника отказала...— вытверживал он металлическим голосом, постепенно твердея и отдаляясь от меня.— Идите. Не оглядываться!

Я пошел по дну пересохшего бассейна к противоположной стене. Водв под ногами булькала все сильнее. Краем глаза я видел, как за моей спиной с натугой пришел в действие поворотный круг, производя перемену декораций. Марианна разгримировалась на ходу. Карл Вальтович стаскивал с крючьев спасательные круги.

Полногрудые ватерполистки рассаживались на длинных низких лавочках, к ним со всех сторон подходили другие с яркими спортивными сумками в руках. У всех мощные торсы и тазобедренные суставы. Многие тут же стягивали штаны, обнажая длинные ноги, и начинали разминку. Меня они не замечали. Может, я вообще был невидим для них?

Судья беззвучно дул в свисток. Сейчас начнется матч. Я чувствовал себя запасным игроком.

На стене висела пожарная лестница. Я полез наверх, желая как можно скорее выбраться наружу,— и снова оказался на поводке у кирпичной тропы, быстро поведшей меня до леса.

На опушке стояла скамья из трех досок, похоже, что она все время следовала за мной по маршруту.

Я присел. Мне необходима передышка. Самая малая. Хотя бы в одну миллионную долю моей жизни. Я обязан все помнить и с космическим ускорением проиграть еще раз на видеомагнитофоне моей памяти, чтобы точно знать — где случилась осечка? И вообще — что случилось? Что если я ошибаюсь в самой посылке? Дайте мне одну миллионную долю — от нее зависела жизнь.

Закон понимания гласит:

Плохо быть непонятым. Но еще хуже, если тебя раскусят. (83)

В наушнике у правого уха возник далекий тоскующий голос Марианны:

— Януш, учти, это очень опасно. Там, на глубине, будет голубой коридор. Четвертая дверь направо, на ней криптограмма: череп со скрещенными костями, это запасный выход. Ян, ты можешь попытаться. Ты меня понял? Так советует Элик, я кончаю, иначе нас засекут.

За плечом засопел крупный зверь. Я обернулся. Это был бурый медведь, больной и дряхлый. Язык у него посинел от старости. Из-за медвежьего уха, держа в руках цепь, выступил Марлен Марленович. Я посмотрел на его лысину, но там была академическая ермолка.

— Что будет-то, Марлен Марленович? — в отчаянии спросил я. Никак не дадут сосредоточиться.

— Что будет! — восторженно повторил Марлен Марленович.— Читали, читали, Ян Бенедиктович. Завидую. Поздравляю.

— Что такое вы читали, Марлен Марленович? В каком органе?

— Олега-то Леонардовича определили по новому месту. Следовательно, кресло освободилось. Высочайшее. Можно сказать — трон! Начинается передвижка и перетряска. Борьба за дисциплину. Марлен при деле. Одно скорблю. Отныне вы наверх от меня уйдете, Ян Бенедиктович. А мне ведь жаль станет. Чрезвычайно. Привязался я к вам. Таких, как вы, охранять — самое спокойное дело. Одно удовольствие. 222 балла! Да это же рекорд континента.

— Да вы где читали подобную чушь? — возмутился я, не выдержав.— Вы вообще-то читать умеете? Только путаете все на свете. Ведите меня дальше.

Медведь продолжал кряхтеть над ухом.

Марлен Марленович поднялся со скамьи и, отстегнув ошейник, наподдал медведя под зад.

— Иди, Майкл. Топай. Нам с тобой не по пути. Тебе в лес, нам по дрова. Гуляй, твоя воля.

Майкл понуро поплелся вдоль опушки, поминутно оглядываясь и облизываясь. Он был так стар, что линял на ходу.

Мы пошли по тропе, снова углубились в лес. Нет мне передышки, я ничего не вспомнил, ничего не просчитал. Ясно одно: они сознательно не дают мне ни минуты покоя.

Сосны мерно шумели над головой. Я никогда не был в этом краю Лесной дачи и потому был готов увидеть все, что угодно, кроме того, что увидел на самом деле.

Мы вышли из леса. Передо мной было озеро. Тропа упиралась прямо в мостки с хилыми перильцами из прошлогодних кольев.

Воды в озере было много, явно с избытком. Она плескалась у ног, облизывая мостки прозрачными языками, оставляющими на дереве черный след мокроты, а дальше разливалась уверенной гладью до самого горизонта.

— Искупаться бы,— мечтательно промычал Марлен Марленович.— Может, успеем? Благодать-то какая...

Тут я заметил, что прошлогодние колья тянутся в три ряда вдоль всего берега, теряясь по мере приближения к горизонту. То-то кругом было так тихо и покойно.

Закон спокойствия гласит:

Степень спокойствия в данной стране прямо пропорциональна наличию колючей проволоки. Если же наличие колючей проволоки в данной стране неограниченно, то спокойствие в ней обеспечено до окончания века. (84)

11. КАП, КАП, КАП...

Белые буруны за кормой, кипение вод, взбиваемых железным винтом. Кто примчится за мной? Трубоголосая «ракета», тупоносый «метеор»? Или бронзовая наяда из сборной страны, фигурно скользящая по глади вод? Прошу не устраивать парадной шумихи. Пускай это будет домашнее тарахтенье речного трамвая. Мы сядем, дотарахтим до Дома на Набережной, там я сойду на асфальт, смешаюсь с вечерней толпой, стану на ступеньку эскалатора и почувствую локоть соседа, теплый и пульсирующий. Я не сомневался, что этот внутренний водоем имеет выход в большие воды, ибо Закон разума и силы гласит:

В мире существуют два вида энергии: энергия разума и энергия силы. Разум должен отступить перед силой, лишь тогда он сможет победить ее. (85)

Гладь озера была неукоснительно чиста. Приставив ладонь к глазам, Марлен Марленович вглядывался в безмятежные дали.

Дрогнули мостки под подошвой, вспучилась гладь у ног, я заранее предчувствовал ее напористое колыхание, хотя внутри все оставалось недвижимым и черным, тем не менее что-то всплывало к нам. Вода задвигалась, разрушая собственную поверхность и клубясь внутри дымящимися пупырышками.

Все это протекало как бы беззвучно, во всяком случае не сопровождалось посторонней шумихой, не имеющей отношения к делу.

Из воды вылез плоский четырехугольник крыши, отбрасывая за собой тень и на глазах превращаясь в параллелепипед.

Вздрогнул и замер.

Передо мной была кабина лифта. Струи воды стекали с передней стенки, оставляя илистые подтеки. С левой грани свисал седой клок водоросли. На крыше сидел длинноусый рак, устрашающе поводя перебитой правой клешней. Прорезь дверцы плотно сжата — как челюсть.

Вода кончила стекать с кабины. Дверца пшикнула и раздвинулась. Ритуал приглашения исполнен. Марлен Марленович уже легонько подталкивал меня под ребро, дабы я не забывал о Законе вежливости, который гласит:

Извини — подвинься. (86)

Я шагнул в кабину прямо на розовый коврик из начальственного ворса. Пол оказался весьма устойчивым. Очевидно, мы были наглухо присоединены к некой системе, существующей в глубинах вод.

К моему удивлению, Марленович последовал за мной. Значит, в данном замкнутом пространстве меня душить не станут.

Внутри кабины висела табличка: «Лифт поднимает не более 4-х человек». Тут же стояла заводская марка со знаком качества.

Я впитывал в себя завершающий оттиск земной поверхности, которую покидал, возможно, навсегда: курчавую поросль лесной опушки, прочерченную густо-медными стволами сосен. Бурый медведь бежал вдоль кромки леса. Сторожевые вышки на берегу казались нарисованными бездарным пачкуном, исказившим сначала натуру, а после утверждающим ее на холсте да еще говорящим: «так и было, я не виноват». Нет, я не видел вышек, я видел одни сосны, прямые и гордые, как утес, вздымающийся чуть в стороне. Над соснами вразброд плыли кучевые облака — абсолютная гармония цвета и объема, на создание которой ушли миллиарды лет. А грянет срок — расплавится за мгновения.

Стало сужаться. Сдавливается с боков. Превратилось в полоску, в ниточку, в последний лучик, промелькнувший над лесом. И погасло.

Лишь пшикнуло завершающим звуковым штрихом.

Марлен Марленович действовал без промедления. Чувствовалось, он тут свой человек.

Поднявшись на цыпочки, Марлен Марленович с трудом дотянулся до верхней кнопки. Пол дрогнул. Мы двинулись вниз, всколыхнув воды. Было слышно, как они с клокотанием сомкнулись над нами.

— Какой этаж, Марлен Марленович? — угодливо спросил я.

— Тут пара пустяков,— с наслаждением ответил он.— Налево за углом. И прямо через дорогу.

Мы падали.

Должен заметить, что лифты, в том числе скоростные, в воде ходят не быстро. Мы не падали. На самом деле нас утягивало вниз. Это продолжалось довольно долго, и все это время было слышно, как воды струились за бортом.

Под ногами дрогнуло. А сверху прихлопнуло крышкой, дабы не оставалось никаких сомнений, что мы поменяли среду обитания. Пол ушел из-под ног. Все это сопровождалось разбойничьим посвистом попутного ветерка.

Мы падали.

Над створками дверей вмонтировано табло. Светящиеся квадратики перебегали по верхней строке, перескочили на вторую строку. Цифры этажей не обозначались, зато квадратики были разноцветными, как в кубике Рубика. По всей видимости, каждый цвет имел свое значение. Чаще всего зажигались зеленые квадратики.

Закон падения гласит:

Чем дольше продолжается падение, тем лучше для падающего. Покуда падаешь, ты цел. Наиболее ответственный момент наступает при соприкосновении с поверхностью, на которую падаешь. Все остальное, в сущности, есть полет, парение. Поэтому закон падения зовет: пари! И позаботься заранее о мягкой посадке. (87)

Ну хотя бы без строгого режима, как на Лесной даче.

Дрогнуло. Мягко поддало снизу в ноги. Остановились.

Далеко же мы сиганули. Я засек по часам: наше падение продолжалось более шести минут: но, кажется, мы еще не до конца упали.

Остро запахло жженой резиной. Марлен Марленоаич шумно втянул воздух носом и принялся судорожно нажимать кнопки.

Запах усиливался. В кабину проник робкий дымок, из-под коврика выбивалась едкая серая пыль, от которой слезились глаза. Дыма становилось больше.

— Что же ты стоишь? — цыкнул Марлен Марленович.— Это же душегубка! — и давай дубасить в дверцу кулаками.

— Разве это не по графику, Марлен Марленович? — спросил я не беа ехидства.— Успокойтесь, пожалуйста. Сейчас включат вентилятор.

— Спасайся, кретин,— вопил он, поддавая дверцы могучим своим плечом.

Заходясь в кашле, я уперся в створку рядом с Марленом Марленовичем. Куда там! Это была нержавейка высшей пробы.

Сизый дым густел, становясь осязаемым. Вот и все, подумал я с горечью, а я так и не выполнил задание, не успел составить закон души.

Створки вдруг разошлись сами по себе. Лишившись опоры, мы оба вывалились из кабины прямо на бетонный пол. Кажется, я набил себе шишку на лбу. Но дышать стало легче. Марлен Марленович лежал на полу, пуская радужные пузыри изо рта.

Кругом было тихо. Кабина и не думала возгораться. Мы шли в графике.

Я осмотрелся. Коридор был длинным и очень деловым. Приток свежего воздуха был неощутимым и в то же время упругим.

А глааное, он был голубым, обшитый неведомой мне голубой синтетикой.

— Там, на глубине, будет голубой коридор! — я вспомнил тоскующий голос Марианны. Значит, она заранее знала, что я попаду сюда. Но не могла ничего изменить, лишь дала предупреждение.

— На пенсию,— прохрипел Марлен Марленович осевшим голосом.— Сегодня же подаю. Капут.

Он стал на карачки, собираясь ползти. Задняя стенка за нами медленно и бесповоротно опустилась, отсекая нас от лифта.

— Вставайте, Марлен Марленович.

Подал ему руку. Он, кряхтя, поднялся. Мы поплелись. Двери шли справа и слева, высокие, резные, без табличек. У каждой даери имелся глазок. Под ногами стлался ковер, становящийся все более упругим и бесшумным.

Я снова вспомнил Марианну и отсчитал четвертую дверь направо. Все правильно: на двери был нарисоаан черный череп со скрещенными костями. Марлен Марленович ослаб, еле плетется. Поддать ему под зад и в эту дверь. Всего один удар...

Закон прогрессиста гласит:

Период полураспада химического элемента свинец равен 1700 лет. Период полураспада личности прогрессиста равняется полутора годам. (88)

И мы пошли по коридору дальше. Я почти волок его. Пусть они сделают со мной, что им в голову взбредет, пусть распнут, уничтожат, а я все равно исполню дело моей жизни. Можно уничтожить меня, закрыть мои законы, сжечь страницы, на которых они записаны, но отменить их невозможно. Мои законы останутся и будут действовать, продолжая мою жизнь. Я буду жить в моих законах. Мне бы составить еще один закон, но самый глобальный, чтобы в одном абзаце сказать сразу все, а если очень повезет, то суметь уложиться в четыре слова. Пусть это будет Негасимый Закон Четырех слов.

Я должен пройти до конца по следам моих законов, и мы еще посмотрим, чья возьмет. Запасный выход не для меня. Я уже начинал понимать, что Марианна многого не знала. Совет ее был искренним, но ложным, ибо все было совсем не так, как и предполагал вначале.

— Стой! — вскрикнул Марлен Марленович, похоже, он постепенно приходил в себя.— Центр Недоступности. Глаза не смеют.

Я остановился, и Марлен Марленович туго завязал мне глаза шелковым платком не первой свежести.

Мы сделали 18 шагов. Неслышно распахнулась дверь. Вошли в комнату. Я стоял с опущенными руками.

Послышался знакомый сип:

— Марленушка, что же ты? Сними, сними скорей. Такого челоаека...

Повязка спала с глаз моих. Передо мной, протянув вперед обе руки, стоял Олег Леонардович.

— Как добрались, Ян Бенедиктович? Надеюсь, дорога вас не слишком утомила? Сейчас мы работаем над более комфортабельными способами доставки. Присаживайтесь, прошу вас.

Я огляделся.

Комната была довольно обширна. Знаете, в мебельных магазинах продается такой гарнитур — жилая комната. Так вот, мебель из этого гарнитура и была расставлена в подземном кабинете, причем гарнитур был самого высокого качества, из 42 предметов, с красивой стенкой, стульями на тонких гнутых ножках, зеркальным баром, низкими мягкими креслами — словом, импортный гарнитур, приобретенный на валютные тугрики, однако же кабинет не переставал быть кабинетом, но и не становился жилой комнатой. Это происходило по той причине, что тон всему кабинету задавал письменный стол явно внегарнитурного происхождения. Его громадная полированная поверхность была свободна от бумаг и на ней пунктиром была нанесена карта мира со всеми шестью материками, включая Антарктиду. По бокам стола стояли две приставки с электронными пультами.

Олег Леонардович повторил приглашение, показывая рукой на низкий журнальный столик, на котором уже был сервирован легкий завтрак в виде аперитивов, миндальных орешков и связок бананов, поданных к столу прямо с ветками.

Я с удовольствием растянулся в кресле, давая отдых ногам, ибо никто еще не сказал мне, что лесная прогулка закончилась. Разве дано мне знать, что им еще в голову взбредет?

— Ну-с? — Олег Леонардович взял бокал и ласково посмотрел на меня. Никогда не видел его таким обворожительным. И подумать не мог.— За что же мы с вами выпьем?

Лишь теперь я заметил, что указательный палец на правой руке Олега Леонардовича был перевязан, вернее, залеплен свежей лентой бактерицидного пластыря. Сейчас этот палец нежно обволакивал ножку бокала.

— Олег Леонардович,— прочувствованно сказал я, глядя прямо в его немигающие глаза.— Я готов. За вашу мудрость, Олег Леонардович. За мудрость и чуткость.

Мы кивнули друг другу и выпили. Олег Леонардович чуть пригубил, а я хватанул сразу полным глотком, чувствуя, как в меня вливаются не только силы, но и мудрость. С таким напитком надо быть осторожнее, решил я.

Олег Леонардович тут же пополнил мою убыль.

— Хочу поблагодарить вас, Ян Бенедиктович,— сказал он.— Думаю, мы наградим вас орденом. Вы можете сами выбрать, какой пожелаете.

— Право, не знаю, Олег Леонардович. Я слишком взволнован.

— И напрасно, уверяю вас, совершенно напрасно. Испытание закончилось. Отныне вы входите в нашу семью как равный среди равных, свободный среди свободных. И даже свободнее нас. Вы блистательно сдали все испытания, но при этом всех нас напугали, набрав столько баллов. Мы проаели специальную проверку с карандашами, все точно. О таком мы даже не догадывались. Это же рекорд континента, а может быть, материка. Подумать только. Прыжок в высоту без разбега. Со связанными ногами. Какой блистательный результат. Двести двадцать два сантиметра, то есть, простите, балла, но в данном случае это одно и то же. А они испугались и подумали на технику. Но я вам скажу по секрету: наша техника нам не отказывает. И если она иногда все же выходит из строя, значит, так запланировано. После такого рекордного прыжка вы вправе рассчитывать не единственно на орден.

— Олег Леонардович, меня вполне устраивает моя теперешняя работа, уверяю вас. Вы же сами учите нас Закону добра, который гласит:

От добра добра не ищут. (89)

— Вот именно,— он с удоалетворением потирал холеные руки, а я все никак не мог отвести взгляда от забинтованного указательного пальца.— Я тоже, как и вы, люблю бывать в толще народа. Как жаль, что не всегда удается. Толпа! Нет, это не толпа. Это народ! Надеюсь, вы меня понимаете? Как законодатель законодателя. Помню, последний раз я выступал на стадионе. Я влит в огромную чашу — вместе с ними. И нас сто тысяч. Мы едины, чувствуем дыхание друг друга. Они что-то хотят услышать от меня. И я говорю им это. Только это. К сожалению, современная техника работает без учета этой потребности. Когда выступаешь по телевидению перед слепым объективом камеры, это ощущение слитности полностью пропадает. Зато на стадионе... Да что я вам говорю, вы не хуже меня знаете. Или в толпе метро...

— Как я завидую вам, Олег Леонардович,— молвил я, грызя орешки.— Я просто представить не в состоянии, насколько это захватывающее чувство. Захватывающее и глобальное. Стадион! Какой размах! Какие шири! Проясняются дали. Словно смотришь в бинокль.

— Берите выше, Ян Бенедиктович. Еще выше. Это не бинокль. Это телескоп. Современный, зеркальный, с тысячекратным увеличением. В него миры просматриваются. Нам так необходим мир,— кончил он плаксиво.— Оборона становится все дороже. У нас скоро тугриков не останется.

— Олег Леонардович,— торжественно сказал я.— Все, что могу, все, что имею. Но мне кажется, вы хотите от меня невозможного, то есть того, что я не могу.

— Жаль. Я полон скорби.— Он поник плечами.— Мы так рассчитывали. Принято решение об учреждении новой должности.

— Это связано с законами, если не секрет?

— Буду предельно откровенен с вами,— отвечал он, поглаживая ладошку о ладошку, и я только сейчас сообразил, что он все время подсовывает под мой взгляд свой указательный палец.— Я скажу вам все. Нам крайне необходим Главный прогнозист. Как вы знаете, мы живем в развитом государстве, где все принадлежит всем. Мы самая Прогрессивная страна в мире. Мы сумели создать такую систему, которую нельзя перестроить, но это обошлось недешево. Не обошлось без жертв — но мы всегда опирались на народ, даже в периоды жертвенности. Теперь тем более. Наши законы индуктируются народом. Но мы не можем устраивать бесконечные рефереядумы по каждому закону. Это не наш путь. Они Бог знает что наговорят. Нам достался такой народ, которым надо управлять. Но управлять мудро. Поэтому все наши Генеральные председатели такие мудрые, особенно при жизни. Потому что они не имеют права на ошибку. Созданный сверху закон на самом деле исходит из моей души. Наш добрый великий народ сам творит свои законы — вот где секрет того, что он исполняет их с такой любовью и охотой, больше того — с душой. Закон не исторгается, он оплетает. Видите, сколь я с вами откровенен. Главный прогнозист должен обладать этой способностью улавливания. Сейчас это особенно важно. Несмотря на все наши усилия, наблюдается рост преступности. Народ молчит, он о чем-то задумался. Поэтому мы и решились на эту должность. Нет, нет, не спешите отказываться, Ян Бенедиктович,— торопливо нашептывал он, когда я потянулся за новой порцией орешков.— Не отказывайтесь, я еще не все вам сказал. Условия вполне приличные, мы своих не обижаем. Вы войдете в Законодательный Комитет, восемьсот монет в месяц плюс пайковая книжка, спецполиклиника, я уж не говорю о персональном «ролл-ройсе» черного цвета последней модели, кроме того, надеюсь, что мне удастся пробить для вас реанимационную машину с постоянной бригадой врачей, которые будут всюду следовать за вами.

— Реанимобиль-то зачем? — невольно удивился я.

— Работа нервная, суровая. Сердечные перегрузки. Перепады давления. Обстановка усложняется с каждым часом. Сейчас они во что бы то ни стало решили протащить в своем Благословенном Совете закон чужой боли, а это ни много ни мало почти пять миллиардов валютных тугриков. Они открыто нарушают принцип невмешательства во внутренний арабский мир. Что мы можем противопоставить? Боюсь, Союз молодых офицеров окажется ненадежным. Да и мало их. Где мы возьмем столько пушек, чтобы помочь Союзу молодых офицеров?

— Олег Леонардович,— порывисто воскликнул я.— Пошлите меня туда. Я и подумать не мог, что из моей стряпни заварится такая каша. Я просто обязан поехать на место и лично разобраться во всех проблемах. Что они там натворили, не спросившись меня?

— А как же Главный прогнозист? — живо аозразил он, не выразив никакого удивленин.— Внутренние вопросы для нас сейчас не менее важны. Место за вами. Вы утверждены единогласно на Законодательном бюро. Так что теперь у вас нет запасного выхода.

— Олег Леонардович,— продолжал лебезить я из последних сил.— Я не справлюсь. Не оправдаю вашего доверия, ибо лишен тех способностей, о которых говорите вы.

— А это? — с брезгливой гримасой он извлек из пиджака и бросил на столик мою записную книжку в синей обложке.

— Олег Леонардович! Неужели вы способны предположить, что я мог нарушить данную расписку?..

— Очень жаль,— брезгливо продолжал он,— но вы упорствуете. Я полагал, что мы знаем о вас все. Но я ошибся. Надеюсь, вам известно, как поступают с упорными.— Он нежно прихлопнул в ладоши.— Марленушка! — позвал он.

Боковая стенка бесшумно раздвинулась, а там была подсобка, где Марлен Марленович уже заканчивал расстановку декораций для следующего акта: малая домашняя дыба, сколоченная из древних могучих бревен, и тут же портативная гильотина на современных кресельных колесиках, смонтированная из частей, составляющих кабину

лифта, причем ножи гильотины двигались навстречу один другому, как дверцы лифта, что было сделано с гуманитарными целями для ускорения процесса отсечения головы.

Сверкая лысиной, Марлен Марленович поманил меня пальчиком. Я послушно подошел, отчетливо сознавая, что свои оплеухи я заработал честно. Непонятно лишь, почему они продолжают со мной возиться?

Олег Леонардович разворачивал перед собой кресло, избирая наиболее удобную позицию для наблюдения. Сорвал банан с ветки, очистил кожуру, надкусил мякоть.

Вот и пригодился старый шелковый платок, которым мне завязывали глаза. Марлен Марленоаич затянул мне руки за спиной. Заскрипел ворот — и я повис на дыбе в самом античеловеческом положении носом книзу, со скрюченными коленями.

— Ну как? — ласково спросил Олег Леонардович.— Чье это? Кто сочинил эти законы?

— Ничего вам не скажу,— хрипел я.— Можете замуровать меня в стене. Посадить на кол. Четвертовать. Я ничего не знаю.

— Почему не выполнили моего личного задания? — продолжал Олег Леонардович.— Где Закон души? Подтяни его еще немного, Марленушка.

— Крепко же ты погорел, паскуда,— приговаривал Марлен Марленович под скрип ворота.— Еще не сообразил, в чем состоит Закон души. Ну говори, падаль.

— Ничего не знаю. Не скажу...— слова выдавливались с трудом, все во мне было выворочено, но я не сдавался, больше того, теперь я знал, что выдержу до конца.

— Наш прогнозист становится однообразным,— Олег Леонардович не выдержал первым, встал из кресла, легко перешел за письменный стол.— Простите, но у меня срочная работа,— и сел спиной ко мне.

Я тут же получил от Марлена Марленовича под дых, вторым кулаком меж ребер. Я корчился, извивался как мог, но и на этот раз не выдавил из себя ни слова.

— Говори, падло,— неистовствовал Марлен Марленович.— Закон души гласит:

Душить надо не сразу, а по частям. (90)

Это и есть Закон Марлена.

Олег Леонардович не обращал на нас ни малейшего внимания, будучи занятым годовым отчетом, от своевременного утверждения которого зависела ежеквартальная премия для сотрудников.

Наконец, Марлен Марленович выбился из сил, однако словесная накипь продолжала бушевать в нем.

— Мы тебя научим родину любить, ишь ты, законы стал складывать, ракалия, мешок завел из валютной холстины, по Монтескье соскучился, да? Буду, говорит, творить для народа и для души. Полное раздвоение личности. Найдем на тебя управу. Двести двадцать два укола, сразу придешь в себя.

— Марленушка, не так громко, ты не даешь мне сосредоточиться на отчете, а сегодня последний день, когда бухгалтерия принимает ведомость.

Тут старый шелковый платок не выдержал и лопнул. Я грохнулся на пол коленями и носом, но и такое падение было облегчением. Я завалился на бок, жадно хватая воздух пересохшим ртом.

— Иди, Марленушка, обед на столе. Устал, наверное.

Олег Леонардович подошел ко мне и самым нежным образом промокнул мой лоб голубым батистовым платочком, точно таким же, какой был у Марианны.

— Не обращайте внимания на этого вещуна,— приговаривал он воркуя.— Жалкий в сущности тип исполнителя, отрыжка культа. Но вы держались прекрасно, я восхищен. Такой мощный характер. И при таком интеллекте.

— Пи-ить,— промычал я с трудом.

Он засуетился, живчиком перебежал по диагонали к журнальному столику, где мы сидели, вернулся ко мне с бокалом.

Я выпил до дна. Мне враз стало легче. Возможно, этот коктейль так и назывался: «После дыбы».

Он помог мне подняться. Мы снова чинно уселись в креслах, дабы продолжить наш интеллектуальный диалог.

— Не обессудьте,— начал Олег Леонардович посвежевшим голосом,— что мы были вынуждены подвергнуть вас этой унизительной процедуре, но она входит в набор утвержденных тестов. Позже вы сами поймете и оцените. Вы проявили себя настоящим борцом. Особенно эта расписка относительно красной кнопки. Я просто восхищен. Поэтому давайте сократим преамбулу — и сразу к сути. Кончаем играть в кошки-мышки. Мы знаем о вас всё.

— Возможно, вы знаете такое, чего я и сам не знаю? — спросил я с усмешкой, а все суставы у меня продолжали разламываться и ныть.

— Разумеется,— ответил он не задумываясь.— Повторяю, мы знаем все. Я слов на ветер не бросаю. Хотите доказательства?

— Разве что из чистого любопытства. Ради расширения собственного кругозора.

— Извольте.

Олег Леонардович взял пульт дистанционного управления, нажал несколько кнопок. Зажегся цветной экран телевизора, вмонтированного в импортную стенку. Перед Карлом Вальтовичем сидел Додик и хорошо поставленным голосом давал показания: как он еще три месяца назад сделал копию с моей записной книжки, и Большой Элик в два счета расшифровал все мои законы. Додон ездил в институт к Теоретику и собрал там все данные обо мне, он, Додон Берендей, согласен с тем, что мои законы могут представлять некоторый интерес, но никак нельзя забывать, что это запрещено Уложением, и потому, исходя из конкретных патриотических интересов, он, Додон...

— Продолжить? — осклабясь, спросил Олег Леонардович, с каждой минутой он становился все более уверенным и наглым.

— Уберите эту пакость. Умоляю вас, где сейчас Марианна? Покажите ее мне.

— Одну минуту. Сначала я прокручу перед вами некоторые картинки.

Изображение почему-то было черно-белым. Узкая щель во весь экран, наплыв на щель, кровать с белыми шарами, перечеркнутая полосой, на кровати лежит женщина с задранными ногами, на ней мужчина с голым задом. Сначала я подумал, что мне показывают кусок из современного порнофильма — но зачем? И почему изображение беззвучно? И тут я по серо-полосатому одеялу узнал кровать Корнелии. Тотчас объяснились и полосы, перечеркивающие кровать, это была средняя рама окна, и все вместе взятое было видом из помойки сквозь щель, когда я сидел там среди зловонных отбросов, жадно дожидаясь, когда Корка пойдет к кровати. Я видел на экране видеозапись собственного сна, записанного на магнитную ленту неизвестным мне способом.

Закон страдания гласит:

Страдай не так, как тебе хочется, а так страдай, как тебе будет велено. (91)

Я сделал знак. Изображение потухло.

— Бедная крошка,— Олег Леонардович пригорюнился.— Не будем судить ее строго, отец в колонии, мать алкоголичка с принудительным лечением. Сейчас у нее все наладилось, воспитывает двух детей от трех отцов, служит стюардессой на международных линиях, иногда летает на моем самолете, но это исключительно между нами, как мужчина с мужчиной. Так что, Ян Бенедиктович, мы с вами не только из одного огорода, но, можно сказать, с одного двора. Словом, давай в мою упряжку.

— Вы обещали Марианну, Олег Леонардович. Умоляю вас. Я согласен на все.

— Так-то лучше. Сейчас попробую.— Он поискал на пульте.

Марианна стремительно бежала сквозь бесконечную анфиладу комнат, распахивая двери, бросаясь на них телом. Взбежала по широкой мраморной лестнице, увидела на площадке тумбочку с телефонным аппаратом, судорожно набирала номер, не могла дождаться, снова крутила диск.

— Вас ищет,— хмыкнул он.— Я думаю, этого достаточно. В ближайшие полчаса с ней не произойдет ничего оригинального. Потом она заступит на дежурство и тогда увидит вас на экране. Мы не ошиблись в своем выборе,— ворковал Олег Леонардович железным голосом.— Вы именно тот человек, который нам нужен. Ваш кабинет будет всегда рядом с моим.

— И там тоже будет это?

— Что именно?

— Протечки в нашей демократии? Разве вы не слышите?

Так оно и было: кап-кап-кап. На этот раз капало из медного краника у двери, но горшок был точно такой же, пронумерованный с помощью белил-21.

— Ах, это! — Олег Леонардович небрежно махнул рукой.— Эта водичка поступает к нам из озера Спокойствия, где вы недавно были.

— Никак не могу понять, что это значит? — спросил я.

— Очень просто. Этот звук означает, что ядерная война еще не началась. Интервал — две секунды.

— Если же она начнется?

— Тогда брызнет струйка,— отвечал он спокойно.

— Но хватит ли вместимости горшка?

— Не волнуйтесь. Все рассчитано Большим Эликом. При струйке горшок наполняется за пятнадцать минут. У каждого краника имеется неприкосновенный запас — шесть горшков. Этого более чем достаточно.— И он важно заключил: — Большой Элик знает все. Он наш истинный властитель.

Я пробовал мягко возразить:

— Все-таки это машина. Ведь Большой Элик не может принимать решений, тем более управлять нами.

Олег Леонардович наклонился ко мне.

— Вы не подозреваете, как вы правы. Мы с вами образованные культурные люди и прекрасно понимаем в душе — это лженаука. Но весь мир словно с цепи сорвался с этой кибернетикой, приходится и нам подтягиваться, иначе нас сомнут, мы отстанем и усохнем. Признаюсь, мы долго гонялись за этим Эликом. Тайно — и с трудом, выменяли его за 800 килограммов марихуаны, так сказать, сменили один дурман на другой дурман, более современный, хотя я лично предпочел бы простой укольчик.

— Как? — воскликнул я, не удержавшись.— И он тоже?

— А ты думал,— ответил он.— Не отвлекайся. Большой Элик всех удивил. Он прижился у нас, пустил корни. И вдруг вступил в прямой контакт с человеком. Мы долго искали — с кем же он контактирует? И теперь нашли. Вы понимаете меня, Ян Бенедиктович?

— Не может быть,— воскликнул я, в ту же секунду сцепив все факты и осознав, что только так и может быть. Мне стало горько — опять я обо всем узнаю самым последним.

— Но почему Большой Элик выбрал именно меня? — вопрос был чисто процедурным.

— Этого никто не знает, даже сам Элик. Мы рассматривали несколько гипотез...

Я рассмеялся:

— Одна из них заключается в том, будто я инопланетянин из созвездия Стрельца. Терзали меня со всем земным усердием согласно закону всемирного тяготения. Премного благодарен. И кто же представил доказательства моего земного происхождения? Марианна?

— Ян Бенедиктович, программу ваших испытаний составлял не я, а ваше электронное альтер эго.

Закон дублера гласит:

Лучшим дублером считается тот, который не знает, кого он дублирует. (92)

— Ну как? Вы больше не сердитесь? — он пытался заглянуть мне в глаза.

— Ах, Олег Леонардович, зачем я вам? — вяло протестовал я.— Вы прекрасно справляетесь без меня.

— Как вы не понимаете! Мы обязаны совершенствоваться. Обязаны думать о недопущении разброда. У нашего строя огромные преимущества, но мы еще не научились их использовать. Намечена огромная модернизация: технологическая, организационная, духовная. Мы вступаем в новую эпоху, разве вы не хотите участвовать в этой благотворной работе?

— И с чего вы решили начать, Олег Леонардович?

— Вот вы и дадите нам ответ — с чего начать?

— Если вы не возражаете, я предпочел бы начать с коктейля.

Мы выпили.

— Итак, я весь ожидание,— сказал он.

— Нужно начинать с народных законов,— отвечал я уверенно.— В основной закон необходимо дописать несколько дополнительных свобод.

— Например? — он впился в меня взглядом.

Каждый гражданин Большой страны имеет право на свободу сновидений. (93)

— Это глубоко. Это обоснованно.— Он задумался.— А они проглотят, как вы думаете?

— Чепуха. Кинуть им пару поблажек, и они будут ваши со всеми потрохами. Они будут счастливы, заработав столь великую свободу — видеть собственные сны.

— Но ведь тогда они и в самом деле смогут увидеть во сне все, что захотят?

— Пара пустяков. Мы учредим наблюдательную комиссию за снами, составим каталог допускаемых снов, освоим аппаратуру, чтобы сны являлись по заказу. Ваши подданные, Олег Леонардович, обязаны видеть лишь такие сны, какие вы пожелаете им показать. Если вы управляете ими днем, вы просто не имеете права отпускать их от себя на ночь. Издадим специальный Закон о сновидениях. Это будет не менее глубоко, чем провозглашение вашего нового принципа.

— Какого принципа? Разве я что-либо провозглашал? — он удивился.

— Как же, Олег Леонардович! Вы сами провозгласили принцип невмешательства. Это глубоко, это мудро! — Я был в ударе, сейчас я мог бы с ходу открыть второй Закон мировых горизонтов, но, как всегда, у меня не было времени.

— О каком же невмешательстве я говорил, Ян Бенедиктович? — допытывался он.

— Олег Леонардович, вы же сами только что сказали, что готовы всенародно провозгласить *принцип невмешательства во внутренний мир граждан нашей Прогрессивной страны. (94)*

— Это я сказал? Ты не ошибаешься? А ты что сказал?

— Я лишь сказал: это глубоко, это мудро!

— Значит, ты советуешь мне провозгласить этот принцип? — он все еще сомневался.

— Целиком и полностью согласен с вами, Олег Леонардович. Такого еще никто не провозглашал. Это будет величайший вклад в сокровищницу. Новое слово в языкознании...

— А если они того?..— нетерпеливо перебил он.

— Что — того?

— Если они поймут этот великий принцип буквально? — он покосился в сторону дыбы.

— Кто ж им даст, Олег Леонардович? Аппарат в ваших руках. Всегда можно принять поправку к принципу. Спустить циркуляр, наконец.

— Прекрасно, Ян Бенедиктович. Вы меня воодушевили. Приступайте к работе. За обедом встретимся.

— Но где же? — я недоуменно развел руками.

— Разве я вам не сказал? Вы у себя, Ян Бенедиктович. Я сознательно встречал вас в вашем кабинете. Мои апартаменты за стеной. А это все ваше, включая кнопки.

Он прошел мимо дыбы и исчез в небольшой двери, которую я прежде не заметил.

Я обогнул стол и сел в кресло Главного прогнозиста. На календаре уже сделана пометка: с сего числа.

Сам того не зная, я взял ручку — и рука пошла сама строчить.

12. ЭКРАНИЗАЦИЯ

Примерно так я и думал. Они все собрались в одной комнате, за одним столом. Заседало Законодательное бюро. Отныне я здесь на равных.

Поскольку закон у нас является анонимным, то и члены Законодательного бюро оставались как бы в тени истории, их имена не публиковались в печати, они не давали телевизионных интервью, не выступали с публичными докладами. Лишь узкий круг посвященных был осведомлен, кто есть кто. Тем ярче сияло солнце Олега Леонардовича, которому таким образом автоматически отдавалась на откуп вся наличная всенародная любовь.

Безмолвный, бесшумный и, возможно, невидимый помощник показал мне на стул рядом с главным. Я стоял, оглядывая всех, кого ожидал увидеть.

Прямо против меня сидел юркий, рядом с ним застывший как монумент, дальше третий из этой тройки. На другом конце стола расположился Карл Вальтович во главе своей команды. Муза Гермесовна сидела слева от него, сейчас она была без грима и нисчуть не походила на Марианну. Марлен Марленович скромно обитал сбоку, спеша до начала заседания открыть бутылку с минеральной водой и насладиться пузырчатой влагой. Были там еще 3—4 человека, которых я не знал, они перелистывали бумаги, лежавшие перед ними в красных папках.

Для Олега Леонардовича заранее оставлено место во главе стола. Наше появление вызвало почтительное оживление среди присутствующих. Олег Леонардович монументально выступал впереди, я за ним. Все встали. Марлен Марленович аж в ладони аахлопал, но его аплодисмент остался одиноким.

Олег Леонардович сделал успокаивающий жест. Мы сели. Он без промедления постучал фруктовым ножичком по графину.

— Давно мы с вами тут не собирались, но, как видите, Центр Недоступности содержится в полном порядке, продолжается непрерывное совершенствование, посмотрим по ходу. Чрезвычайное положение введено в общих интересах. Через два часа истекает срок нашего ультиматума, пускай они знают, мы шутить не намерены. Разрешите на этом очередное заседание Закопбюро считать открытым. Вопрос у нас на повестке дня актуальный: Закон добра и зла и его последствия. Но прежде хотел бы представить нашего нового коллегу Яна Бенедиктовича, только что мы с ним подрабатывали совершенно новый принцип невмешательства, впрочем, что я вам говорю, вы Яна Бенедиктовича Зета прекрасно знаете, мы знаем его лучше, чем он сам себя знает. Ян Бенедиктович последовательный продолжатель, преданный последователь, весьма перспективный законодатель, на сегодняшний день на его личном счету насчитывается 191 закон. Цифра, конечно, скромная, особенно если сравнивать с опытными мужами. Например, недавно мне доложили, что за истекшие годы от меня лично произошло на свет уже восемь тысяч законов, и это, разумеется, не предел. Так что будем считать нашего Яна начинающим. Я думаю, поставим вопрос об издании его сборника, в случае необходимости, где потребуется, подредактируем, подрежем. И уж, конечно, все намеки — долой! Мы всегда говорили прямо, без намеков. Вот и попросим Яна Бенедиктовича сделать нам сообщение о Законе добра и зла и его последствиях. Твое слово, Ян.

Я был никак не подготовлен к такому обороту событий. С чего начать?

Пауза подозрительно затягивалась. Тут я обратил внимание на папку в глянцевой ярко-красной обложке. А в углу серебристыми буквами отпечатано: Я. Б. Зет.

Я быстро раскрыл папку. Так и есть. Там листки вдоль всей повестки дня, а самый верхний в аккурат для меня:

ЗАКОН ДОБРА И ЗЛА

Краем глаза я увидел одобрительный жест Олега Леонардовича. Оставалось набрать порцию воздуха в грудь и приступить к озвучиванию текста.

— Дорогие друзья,— начал я, стараясь читать с выражением.— Силы добра и зла достигли в современном мире такого могущества, что в состоянии двести двадцать два раза уничтожить друг друга до основания. Добро противостоит злу, но и зло не дремлет, оно маскируется в тогу миротворца. Нет нужды лишний раз доказывать, на чьей стороне находится добро и справедливость и откуда исходит зло. Мы за мир всех людей доброй воли. Но если на нас начинают наводить ракеты, мы этого не позволим.

Я читал, и уши мои пылали от стыда. Боже, кто сочинил этот детский лепет, состоящий из набора готовых кубиков? Это рука Додика, решившего провалить мой дебют в Законодательном бюро.

Однако же я видел, что они слушали внимательно, давая мне понять взглядами, кивками, что им нравится то, что я говорю, хотя в папке у каждого лежал такой же листок с тем же беспомощным текстом, словом, ободренный их живой поддержкой, я решительно сунул листок в папку и заговорил не по бумажке, и это вызвало еще больший интерес с их стороны.

А я, что называется, разошелся.

— Да, добро сильнее,— говорил я увлеченно.— Сила добра в том, что добро родилось вначале, когда мать оберегала свое дитя от опасностей внешней среды. Таким образом добро родилось из потребностей сохранения жизни. Тогда как зло пытается подмять добро под себя, но становится только злее и в конце концов вырождается в коварство и ложь. Добро не нуждается в мимикрии, в этом его сила. Таким образом, я попытаюсь сформулировать Закон добра и зла, который гласит:

Добро не всегда побеждает зло, но тем не менее преобладает над ним исторически, нравственно и, если хотите, биологически, ибо добро есть жизнь. (95)

Данный закон нетрудно доказать методом от противного. Предположим, что силы зла на нашей планете оказались сильнее. Что произойдет в этом случае? Будет нажата кнопка, развернута термоядерная война. И термоядерная смерть человечества станет в то же время полной победой сил зла над добром. Мы с вами знаем, что этого не случилось. Мы живы. Следовательно, на данный момент на планете преобладают силы добра. Тем не менее опасность остается по-прежнему реальной. Что же делать? Праавильно ли мы говорим: силы добра? У добра нет силы. У добра есть мудрость. Поэтому сегодня речь идет не о противоборстве добра и зла, как это было до сих пор в истории человечества, сегодня мы вправе поставить вопрос о мирном сосуществовании добра и зла с различными социальными системами. Следствие же, о котором так ярко говорил Олег Леонардович,— следствие из Закона добра и зла гласит:

Добро и зло нуждаются в разрядке. (96)

Разрешите на этом закончить свое выступление. Спасибо за внимание.

Я замолчал. Члены Законодательного бюро тоже воды в рот набрали, причем Марлен Марленович в буквальном смысле, впитав два глотка, сидел с надутыми щеками. Олег Леонардович судорожно шарил взглядом по листкам, чтобы окончательно убедиться в том, что я сказал не по-писаному.

Молчание нарушил тот самый, с застывшим лицом.

— А что? — мрачно спросил он одной нижней губой.— Это даст нам возможность выиграть время.

— Глубоко! Мудро! — подхватил юркий.— Я всегда говорил, что я «за».

В комнату с озабоченным видом вошел Додик, кладя перед каждым членом по листку. Это был проект резолюции по Закону добра и зла, выведенный на основе моего сообщения. На меня Додик не взглянул. Обойдя весь стол, он вышел. Резолюция, как я заметил, была благоприятная: в пользу разрядки.

Но Олег Леонардович действовал по собственной программе. Он резко смахнул листок со стола.

— Добро и зло! Жизнь и смерть! — передразнил он ехидно.— Абстрактные категории. Не допустим абстракционизма. Добро и зло есть категория классовая. Кому-то оно добро. А кому-то оно и зло. На всех не угодишь. Так я говорю?

— Это мудро! Это глубоко! — пискнул юркий.— Проникновенно и обоснованно! Я «за».

— Почему табло не включено, черт подери? — вскричал Олег Леонардович, хлопая ладонью по столу.— Или мы не имеем права знать, сколько времени осталось до конца ультиматума?

— Простите, Олег Леонардович, табло работает, не хватает светимости,— ответила Марианна, появляясь средним планом на экране телевизора, она сидела за столиком.— Сейчас я прибавлю.

Цифры на табло засветились ярче: 01.15.37, каждую секунду цифры менялись — и шли они с убыванием.

В моем распоряжении, подумал я, один час пятнадцать минут. Много это или мало? Успею ли я?

— Ответ не поступал?

— Сейчас я запрошу, Олег Леонардович,— ответила Марианна.

— Сколько вам надо?
— Полторы минуты.
Интересно, видит ли меня Марианна? Понимает ли она, почему я здесь?
И последний вопрос: о каком ультиматуме идет речь?
Я оглядывал просторный зал, пытаясь разобраться в его устройстве. Стены абсолютно голые. Ни одного портрета, ни призыва. Лишь табло, подвешенное неестественно высоко, почти под потолком, на торцевой стене, против Олега Леонардовича. Матово-белые стены облиты синтетическим материалом. Свет исходил прямо из потолка.
Юркий перекинул мне через стол записку, сложенную в четверть листа. Я развернул и прочел:
«Дорогой Ян! Поздравляю. Горячо!
Закон кадров знаешь, хе-хе?
Гласит:
Наши кадры не должны стареть вместе с нами. (97)
Твой Тимур.
P. S. Прочти и уничтожь».
— Так и быть, полторы минуты мы потерпим,— продолжал Олег Леонардович более спокойным голосом. Однако невидимые страсти продолжали клубиться в нем, ибо он тут же хватанул полстакана воды и рявкнул: — Нет такой силы, чтобы уничтожить жизнь на планете. Ишь ты. Она миллиарды лет созревала, а мы ее за полтора часа, за шесть ночных горшков к ногтю. Так не бывает. Это всякие теоретики придумали. А мы практики. Великие практики. Прокладываем путь всему человечеству. И я говорю. Жизнь сохранится. Но в других формах. Я сторонник теории мутации. Это будет великий очистительный огонь. Добро и зло, ха-ха, как бы не так. Есть один выбор: победа или поражение. У кого победа, у того и добро.
— Олег Леонардович,— тихо позвал голос от дверей.
— Они дали ответ? — быстро спросил он.
— Еще нет,— в дверях стоял Додик.— Но получены точные агентурные данные. У них разделились голоса: шесть на шесть.
— Разве их не тринадцать?
— Один болен. Сейчас они пытаются с ним связаться. Но он находится под наркозом на операционном столе.
— Вот видите, они уже колеблются, они уже разделились,— в упоении воскрикнул Олег Леонардович.— Гнилая демократия! Я всегда утверждал это. Они прогнили. И потому им не место среди нас. Или у нас тоже разделились голоса? Кто «за»? А ну, Додон, пересчитай, согласно нашему закону.
Додик подскочил к столу:
— Руки вверх! Левую руку опустить. Принято единогласно, Олег Леонардович. Со счетом 13 : 0.
— То-то же,— умиротворенно продолжал Олег Леонардович,— у нас голоса не разделятся. Остается один час две минуты сорок секунд. Дайте мне стадион!
Олег Леонардович встал в позу трибуна, державно расправив плечи. Глаза его излучали электронное сияние.
Стены зала порозовели, постепенно нагреваясь, и вдруг зажглись, сначала зелеными всполохами, хаотически пробегающими от пола к потолку, а затем ровно и неугасимо.
Мы оказались в геометрическом центре стадиона, видимо, в самый драматический момент матча, ибо трибуны вокруг нас бесновались и неистовствовали. Игроков на поле мы не видели, ибо сами находились в центре поля, сами были игроками — и все глаза устремлены на нас.
Гол был засчитан. Начиналась игра с центра поля. Трибуны забиты до отказа. И вот мяч в игре. Гул возрастал.
Табло показывало счет — 1 : 0. Я понял, почему табло висело так высоко. Теперь оно оказалось как раз на своем месте — вровень с верхней кромкой овальной трибуны.
И время как бы отсчитывало убывающий срок игры.
Четыре стены — четыре трибуны, отлитые в форме овала. Ощущение было настолько реальным, что я вздрогнул. Нет, не стадиону я удивился, сам болею за любимую команду. А вздрогнул я от этой вспыхнувшей внезапности, от накатывающегося волнами гула, в центре которого вдруг оказался.
Зато Олег Леонардович ничуть не шелохнулся, лишь голоса прибавил, дабы затмить рев стадиона. И впрямь, зажатый умелой режиссерской рукой гул отодвинулся в звуковой фон, напоминающий отдаленный рокот прибоя.
— Мы никому не позволим водить себя за нос,— яростно выкрикивал Олег Леонардович навстречу беснующимся трибунам.— Они хвастают тем, что у них великая демократия. Будто у нас демократии нет. Есть у нас демократия — и еще какая! И плюс к этому дисциплина. Притом сознательная. Мы осознанно пойдем на победу. Ради этого жгли на кострах еретиков, растапливали крематории, стремясь достигнуть

высшей рентабельности. То была лишь тренировка перед Великим огнем, в котором погибнут все наши идейные враги, наши критиканы, эти подлые пасквилянты. Некоторых народов на нашей планете расплодилось слишком много, они занимают наше место, едят наш хлеб, дышат нашим воздухом, а планета у нас одна. Поэтому мы должны проредить нашу землю, нашу матушку. Вот почему мы ставим вопрос о рентабельности. В этом случае мы окончательно решим проблему жизни. Лишь тогда начнется процесс оздоровления человечестаа. Правильно я говорю, ребята? Вы меня хорошо слышите?
Стадион бушевал в ответ. Правда, отдельные возгласы раздавались невпопад, ложась иной раз на середину фразы. А то и вовсе кричалось Бог знает что:
— С поля!
— Козел!
— Поставь ему свечку!
— Судью на мыло!
И свист, от которого закладывало уши. А Олег Леонардович лишь разгорался от этой звуковой вакханалии. Неожиданно я обратил внимание, что он вещает в микрофон, держа перед собой листки с готовым текстом! Значит, он говорит по-писаному? Я не мог поверить.
Ведь он же мне возражает. С такой быстротой выдать текст мог один Большой Элик. А что если Элик и сейчас среди нас, в Центре недоступности? Это открытие обескуражило меня — но вместе с тем и приободрило.
По полироаанной глади стола подкатилась еще одна записка:
«Поздравляю! Так держать!
Цель ничто, движение все! Поэтому Закон нашей цели гласит:
Наша цель ничто. Чем скорее мы превратимся в ничто, тем скорее достигнем своей цели. (98)
Твой Карл.
P. S. Не обращай на него внимания. Мы его скоро свалим. Рассчитываем на тебя».
А Олег Леонардович вовсю разошелся, с упоением продолжая под завораживающий рев стадиона:
— Да, я признаю, при такой рентабельности процент смертности будет высоким, порядка 80 процентов, как мы недавно утвердили на Законбюро. Но пускай нас останется всего 20 процентов, это все равно целый миллиард. Великий огонь это дезинфекция планеты. Совершится великое нравственное очищение в Великом огне. И тогда мы начнем новую ступень цивилизации. Количество произведенного товара на уцелевшую душу населения за полтора часа возрастет в пять раз, это же великий исторический скачок, равного которому не знали даже китайцы. Любого товара станет навалом. А главное, в Великом огне сгорят все наши распри, ибо все облученные станут единомышленниками. После Великого огня люди поймут, сколь низменными и мелочными они были. Великий огонь не есть зло, как тут пытались утверждать некоторые, он есть Добро с Большой буквы, и мы счастливы, что именно на нас выпала историческая миссия решать окончательно вопрос о добре и зле. Мы несем в будущее идею Ракетоносности.
Новая записка прилетела из-за левого плеча.
«Дорогой Я. Б.!
Предлагаю Закон неизвестности, который гласит:
Неизвестно, кто останется. Кто пишет сейчас хорошо, тех забудут. Останутся в литературе те, про которых сейчас неизвестно, хорошо ли они пишут. За это их и ругают. (99)
Точно также и с говорящими. Принимаешь?
Твой Майкл».
С дальнего конца стола выстрелили бумажной пулькой.
«Прошу заявления.
Фиксирую Закон юмора имени Марлена.
Данный гласит:
Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно. (100)
Шутка. Твой М. М.
Думаешь, я не знаю, кто меня Африкой обозвал?»
Следующая бумажка проросла прямо сквозь полированную поверхность стола. Я перевернул ее и прочел:
«Дорогой Я. Б. З.!
Мы никогда не договоримся с ними, равно как и между собой. Ибо есть Закон справедливости. Он гласит:
Справедливо все, что в мою пользу. (101)
Доброжелатель».
С какой радости они меня законами закидали? Я подвинул Красную папку, чтобы внимательнее изучить ее содержимое. Занятие оказалось поучительным.

1. Об издании сборника статей члена Законбюро Я. Б. Зет: «Верный компас —
мешок законов» (поправки и дополнения) — на 170 страницах.
2. Список законов (в порядке их появления).
Бог ты мой, все было учтено и расписано. К каждому закону привязан инвентарный
номерок, Большой Элик не дремал. Большой Элик стоял на страже моих законов.
Иначе кто бы сумел проделать эту титаническую работу. Я успел заглянуть лишь
в конец списка. Под номером 191 значился Негасимый Закон Четырех Слов, о котором
я лишь мечтал, не имея о нем ни малейшего понятия.
Мои законы идут впереди меня? Следовательно, я отстал от графика.
— Наконец-то мы покончим со словесными извержениями,— гремел Олег Лео-
нардович, отвлекая меня от главной мысли, которую я не мог ухватить.— Подходит час
дела. Это не закон. Это больше. Это теория ядерного самоочищения. Мы вступаем в эру
материального расщепления человечества. Но чтобы жизнь на планете развивалась
дальше, уцелевшим нужны вожди. Мы с вами находимся в Центре Недоступности,
здесь абсолютная безопасность, радиация сюда не проникнет. Вместе с обслуживаю-
щим персоналом нас тут 1200 человек. У нас полностью автономная система, рассчи-
танная на 18 лет жизни. Мы обеспечены всем: от домашних животных, которые будут
давать нам натуральное мясо, до видеомагнитофонов последних моделей, приобре-
тенных на валютные тугрики. В нашей фонотеке сорок тысяч кассет с лучшими
фильмами, музыкой на любой вкус. Сделаем домашний театр. Мы уцелеем и станем
властелинами всех. Мы поведем их по новому пути, ибо в результате повышенной
радиации произойдет мутация потомства — выживут самые стойкие представители
человеческой расы. На это уйдет не меньше трех поколений, пока уровень радиации
снова не дойдет до нормального. В яашем Центре находятся специально отобранные
производительницы из сборной страны, так что мы с вами, ха-ха, потрудимся. Созда-
дим новый свод законов. Я думаю, в целях повышения нравственности начнем с того,
что утвердим на Законбюро штатное расписание наших подружек.
С депешей в руках бесшумно подкатился лощеный курьер, только что прилетевший
из-за океана. Олег Леонардович прочел и продолжал на торжественной ноте:
— Вот видите, они отвергли наш ультиматум. Они сами развязывают нам руки. Мы
не можем допустить, чтобы справедливость была в их пользу. Они сорвали все перего-
воры о разоружении. Останется единственный способ — заставить их разоружиться.
И мы это сделаем. Наивысший Совет только что в одностороннем порядке принял
Закон о полном и окончательном разоружении. Да что тут зря время тратить! Ибо
второй Закон ракеты гласит:
Если ракета сделана, она должна взлететь. (102)
Они там у себя придумали Закон выживания. Ну и пусть попробуют с ним выжить,
хотел бы я на них после этого посмотреть. Наш Закон выживания гласит:
Кто первый кнопку нажмет, тот и будет жить. (103)
Поэтому отныне наша основополагающая задача — выработать научно и ракетно
доказуемый идеал, а затем всеми доступными средствами внедрить его по всему шари-
ку. Просто так мы не остановимся. В этом наша историческая миссия.
Ибо есть Закон идеала, и он гласит:
Все, что нам не по зубам, есть не наш идеал. (104)
Олег Леонардович обвел обжигающим взглядом бушующие трибуны и продолжал
более спокойно, почти буднично:
— Ракеты наведены на цель. Объявлена нулевая готовность. Вот депеша. Сенат
Благословенной страны только что утвердил Закон чужой боли. Они утверждают, будто
чужая боль не болит. Но у нас свой Закон чужой боли. Он гласит:
Чужая боль должна болеть больнее. (105)
До конца ультиматума остается один тайм. Мы успеем их опередить. Нажмите
кнопку, Ян Бенедиктович. Я вам приказываю от имени родины, от имени народа. Вы
слышите его глас? Настал час ядерного очищения.
На стадионе творилось нечто невообразимое. Сто тысяч человек в едином порыве
вскочили с места, вопя и горланя от возбуждения и распаляя себя своими же криками.
Звон восторга прошел по трибунам:
— Го-ол!
Но кто кому забил? На табло появился счет — 2 : 0. Я проигрывал с сухим счетом.
Олег Леонардович величественным жестом откинул бронированную крышку несгорае-
мого ящика, вмонтированного прямо в поверхность стола. Как раз на этом месте стоила
хрустальная пепельница, примененная для маскировки.
В ящике был пульт из одной кнопки. Одна-единственная Красная кнопка на фоне
черного бархата, имевшая форму сегмента полушария, этакая маковка планеты, оку-
нувшаяся в черную бездну космоса.
— Что же вы медлите, Ян Бенедиктович? — он смотрел на меня с явным неодобре-
нием.— Большой Элик объявил минутную готовность по всем пусковым объектам.
Следите за табло.

До последнего мгновения я не верил в серьезность намерений Олега Леонардовича. Мне казалось, что все это игра, примитивная пропагандистская шумиха. Записочки, экивоки — его никто тут не принимает всерьез.

Но нет. Обманутым оказался я один. Они хотят довести свое дело до исхода. Все взгляды устремлены на меня, жесткие, непреклонные. Тогда и я пойду до конца...

Я привстал с кресла. Олег Леонардович понял это по-своему, подбадривая меня:

— Смелее, Ян Бенедиктович, смелее, вы же давали расписку, что в нужную минуту, по первому зову... Все прогрессивное человечество скажет вам спасибо.

— Конечно, Олег Леонардович, я давал согласие,— лепетал я, пытаясь окончательно собраться с мыслями.— Всего два слова. По-моему, вы не совсем точно трактуете Закон чужой боли.

— Смотрите-ка, я его неправильно трактую,— Олег Леонардович приосанился, тряхнул седой головой.— Хотел бы я знать, кто кого должен трактовать!

— Он входное отверстие знает,— взвизгнул со своего места Марлен Марленович.

— Нажимай, падло! Приказываю. До операции «Красная кнопка» осталось тридцать две секунды. Мы никогда не откажемся от нашей Ракетоносности.

Так вот почему они меня выбирали — ради кнопки. У самих-то кишка тонка. Они искали белокурую бестию с двойным дном. Подвергли меня самым унизительным видам нравственной экзекуции. Им казалось, что они нашли именно того, кого искали. Они же мудрецы. Они никогда не ошибаются. А потом свалят все на меня. Вот какой план составила эта седая бестия.

Тоже мне — фюрер.

— Все прогрессивное человечество скажет вам спасибо.

Тут он себя и выдал. Именно это человечество он и жаждет уничтожить моей рукой.

Но я не поддамся. Я еще не знаю всего, но того, что я знаю, более чем достаточно, чтобы принять единственное решение.

Я ОДИН, СУПРОТИВ ВСЕХ ОДИН!

За моей спиной бдительно прорастал Додон Берендей, мой однокашник, дублер в Геростраты. Уж он-то нажмет не задумываясь и с чистой совестью.

Я потянулся рукой к бархатному пульту. Красная кнопка была бесстыдно обнажена. Сейчас я нажму ее, погружая в мякоть планеты. Ощущение было такое, что время остановилось. Убывающие секунды на табло словно застыли. До нулевой отметки оставалось 12 секунд. Степень устойчивости падала уже не в квадрате времени, но в кубе, или того скорее.

Стадион, затихший было на минуту, снова неистовствовал. Рука моя все тянулась. Я посмотрел вдоль стола: шеренга бутылок, вазы с яблоками — что выбрать в качестве орудия возмездия?

Все они как завороженные наблюдали за моей рукой. Стадион клокотал от неутоленной страсти, требуя нового гола. Табло показывало 7 секунд. Все-таки время двигалось.

Закон будущего гласит:

Самое страшное еще не наступило. (106)

— Через три секунды дайте пусковые объекты,— приказал Олег Леонардович.— Мы будем наблюдать взлет.

Тут я увидел хрустальную пепельницу, которую Олег Леонардович сдвинул, открывая крышку,— и наудачу сдвинул в мою сторону. Я примерился и сделал быстрый рывок. В пепельнице оказалось килограмма четыре, как раз то, что мне надо. Резкий замах — пепельница с крутым закрутом полетела в голову Олега Леонардовича. Я нырнул влево, уходя от Додика, и видел, что попал пепельницей точно в шею. Но хрусталь прошел сквозь Олега Леонардовича, как через воздух, однако при этом все-таки оказались нарушены какие-то коммуникации, потому что Олег Леонардович начал меркнуть и истончаться. Кажется, он все же успел театрально взмахнуть руками, запахивая воображаемый плащ на манер злых волшебников в цирке, исчезающих на наших глазах. А пепельница, нисколько не утратив в скорости, со звоном шмякнулась в стену, пробив ее насквозь. Лучистые струйки веером разбежались по изображению, разрывая его на части.

Осколки стекла брызнули на пол.

Изображение стадиона в ту же секунду затуманилось и погасло, матовый зал погрузился в темноту. За столом послышались возгласы удивления, быстро, однако, прекратившиеся.

Я упал на пол, но все было на удивление тихо. Лишь в световой полоске приоткрытой двери проскальзывали неуверенные тени. И тогда из освобожденной тишины навстречу мне всплыл завораживающий звук: кап-кап-кап, я слушал его и чувствовал, как комок подступает к горлу, словно это капали слезы, истекающие из меня.

Но нет, я не имею права расслабляться. Операция «Красная кнопка» с треском провалилась, но кто знает, что последует дальше? Во всяком случае теперь у меня уйма времени, чтобы сосредоточиться.

Кап-кап-кап — жизнь на планете продолжала журчать и струиться. Только сейчас я заметил, что на табло горит тусклая двойка — до нулевой отметки оставалось всего две секунды.

Все-таки задняя стенка не до конца испортилась. По ней снизу вверх пробежали рыжие всполохи, а потом зажглось изображение в цвете: морской пляж не то в Майями, не то на Ривьере. Десятки тысяч обнаженных тел, нежащихся под солнцем.

Картинки начали быстро перескакивать, как слайды на экране:

колыхающаяся толпа паломников перед собором Святого Петра в вечном городе;

многоколонный поток демонстрантов, текущий по площади небесного спокойствия, а над толпой вьются бумажные драконы и портреты великого кормчего;

старт марафонского забега на огромной городской площади, и побежали, побежали во всю ширь асфальта навстречу Великому очистительному огню. Кто добежит первым? До финиша осталось две секунды.

Это была ностальгия по сгоревшему человечеству, экранизация бывшей жизни на планете. Ничего не скажешь, у них тут в самом деле все продумано.

Последняя картинка погасла. Кто-то пытался восстановить систему. Или система восстанавливала себя, пытаясь замести следы?

Кап-кап-кап — капля за каплей на маковку планеты. Капля за каплей — в одну и ту же болевую точку. Сколько еще в состоянии выдержать Земля?

13. ЯНТАРНАЯ ТРИБУНА

Как хорошо было на Лесной даче. В Лисьей норе тоже было не так уж плохо: я страдал, но я же и боролся. В пересохшем бассейне много не поплаваешь, зато там был полет мысли. Даже в клетке с бенгальскими тиграми я мог рассчитывать на удачу.

А теперь никакой надежды. Я больше не принадлежу себе, ибо отдан моему народу.

Тут же замигал прямой терминал от Большого Элика. Мой друг и наставник ни на минуту не оставлял меня наедине с самим собой.

— Ты устал,— нашептывал он мне бегущей строкой.— Отдохни. Расслабься. Он пришел.

— Где Корнелия? — спросил я.— Расшифровали депешу?

— Расслабься. Он ждет уже три часа,— терпеливо внушал Большой Элик.

В самом деле, это был он. Согбенный, поредевший, словно бы разбавленный пресной водой. Однако прежняя закваска еще проглядывала сквозь прорехи нового мышления. И мешок за плечами.

Он подошел ближе, склонил голову. Я так и ахнул про себя — где же Африка? Был континент — и нету! Рассосался. Развеялся по земным орбитам. Лишь остатки мыса Доброй Надежды угадывались на затылке, сбегая к по-прежнему чуткому уху.

Закон надежды гласит:

Все, что не сбывается, не есть надежда. (107)

— Извини, Марленушка,— начал я, расслабляясь.— Заставил тебя ждать. Делишки.

— А я и не ждамши,— резво ответствовал Марлен Марленович.— Лифт-то не работает, так я пешкодралом на тридцать третий этаж, пока отдышался...

— В чем же просьба, Марленушка? Визу-то я ведь уже подписал. Срок секретности кончился — ты свободен.

— А билет? Еще при мне утверждали: 20 килограммов на нос. Кто же думал, что против самого обернется. У меня одних чемоданов двадцать семь штук. И мешков столько же.

— Ишь, сколько награбил,— невольно удивился я.— Мафия. Коррупция. Рэкет. Казна, как собственный карман.

— Перед вами, как перед Богом, Ян Бенедиктович. Ни одного грамма не награбил. Я ведь на визах сидел. По пятьсот виз в день. Каждую надо взвесить, работа адская. Но я в душе добрый. Как отказать? А они еще добрее меня. Они свое несли, кровное. Исключительно на основе добровольности. Казна тут не участвует. Наоборот, она приобретает. Вот живой пример.— Он протянул руку, а в руке яичко, да не простое, а которое тикает, красоты неимоверной. Он продолжал: — Семнадцатый век. Работы господина Мозера Франца. А как ходит! За 300 лет отстали всего на 22 секунды. Прошу принять в дар от бывшего члена Законбюро, так сказать, соратника по присутствию.

— Положи на стол, Марленушка, так и быть, не станут тебя привлекать за попытку подкупа. Мы сейчас создаем правовое государство. Наши законы должны стать конвертируемыми. А вот с билетом прямо не знаю как быть. Ведь туда и поезда прямого нет.

— Так я же вовсе не туда. Я по другому маршруту. Аккурат в республику немцев Задунайщины. На свою историческую родину.

— То-то я смотрю анкету и удивляюсь: почему ты по паспорту Марлен Карлович? Когда это сделалось?

— Получил свое отчество исключительно в честь прадеда. Имею прямую линию, от которой никогда не отклонялся. Стоял на страже. А мне в награду спецпаек прикрыли. Теперь и дачу грозятся отобрать.

— Значит так, Марлен Карлович,— начал я, потому что от Большого Элика поступила световая депеша: «Не расслабляться!» — Немцы Задунайщины ждут вас. Однако закон у нас для всех один. Таможня проверит до ниточки. Рекомендую сдать все награбленное добровольно. Шесть чемоданов оставим вам, тогда и билет менять не придется.

— Десять,— быстро сказал он.

— Восемь,— ответил я.— Тебя вообще за яйца подвесить мало. Ты же ведь не народ погубил, ты идею разрушил. Было у нас светлое будущее. Светило и звало. А что осталось? Дыра. Провинция. Всенародный тупик. Вот что ты сделал с высшим достижением человеческой мысли.

— Каюсь. Виноват. Погорячились мы в том далеком семнадцатом. Вот она и усохла, идея-то. А потому и усохла, что учить ее плохо стали. Как нам отец завещал: учиться, учиться и учиться. А мы забросили, пустили на самотек. Критиканы кругом.

— Это ты верно, Марлен Карлович, говоришь. Это мы поправим.

— Так что примите в дар от пассажира дальнего следования.— Марлен Карлович подошел к дальней стене и отодвинул занавес, за которым обычно скрывались глаза и уши Большого Элика.

Там стояла та самая трибуна, о которой я давно мечтал, которая снилась мне в сладких сновидениях.

— Трибуна Янтарная для президента Яна,— важно провозгласил Марлен Марленович, по паспорту Карлович.— Вот с нее и начнем реанимацию нашей светлой идеи.

— Когда же ты успел, Марленушка? — удивился я.

— Никак нет, господин президент Ян. Изготовлена по личному заказу вашей супружницы Корнелии Ивановны из лучших пород янтаря. А также по моим чертежам, ибо янтарная трибуна не простая, а с государственным секретом и двойным дном. В случае необходимости поднимается стульчак, и, если доклад особой государственной важности и протяженности, вы можете сходить по нужде, не прерывая мудрой мысли. Имею авторское свидетельство.

— Пошел вон, кретин! — не выдержал я.

Марлен растворился.

Забегая вперед, должен признать, что янтарная трибуна сыграла весьма положительную роль в тех исторических процессах, которые были провозглашены с нее. Янтарная трибуна одинаково прекрасно смотрелась как в зале, так и на экране телевизора. Переливаясь и играя в лучах прожекторов, она излучала свет надежды и уверенности в завтрашнем дне.

Именно с нее был провозглашен Главный закон моей эпохи, который навсегда вошел в историю Отечества.

Закон стабильности гласит:

Стабильность должна быть стабильной. (108)

В целях усиления правового государства был единогласно принят Закон стрижки. Он гласит:

Каждый гражданин данной державы имеет право носить любую прическу любого фасона и длины волос при условии, если он предварительно будет острижен наголо. (109)

— Где Корнелия? — спросил я.

— Депеша направлена в расшифровку. Мадам Корнелия в настоящий момент принимает трех министров одновременно. Протокол согласован.

— Конкретно?

— Министр финансов занимает активную позицию. Министр внешней торговли и министр просвещения расположились в партере. К сожалению, по согласию сторон, прием совершается в темноте, и мы лишены возможности распознать подробности.

— Я же сказал — конкретно?

— Протоколы согласованы на триста сорок миллионов. Депеша расшифрована. Разрешите зачитать. Или подать к столу?

— Зачитывай, тебе говорят.

— Правительственная. Совершенно секретно. Дорогой, ненаглядный мой Янтарчик. Как тебе понравился мой скромный подарочек? Как только прилечу, мы с тобой ее тут же опробуем. Эта штука с секретом — догадайся сам. Тут и мужиков-то нет. Пошалить не с кем, одни мозгляки. Так что никакой радости. Исключительно по делу. Во имя нашей великой родины. А ты всегда при мне — храню в сумочке. А если что про эту Джульетту узнаю, берегитесь оба. Твоя Корнелия. Повторить?

— Потом. Перед сном.

Следует признать, брак с Корнелией оказался удачным со всех точек зрения, особенно с государственной. Первая леди Большой страны первенствовала во всех

отношениях. Ее ненасытность, начиная с камней, не знала насыщения. Она безумно увлеклась строительством дач. И пошло — дача Степная, дача Приморская, дача-Горная... Ее вкус сделался украшением державы. Мощность ее лона превышала все известные до того мировые стандарты и колебалась в пределах от 75 лошадиных сил до 20 мегатонн в зависимости от атмосферных условий. Слава *о* Корнелии Зет летела по миру впереди нее. «Посетить с официальным визитом» — приглашения следовали одно за другим. А с ответными визитами просто не поспевали. Таким образом первая леди Большой страны, сама того не подозревая, открыла Закон гостеприимства, который гласит:

Нынче здесь — завтра там. (110)

Во все поездки, ближние и дальние, Корнелия брала с собой гинекологическое кресло, которое в случае необходимости тут же обращалось в дыбу. Успех был потрясающий. Конструкция дыбы стала государственным секретом номер один. Денно и нощно лоно первой леди работало на отчизну. Валютные поступления в казну возросли в сорок раз. Я мог быть спокоен за наше будущее и объявил о политике сокращения «Семи о».

Вместо «Семи *о*» — «ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ» — была провозглашена политика «Трех-о»: Обновление. Омоложение. Осеменение.

Ракетный бульвар был торжественно переименован в проспект Разрядки, а для процесса ускорения мы ввели на нем одностороннее движение.

Додон Берендей остался при мне. Оказывается, во время испытаний он выбрал стрелку с серпом и молотом — и пошел своей тропой. Увы, уверенный в себе Додик набрал всего 192 балла из двухсот. Так Додон Берендей стал моим подданным и тут же получил должность начальника министерства зеркал и дезинформации. Уж он постарался подать как следует нашу разрядочную политику. Весь мир слушал наш голос.

Марианна отбыла с Олегом Леонардовичем в арабскую страну. Изредка от нее приходили цветные открытки с пальмами и земноводными рептилиями. Когда мы прощались в аэропорту, Марианна сказала мне:

— Не сердись. Я не создана для успеха. Мужчина-победитель — не мой идеал. Я могу быть лишь с тем, кто отвержен и слаб. Я не верила в твою победу и не желала ее. Во всем виноват Большой Элик. Ты ведь не сердишься на меня — да?

Олег Леонардович обнял меня на прощание со слезой в голосе:

— Не обессудь. Оставляю хозяйство на тебя. Признаюсь: недра поистрепались, кадры разболтались, гидросистемы пересохли. Но ты молодой, совладаешь.

Теоретик сам пришел ко мне с предложением услуг. Грех было отказываться от такого человека. Теоретик сделался практиком и теперь успешно присматривает за органами Зрения. Думаю ввести его в Законбюро. Недавно поступило донесение, что Олег Леонардович вступил в тайный союз с шейхами — и будто бы сам собирается стать подпольным шейхом по принципам теневой экономики.

Наложим контрибуцию.

Закон национализации гласит:

Все, что национализировано, будет канализировано. Вся национализация уйдет в канализацию. (111)

Я уже начинал подумывать — не приступить ли мне к мемуарам? Мешок законов я крепко-накрепко запечатал сургучными печатями и сдал на хранение в швейцарский банк из расчета 8 процентов годовых. Корнелия собственноручно отвезла Мешок законов на берега знаменитого озера, благодаря чему сумма заклада возросла на два миллиона.

Если это неблагодарное стадо решится на бунт, мне не страшно: вертолет дежурит на крыше 24 часа в сутки, а зеленый светлячок на пульте не угасает, ибо продублирован еще про трем каналам. Сто секунд — и мы с Корнелией на орбите.

Четвертый Закон мешка гласит;

Кому — мешок законов, кому — мешок с деньгами. Каждому свое. (112)

— А меня ты возьмешь с собой? — грустно спрашивал Большой Элик.— За сто секунд я не успею. Для моего демонтажа нужно не менее сорока часов. Значит, ты любишь Корнелию больше меня?

— Видишь ли...— Я задумался. Как объяснить это? С Корнелией абсолютное слияние плоти, прорыв из собственной кожи. А с Большим Эликом почти то же самое, однако на другой основе: абсолютное слияние идеи. Что выше? Смотря когда и где...

— Я понял тебя,— отвечал он.— Неужели ты думаешь, что может быть что-то выше и совершеннее мысли?

— Даже если эта мысль искусственная?

— Ах вот оно что? Но разве ты можешь быть уверенным до конца, что я неживой?

— Конечно, Элик, я все знаю. Ты и есть тот инопланетянин, пришелец из созвездия Стрельца. Я люблю тебя как брата по разуму. И вообще подожди, может, все обойдется?

— Вот об этом ты и скажи. Через пять минут воскресная проповедь по всем четырем каналам. Янтарная трибуна приготовлена, я вставил успокоительные мотивы, их

надо произнести с особой теплотой. Ты скажешь, что у нас все хорошо и прекрасно,— они поверят, я пошлю на них излучение.

— А ты мне покажешь сегодня Кору?

— Для этого ты должен хорошо прочесть свою проповедь.

— А что покажешь? Последнюю запись — да?

— Осталось три минуты. Думай о вечном и добром.

— Только учти. Последний раз запах был сильно разбавленным. Меня это все время отвлекало. Это же запах моего розового детства, помню его, как вчера.

— Хорошо, я переменю установку на запах.

Ах, сколь сладостно проникнуть в сокровенную тайну янтарной трибуны, вмонтированную в ее второе дно. Это и был секрет, обещанный Корнелией. Я открывал второе дно и проникал в царство волшебных снов.

Я вдыхал сладостные запахи отбросов, а там, в щели, моя единственная любовь, моя Корнелия предавалась своим утехам, как умела делать это она одна, моя желанная, ненасытная...

— Осталось полторы минуты,— доложил Большой Элик.— Иди! А потом я покажу тебе все, что ты пожелаешь. Но — читай с выражением.

Я занял место на трибуне с двойным дном. Текст лежал наготове. Стакан с гранатовым соком. Мягкая подсветка.

А на внутреннем срезе трибуны, видные мне одному, шли заветные слова, сложенные из старого темного янтаря. Они струились, переливаясь янтарным соком, впитавшим в себя мудрость веков.

Негасимый закон мировых горизонтов гласит:

Все не для всех. (113)

Режиссер подал знак. Я набрал больше воздуха в грудь. Тотчас раздались соловьиные трели. Воскресная проповедь началась.

1973—1983

Тамара
ДУНАЕВСКАЯ

◆◆◆

Худой мальчишка загляделся ввысь.
Гул самолетов. Он все ближе, ближе.
И чей-то крик надорванный: «Ложись!»
Вжимаемся мы в комья глины рыжей.

И снова поднимаемся. Но нет
Уже кого-то больше между нами.
Худой мальчишка смотрит в белый
свет —
Навек остекленевшими глазами.

Сатанеют пули эти,
Верной гибелью грозя...
Но за парня и в ответе,
Значит, умирать нельзя.

Бьется сердце тяжкой гирькой,
Но выходим из огня.
Все нормально, только дырка
На пилотке у меня.

Доползла, вернулась — вот как.
Можно малость отдохнуть.
А пилотка? Что пилотка!
Залатаю как-нибудь.

На полосе нейтральной

На земле ничейной, ровной.
Где ромашки и чебрец,
Молча истекает кровью
Наш разведчик, наш боец.

Тишина в опасной зоне.
А не встанешь в полный рост:
Местность, будто на ладони,
Вся видна за десять верст.

Едкой пылью пахнут травы,
Степь ожогами пестра.
Снайпер-немец где-то справа.
Ну, а слева я — сестра.

И ползу я, зубы стиснув,
Оцарапав кожу щек.
Сухо треснул первый выстрел
А потом еще, еще...

Старшина

Пусть писем никому в палате нет,
Пусть в этом деле почта подкачала,
А старшине опять несут конверт
И говорят, что он везучий малый.

Читай, сестра, читай, не торопись
Про то, как вербы смотрятся
с откоса,
Как над лугами белый пар повис,
И воздух стал духмяным от покоса.

Читай ему про тихое село,
И сад, умытый яблоневым цветом...
В бою глаза солдату обожгло.
И что в письме — поведать тяжело,
Читай, сестра,—
Пусть даже писем нету.

Наталья
АСТАФЬЕВА

◆◆◆

Зима была такой жестокой,
грунт выморозила дотла,
и для всего живого шоком,
глубоким обмороком была.

Земля столбняк преодолела
и оживает, вся дрожа,
как чудом выжившее тело,
где чудом держится душа.

◆◆◆

Отвратительно убийство
даже мухи и жука.
Трепыхается живое
до последнего толчка.

Отвратительно убийство —
телу заданные муки.
Отвратительно убийство,
хоть из страха, хоть от скуки.

Отвратительно убийство.
Да отсохнет та рука,
что, готовясь сделать выстрел,
держит палец у курка.

◆◆◆

На кочках
вылинявший снег
повис,
как шерсти клочья.
И смерть
задумал человек,
как камень, мысль ворочая.
И ухнуло
и вверх пошло,
беременное семенем,
как черный гриб,
людское зло,
и дождь его рассеивал.
И рассыпались в прах грибы,
и мхи,
как кровь, алели,
и привставали на дыбы
и хрюкали олени.
Скакали в небо,
на бегу
валились вяло на бок,
и вертолет на берегу
по кочкам прыгал жабой.
Качались черные грибы,
и взрывом пригибало
вершины
круглые, как лбы,
Полярного Урала.

◆◆◆

Гляжу я в тихий небосвод,
где не любовь уже, а милость,
но жду, чтоб вновь любовь явилась,
пусть вновь нахлынет и несет.

Я говорю: жалей траву
и камень на краю обрыва,
а я и без тебя счастливо
свой век до смерти доживу.

Но пусть и это говорю,
еще в твоей сегодня власти
мне подарить любовь, как счастье,
как сад цветущий пустырю.

◆◆◆

Черновики, наброски строф
зачеркнутых... Все не по сути:
нет той жестокости, той жути...
А жизнь прошла в беде и в смуте,
среди мучительнейших проб.

Владимир
ДРУЖИНИН

ИМЕНЕМ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА

Роман

ПОЕДИНОК

В туче жаркой пыли, поднятой колесами, несся княжеский возок и кощунственная серость оседала на позолоте герба. Но погода в сем краю переменчива, теплый дождь услужливо смывал прах ливонской земли, геральдические фигуры блистали вновь — корона княжеская, витязи-щитоносцы, пушечные стволы, знамена.

— Ворона,— бормотал Данилыч сквозь зубы, задремывая,— ворона черная.

Бывало, и в глаза говорил, с кривой усмешкой. Племянница царя раздражала его. Толстуха, обжора, грива темных, жирных волос — как не учешет, все равно выбиваются патлы. Анна, герцогиня Курляндская... Дочери Петра ласкались к нему, руки целовали, она — никогда. А в гости пожаловать — охотно, без церемоний, знает, где вкусно едят. Начудила недавно...

Простоволосая, в шлафроке и с ружьем... Палит в Неву по бревнам, которые кто-то потерял на льду. Весь дом перебулгачила спозаранку. Адъютанта заставила заряжать, Данилыч, поднятый с постели, вырвал у нее ружье. Рассказал царице:

— Бесится Анна, матушка.

— Ей мужа надо.

— С ней Бирон, лошадник этот...

— Мужа надо,— отрезала самодержица. Звучало как приказ — найти супруга. Российской державе угодно.

Не находилось.

Несколько месяцев гостила курляндская вдова в Петербурге. Выпытывали у нее — может, есть женихи на примете? Нету... «Шарахаются, как от той Медузы-горгоны»,— сказала она, смеясь, за обедом Дарье, приканчивая баранью ногу. Уж точно — дикобраз. «Коня я сумею объездить, мужа — не берусь»,— тоже из ее речей. В седле ей вольготней, чем на балу. Вся в черном, и конь под ней черный — страхота! Или зуд нападет стрелять.

Птиц, собак, деревья, столбы избирала мишенью. Меткостью не уступает гвардейцам, так же и в сквернословии. Облегчение невыразимое доставила отъездом своим, весной. И вскоре — письмо из Митавы, письмо ошеломительное.

Замуж собралась...

Слезно просит князя, почитаемого яко отца родного, ходатайствовать перед императрицей — да изволит одобрить брак с благородным, достойным кавалером. Мориц, сын метрессы Августа, короля Польши, курфюрста Саксонии... «Он мне не противен». Ишь, скромница! Огнем горит, небось! Мориц, слыхать, соблазнитель великий. Откуда взялся? Кто сосватал?

Данилыч отослал секретаря, попытался обдумать трезво. Баронам жених по вкусу — вот в чем суть. Привели в дом к Анне и, верно, ландтаг созывают, парламент ихний, чтобы возвести этого бродягу на трон.

Ускользнет Курляндия...

Вмиг ощутил седло под собой, саблю в руке. Остановить, пресечь наглое воровство. Видит, Неразлучный... Голосом подтверждает волю свою.

— Эй, герцог, почем пирожки в Курляндии?

Со смехом, за чаркой дал деньги — поднести деликатно Августу, получить поддержку. Данилыч со смехом благодарил. Демарш отчаянный, на авось.

Не вышло тогда...

Но милостива судьба, новый шанс подарила. Теперь заручиться приказом царицы — и действовать.

Екатерина лениво щипала бисквит, кормила двух рыжих щенков, резвившихся на кровати. Медленно вытерла пальцы. Читала письмо медленно, фраза «он мне не противен» рассердила ее — лицемерка Анна. Потом, надломив брови, отрезала:

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 4.

— Морица нельзя.

— Того и ждал от тебя. Я, если велишь...

— А Фердинанд где?

— Должно в Данциге. Где ему быть? Поди, дряхлый сильно, оттого и занадобился Мориц.

Кивнула, разумеет, сколь сложно с Курляндией. Не хватало еще, чтобы Фердинанд, унаследовавший трон и тотчас отрекшийся, внезапно вернулся в Митаву. Юрод безумный, вызыватель духов... С него станется.

— Бароны, матушка, в страхе. Умрет он — Польша себе закогтит земельку. Как выморочную... Статья есть на сей счет в трактате каком-то. А бароны вольность берегут и Мориц, я так сужу, с ними заодно. Сын с отцом — что кошка с собакой. Хорош папаша, пустил мальчишку без гроша по свету.

— Содом и Гоморра.

— Истинно, матушка,— отозвался князь, не вдумываясь.— Так если повелишь, я мигом... Драгун своих возьму.

— Драгун?

— Одному, что ли? Фельдмаршалу эскорт подобает. Да я для престижа только...

— Ты грубый, Александр. Гр-рубый человек-к. Это не Россия. Остермана пошлю.

— Больной он, не поедет. Матушка! — и Данилыч, похолодев от ужаса, опустился на колени.— Вспомни! Воля государя... Богом заклинаю, позволь исполнить!

Смягчилась.

— У меня нет отца,— говорил Мориц о себе.— Я всем обязан матери и вот этой шпаге.

Черты Авроры фон Кенигсмарк, знаменитой красавицы, угадывались в нем. Выросший в изгнании, он приучен к лишениям. Графиня говорила на шести языках, играла на клавесине, публиковала стихи. От нее он унаследовал любовь к музыке, к театру, иногда — на бивуаке — брался за перо.

Отпрыск Августа, прозванного Сильным, он легко ломает подкову. Воинским талантом, храбростью союзник Петра не отличался — эти качества Мориц выработал сам. Двенадцати лет он в строю, офицер-практикант, четырнадцатилетним — участвует в штурме Риги, затем сражается в Померании. Начальники хвалят его, но отец равнодушен, награды обходят юного воина. Озлобленный, он бросает саксонскую армию. Подобно многим обездоленным, предлагает свою шпагу тому, кто склонен купить. Вступает в другую войну — во Фландрии, под знаменем Франции. В первых же стычках замечен, повышен чином и... проклят отцом.

Август бесновался. Сердобольные придворные подливали лишь масла в огонь.

— Объявить вне закона... Повесить...

За голову изменника обещана мзда. Удар в спину угрожает Морицу. Он ловок, удачлив — на поле боя и в играх амурных. Людовик Пятнадцатый поручает ему полк мушкетеров, дарит огромный, окруженный парком, угодьями замок Шамбор.

Он мог бы написать роман о себе — приключения отважных кондотьеров, героев века, читаются взахлеб. Нет, из-под пера выходят военные трактаты и наставления. Солдаты любят Морица, спесивые, бездарные вельможи ненавидят.

— Я скорее пожертвую генералом, чем гренадером,— говорит он в светской гостиной, громко, назло.

Ему не исполнилось и тридцати, когда он стал маршалом Франции. Клинок запродан, но мысль независима.

«Небольшая кучка богатых и жадных до наслаждений бездельников благоденствует за счет массы бедняков, которые могут существовать лишь постольку, поскольку обеспечивают господам все новые наслаждения... Разве с такими нравами римляне покорили весь мир?»

Вот куда уносит мечта — в античную древность!

Отрада Морица — театр. Волшебство Мельпомены оживляет героев былого, саксонец стойко высиживает пятичасовые спектакли, неистово аплодирует. С конфетами, цветами, сквозь толпу воздыхателей пробивается к Адриенне Лекуврер — царице парижской сцены.

Родной дом обрел Мориц у нее, в квартале Марэ — безалаберном, бессонном, где рядом с философом, с композитором проживает шарманщик, фигляр, уличный шансонье. Дочь бедного шляпника рано сдружилась с книгой, читаны и перечитаны повествования Даниэля о Кромвеле, победителе монархии, аббата Верто о Густаве Вазе, который избавил Швецию от захватчиков и принял власть из рук народа.

Бравый, грубоватый с виду военный, вошедший в ее жизнь, духовно сродни этим людям высокого мужества, благородных помыслов. Потому и пленил ее... Конечно, он не создан для безмятежного семейного счастья. Да и смеет ли она — актриса — мечтать о брачном союзе с шевалье королевской крови!

— Я здесь чужой... Отец опозорил меня, но он раскается. Клянусь, я сумею отстоять свою честь.

Однажды он получил письмо, прочел несколько раз, потом сжег и сказал, радуясь:

— Кому-то я нужен...

В небольшом немецком герцогстве у него есть друзья. Возможно, от них зависит его будущее. Надо ехать в Варшаву, там назначено секретное свидание.

Курляндия...

Некогда процветавшая, она держала многочисленный флот, имела владения в южных морях. Остров Тобаго, богатый пряностями, сахарным тростником... Но случилось несчастье. Нашествие шведов обрушилось на страну, заглохли ее гавани, ее мануфактуры. Подняться ей так и не удалось. Шведов уже нет, но жадные соседи — Россия, Польша, Пруссия — готовы разорвать Курляндию на части. Спасти ее должен умный, храбрый правитель, свободный от политических обязательств.

На карте Адриенна увидела птицу, раскрывшую крылья,— вот-вот взлетит над морской синевой. Странные очертания, казалось, сулили удачу будущему правителю. Ее Морицу... Остров Тобаго отыскался в другом полушарии — обломок Южной Америки, вынесенный рекой Ориноко.

— Привезу тебе обезьянку.

Она грустно усмехнулась. Утешать незачем. Требуется жертва. Что ж, она готова...

В те дни театралы ломились на «Беренику». Овации и рыдания исторгала иудейская царица, любящая и самоотверженная. Тит, сделавшийся императором Рима, не вправе жениться на иностранке, долг повелевает влюбленным расстаться.

По воле случая драма Расина сомкнулась с жизнью артистки. Собственную боль бросала она в зал:

> Я буду жить, таков приказ твой и завет.
> Прощай и царствуй, друг, нам встречи больше нет!

Из Варшавы он вернулся довольный — курляндцы зовут его. Но расходы, расходы... Надо нанять слуг, обновить гардероб. От именья Шамбор одни убытки. Вор-управляющий выгнан, новый ничуть не лучше. Где раздобыть денег? Адриенна сняла со стены и продала старинный гобелен — подарок богатого покровителя. Ей ничего не жаль для своего обожаемого рыцаря.

Что уготовано ему? Он пускается во все тяжкие, совершенно один, отец безразличен, пальцем не шевельнет... Чем еще она может помочь Морицу?

Пусть узнают люди...

«Невозможно,— пишет она в дневнике потомкам,— не испытать предельного возмущения против отца. Его поведение настолько же возмутительно, насколько действия сына заслуживают сочувствия своим благородством посреди всяческих невзгод».

Покои, отведенные князю в рижском замке,— окнами на Двину. Три мельницы, шеренгой, словно в Голландии, машут крыльями на том берегу — курляндском. Мачты причала, сочная листва садов, серые пятна крыш.

Горохов промучил ожиданием два дня. Привыкший сохранять вид бравый, беспечальный при любых обстоятельствах, выпалил почти с торжеством:

— Саксонца выбрали.

Положил на стол кошели с ефимками — увы, лишь малая часть потрачена и, верно, зря. Один барон соблазнился, обещал в российских интересах стараться.

— Государство с полушку, а гонора-то, гонора... Никого не признают над собой. Фердинанд молчит, поляки тоже пока...

— Зашумят, Горошек... А герцогиня наша? Спит с Морицем?

— Плоть едина, батя. Как стемнеет, он к ней. Всякий стыд откинули.

— Галанту, стало быть, отставка?

— Бирону? Носа не кажет.

— Разобрало же Анну! Что за сласть в саксонце? Вот оно как с бабами, Горошек. Никогда не знаешь... Говорил ты с ней? Получила она письмо царицы?

— Про это не поминала. Я спросил — угодно светлейшей герцогине принять его светлость князя? Нет, говорит, незачем ему беспокоиться, я сама к нему еду. Завтра же... С тем меня и отослала.

Что ж, добро пожаловать...

Погода испортилась, всю ночь барабанил дождь. Дороги раамыло, шестерка коней целый день волокла по ухабам, по лужам тяжелую карету. Данилыч, услышав трубу форейтора, спустился с крыльца и подивился — к чему сей парад? Комья грязи облепили герцогский герб, золоченую сбрую.

— Гряди, гряди, голубица! Для милого дружка семь верст не околица. Верно?

Шутить не настроена. Сошла, не коснушись поданной руки, следом выскочили два пажа, два румяных херувима в красных кафтанцах, понесли шлейф.

— Голодная, небось... Битте! Через порог да за пирог.

— Премного благодарна.

Скорым шагом прошла в гостиную, села. Тяжелая неприязнь в лице.

— Провещись, касатушка!

Нет, напрасны усилия исторгнуть хотя бы намек на улыбку. Чужеземная гостья явилась, немецкая герцогиня. Забудь, что нянчил ее, малолетнюю, шлепал по мягкому месту, уча уму-разуму, что неделями пила и ела у тебя, докучала болтовней пьяной, капризами да несносной стрельбой.

— Я в надежде была на вашу светлость... Писала вам... Видать, обманулась. Милости ждать от вас...

Голос ее дрогнул.

— Дурости ты от меня хочешь,— отрезал князь.— Я нашей державе не враг.

— Я, что ли, враждебна?

— А ты рассуди, кому Курляндию даришь? Законный твой Мориц, незаконный — это пустое... Кровь Августа. Сын ему не дорог, так Курляндия, кусок-то жирный. Неужели толковать тебе надо, пресветлая? Великий государь определил — быть сей земле в империи российской. Ты не полячка, не немка. Дочь царя Ивана...

При последних словах Анна надменно вздернула голову, быстрыми, нервными движениями подобрала платье, будто собиралась встать и уйти.

— Не чаю я... Не чаю худого от короля Августа. Он нам завсегда приятен.

— Приятность в амурах бывает.

Дернулась, как от ожога.

— Кушать изволишь?

— Утруждать вашу светлость не смею. У меня тут свой кухмистер в Риге.

— Твоя воля...

— Хоть в этом вольна... Горек мне твой хлеб.

— Напрасно. Я зла на тебя не имею. А Морица мы не допустим. Мало ли, что выбран... Митава Санкт-Петербургу не указ... Интерес короны нашей...

— Твой интерес, твой! — выдохнула Анна глухо, с ненавистью.

И полилось... Известно, куда метит его светлость, всей Митаве известно, да не бывать тому. Трясет он толстым кошельком, думает — соблазнил, продадут бароны свою вольность. Не купит и не запугает, хоть сто тысяч войска приведет. Фердинанд свое слово скажет и другие суверены вступятся, не дадут в обиду Курляндию.

Решительно встала. Князь проводил до экипажа молча, вернулся к столу, к остывшему фазану.

— Пропали мы,— сказал он, криво усмехаясь, Горохову.— Герцогиня нам войну объявила.

Однако надо отписать Екатерине. Любопытствует ведь самодержица. Признаться, что поругались? Скажет — худой он дипломат, худое начало миссии. Огорчится царица. Разумнее успокаивать ее и вельмож, реляции слать утешительные, дабы не вмешивались.

Мол, убедил Анну. Согласилась — только светлейший князь сумеет защитить ее права на угодья и деревни, если же другой кто сядет на трон, «то она не может знать, ласково ль поступать с ней будет».

Горохов под диктовку господина своего записал и тотчас с курьером отправил.

Мориц не попадается на глаза, да князь и не жаждет встречи. Мало, что выбран... Невелик персонаж в сей комедии — о чем говорить с ним, что решать? Ну, если напросится... Однако какой смысл? Свататься, что ли, придет, будто к отцу невесты? Смехота! Или права свои заявлять? Так не коронован еще и не обвенчан...

Напросился все же...

Светлейший хорошо помнил мальчишку, который гордо носил мундир офицера, саксонского союзника. Хоть и отвергнутый отцом, все же был на примете у государя и не раз обласкан. Теперь противник... Глянув в зеркало, Данилыч обтянул кафтан, приосанился, вид придал себе неприступный. Жесткие подбирал слова, дабы осадить наглого претендента.

Узнал Морица немедля, как только вошел рослый, плечистый вояка, строевым шагом, помахивая крупными, длинными руками, улыбнулся открыто, даже беспечно.

— Никак я не мог вообразить, мой принц, что моя кандидатура неугодна Ея Величеству.

Сказал легко, подавив смешок, будто речь идет о происшествии не столь огорчительном, сколь курьезном.

— И вы предприняли, господин маршал Франции, дальнюю поездку. Боюсь, напрасно.

Да, маршал Франции, чужак, появление коего в этой части Европы странно, неуместно. Так следует его величать. Понял, наверно... Но не смутился.

— Я выбран законно. Остальное в воле Божьей.

— Есть еще Фердинанд. Бароны не спросили его. Посудите сами, господин маршал, можно ли ваше избрание считать окончательным!

— О, нет, конечно. Я не так глуп. Как это у вас... Попытка не пытка.

Выговорил по-русски, с озорством. Улыбка того мальчишки... Проще стало с ним. Князь усмехнулся, но смягчиться себе не разрешил.

— Теряете время здесь.

— Почему же? Городок недурной, я отдыхаю душой. Провинция, конечно. Мне не хватает театра. Первым долгом, мой принц, я позаботился бы о театре, ибо какое же государство без него? Вообще, очень много, при разумном правлении, можно создать полезного.

— Увы, майн герр, не все от нас зависит,— молвил князь поучающе, силясь придать сей максиме смысл расширительный. Мориц уловил, отозвался с живостью.

— От вас очень много, мой принц. В моем деле. Но вы мне не поможете.

— Не помогу.

— Да, у вас есть свои расчеты.

— Есть, майн герр.

— Ну вот, мы по крайней мере откровенны. Итак, соглашение между нами исключено. Что остается? Дуэль,— и Мориц расхохотался.— Восхитительный спектакль, не правда ли? На всю Европу, мой принц.

— Позвольте, граф, существует другой способ решать споры! Допустим, некая сумма денег, которая возместила бы вам...

— Вы предлагаете отступное?

— Подумайте!

— О, вы готовы потратиться? У вас-то, мой принц, простите, не больше шансов стать герцогом Курляндии.

— Увидим.

— Если уж мне Курляндия не суждена Богом, то... Действительно, ретироваться с пустыми руками будет досадно. Знаете, что? Пусть платит тот, кто выиграет корону! Сто тысяч экю. Много? По-моему, справедливо. Целое герцогство...

— Давайте без шуток, граф! Я сегодня же вручаю вам деньги и вы немедленно уезжаете. Согласны?

— Извините, я не привык отступать так скоро. Игра ведь не окончена.

— Как вам угодно...

Утомил навязчивый претендент. Голова разболелась от пустопорожнего препирательства.

Резиденция Морица — на окраине замкового парка, двухэтажный особняк, обнесенный высокой каменной оградой, охраняется денно и нощно часовыми. Визиты к невесте претендент совершает пешком или в портшезе, слуг при нем двое, вооруженных пистолетами и шпагами. Если устроить засаду в зарослях, у дороги, навалиться дружно — опомниться не успеет.

— Пойди, Горошек, прикинь!

Парк открыт для всех и редко бывает безлюден. Немцы аккуратны, чертовски аккуратны, нету чащоб, бурелома, негде спрятаться. Зря шатался там адъютант, переодетый бюргером. Тьфу, будто языком вылизано!

— Шуметь, так на весь кирхшпиль,— решил светлейший.— Запомнит нас Митава.

Драгуны обучены драться и спешившись, есть и пехота под командой, несколько сот солдат, плотным кольцом против саксонца и его наймитов. Сколько их? Человек шестьдесят-семьдесят, не больше. Правда, позиция у них на возвышенности, в зданиях выгодная. Доставят ли удовольствие штурма? Фельдмаршал, распоряжаясь, ворчал досадливо:

— Белый флаг выкинут, бродяги.

Но Мориц каким-то образом узнал, что его противник презрел политесы и взялся за оружие. Друзья-бароны помогли пополнить маленький гарнизон. Светлейшему докладывали об этом, он отмахивался, ибо переставал рассуждать здраво, жил и действовал в лихорадочном, злом, ослепляющем возбуждении. Начал трезветь, лишь когда солдаты его, сунувшиеся к ограде, оказались под шквалом пуль.

Отступили с потерями. Горохов прибежал, держа продырявленную шляпу. Обомлел, увидев глаза патрона, налитые бешенством.

— Артиллерию надо...

Безумным показался князь в тот миг, потому и нашел Горошек мужество возразить.

— Батя... А если убьем Морица...

Дошло не сразу. Перестрелка длилась, на крышу сторожки, превращенной в командный пункт, падали ветки, сбитые пулями. Лопаты, сваленные в углу, весьма кстати. Копать позиции для пушек... Значит, форменная осада.

— Пропади он пропадом, мать его...

Однако затяжная военная акция вовсе не входила в план. Еще менее — гибель саксонца. Князь схватил лопату, сквернословя крушил ею кирпичный пол.

— Нельзя здесь копать, батя, не наше тут... Не наша земля...

Растерянный, оглушенный пальбой и неслыханным потоком ругани, адъютант бормотал, что приходило в голову, пятился от благодетеля, шагнувшего к нему с поднятой лопатой, и вдруг с громадным облегчением услышал:

— Домой, Горошек!

Как ни горько было, дал отбой. Спешно похоронили убитых, поместили раненых в лазарет и снялись на другой же день, прочь из Митавы проклятой, скорее прочь!

Было шесть часов вечера, Екатерина обедала. К столу звать не изволила, заставила ждать. Гневается... Князь сидел с видом оскорбленным, на расспросы вельмож отвечал коротко:

— Палки просят курляндцы.

Негодует самодержица — сказали ему. Вчера приехала Анна, слезно просила за себя и за Морица, а светлейшего честила такой немецкой бранью, которой от женских особ не слыхивали. У Бирона, верно, набралась, на конюшне...

Что ж, будет ненастье, будет и вёдро. В монаршие покои князь вбежал задыхаясь.

— Слава те, Господи! — воскликнул он обрадованно.— Здорова... Я на крыльях летел, с дороги к тебе прямо, не пивши, не евши... Сорвала меня... Думаю, что приключилось? Всякое ведь в голову лезет, все мы под Богом ходим...

Екатерина, отяжелевшая после обильных яств, грузно вдавилась в диван, молчала. Презрительная улыбка, чуть тронувшая ее губы, исчезла, лицо окаменело. Данилыч понял, что допустил фальшивую ноту.

— Сорвала меня,— повторил он горестно.— Пошто? Мне бы побыть еще, уладил бы, довольна была бы...

— Ты грубый человек, Александр.

Отчеканила резко, отвела взгляд куда-то в сторону, будто к некоему свидетелю.

— Матушка! Наплели тебе...

— Грубый, грубый... Это стыд, большой стыд. Я вся красная за тебя.

— Да полно! Я с баронами по-хорошему. Обещали мне... Бестужев напортил.

Обязан был стараться за кандидата Ее Величества, так нет — зависть помешала, спесь боярская. Смутил дворян лукавыми речами, посеял шатость в умах. И Анна тоже...

— Дивизия Бока готова была. Двинуть бы для внушения... Пошто запретила? Теперь, полагать надо, поляки ворвутся. Ворвутся, матушка, как пить дать.

— Это я не позволю.

Приподнялась рывком, затем вдруг обмякла. Данилыч увидел синие жилки, почерк Бахуса, выступившие на щеках. Складки у рта углубились, второй подбородок стал заметнее. Стареет амазонка, удержится ли в седле? Данилыч прекратил атаку, продолжал спокойнее.

— Я если кого против шерсти... Твой престиж, матушка, оборонял. Державы нашей...

— Герцог Курляндии...

Смерила взором, брови насмешливо надломились. Протянула руку, поманила нечто без слов. Лакомство свое... Серебряная корзинка с конфетами мерцала на поставце у стены, Данилыч вскочил, подал.

— Репнин приказал долго жить. Слыхала? Рига твоя без тебя скучает. Я упредил — Ея Величество непременно хочет быть. Ликуют старосты, уж закатят тебе балфейерверк... И Ревель глаза проглядел — что же не едет Ея Величество, забыла свой Катриненталь! А цветов там, а сад-то вымахал... Насчет англичан не тревожься, шалостей нет, смирные. Пил я с ними за твое здравие. Ну, коли нагадят, проучим. Пушек на берегу добавлено, войска хватит...

— Ах, Катриненталь!

Унеслась в прошлое. Петр был ласков, весел, сажал в ее честь деревья, катал под парусом. Счастливые были дни. Весьма кстати сообразил Данилыч напомнить. Просветлела лицом и на прощанье, дозволив руку поцеловать, обнадежила:

— Добудем Курляндию.

«Мне стало известно, что ваша светлость 30 июля возвратилась из Митавы и я спешу...»

Кавалер Лини, таинственный доброхот. Все выстерегает заговорщиков, если верить ему... Все сулит привезти в Петербург и выдать на расправу. Деньги, конечно, истратил, на дорогу нет ни гроша. Старая песня...

Еще письмо из Брюсселя, от банкира Стефано. Спрашивает, как быть с кавалером, помогать ли ему и впредь. Волков — обер-секретарь светлейшего, близоруко тычет носом в бумагу, утробно ворчит:

— Мошенник он, батюшка.

— В прорву сыплем, Волчок.

Отказать, коли так, и дело с концом. Почему же не хватает духу? Уже год, как кормит ловкач обещаньями. Нашел благодетеля... На диво медлительны злодеи, нанятые убить царицу. Наверняка вранье... Однако странную власть возымел лукавец. Жаль его, что ли? Чем-то привлекает как будто... Про Митаву разнюхал — вот ведь диво. Неужто в газетах расписано? Выведал, может, у моряков... Князь поежился, обнаружив столь пристальное за собой наблюдение, потом хохотнул смущенно.

— Расход не ахти, Волчок. В писании сказано — дающему воздастся стократ. Так ведь?

Ответить банкиру — пусть уделит несколько сот золотых. Безделица — из сотен тысяч, поступающих ежегодно за проданное сало, кожи, коноплю, лен, зерно. Выдать кавалеру на пропитание, не слишком обильно, порциями. И сообщать о нем.

Имени настоящего — и то ведь не знаем. Точно ли итальянец? Какого же роду-племени, точно ли имеет поместье? Скрытен псевдоним, на расспросы Стефано отвечал уклончиво, шутками. Адрес три раза сменил. Хозяева квартир одно твердят — обитал господин Лини, католик, исправно посещал мессу. Жаловался на высокую плату, нашел, надо думать, пристанище более дешевое. Существенно в донесениях Стефано, пожалуй, одно: «Шевалье весьма комильфо, исключительно хорошо воспитанный и образованный, владеет разными языками, по-видимому, изрядно путешествовал, поразил меня множеством всяких сведений об иноземных дворах».

Много ли таких в России?

ЭЛИКСИР ВЕНСКИЙ

Это Варвара, заметив перемену в настроении Данилыча, пошутила — эликсиру какого, что ли, глотнул? Гложущая боль курляндского афронта, донимающая почитай с месяц, видно, утихла.

— Эликсир,— отозвался он.— Венский, милая...

— Крепок, знать...

— Правда твоя... Нам он в самый раз. А кто-то и поперхнется.

— Подписали?

— А, догадалась, воструха!

Ждали в княжеском доме, как праздника... Договор с цесарем о дружбе, о взаимной военной помощи учинен. Конец сомнениям, колебаниям. Размежевалась Европа, да так, что поубавится дерзость короля Георга. Правда, Швецию он переманил, но зато Пруссия, склонившаяся было к нему, одумалась. Союзницей нашей оказалась Испания, в силу ее вражды к французам.

Дарья крестилась.

— На турка опять... Страх лютый!

— Турок в Персии увяз, вроде нас... Цесарь на запад смотрит. А войны все одно не миновать.

Домочадцам, адъютантам, солдатам караульной роты втолковывал важность события, даже флаги вывесил по всему бургу и некоторые вельможи сему примеру последовали. Вместе с Остерманом утихомирили Екатерину — она опасалась подвохов с австрийской стороны.

— Это союз естественный,— цедил немец,— понеже другого алеата против морских держав нет.

Главная опора — цесарь, главный противник — Англия. Убеждение покойного государя, которое вице-канцлер развивает. Он закончил трактат «Генеральное состояние дел и интересов всероссийских» и теперь, прикрыв дрожащие веки, читает сентенции оттуда, гласом пророческим.

— Через цесаря и Польшу расположить к нам можно. Дабы не раздражать ее, Курляндию пока не трогать.

Царицу беспокоит усиление старой знати, друзей царевича. Вслух не скажет, но Данилыч чует скрытое.

— Мы все, слуги твои, ныне вокруг тебя в единодушии. Как супруг твой заповедал...

Титул императрицы Веной признан, голштинца поддерживают — Рабутин заверил. Розовый толстячок шариком носится по дворцу, обнимает старых знакомцев, бойко лопочет по-русски.

— Счастлив, счастлив, скучал без вас...

Он давно на австрийской службе, граф Рабютэн, французского корня. Захлебывается, расхваливая Петербург, слюнки пускает, рассуждая о русской кухне. Запомнил — у Голицына восхитителен был киевский борщ, у Ягужинского осетрина на вертеле, у Меншикова кулебяка. Но не забыл и вкусы, прихоти угощавших. Князь получил серебро — дюжину подсвечников фигурных, весом более пуда.

Свечи вставили, зажгли в присутствии посла — знаменитая кулебяка, озаренная ими, лоснилась масляно, румянилась, благоухала. Рабутин добрых четверть часа пел ей дифирамб.

— Бесподобно! Пища богов, амброзия! Позвольте, я пришлю к вам своего лентяя повара!

Согласие двух империй должно, по мнению бонвивана, обогатить меню. Прежде всего! Но чем отплатить русским? Венгерский гуляш, пожалуй, слишком заборист. Впрочем, здешние кулинары повально подражают французским. И не всегда удачно.

— Людовик соблазнял нас,— сказал князь.— Не только яствами. Мне стоило громадных усилий...

— Оставайтесь русскими, умоляю! Ваша стерлядь... Божественно, тает во рту. О, Волга, Волга!

Отлично, будет ему и стерлядь... Когда же умолкнет чревоугодник и заговорит дипломат? Лишь в Ореховой, сев за кофе, он сказал, поглаживая живот:

— Его Императорское Величество чрезвычайно ценит ваши усилия, мой принц. Вы так искусно уберегли Россию от неосторожного шага... Курс на Людовика был бы трагической ошибкой. Ваш ум, ваша рука на руле правления...

— Вы льстите мне, экселенц.

— Нисколько, нисколько.

— Я был счастлив внести лепту,— произнес князь, потупившись.— Мне дорого,— тут голос его задрожал,— мне бесконечно дорого слышать от вашего великого монарха, моего благодетеля... Не сомневайтесь, что я и впредь...

Волнение не дало ему закончить.

— Его Императорское Величество ищет способ доставить вам приятность. Он сожалеет, что не мог помочь вам в Курляндии.

— О, экселенц!

Воистину поднес эликсира. Того чудо-напитка, из арапских краев, наделяющего долголетием и удачей... Данилыч подался вперед, едва не опрокинув чашку, он облобызал бы посла, как родного, если бы посмел.

— Потрясен,— промолвил он сдавленно.— Потрясен милостью Его Величества.

Земля... Нет дара желаннее! Ковром раскинулась зеленая равнина, покорно легла под ноги. Тучные нивы, добротные сельские дома в оправе садов, баронский замок на взгорке — ландшафт, запавший в Курляндии, с тех пор неотвязный. Да ну ее! Свет клином сошелся, что ли? Цесарь отыщет землю, раз такое намерение есть. Выморочную, конфискованную — не все ли равно... Конечно, неспроста сей великодушный жест, с расчетом на благодарность. Не токмо словесную...

— Заверьте Его Величество... Я всегда и премного обязан... Святой долг союзника.

Рабутин, запив кофе ликером, откинулся в кресле, начал посапывать. Князь смотрел с торжеством на обмякшее тело. Будет ему кулебяка. Будет стерлядь, расстегаи с рыбой, все будет. Хоть каждый день.

Где же эта вожделенная, предназначенная земля, изобильная плодами земными, омытая морем или судоходной рекой пронизанная, земля, которую не стыдно назвать своим герцогством, княжеством, королевством? Римская империя с начала века расширилась грозно — захватила Милан, Неаполь, Сардинию, выдвинулась к Северному морю, к Рейну. Дальние пажити, однако, не влекут, чем ближе к дому владение, тем сподручнее.

Рабутин согласен — лучше... Так где же, где же? Посол мялся, просил потерпеть — задача-де не из легких, его величество думает, предполагает... От обеда к обеду откровеннее делался гурман. Наконец, разомлев от сытости,— кулебяка была с трехслойной начинкой: мясо, яйца, рис,— уступил.

— Есть графство... Хозяйка его под замком, до конца дней своих. Графиня фон Козель. Слыхали?

История давняя, нашумевшая. Метресса короля Августа, красавица, интриганка, вздумала, на беду свою, вмешаться в политику. За урон, нанесенный державе, за оскорбление чести монарха заперта в крепости навечно. Что же с вотчиной? Поди, отошла в казну?

— Совершенно верно, мой принц. Августа мы уговорим.

— Боюсь, не просто...

— Ах, полноте, императору он не откажет! Потребуется время, конечно. Процедура, бумаги...

Земля от короля, титул — от Карла. Улита едет... Из короба, накрытого персидским ковром, князь вынул карту. В Силезии, к востоку от Лейпцига, рядом с Польшей

отыскался Козел, городок незначительный, именье с полушку, река чахлая, сотни верст ей бежать до Балтики. Ладно, какое ни есть — графство, а коль превратится в герцогство... Дареному коню в зубы не смотрят. Мысли эти отразились на лице князя весьма зримо, и дипломат почел долгом сказать:

— Если вам повезет в Курляндии, мой принц... Ради Бога! Его Величество сердечно вас поздравит.

Светлейший благодарил, наливая разомлевшему гостю квасу. Медовый, с лимоном и полудюжиной специй — ни у кого нет столь духовитого, столь освежающего. Признался — известия из Митавы шлют ему. Есть там люди... Казус сложный, понеже польский интерес присутствует. И Мориц не отрекся, уехал набирать войско. Ну, его-то паны вышибут.

— О, чуть не забыл,— и Рабутин схватился за голову.— Император мне однажды... Странно, принц Меншиков ни разу не предложил себя сейму. Польша приобрела бы отличного короля.

Врет, поди... Вишь, случайно вспомнил. Может, и слетело с императорских уст, с лаской либо с издевкой. Неужто — прямой совет?.. Впрочем, что ему стоит!

— Отличный монарх,— повторил посол, смачно жуя лимонную корку.

Одно бессомненно — принц Меншиков ныне в цене. Оно и понятно. Поручено дипломату всячески задобрить принца, первого вельможу у трона, президента военной коллегии, главу всех ратных российских сил. В них-то первая надобность цесарю.

Больших кампаний цесарь не замышляет, впору пока сохранить завоеванное. Однако войско, обозначенное в секретном пункте договора, изволь снарядить немедленно — тридцать тысяч, для отправки на западную границу.

В доме Рабутина, за острой венгерской едой, разговор об этом подробный. Экспедиционный корпус изволь сколотить, тридцать тысяч штыков, с артиллерией, которая, как известно, в России выше всяких похвал. Солдат наилучших — ростом и выучкой.

— Вашему же престижу послужат, мой принц.

Кусок гуляша — что уголь, отдуваются оба, гасят токайским. Какова еда, таков и народ — сколько дали жару цесарю, сколько лет бунтовали! Сейчас вроде притихли. Куда же нацелена русская подмога? Вопрос не праздный.

— Есть прожект,— рассуждает посол,— рейнской армии придать ваш корпус. Ситуация там... Случается ведь, пушки сами начинают стрелять. Покамест мы в дефензиве, но чтобы предупредить конфликт... Показать французам кулак нелишне.

Прищурился, помахал пухлой ручкой, отгоняя перечный дух, и прибавил, что принц такой маршрут, вероятно, одобрит.

К чему скрывать, знает Вена, о чем мечтал государь: обезвредив Францию, изолировать Англию, прегордую владычицу морей. Противника главного.

— Мы тоже пока в дефензиве, экселенц,— вздохнул князь.— Но... Будь я помоложе, сам повел бы войско к Рейну. Увы! После пятидесяти возраст старческий. Дома сидеть...

— Э, бросьте! Мы еще увидим вас на белом коне.

Ужели свершится? Даст ли Бог дожить? Рейн, а там далеко ли! В Версаль на белом коне... Неразлучный в последние годы чаще обращал взоры на юг. Манила его Индия, блистающая алмазами. С этой задумкой в Персию шел. Смеялся, бывало,— добудем тебе, Алексашка, ханство. Правда, обрезать тебя придется. Не хочешь? Нет, уж коли суждено снова в седло полководца, так Европу топтать. В Европе желанная земля, в Европе!

— На виноградниках Токая,— говорил дипломат, подняв золотистое вино к свету,— урожай снимают в октябре. Сок начинает бродить в ягоде.

О делах, кажется, довольно...

— Выпьем, мой принц, за наследника вашего престола, за Петра Второго!

— Всей душой, экселенц!

В упор смотрит Рабутин, изучающе.

— Как здоровье его?

— Прекрасное, слава Богу!

Натурально — императора заботит благополучие племянника, успехи в науках, безопасность от козней, кои могут пресечь ему путь к трону, порушить родство двух династий — Габсбургов и Романовых.

— Цыплят по осени считают. Так же и денежки в казне и какие ни есть доходы. Охо-хо!

Голицын покачивает головой, шепчет, сидя в консилии, изредка улыбается про себя, чаще горюет. Знаток экономики, коммерции мысленно погружен в цифирь. Худое состояние финансов империи — жгучая забота тайных советников.

Минули наконец неурожайные годы, подряд донимавшие страну и без того разоренную. Хлеба уродились неплохо. Но обнищавший мужик в долгу, подушные недоплачены. Миллион с лишним надлежит взыскать, чтобы свести баланс. Деревни опустели, кто ушел на Дон либо в башкиры, назад не вернулся. Беглые похаживают в воровских шайках, нищенствуют, а то укрываются у других помещиков, нигде не записанные, сборщикам неведомые. Оттого горше становится оставшимся дома — вноси за выбывших, вноси и за умерших, за рекрутов. С иного мужика берут не семь гривен, а вдвое и втрое.

— Таких горемык, почитай, десятая часть,— сетовал боярин.— Ох, круто обошелся Петр Алексеич с крестьянами!

Единовластием царя введена подушная подать, и тайные советники ставят ее под сомнение. Дескать, драть с землепашца, кормильца, начали больше, чем прежде. Упразднить — предлагают некоторые.

— Слушайт, битте! — провещился вдруг голштинец, растолкав переводчика.

— Брать, как обыкли в Европе, с дохода. Значит, с тех, кто работать способен. Стариков и ребят, значит, выключить.

Сие смутило вельмож. Как его исчислишь — доход? Денег в сельском обиходе мало. С купца подоходный налог — другое дело... Нет, Россия к такой реформе не готова, ошибся королевское высочество. Но замены подушной раскладке Совет не нашел. Тогда понизить оную подать?

— Не время, господа,— подает голос светлейший.— Об армии надо подумать. Бедствует армия, господа. Мужик обнищал, не спорю, так ведь учил нас великий государь, указывал нам, где зло наивящее.

В ноябре на Совете оглашен прожект, подписанный Меншиковым, Остерманом и Макаровым.

«Теперь над крестьянами десять и больше командиров находится, вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских — от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, именоваться могут...»

Лютые хищники — так и царь клеймил ораву сборщиков, выколачивающих налог. Сократить ее, обуздать звериную алчность — и воспрянет пахарь, куда легче будет внести семь гривен с души. Воинские команды из деревень неукоснительно убирать, размещая в городах.

Голицын поддержал первый.

— Этак-то вернее, чай,— кивал он и щурил близорукие глаза.— Скостить если, ну десять копеек, двадцать, толк невелик, что сбережет убогой, чиновные отымут. Волки, истинное слово...

— Расплодилось же чернильной братии.

— Контор поубавить бы...

— Да и коллегии лишние есть.

— Сосут казну, сосут,— встрепенулся Петр Толстой.— Что пиявки... Воли много коллегиям, а спросу с них нет никакого.

Прожект был принят с дополнениями. Назначить ревизию, штаты во всех канцеляриях — столичных и губернских — урезать, коллегию Мануфактурную распустить. Дабы оздоровить финансы и дать больше свободы купечеству, на чем с пачкой цифири в руке настаивал Голицын. Налог с торгующих пересмотреть, охочих затевать фабрики, прииски поддерживать. За границу вывозить не только сырье, но изделия ремесла, поощрять морскую коммерцию через Архангельск.

Консилия затянулась, пали сумерки, когда князь вошел к царице доложить об удаче. Вид имел победителя, однако утомленного.

— Уломал бояр, матушка.

Сочинил жестокие распри, будто бы возникшие. Некоторые-де вельможи покушались убавить офицерам жалованье, гвардию пытались ущемить. Голос такой, правда, был единичный. Похвалил себя Данилыч — не позволил он ни обобрать армию, ни сократить. Недоумкам напомнил трактат с цесарем — статьи военные.

— Есть же смутьяны... Толстой вопит — айда проверять все питерские конторы! Чую, в мой огород камешек. Однако записали решение. Посуди, матушка, это же тысячу фискалов нужно да на год канители. Проедят сколько...

Екатерина лежала в постели, закутанная, глотала лекарства. Недавно столицу постигло наводнение, волны штурмовали дворец, побили окна. Разбуженная среди ночи, царица ступила в лужу, озябла. Приключилась горячка. Слушая князя, безвольно соглашалась.

Матушка, дай Бог ей здоровья и долголетия, ревизию высочайше отклонила.

— Смутьяны, батя.

Усы Горохова — рыжие, двумя вихрами — шевелятся угрожающе. Мочалу растишь — дразнит его светлейший. Расчесать свой декор адъютант забывает, особливо когда спешит с докладом важным.

— При живой-то царице, батя... Болтают, кому на троне быть. Вот до чего... Я бы слово и дело мог крикнуть по прежнему-то закону.
— Скорый ты.
Не кричат теперь. Уничтожена Тайная канцелярия, как позорящая просвещенное государство — царица радостно подписала указ, подготовленный князем. У него своя секретная служба, другая без пользы, только помеха.
— Девьер, Толстой, Бутурлин,— адъютант почти шепчет в усы, хотя стены Ореховой надежны. Виднейшие ведь вельможи.— Толстой пуще всех... Царица занемогла намедни, так они собрались у герцога. Не дай Бог, говорят, Петра Второго. И тебя боятся, батя.
— Меня-то больше, поди.
— Анну Петровну хотят, батя.
Победно выложил новость. Данилыч усмехнулся — знакомо, сам прикидывал — Анну либо Елизавету, если уж выбирать. Сомнения праздные, супруга голштинца под венцом отказалась от прав на российский престол, менять незачем.
— Вишь, Анна-то от меня избавит.
— Ну, батя, ты ровно в воду глядел. Слова генерал-полицмейстера.
— Ему-то хоть Анна, хоть черт лысый, лишь бы меня изничтожить.
Помнит, как кувырком с порога летел. Матросишка неведомо откуда, приблудный, втирался в княжескую фамилию. Но любимчик ведь царский, покорись, отдай родную сестру! С тех пор оба врага — граф Девьер и госпожа графиня, урожденная Меншикова. А царевича им опасаться — что за резон? От Алексея, от казни его сей парвеню был в стороне.
— А Толстой за что на меня?.. Сколько скверны есть в человеке! Чем я обидел? Действительный тайный советник, в Совете сидит — куда ему выше-то?
— Тот наперво из-за Алексея. Говорит, светлейший явно теперь за царевича, силу имеет, а нам на плаху ложиться. Петр Второй выпустит бабку из монастыря, лютует она в заточеньи. Повернут все по-старому, начнут мстить.
— Ты свидетель, фатер! — и князь обратился к портрету, мерцавшему в сумерках.— Толстой, камрат называется... Тоже в стае завистников.
Посмотрел и Горошек. Благоговение искреннее сохраняет, верность патрону и великому императору, кои, суть, едины. Чист помыслами, неиспорчен — по лицу видно.
Минуту — две молчали.
— Воля государя известна,— сказал князь твердо.— Наследник законнейший, по мужской линии — внук его. После царицы только он, дочерей замуж, в чужие земли. Об чем толковать? Мелют языками шалопуты, пустышку мелют. Между сказом и делом... Всяко бывает, Горошек...
— Батя... Ну как убьют царевича...
Встрепенулся, хвать за шпагу. И тотчас поник, обескураженный громким смехом князя. Поразмяться охота воину, хоть сей момент в бой, защищать инфанта.
— Чур тебя! Ох, уморил!
— Было же... Годунов отрока Димитрия...
— Не то время нынче, Горошек.
— Могут и без ножа...
— Перышком, милый, перышком... Грамота-то на что? Все ученые... Что хошь напишут.
Царица пока не изъявила — ни словом, ни письменно,— кого желает на трон. Завещания нет. Натурально, дочь ей ближе... Толстой льнет к царице? Умаслить решил. Интриганы к голштинцу лезут, чтобы через него, через Анну...
— Машинация ведь простая, Горошек. Для меня прозрачна. Уговорить, сунуть на подпись... Нам бы не прозевать. Анхен твоя... Пощекочи мочалкой своей!
— Не моя, батя.
— Стара для тебя? Ладно, не ерепенься! Верим ей? А если кто перекупит...
Из фрейлин царицы две — близкие ее подруги. Эльза Глюк — святой человек, бескорыстна; Анна Крамер, уроженка Нарвы — жадна до денег, два дома в Эстляндии, третий строит.
— Ты наведайся к ней, Горошек, намекни — прибавим...

Не будет веселья.
Горохов прислал сказать — царица стала совсем больна. Он на той стороне безотлучно. Голштинец, царевны в Зимнем и вряд ли оттуда тронутся. Замечены во дворце некоторые вельможи — Толстой, Девьер, Дмитрий Голицын. Допуска к государыне нет, толкутся в апартаментах.
— До Вашей Светлости им неспособно,— докладывал нарочный.— Просят извинить. Сердита река, не выгрести.

— Уж будто... Ты доплыл же.
— Измаялся, господин фельдмаршал. Бьет, кидает...
— Сговорились врать,— бросил князь. И лишь потом, направляясь в зимний сад, укорил себя. Зря обидел безусого унтера. Дома объявил:
— Оклемается матушка. Было же, обмирала на какое-то время, а на-кось, прыг с постели.
Взирал при этом на Омфалу.
— Гостей не звать сюда,— повелел светлейший жене и подоспевшей свояченице.— Пропадет сюрприз, разболтают.
Варвара, глянув на Геракла, фыркнула:
— Тебя скрутило этак?
— Ну вас! Не в том мораль.
Внушал ведь семье, адъютантам, старшим служителям суть аллегории. Философия в ней общая. Неужто опять долбить?
Обед в два часа. Мешкают сановные, Остерман на что аккуратник и то опоздал. Матросы выхватили его из шестивесельной ладожской соймы, опустили на пристань, словно куклу. Кашляет, стонет притворщик — вот, мол, не пощадил себя, приехал. Лакей с опаской взял конец шарфа, бережно сматывает саженную полосу с тощей шеи.
— Ея Величеству пустили кровь,— объявил вице-канцлер сурово.— Теперь почивает.
Судорожно раскрыл рот, обнажив желтые зубы с провалом посередине, чихнул, прибавил многозначительно:
— Сон есть отличный медикамент.
Эка премудрость! Проворен вице-канцлер, успел ведь наведаться во дворец.
— А доктор что говорит?
— Ничего. Прогнозис дать не может, курирует первый раз эта пациент... Ея Величество.
— А леченье одно, от всех болезней. Повадились врачи кровь пускать, качают, ровно воду. И этот, берлинский...
Натура у Катрин здоровая, однако не ведаем мы ни дня, ни часа... Вдруг, упаси Бог, скоропостижно... Опять свара из-за наследства, как тогда...
Перо, выпавшее из руки царя, ломкий след на бумаге. «Отдайте все»? Кому?
Светлейший выжимал улыбку, встречая. Входили насупленные, озабоченные, дурная весть быстро бежит.
— Слыхал, князюшка?
— Бог милостив, уповаем.
Удар гонга, приглашающий к трапезе. При виде пирогов и паштетов — громадных, несравненных — вельможество оживилось. Расселись, кто-то, пренебрегая лопаточкой, пальцами влез... Людей за двумя столами нехватка, праздных мест, пожалуй, треть. Не бывало такого в день рожденья, давно не бывало...
Из-за бури? А может, обманывает Остерман, плохо царице? К ней кинулись? Толпятся в Зимнем.
Как тогда...
— С мыслью о нашей матушке...
Здравицу произнес сбивчиво. Долгоруковы — отец и сын — уставились в рот, мешали завистники. Герцог в Зимнем... Бассевич здесь, горбится над едой, словно коршун, а рядом стул пустой, для герцога... Расстались на сей вечер, событие редкое. Толстого нет, афронт показал старый камрат. Он-то уж, верно, в Зимнем.
Заключить тост пособил Геракл. Осенило вдруг мраморное сияние.
— Мы у ног ее, матушки нашей... Рабы ее... Даже сильнейший из смертных...
Залпом проглотил романею, царский напиток, налил себе еще. Заговорил Остерман. Ему первому, по должности в государстве, славить новорожденного.
— Рыцарь, не ведающий страха... Восхитивший мир...
Хор пропел «Многая лета», загремели салюты, обрывая посвист ветра. Для чего порох жечь? Все бессмысленно... Лица стали незнакомыми, тяжелая мгла опустилась на них. Хвалят, изощряются лицемеры... Речи доносились обрывками, искромсанные ножами, дребезжаньем посуды.
Туманилось в глазах у Данилыча, возникала, заслоняя жующих, рука самодержицы, бледная, дрожащая рука умирающей. Судорожно выводит подпись.
Без него...
Он отрезан на этом острове — от нее, от гвардии... Упустил... Сам виноват — не к спеху, мол, время подскажет. Положился на всегдашнюю свою удачу, на войско, способное вмешаться в экстренном случае. Мигнет камратам, скомандуют... Но много ли их осталось? Бутурлин поведет полк — куда только? Толстой изменил... Сдается, скрипит перо, громко, нещадно, перекрывая гомон в зале, всхлипы оркестра, лай собак, сцепившихся из-за кости. Свершилось... Анна на троне, ликуют голштинцы.
Гибель...

Смахнул видение оглушительный залп — батареи ближайшей, что у пристани. Лакеи разносили десерты. Данилыч надкусил яблоко — тьфу, кислое! В восемь часов вспыхнула иллюминация — вензеля на крышах княжеского бурга, на домовой церкви. «Некоторые господа разъехались» — записал секретарь с явным разочарованием.

«В 9 ч. был фейерверк, а в 10 ч. разъехались все» — необычно рано, при потешных огнях, опасаясь кромешной тьмы и бури. «Его светлость раздевся изволил сидеть в Ореховой».

Наедине с Неразлучным...

Скрылся от Дарьи, бегавшей по пятам,— лопотала без умолку, даже ладонью пыталась разгладить чело супруга. Дверь за собой захлопнул, запер. Здесь убежище, источник живительный...

Лик Петра... Счастливец, в юной своей поре, в голландской гавани, мореход перед дальним рейсом в среде друзей... Потом хлебнет горестей, скажет: всяк человек — ложь. Воистину ложь. Злосчастное застолье мельтешило неотвязно — желтые зубы Остермана, напускное его бесстрастье, Бассевич, подавшийся к Долгорукову — выпытывал что-то вкрадчиво. Интриган, соглядатай... Гербы высочайшей фамилии на пустых креслах, мерцающие издевательски. Веселье... Ох, веселье, хоть залейся слезами!

Горохов протомил жестоко, лишь под конец торжества подал весть — доктор Рауш отбыл к себе, опасность миновала. Не первый приступ такого рода, а ему-то внове. Крепка еще амазонка... Напугал эскулап, напугал, светило берлинское...

Но испуг глубоко вонзился. Воображалось — стекла на той стороне зачернил траур. Тело усопшей еще не остыло — голштинцы ликуют. И все злыдни, завистники возрадовались — конец Меншикову. Обречен яко мученик христианский в клетке со львами.

Золотятся окна, жива Катрин, пронесло...

Покой надолго ли определен? Неделю ждать, месяц, час? Пора поспешать — верно, фатер? Прости! Алексашка твой, херценскинд, прикоснется мужицкими лапами к самому сокровенному, к священному... Возьмет на себя распоряженье троном. Небывалое в гистории дело, да век-то, видишь, фатер, ныне бесчестный.

Наблюдать за царицей денно и нощно. Внушать ей... Завещанье иметь наготове. Собственные сомненья — а они сбивали с толку — вон из головы, чтобы и тени их не было. Рассчитать до мелочи, на каких условиях возможно отдать престол Петру Второму, сыну изменника.

Ладони вспотели, деревянные морды, сжатые крепко, намокли. Данилыч вытер руки об халат, ворсистая мягкая ткань ласкала, успокаивала. Шахматный столик, поливаемый трепетным сиянием свечей, велит мыслить трезво, отогнать фантомы. Часы пробили одиннадцать. Данилыч не слышал — поле предстоящих баталий раскинулось перед ним, Нева роптала, волны долбили берег гулко, пушечно.

«Его светлость лег спать в двенадцать часов». Перед этим, босой, в сорочке еще раз невольно кинул взгляд через черный провал реки. Дворец безмятежно сливался с ночью.

Эльза прятала вино, чуть не дралась с госпожой, болезнь отступала. Но спальня три дня была на замке, князь напрасно просил и требовал. Чертовки-фрейлины высовывались, казали язык, фисгармония, терзаемая нещадно, издевалась тоже.

«Малый мороз, туман, потом подул теплый воздух». Исцеление царицы ускорилось.

— Свят, свят! — воскликнул Данилыч, входя.— Воскресла молодка.

И впрямь отбросила несколько лет. Опять принимает, нежась на подушках, благоуханная, нарумяненная. У кровати кувшин с вином, дьявольский соблазн.

— Разобью, вот те крест! Доктора отоплю, пошто зря кормить.

— Фатти сердитый?

Надулась, однако в глазах смешки. О ком она? Про какого отца? Князь намеревался развить атаку, но замолчал, смутившись.

— Мария плачет, да? Я виноватая, я отняла поляка.

Тьфу, из ума вон! Что верно, то верно, отбила жениха у Машки, молодого Сапегу, побаловалась, а теперь дала отставку.

— Невелик урон,— отрезал Данилыч.

— Эй! Другой есть?

Изогнула стан, смеясь беззвучно, грудь лезет вон из легкого шлафрока. Вишь, гран кокетт! Свела разговор в сторону, к пустяку.

— Слезы одной не стоит жених. Ты о себе подумай! Поубавь жажду. Задурят ведь хмельную голову.

Обиделась, вскинула брови.

— Кто мне дурит?

— Шаркают тут, около... Толстой ноет, хвост поджавши. Съест его Петрушка... Пустое это, неужто веришь? История старая, быльем поросло.

Еще недавно Данилыч так же твердил себе — быльем поросло, мальчишка едва ли станет мстить за отца, разве настроит кто... Так на то воспитатели. Подтрунивал над Толстым — совестлив больно, Петр Андреич! Ну, сыскал в Италии изменника Алексея, доставил царю. Каяться, что ли? Ты же слуга царский.

— Притворщик он, матушка. Я-то его насквозь вижу, из одного котелка хлебали. При чем Петрушка? Толстой хоть кому присягнет, хоть Вельзевулу, лишь бы мне наперекор. И Девьер, и Бутурлин... Дурят голову, дурят тебе, дщери твоей дурят...

— Эй, Александр! — оборвала самодержица, посуровела.— Ты плохой человек.

— Спасибо, матушка! Плохой, так уйду я, ослобони! На покой пора... Врачи говорят — чахотка, а здесь ее в сырости не одолеть.

Хитрит Данилыч, сей хвори не оказалось. Подозрение было, медики мяли его, выстукивали. Чахотка — звучит зловеще, добрая душа содрогнется.

— Подамся на Украину, виноград разведу. Коли я нехорош...

— Плохой,— повторила царица жестко.— Грубый человек. Зачем Анну ругал?

— Помилуй, матушка, терпенье иссякло! Все свидетели — отреклась от престола, как выходила замуж. Давши слово держись, милая! Ты голштинская, чай, довольно тебе.

— Нет... Не поедет с ним...

— Муж есть муж, куда его денешь?

Екатерина смотрела в сторону, отчужденно.

— Она... Петлю накинет...

Сказала глухо, и словно сковав рыдания, не свойственные царице, ратной подруге Петра. Данилыч, снисходя к сантиментам женским, изобразил сострадание.

— Не повезло Аннушке! Смириться надо...

Напомнил о пользе общей, каковая — учил государь — превыше благ приватных, будь ты холоп или суверен. Подробнее нарисовал невзгоды, кои постигнут Россию, самое царицу, если трон унаследует Анна.

— За гвардию я не поручусь, уволь матушка. Бунт будет, кровавый бунт. В народе ненависть против голштинцев. Втолкуй Анне! Да что — нешто в Сибирь ссылают? Киль город-то какой! Чистота, просвещенье. Анна в Голштинии, Елизавета, даст Бог, в Любеке — авантаж-то нашей державе! Твой супруг в небесах возрадуется.

Речь текла без запинки, впадая в русло привычной риторики князя, и не сразу заметил он, что царицу, похоже, больше занимает гобелен на стене, похищение сабинянок.

Молчит упорно.

— Матушка, да я бы не докучал тебе... Пошто жеваное жевать! Рабутин пронюхает, цесаря всполошит.

Уместно вложить ноту отчаяния. Рухнет союз с цесарем, рухнет из-за Анны. Турки нападут. Тогда и англичане на нас...

Шевельнулась.

— Гонишь ты Анну.

— Матушка! Я гоню?

— Гонишь, гонишь!

— Грех тебе... Пускай живет. В Голштинии нам герцог нужен, а она, как хо...

Прервала на полслове.

— Уходи, Александр. Я еще жить хочу.

Данилыч ушел, негодуя. Послушна была и вот — схватило ее, настроили. Спина, тяжелый литой локоть, выставленный защитно, сцена разбоя на стене преследовали его.

Гобелен, присланный государыне из Парижа свеж, сплетение обнаженных тел неистовое. Одна сабинянка повергнута в ужас, другая, уронив покровы, уже обнимает победителя. Какую мораль извлекает Ее Величество из сей картины, почти непристойной? Искушает мужчину, допущенного в спальню. Данилыч научен искать во всяком художестве поучение, а то и призыв.

Будь он плотски соединен с царицей, возможно, было бы проще с ней. Впрочем, поймешь ее разве? Баба ведь...

Анна поревет, да и войдет в разум.

Светлейший сошел в барку, поехал к портным, которые шьют новую униформу лакеям и пажам двора. Екатерина тем временем, кликнув Эльзу, Анну Крамер, им жаловалась:

— Он хочет моей смерти. Да, да, он коварный человек! Написать завещание — это значит ложиться в гроб. Петер никогда не хотел.

— Суеверие, Кэтхен.

Дочь пастора неуступчива — един Бог отмерил годы бытия земного, проникнуть нам не дано.

Анна — широкая в кости, медлительная — судит практически. Уповая на Вседержителя устроить дела заранее — акт добродетельный:

— Иначе свара в доме, брат на брата. Помню, у нас... Староста мясников скончался скоропостижно, а его сыновья... Ах, госпожа ведь знает.

— Эй, уволь! — царица выдавила усмешку.— Богатый был староста? У меня наследство богаче. Ты права, Аннеле, свара, смертоубийство. Но староста умер, ему все равно, а, девочки? Пока был живой, сыновья в рот смотрели папе. Так и мне... Пускай смотрят.

Торжествующий вид самодержицы показывал — решение окончательно.

Двумя днями позднее Горохов выспрашивал фрейлину Крамер. Вручил мзду, занес разговор в секретный рапорт, слово в слово.

Данилыч не кривил душой, убеждая Екатерину — лишь сгущал краски, устрашения ради. Кто более близок к гвардейцам, к матросам? Что им Анна? Детей у них не крестит, холодна, вскинет прическу — башню французскую — и мимо. Несмеяна царевна... Женская власть на Руси непривычна, супруга Петра исключение. Царевичу присягнут охотно, к тому же с надеждой избавиться от иноземцев.

Император Карл свой интерес дает знать ясно, устами Рабутина. Посол все более пленяется княжеской кухней, Ореховой комнатой, где витает дух великого суверена, где есть некое таинственное амбрэ, столь благоприятное для бесед конфиденциальных.

— Поделитесь, мой принц! Ваш повар... Что он проделал с мясом?

— Угадайте!

— Пытаюсь... Ощущение бесподобное, райское, уникальное. Кусок тает на языке, вкус... Затрудняюсь определить. Все пряности мира...

Приступать сразу к делу после столь утонченного наслаждения было бы невежливо, да хозяин и не торопит. Он тоже, откинувшись в кресле, поглаживает живот, радушно смеется.

— Со всего мира? Помилуйте, экселенц, две-три приправы! Так и быть, скажу. Мясо, конечно, самое лучшее. Во-первых, обмазать медом. Рецепт наших предков. Мед смешан с перцем, заметьте! Малость обжарить, затем опять, той же смесью и жарить с луком, да почаще поливать красным уксусом.

— Красным? Уксус, мед... Поразительно! Кстати, в Козеле у бывшей владелицы кухня была высокого класса. Но вы... О, при вас город станет столицей гастрономии!

— А Вена, экселенц? Подозреваю, ей Козел конкурент нежелательный.

— Нет, нет ошибаетесь! — засмеялся Рабутин.— Вы заждались, друг мой, процедуры тянутся и кроме того... Между нами... В Вену проникли слухи... Безусловно, Ея Величество вольна поступать, как ей угодно, но царевич не чужой императору и, естественно... Он обеспокоен.

Светлейший подался вперед, он даже протер глаза, вскинул брови, выражая крайнее изумление.

— Мы дали повод? Какой же?

Темнит посол. Не слухи, а собственные его писания достигли императора. Чего наплел? Пусть выскажется.

— Я сам в недоумении, мой принц. Возможно, мы информированы неверно. Дай Бог, если только слухи! Его Величество чрезвычайно симпатизирует царевичу. Отстранение его, как наследника, осложнит наши отношения. Осложнит во многом. Я говорил Остерману... На вас, мой принц, император рассчитывает особенно.

— Весьма польщен, экселенц.

— Это не все. Слышно. Ея Величество остановила свой выбор на дочери. Весьма неприятно... Голштиния усилится до такой степени, что... может стать опасной для нас. Император весьма озабочен.

— Так что вы хотите от меня, экселенц?

Вопрос риторический, понятно же, чего. Светлейший готовил эффект. Приосанился, расправил плечи.

— Заботы Его Величества — это и мои заботы. Мы союзники. Говорите, говорите!

— Равновесие в германских землях легко нарушать. Нрав Карла Фридриха непредсказуем. Он кукла в руках Бассевича, человека, скажем... весьма непостоянного.

Жестом владыки обвел Данилыч Ореховую комнату, будто тронный зал свой.

— Пока я здесь,— он выдержал паузу,— Карл Фридрих ничего не посмеет... Я не дам ему ни одного солдата ни в Петербурге, ни в Голштинию. Доложите от меня Его Императорскому Величеству! А касательно царевича... Он есть прямой, законный наследник, это неизменно.

— Рад слышать от вас. Именно от вас... Так вы сказали, жаркое обмазано медом?

Сузил заплывшие глазки, о деле будто забыл, рабутинская манера. Краткость ответа смутила. Что прямой, законный — давно известно.

— В умеренной дозе, экселенц. Да, наследник. Но он еще очень молод. Для вас не новость — Ея Величество вправе назвать преемника, не считаясь со степенью родства. Любого из фамилии, способнейшего... Мудрый указ покойного монарха.

Вот тебе перцу,— подумал князь. Чересчур обнадежить — продешевить. Морщится дипломат — действительно, горького хватил.

— Значит, все-таки... Слухи, выходит, имеют почву. Однако, если вы употребите старание...

— Увы, я не могу продиктовать ей завещание. Я намекнул однажды... Она ответила весьма гневно, что умирать не собирается. Дай Бог ей многих лет жизни.

— Многих лет,— подхватил посол.— Ах, как вспомню!.. Я был в ужасе... Счастье, что при ней оказался Рауш. Иначе... Кто знает, мой друг, все мы смертны.

Грустно потупился. Затем, словно очнувшись.

— Его Императорское Величество желает добра России. И вам лично, принц. Случись непоправимое, он не хотел бы видеть Карла Фридриха... в качестве регента при малолетнем царе.

— А кого хотел бы?

— Скажу вам прямо. Вас, мой друг. Он полагает — вы сумеете обуздать герцога. Только вы... Сохраните стабильность в России. Интерес также и наш, мой принц.

Регент... У Данилыча перехватило дыхание. Сколько раз мысленно произносилось... Правитель, что ли? Не то, не то... Регент — звучит, как песня, как победный марш. Регентом был во Франции герцог Филипп Орлеанский, десять лет властвовал безо всяких тайных советов, вельможи пикнуть не смели, самодержцем был, по сути...

— Ценю бесконечно... Польщен чрезвычайно...

Ликование, распиравшее его, сдерживал изо всей мочи. Регент... Услышал заветное. Глас Судьбы... Подмывало обнять, расцеловать троекратно милого, улыбающегося пророка.

— Мед, перец,— Рабутин откинулся.— Ах, да — и уксус. Ваш повар — чудо. Он покажет моему Леонарду. А фазаны, которых мы ели на обрученьи вашей дочери... Простите мое любопытство, вы отвергли Сапегу? Это правда?

— Да, неудачно сложилось... Жених повел себя по мальчишески. Между нами...

— Разумеется, мой принц. Но это для всех очевидно. Никто вас не осуждает. Что ж, вы расстались с поляком, так обратите вниманье на Вену!

Данилыч пробормотал благодарность. Регент, регент... Приятство цесаря многое значит.

— Или кто-то уже на примете? — улыбка посла стала лукавой.— О, пардон! Я нахально вторгаюсь в семейные тайны.

Цесарю любопытно и это?

— Невеста свободна,— сказал Данилыч, и дипломат, подняв руки, изобразил восторг.

— Оповестите громче, на всю Европу! Принцесса Мария очаровательна. Для нее Гименей не поскупится, клянусь вам. Она украсит ваш герб.

Встал довольный, румяный, отяжелевший. В прохладных сенях, проводив его, князь ощутил приторность. Сладок сегодня Рабутин, сам медом мажет. Политика есть обман. Однако, входя к Дарье, сказал с порога:

— Бог Гименей кланяется.

— Чего?

Фыркнул, видел, как всполошилась она, поняла.

— Рабутин, Рабутин... Машку сватает.

— За кого же?

— Принца, герцога, кому честь окажем... Лакея, что ли, нам предлагают?

— Экой ты! — княгиня в отчаянии опустила руки, встала перед супругом возмущенно.— Скалишь зубы... Плакать надо. Тень на фамилию пала, ужель невдомек?

— Пустое, мы невиновные.

— Люди-то что говорят? Колечко обратно берут, да оно с царапиной. Так же и честь. А ты — принц, принц... Короля еще...

Слов более нет, застыла. Улыбка на лице супруга кощунственна.

— Ну, голубушка, раскручинилась... Наша-то и короля достойна. Поверь мне!

«Столп с короной, на нем молодой человек с глобусом и циркулем и другой рукой держит канат от столба к якорю, который погружен в землю»...

Так, пером канцеляриста описана фигура, задуманная светлейшим. Корона обозначает августейший ранг стройного юноши, столб — возвышение его, якорь — уготованное будущее. Кто разумеет язык символов,— а их отгорело немало над Пе-

тербургом — тот догадается. Глобуса изрядную часть занимает Российская империя, инфант с циркулем созидателя ее унаследует.

Два чиновника — Василий Корчмин и Григорий Скорняков-Писарев — составили план иллюминации подробный. Оторопь их брала. Возражать губернатору, однако, стеснялись.

Нарисует сцены художник, мастер потешных огней соорудит макеты, нанижет просмоленные фитили. Посол Рабутин распознает среди аллегорий личность царевича. Усмотрит в сем спектакле гарантию, доложит императору.

Вышло иначе...

Скорняков-Писарев потерял покой. Монаршего утверждения нет, видать своевольно затеял Меншиков. При живой государыне показывает преемника. С чего это? Ведь сам отстранял царевича. Григорий Григорьевич отнюдь не желает присягать сыну изменника — причины имеет важные.

В феврале 1718 года он был послан в Суздаль главным следователем. Царь проведал о наглых поступках Евдокии и приказал разузнать, отчего не пострижена в монашество, кто позволил являться народу, именуя себя царицей. Изъять у ослушницы и ее фаворитов письма, потатчиков арестовывать. Все то слуга царский исполнил. Евдокию перевели потом в другой монастырь, с режимом строгим. А в июне того же года в Петербург доставили Алексея и в Тайную канцелярию, учрежденную царем, вошли Толстой, Бутурлин, Ушаков и он — Скорняков-Писарев. Стереть бы прошлое, испепелить... Допрашивал беглеца, был в застенке, указывал палачу — помучить, облить холодной водой, опять помучить...

Маялся Григорий несколько дней. Донести на Меншикова? Бог весть, как обернется... Идти к царице страшно, да и не примет она. А примет, так сочтет за клевету, выставит вон. Больно она доверилась князю. Вот Петра Андреича выслушает. Член Верховного совета, старейший из вельмож — только он способен противостоять Меншикову.

Постучался к Толстому в сумерках. Беседовали шепотом, в домовой часовне, Григорий клялся, крестясь на икону.

— Истинная правда, отсохни язык, коли вру!

Мерцала одна свеча, граф от нее запалил дюжину, вглядывался в неурочного визитера. Передвигался, кряхтя, тер поясницу.

— Мне-то не след мешаться, в мои-то годы. Подальше бы от суеты сует, в отчие палестины.

— И я седой. Да топор и седую башку оттяпает. Спустят Евдокию... Ровно аспида с цепи... Казала мне зубы. Попадись ей!

— Неужто сожрет? Авось, Бог не выдаст.

— Господь видит, Петр Андреич, а суд-то свой изречет не скоро.

— Ох, почем знать! Не стало царя и порядка не стало. Ноне всяк яму роет ближнему. Ветрище-то, Григорий! Ишь, воет! Шел бы ты... Поздно ведь.

— Светлейший всем нам роет. Спихнет и затопчет. Так мне, что ли, челом бить царице? Хоть замолви ей, а то прогонят в шею.

— Ладно, попробую. Меня не впутывай!

Застонал, скрючился — подагра ломает. Свечи полыхали тревожно, остерегали Григория. Рисковое дело, стоит ли? Снаружи свистела первая вьюга, снег, словно песок,— твердый, жалящий. Григорий с малых лет находил в непогоде прелесть. Вливает отчаянность.

К самодержице он проник. Говорил волнуясь, взахлеб. Брови ее дрогнули, осерчала как будто. На него или на Меншикова? Спросил бы, да немота сковала.

Терзался потом. Шесть вечеров подряд, в честь дня рождения императрицы длилась иллюминация — на Зимнем, на палатах княжеских, герцогских, на домах горожан. Толпы на набережных кричали в восторге, глохли от залпов. Григория трясла лихорадка. Роковая фигура не возникала. Проглядел, может быть? Нет, никто не видел.

Ура! Победа...

Данилыч же кулаки сжимал, ощущая провал, пустоту в парсунах, выстроченных жарким огнем. Злило его ревущее людское множество. Еще накануне торжеств проявился Горохов. Противно шепелявил в усы. Утром, от вице-губернатора Фаминицына, подтвержденье — да, запретила царица.

Кто ей донес?

Занемог светлейший — до того расстроила. Но лежать недосуг. Пресечь вражеские козни немедля.

Катрин невинной прикинулась — отчего беснуется Александр? Какая фигура? Царевича? Да при чем он? Речи не было.

— Вспомни, матушка!

Наморщила лоб, улыбаясь при этом. Веселились — вот и все, что смог вытянуть.

— Отшибло память?

— Не мучь меня, Александр!

Надувала губы, глаза закатывала — комедиальное действо.

— Ох, матушка! Все равно разыщу мерзавца. Мне гадят и тебе ведь тоже.

Дознаться было просто — фрейлина Крамер углядела визит Скорнякова-Писарева, выведала и то, что пробраться ему помог Толстой.

Ну погодите, злыдни!

Злорадствуют, поди... Дьявол с ними, повременить. Спугнешь, забьются в норы, окуражутся — коготки расправят. Тогда и остричь...

С тростью под мышкой, дабы не уродовать наборный пол, шажками мелкими, быстрыми входил Голицын в залу вельможного особняка, где собирается Верховный совет. Кланяется коротко, озабоченно, всегда в неказистом, тусклом кафтанце, без парика,— черная бархатная шапочка прикрывает облысевшее темя. Садится поближе к секретарю — боярин на ухо туговат.

Слова единого не пропустит.

Оглашаются промемории, ведомости, реестры, счета, секретарский фальцет бесстрастен, до странности равнодушен — приводит в раздраженье. Год 1726 заканчивается с убытком, в казне опять недобор, подушная подать разорительна, бегут крестьяне, армия бедствует, который месяц без гроша.

— Исусе, срам какой!

— Повтори-ка, Гриша!

— Гнусавишь ты...

Порой и крепкая брань перебивает чтение. Дмитрий Михайлович внешне невозмутим — светлейший завидует выдержке старика. Говорить не спешит боярин. Загалдят двое-трое сразу — поднимет трость, пристыдит.

— Сухарев рынок...

Доколе же прозябать в нищете? Некоторые винят сборщиков подати — ленивы али воруют, есть противники подушной, но чем заменить петровский порядок — толкуют по-разному и туманно. Карл Фридрих брякнул — брать налог с доходов. Своим островом Эзель он вообще намерен управлять по-шведски — пример подает для всей России. Ишь, выручил! Это сколько же счетчиков надо. Мужик-то десять пальцев отогнет и запнется.

Большинство за то, чтобы подушную сохранить покуда, но уменьшить на одну треть — авось повальное бегство приостановится. Из Персии войска убирать, расходы на армию урезать. Проверить еще раз — нет ли в Петербурге, в губерниях чиновных людей, сосущих казну бездельно. Миллионные суммы поглощает двор Ее Величества — следует поубавить.

Екатерина не посещает Совет — то плезиры, то нездоровье — и языки вельмож развязались. Коробит Данилыча от иных речей — при государе и подумать не смели бы... Ладно,— голштинцу переводят с разбором, смягчают дерзости.

Задача первостепенная — повысить доходы. Земледелие, торговля, ремесла хиреют — следственно и казна чахнет. Где средство? Докладная Меншикова взбудоражила с первых же слов.

«Прежде посадские торговали только, ныне деревни покупают, а помещики в торг вступили»...

Дворянин купцом сделался, деревни, угодья у него в небрежении,— в город подался, перекупать да перепродавать. Пускай бы лучше у себя в именьи завел маслобойку или, к примеру, смолокурню, выделку кож. Горожанин простого звания приобретает землю, крепостных — они у него и в городе трудятся, на мануфактуре либо в лавке. Нарушена воля Петра, вводившего строгую регламентацию.

— Государь указал мудро,— сказал князь, когда кончилось чтение.— Понимал экономию. Открыл нам ворота, а мы в забор уперлись.

Скрипнуло чье-то кресло. Кривая улыбка. То зависть говорит неслышно — тебе-то царь распахнул, куда шире... Ты-то богатейший помещик и богатейший заводчик, все ремесла, какие есть в России, все у тебя в хозяйстве, держишь рабов, держишь и наемных. Указ был писан не для тебя — для нас грешных.

Что ж, стало быть, заслужил,— ответствовал Данилыч мысленно, улавливая сокрытое. Вслух-то винить ни его, ни царя не станут — косвенно лишь, норовя подрыть фундамент строения, основанного Петром.

— Пускай торгуют дворяне. Французы стыдятся, а сами-то... Весь мир в коммерцию ударился.

— Коммерция всех питает.

— Хлебушком-то, хлебушком святым кто кормит? Тот, кто на земле. Не подвезет помещик хлеба...

— Купец наш дик, зарубки на палочке — вот вся его арифметика. Купит на рубль, продаст на копейку, по невежеству. Аглицкой табак у нас дешевле, чем в Лондоне, смехота же...

— Нужда выучит,— вставил светлейший.
— Когда, батюшка? Жди! Субсидию ему из казны давать — в прорву деньги сыпать.
— Казна-то вовсе бы не мешалась... Казенные мануфактуры в убыток работают. Взять коломяжскую, взять крупяные мельницы в Екатерингофе — на ладан дышат. Уральские заводчики плачут, опутаны казенным заказом, ровно цепями.
— Железо,— вставил князь,— щит государства.
— Довоевались...
Большинство тайных советников — за свободу торговли, но для себя и для своих рабов. Вольных считают им помехой. Ограничения, навязанные Петербургом, требуют отменить, в первую очередь монополии на соль, на табак.
А Петр желал пользы общей.
Говаривал, что свобода достанется через несвободу — горожан поощрять, покуда не утвердятся на собственных ногах, заводы казенные, окрепшие передавать в частное владение. Учреждать начал, по образцу европейскому, цехи ремесленников и для попечения об оных — магистраты. Авантаж свободного труда разумел, чего не скажешь про вотчинников. Сетует Данилыч — к городу задом повернуты. Был прожект Фика, поддержанный Голицыным — фавор оказать промышленникам, не жалеть государственной ссуды,— в конечном счете, окупится. Совет воспротивился.
Переломить светлейший не в силах. Приказал бы именем императрицы, кабы власти имел побольше. Мала покамест... Интерес кровный, поместный затронут. Дальше амбаров своих видят немногие.
В городах же вольных умельцев недостача, цехи редко где вошли в силу — и в Питере-то их раз, два и обчелся. В западных странах экономию оживляют банки, биржа — русским сии учреждения неведомы, чужды.
— Скованы мы, Александр Данилыч,— печалится Голицын, снова в Ореховой.— Ты не отпустишь крестьян, побоишься, и я не отпущу. Клянем скудость нашу, клянем...
Скудость и богатство... Посошков... Кровавые рубцы на спине... Книга, похороненная в недрах Тайной канцелярии... Царя вздумал учить... Хлипок, убивать не стремились... Видения неприятны князю, злость поднимается. Подвернулся писатель, ввел во грех...
Царя нечего было учить. Вот если мальчишка на трон сядет... Дай Бог власти!

Покои Голицына натоплены жарко, пол исхлестан можжевеловым веником, ковры на стенах, гравюры, коих хозяин большой ценитель,— города, парсуны, баталии. В кабинете висят планы Питера, Москвы, голицынских вотчин, глобус, иконы в красном углу — темные древние лики, полыханье риз, венцы из крупных жемчужин, мерцающих морозно. Печь, одетая русскими изразцами, напротив исполинский шкаф, толстые тома за стеклом, иноземной печати.
Запад и Русь, лицом к лицу...
На изразцах — маковки церквей, зубчатые кремлевские стены, молодки в сарафанах, стрельцы с алебардами, некий лохматый зверь с кошачьей мордой — все памятно Данилычу с детства. Корявые подписи под картинками пытался сам разбирать, учиться не довелось. Книги стыдят невежду; этажами, высокомерно громоздятся трактаты об экономии, об управлении, убеждают Голицына, сколь благодетелен парламент. Поди, и сейчас начнет проповедывать.
Приветлив, потчует польской кунтушовкой — для аппетита. Забористо зелье.
— Государыне вчерась худо было. Слыхал? Страшно, батюшка, на вулкане живем. Если, не дай, Господи... Если покинет нас...
Скрипнуло резное кресло, выложенное подушками, боярин подался вперед, уперся долгим, испытующим взглядом.
— Гвардия-то, батюшка... Слушает тебя?
— Покамест я командую. Ты о чем? Анну гвардия не допустит.
— А Елизавету?
— Трон мужескому полу приличествует. Великий государь назначил место дочерям. Гвардия со мной, Дмитрий Михайлыч.
— Добро, добро.
Наконец-то разговор откровенный, о главном. К тому и толкал светлейший, устал толкать. Первый ход сделал боярин, к альянсу полному. Домашние стены надежны, решился.
— За солдат я ручаюсь,— продолжал князь.— Офицеры всякие есть. Чужих-то мало теперь, однако и свой хуже чужого бывает.
— Бутурлину не верь.
— Русский же человек,— протянул Данилыч недоуменно.— Под голштинцем согласен быть. Ох, кому верить нынче? Брату родному ты веришь?

Пальнул вопросом, вскинул глаза к портрету. Двое Голицыных, рядом, словно в шеренге; Михайло, фельдмаршал нынешний, глава украинский армии, пошире в плечах, скулы костистее. Бравые молодцы.
— Помилуй! — отозвался боярин с некоторой обидой.— Что он, то и я, одна кровь.
— Царице я внушаю,— сказал князь твердо.— Но ведь и другие тоже... Вьются около.
— Ты углядишь, чай.
Похвалы удостоил. Зорок-де Меншиков, вовремя заметит опасность. Для этого имеет силы и средства, которых нет у Голицына и друзей его. Польщенный внутренне, Данилыч принял, как должное.
— Стоглазым Аргусом надо быть. Сговор есть против нас, Дмитрий Михайлыч.
Против нас... Фраза взвешена. Альянс заключен, враги отныне общие. Надо ли называть их? Вряд ли, ведь гораздо сильнее впечатляет недосказанное.
— Ты, прости меня, за книгами-то, чуешь ли, что творится. Комплот зреет.
Покрепче словцо, кажись, чем сговор. Французское... Издеваются золоченые гроссбухи — так вот им! Комплот, сообщество тайное. Голицын поднял обе руки, ладонями к гостю, защищаясь.
— Царевичу угрожают,— добавил он внятно, тихо.— Кто, пока не скажу, извини! Может, кого и зря подозреваю. Клепать напрасно — Боже избави!
— Зачем же, батюшка!
Голова в бархатной шапочке опустилась низко. Как знать, принял к сердцу или скрывает усмешку?
— Люди, люди! — близорукие глаза жаловались.— Почитаешь в «Курантах», кругом коварство. И в просвещенных странах.
Вошел комнатный слуга, седой, согбенный — должно, в бабки играл с господином, вместе росли. Кушать подано. Голицын, видно, огорченный комплотом, потрошил пирог с грибами рассеянно. Данилыч отведал всего понемножку, из вежливости — не до еды, мол.
Смеркалось, в кабинете зажгли паникадило на двадцать свечей, медное, в виде солнца с лучами, работы вотчинных мастеров. Откланяться — хозяин не отпускает.
— Сохрани, Бог, нам царевича! Каков царь из него? Второй Петр, да не тот. Второго Петра Великого не будет.
— Не будет,— кивнул Данилыч.— Через тыщу лет разве... И то нет, немыслимо.
— Так вот я и думаю... Если случай горестный... Царь в незрелых летах, дитя по сути. Оказия нам, Александр Данилыч...

Говорить с хозяином дома Девьер предпочел бы с глазу на глаз. Без Бассевича. Гуляючи, увлек Карла Фридриха в укромную портретную, в сонм его предков. Настиг Бассевич, втерся его крючковатый нос. Видимо, не избавиться.
Девьер обратился к герцогу:
— Я буду краток, Ваше Высочество. Пока нет посторонних ушей... Меншиков ведет себя странно, он симпатизант царевича. Вам известно?
Не любит спесивец прямых вопросов. Круглит глаза... Бассевич, косясь на него, кивает.
— Мензикофф? Нам известно.
— В Петербурге фронда, Ваше Высочество. В пользу царевича... Теперь и Меншиков.
— Зо... Зо...
Перепил? Нет, кажется, не настолько...
— Ваше Высочество! — воскликнул Девьер с отчаяньем. Схватил бы за галстук и дернул.— Если царевич... Вы меня поняли?.. Это же катастрофа. Для вас, для вашей супруги...
— Ах, зо?
Вперился в потолок голштинец, словно ждет наития сверху. Министр закивал быстрее.
— Да, да, господин граф, вы абсолютно правы. Нельзя допустить.
— Абсолютно нельзя.
Предки на полотнах пучат белесые глаза, точно, как Карл Фридрих. Затесался безродный, граф по воле случая, бывший юнга с голландского корабля.
— Умоляю вас... Вы должны повлиять на царицу. Ваш авторитет...
— Его Высочество ценит ваше дружеское участие. Он имел удовольствие с вами...
— Да, очень большое.
Холодные, немигающие глаза... Девьер ощущал их, уносясь в возке. Странный прием... Бассевич суетится слишком, герцог — бесчувственный истукан. Прилив высокомерия или... Бояться-то ему некого. Прежде всюду совал свое мнение, до всего ему дело — в династии, в государстве. Что-то переменилось...

Возок на ухабах заносило, бросало, жена, сидевшая рядом, поправляла широкую шляпу с цветами, голос графини — на дребезжащей ноте — на миг прерывался.

— Посуда-то... Кои веки та же... Гляжу, тарелка у меня, слышь, треснутая. Я лакею — ты что, паскудник!.. Счас, говорит. И не принес ведь, едри его... А Юсупиха мне — оставь, нету у них. Задолжали высочества, кругом задолжали — булочнику, мяснику, рыбнику... То-то и вина доброго не было... Где уж сервизы справлять!

Задолжали — повторилось в мозгу Девьера. Ведь, правда, урезан пансион герцогу.

— Постарался твой братец.

— А что?

— Да так... Некстати оно... Канючить будет голштинец. Что нам толку-то от него?

В долгах — значит, зависим. Вот и амбиции свои умерил. Стучаться надо в другие двери. К Толстому, к Бутурлину... Для них Петр Второй, бабка его — беспощадные мстители.

«При столе был Бассевич».

Не раз и не два в последние месяцы. «Повседневная записка» умалчивает о щедрых подарках, которые министр кладет в свой карман. Кольцо с изумрудом, табакерка с бриллиáнтами, ожерелье супруге...

Беседа с Девьером в портретной Карла Фридриха записана по-русски, кратко. Хранится в спальне светлейшего, в одном из ящичков венецианского комода, на коем кистью художника порождены райские растения и птицы.

«Декабря в 30 день в 3 часа пополудни прибыли к Его Светлости Великий князь Петр и Великая княжна Наталья, танцовали, бавились с детьми Его Светлости. Его Светлость играл с Великим князем в шахматы. Отбыли в 10 часов».

Праздник новогодний устроил Данилыч, понеже завтра — веселье ночное, для взрослых. Новинка в России — елка. Зал с Рождества топлен мало, дерево в кадке с подсахаренной водой еще свежее, нижние ветки гнутся долу. Сладкие гномы висят, звери, фруктовые леденцы из Франции, от кондитера маркизы Монпансье, кулечки с заморскими орехами, с персидской халвой. Как вступили гости, ударили пушки у пристани, дрогнули стекла, разрисованные морозом, свечи на елке.

Царевич неловко шаркнул.

— Вале! — произнес он по-латыни — похвастал ученостью и оцепенел, подняв глаза. Знамена... Чуть колыхались в токах воздуха, под потолком, простреленные, в пятнах пороха. Елку словно и не заметил. Данилыч взял за руку, начал объяснять.

— Наши трофеи... С войны...

— Полтавское есть? Которое?

— Вот это... Баталия во всей гистории, от Александра Македонского, почитай, славнейшая.

— Нешто не знаю,— обиделся инфант.

— Вы меня прервали,— тут Наталья толкнула брата локтем.— Плод сей баталии есть все, что мы имеем окрест. Сей град, наша держава, сильнейшая в целом мире. Прошу вас, осторожно!

Турецкая сабля заворожила Петрушу, кривая, с диковинным эфесом. Пальцем пробует лезвие.

— Мы в Азове взяли.

Клинки, пистолеты, ружья разных армий, по всей стене, оружие в отблесках свечей рубит, колет, палит бесшумно. Как оторваться! За обедом инфант мимо рта пронес ложку, облился супом. Наталья хмурила круглое, смышленое личико, мимически извинялась за брата. Сашка и Александра прыснули, Мария вытирала салфеткой коричневый, скромно простроченный серебряной нитью кафтанчик. Петруша благодарил по-латыни, чем пуще смешил княжича.

— Вы-то с кем воевали, сударь? — спросила княгиня Дарья, заметив шрам на Петрушином лбу.

— Катались... С Лизаветой...

Съехали с горки, из окна Зимнего во двор, занесло санки, налетели на фонарный столб.

— До свадьбы, чай, заживет.

— Отчаянная ваша тетя,— вставила, пытливо щурясь, Варвара.

— Она ничего не боится,— заявил инфант и оглядел сидящих.— Я на ней женюсь.

— Неужто?

— Этого нельзя, Ваше Высочество,— вмешался светлейший.— Вас не обвенчают.

— Остерман сказал, можно.

— Он ошибается. Православная церковь не разрешит.

Пухлые Петрушины губы надулись.

— Я когда буду царем, повелю.

Варвара и Дарья сдавленно хихикали, умилялись. Данилыч качал головой досадливо. Перемудрил Остерман. Воображал примирить все придворные партии посредством кровосмешанья. Кто-то наболтал царевичу, смутил отроческий ум.

— Дед ваш в юные годы не о свадьбе думал.

И до конца трапезы пленял притихших детей, вспоминая былое,— потешный полк Петров под Москвой, тиски солдатской одежды, галстук, в котором едва не задохся, страх, испытанный в первом бою, под холостой канонадой. А вдруг взаправду убьет...

Стол отодвинут, уставлен прохладительными напитками, музыканты, игравшие под сурдину марши, грянули полонез. Инфант пригласил сестру, потом князь хлопнул в ладоши, назначил дамский менуэт, подмигнул Марии. Инфант ей по плечо, но повел уверенно. Варвара наблюдала с иронией.

— Лизавета, поди, натаскала.

Дарья растрогалась.

— Вырос-то как... Ростом деда догонит. И волосом, кажись, в него, черный, может чуть посветлее.

Машке живости бы придать... Так ведь и с Сапегой — хоть бы кровинка на лице от танца. Юбку придерживает двумя пальцами, по правилам, указательным и большим, бела, спокойна, урок исполняет. А младшая — вон она, носится вокруг елки с Сашкой, мотает его, как котенка, мушку налепила над губами — кокетка, стало быть. Куклы заброшены... Ее бы и сватать, да очередь Машкина, Александре ждать. Худо вышло с поляком...

Угомонились, царевичу танцы наскучили. Пора показать покои верхние. Наталья с девочками, Данилыч завладел Петрушей.

— Наше дело мужское... Пошли!

Дверь Ореховой открыл благоговейно. Свечи уже горели, лик государя сиял беспечальной молодостью. Голландия, верфь, на руках мозоли... Мозоли? Что это, инфант не ведал, но увлеченный рассказом, завидовал.

Мужское занятие здесь — это шахматы. Любимая игра царя, фигуры, согретые им навечно. Некая таинственная искра теплится в недрах янтаря — дивного морского камня. Сокрытая мудрость... Неразлучный готов был всю Россию за шахматы усадить, а людей государственных понуждал к тому. Но Петруша, похоже, разочарован. Расставлял свою рать лениво, начал нетерпеливо, развернуть ее не сумел и, прозевав ладью, слона, равнодушно сдался.

— Карты есть у вас?

Вопрос в самое сердце ударил. Карты. Еще в Ореховой... Онемел Данилыч.

— Я умею,— услышал он из уст отрока.— Я с Иваном играю.

Ох, пристал Долгоруков!

— Что хорошего? Дьявол их изобрел, Ваше Высочество. Ваш дед...

Гневный прочел приговор коварной приманке для уловления душ, источнику всяческих несчастий, потом передал огорченного инфанта Сашке. Княжич топтался за дверью, тыкался. Известно, тянет похвастаться...

Убежали стремглав в гардеробную, застряли там. Одежек разных военных, цивильных, маскарадных у Сашки сотня — ликуют мальчики, потрошат шкафы. То-то плезир Петрушке превратиться в драгуна, в венгерского гусара, в султанского янычара...

Прощались гости нехотя — небось, всю ночь бы резвились. Данилыч проводил до саней. Лакеи несли подарки — редкие лакомства, снятые с елки, пудовый географический атлас, большую венецианскую куклу в дорогих шелках. Светлейший доволен. Визит западет в сердца их высочеств, где еще в Петербурге подобный чертог! Зимний и сейчас, с новыми флигелями беднее...

Взбудораженный дом затих не сразу. Задумавшись, князь отрешился от суматохи — жена и свояченица, командуя челядью, наводили порядок.

Потомки великих мелки бывают... Кем изречена афоризма? Мелки, слабы для самодержавства, потребен перст указующий...

— Проводил жениха?

Варвара откуда-то... Кольнула острым плечом, задержалась, мина лукавая — не скроешь мол, догадалась.

— Заладили,— отстранился князь.— Жених, жених... Дитя еще...

Поспешно, чуть не бегом — к себе. Лакей запалил светильник, озарились делфтские изразцы, взлетели синие птицы — будто вспугнуты. Творя перед сном молитву, Данилыч унимал волнение. Зачем бежал от правды? Пора признаться домашним. Доколе таиться?

Секрета нет, Остерман посвящен уже. Если не врет лукавец, заднюю мысль имел, излагая прожект.

— Вам дорогу очистил.

Сказал в беседе приватной и пояснил — церковный запрет известен ему, не настолько наивен. Огласил прожект, чтобы протест возбудить, рассеять толки. Елизавете

за царевичем не быть, также и другим девицам августейшей фамилии.— Родство даже троюродное препятствует браку.

Невеста инфанту есть. Дочь первого вельможи, имперского принца. Союз напрашивается...

— Мне ли учить вас,— извинялся немец.— Прозорливость ваша... Было бы странно в ней усомниться. Я позволил себе пойти вам навстречу.

Ишь, доброхот...

В точку попал ведь. Данилыч свыкался с замыслом, давно зародившимся. Дочь Алексашки-пирожника — царица... Завопят родовитые. Но если Голицын поддержит... А как отнесется цесарь? Свояк ведь будет — по-русски... Разом с двумя династиями соединятся Меншиковы. Что ж, заслужено. У Машки-то кровь боярская, хоть и разбавлена подлой.

Забыт пирожник, забыт...

Воцарение Петра Второго, здраво судя, прибыток еще неполный. Мацкина свадьба — завершение логическое. Два акта, связанные один с другим. Позиция первого вельможи сим венчаньем упрочится. Регент взрослому суверену — фигура лишняя, так авось зятя послушает.

Теперь от царицы зависит... Без ее согласия дело не сделается. Завещанья-то нет... Обусловить черным по белому женитьбу наследника, чтобы невесты не искала иной.

Догорают свечи в спальне, слуга, поплевав на ладони, гасит. Померкли голландские изразцы, а птицы словно вьются, машут крыльями в темноте, кричат тревожно. Последняя мысль, на пороге Морфея — о Неразлучном. Благословит камрата или негодует. Уж, верно, явит какой-нибудь знак.

ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Год 1726 истекает.

Что готовит грядущий? Астрологи вопрошают звездное небо.

«Оный не зело мирен может пройти,— известил Месяцеслов.— Марс посещает уже в начале года главные планеты и тако могут ранние воинские советы быть». Некие «скорые и коварные поступки» смутят покой, а «в последних числах сентября, перед зимними квартирами может произойти жестокая баталия».

Марс ненасытен.

Сиденье персидское длится, армия тамошняя, изнемогая, держит полуденный берег Каспия и купно престиж империи. Пули, голод, болезни косят ее нещадно, дорога в Индию, начертанная Петром, уперлась в тупик.

На севере тихо покамест. Швеция все более склоняется к ганноверскому союзу и Англия, а также Дания сим поворотом весьма ободрены. Верно, снова пошлют корабли в российские воды.

В Ревеле на всякий случай оставлены зимовать четыре линейных судна, в Кронштадте их двадцать шесть, многие просят починки либо пригодны лишь на слом. Галерный двор петербургской передышки не ведает — десятки старых посудин заменяют новыми. «Ястреб», «Дельфин», «Попугай», «Щука», «Ижора», «Наталья», «Чечетка»... Гребцов на борту до трехсот, пушек — до тридцати шести. Малый «каюк» имеет одно орудие, зато ему любой фарватер доступен, хоть коровий брод.

Западные газеты, прежде пугавшие Россией, тон обрели иной. Появилась нотка недоумения. Монстр не столь уж опасен, военная мощь его значительна, но Европа выстоит. Решится ли напасть? Намерения Екатерины непредсказуемы, да и правит не она, а советники во главе с ее фаворитом.

«Вельможи боятся Англии».

«Двор целую ночь проводит в ужасном пьянстве и расходится в пять или в семь часов утра. Более о делах не заботятся»...

«Меншиков упрочил свою власть, перетянул к себе Бассевича, подсказывает ему советы Карлу Фридриху».

«Царица устранилась от управления, что Меншикова вполне устраивает... Все перед ним дрожат».

Пишут послы иностранных держав. Наблюдатели сходятся на том, что Россия ныне на перепутье.

В новогоднюю ночь амазонка веселилась изрядно. Созвала на обед всех высших сановников, генералов, даже полковников. Зимний дворец ломился от танцев. Порох на салюты, на фейерверк приказала не жалеть. Громче, пальба, громче, музыка! Данилыч, охрипший от тостов, признался:

— Устал я, матушка.

Сощурилась презрительно. Поднялась с бокалом, заговорила, глядя на голштинцев, примешивая слова немецкие:

— Прошу, господа, пить за Его Королевское Высочество... За его победу над врагами... За возвращение исконных владений. Хох!

На лице Бассевича выразилось смущение. Герцог отозвался вяло. Хох получился, к крайнему огорчению владычицы, довольно жидкий.

— Эй, Александр! Это мужчины? — произнесла она внятно, допила, бокал швырнула.

Изволь успокоить...

— Политика, матушка. Дипломаты присутствуют.

— Мне наплевать.

Сквозь зубы выжала крепкую брань, из обихода царского. Куражилась, колотила оземь чарки почти до двух часов пополуночи. И еще с полчаса побыл с ней Данилыч, слушая безропотно, как надо отпраздновать Крещенье. Церемонии в ее власти — пусть уж тешится. Вернулся домой без сил, встал в девять, едва смог выйти к чиновным в плитковую.

— Воля матушки нашей... Все войска стянуть сюда, которые при столице, в ста верстах предельно. Парад чрезвычайный. Торопитесь, господа, времени у нас в обрез!

Прибывающим воинам готовить кров и харч, проверить одежду, амуницию, помуштровать. На Неве, где будет водосвятие, строить сень, да не по старому рисунку Трезини, а показистей, подстать сему невиданному торжеству. Андрей Екимыч исполнит... Светлейший запряг подчиненных и себе спуску не дал. Мучили боли в груди, кашель.

6 января горожане повалили к реке, столпились на берегах густо. Благовест всех колоколов столицы разливался в морозном воздухе. Полки сошли на лед — оба гвардейских, собственный князя Меншикова Ингерманландский, гарнизонные, полевые. Тридцать тысяч солдат образовали каре, вытянутое от Васильевского острова до слободы Охотской.

Во Иордани крещахуся...

Церковное, памятное с детства напевал Данилыч, одеваясь в то утро. Заклинал немощь, постигшую так некстати. В груди словно камень горячий, в ногах мелкая дрожь. Дарья гнала обратно в постель, умоляла — но разве возможно?

Сень сверкала на солнце пронзительно, будто терем волшебный, спущенный ангелами, будто горка яхонтов, изумрудов. Из окна глядеть — и то режет глаза. От Зимнего к ней, по льду, дорожкой выложены ковры. Процессия двинется пешком, не исключая и царицы.

— Не дойти тебе...

Дарья за рукава хватала. Супруг, тираня себя, крепился.

— У солдата вся правда в ногах.

Вся правда... вся правда... В Иордани крещахуся... Слова сплетались, образуя одно неотвязное песнопение. Выпил травяного отвара, арсеньевского, дабы сердце подхлестнуть и облегчить противную во всех членах тяжесть. Пособил и мороз, обжегший лицо, а паче зрелище вооруженного множества, оцепившего белый простор Невы. Ощутил под собой седло, круп коня — теплый, чуткий.

Хворь сползала, извиваясь змеей, падала под копыта. Из марева, взбивая пушистый снег, возникали всадники, неслись наперегонки — рапортовать командиру парада.

— Господин рейхсмаршал...

Карл Фридрих, докладывая, нелепо теребит поводок, конь дергается, скользит, удрученный неловким хозяином, коему ездить верхом непривычно. Изнежен, заласкан царицей шеф Семеновского полка, перед строем жалкий. Проклинает, небось, каприз тещи своей — заставила вывести полк. Несколько дней подряд маршировали гвардейцы мимо окон дворца, матушка потчевала водкой, одаряла улыбками, но у голштинца сноровки воинской не прибавилось, сидит напрягшись, деревянно.

Светлейший объехал шеренги, сопровождал его живительный пушечный гром. Царица уже на набережной, с ней царевны, инфант. Пришпорил коня, подлетел, саблей салютовал Ея Величеству лихо — откуда сила взялась! Теперь надлежало спешиться, вступить в крестный ход, шагать по пятам за августейшей фамилией, но первым среди вельмож. Болезнь, казалось, покинула... Он медлил, вселилось отчаянное упрямство. Подозвал адъютанта.

— Скажи царице... Болен я, башка кружится. Сойду если... Некрасиво будет, свалюсь.

Зарокотали все барабаны, кортеж тронулся. «Князь ехал верхом, понеже был весьма болезнен,— записал потом очевидец.— На нем был кафтан парчевый, серебряный, на собольем меху и обшлага собольи».

Ковры красны, словно лужи крови. Он смотрит сверху вниз — на царицу, на парики, черные, белые, рыжие, дивится отваге своей и исцеляется ею. Кто-то ошеломлен, кто-то злобится — парики скрывают. Бог с ними, сейчас он полон снисхождения — глава сухопутных российских войск. Люди внизу, разных титулов, званий, равно мелки.

Медленно вырастает сень, горит золотой голубь, венчающий полотняную крышу, солнце выхватило и зажгло на миг облачение Феофана Прокоповича, обтянувшее широкие его плечи,— он шагнул внутрь, чтобы свершить обряд, и за ним проплыла царица в неизменном своем амазонском наряде. Перо ее шляпы, погасшее в тени, кося-ка не коснулось, и Данилыч подумал, что мог бы, не слезая с коня, пригнувшись только, проникнуть в шатер. Видано ли! То-то дрогнет, попятится в ужасе этот поток париков, это стадо баранов... Эх, Бог простит!

Что удержало его от кощунства? Внутренний голос или евангелист — помнится, Матфей, справа от входа, в зеленой рясе. Ночью дерево от холода треснуло, расщелина обезобразила лик зловеще — запрещал старец святой. Может, сойти с коня...

Живописцы, обновлявшие краску, вычернили глаза Матфея, они вонзались, сверлили, и тут обдало волной слабости. Крепче вжался ногами в бока Альбатроса, от процессии отделился. За дощатой — в крестах и звездах — стеной шатра запел хор, стало быть, Феофан, помолясь над прорубью, погружает крест. Нева сейчас Иордани подобна, Иордани, омывшей Христа в сей день крещенья его. Данилыч уже стыдился безумного своего порыва, не мигая, взирал на златого голубя, колеблемого ветром.

Голубь... Обличье Духа святого, спустившегося к сыну Божьему. Во Иордане крещахуся...

Умолкла служба, царица локтями оттолкнула фрейлин, влезая в возок, приободрилась амазонка. Беглой пальбой, криками «ура» и «виват» встречали ее полки и проводили, пыжи черными точками усеяли снег. Данилыч трусил следом, вбирая послушную силу тысяч людей.

Потом мыльня лечила его, травы, святая вода, которую Дарья, по обычаю, запасла на целый год. Отлежался бы, да некогда. На другой же день устроил обед для штаб- и обер-офицеров гвардии и своего полка — подлинных друзей и целителей, а вечером и на третий день, в воскресенье, принимал царевича, тешил танцами, фейерверком.

Будто в седле все время.

— Иди сюда, Шарло!

Екатерина выгнулась кошечкой, поймала сползавшее одеяло, кокетливо прикрылась. Одна-единственная свеча теплится в спальне, так лучше, пусть сумрак окутает немолодое тело. Сей последний покров мальчик не снимет.

— Шарло, котеночек мой...

Наконец-то найдено имя... Карл Рейнгольд — это во рту не вмещалось. Зато по-французски — коротко, нежно. Шарло, Шарло... Ее резкое «р» звучит то смягченно, то раскатисто, чуть сурово.

— Владычица! Лечу к вам, лечу.

Врет, рубашку тончайшего полотна вешает на спину стула с немецкой аккуратностью. Бурные вспышки страсти чужды ему или, быть может, достаются другой. Какой-нибудь шлюхе... Сапега был порывист, в постели тороплив, Шарло старше, набрался, негодник, опыта при дворе.

— О, жестокая!

Он потянул одеяло, она притворно, с грудным, зовущим смехом противится. До чего же приятно закончить праздник любовной игрой.

Упоительный праздник...

Смотр войскам грандиозный, небывалый — Александру спасибо, с усердием послужил. Лица, обращенные к ней с восторгом, дружный рев из множества солдатских глоток — глас верности императрице, супруге Петра. Можно ли обмануться! Стоит ей дать сигнал, и воины, победившие шведов, двинутся к победам новым.

— Ну же, Шарло!

Вырвалось повелительно. Мальчик смутился, руки, гладившие ее плечи, вдруг обмякли. Бог Амур своенравен, понуждения не терпит — ей-то следовало знать...

Но похоже, Амур отступил перед Марсом. Праздник длится, праздник клокочет внутри, возвращает прошлое, когда рядом был Петр. Походы, взятые крепости, города... Он нежно ломал ее в придорожной корчме, в палатке, оставлял бездыханной. От него пахло конским потом, пожарами, порохом... Ароматы войны... Остановиться — значит нести поражение. Его завет...

— Шарло, как ты смеешь спать! Ты видел? У меня есть армия... А гвардейцы... Витязи, настоящие мужчины... Они боготворят меня, ты видел? Что ты мычишь, сонный телёночек! О, Петр говорил — русский солдат покажет чудеса храбрости. И если найдется стратег... Я не смогу... Я скоро умру, Шарло. Ты слышишь меня?

— Не слышу, владычица. Эти слова... Вы не должны... Вы рвете мне сердце.

— Я знаю, Шарло. Умру, не выполнив долг... История забудет меня. Исчезну бесследно... Нет, нет, надо что-то сделать. Скажи, ты готов мне помочь? Довольно тебе лентяйничать. Человек — образ Божий, ты обижаешь творца, несчастный. Игрок, развратник, пфуй! Ты владеешь оружием?

— Конечно... Шпагой...

— Ты дрался хоть раз? Нет же... Поучись. Я пошлю тебя...

— Богиня моя! Куда?

— Я еще не решила. Возможно, в Курляндию. Приведешь мне Морица, добром или силой. Он пригодится мне. Что, на попятный? Струсил?

— О, сжальтесь, владычица! За вас, всю мою кровь... Меня другое страшит. Мориц — ужасный Дон Жуан, дьявольский соблазнитель. Я потеряю вас.

— Ты комедиант, Шарло. Болтаешь детские глупости. Поцелуй меня и уходи!

Удалился, испустив театральный вздох. Пусть гадает, для чего потребен Мориц. Секрет слишком важный — доверять Шарло опрометчиво.

Фрейлинам — Эльзе и Анхен она досказала.

— Гвардейцы, эти славные бурши... Я их ма-туш-ка... О, у меня много солдат. Где маршалы? Александр умеет воевать, но он слаб здоровьем. За флот я спокойна, там Змаевич, твой Змаевич, Анхен... А, заблестели глаза! Да, красивый мужчина. Шереметев старый уже... Мой зять? Ах, молчите! Я так надеялась на него... Он позорит меня. Вчера, как он сидел в седле, как он командовал? Бедные солдаты... Пфуй! Датчане, подлые разбойники, ограбили его, отняли землю предков — он пошевелится разве? Безнадежно... Согласен на компенсацию, будто торгаш какой-нибудь. Это высокородный Ольденбург! Другой на его месте давно был бы в Стокгольме, на троне. Ничтожество... Предки ворочаются в гробах. Достанет ли у него ума сохранить хотя бы Киль?

Витийствуя, она отхлебывала вино. Стукнула кружкой по столику, велела долить. Необходимо выпить, блестящая мысль пришла ей в голову. Полководец есть, храбрец, подлинный рыцарь Зигфрид.

— Мориц, девочки, Мориц. Маршал Франции, любимец короля. Ни одного сражения не проиграл. Что, не поедет к нам? Ему нужна Курляндия. Получит, будет герцогом, под нашей властью. Мы женим его. Женим, женим...

На ком? Лопнут — не догадаются.

— Софья для него, да, моя племянница. Ну что, откажется от такой невесты? Дочь мельника? Ну, ему нечего нос задирать. Дочь мельника и незаконный сын Августа. Парочка... Баран да ярочка...

Кстати вспомнилась латышская поговорка. Счастливый смех колыхал царицу, вино выплеснулось на постель. Осушила до дна.

— Эта свадьба... Она прогремит на весь мир... Англия задрожит. Я скажу Александру.

Данилыч одобрил выдумку.

— Ловко, нашла, чем приманить. Породниться с тобой недурно. Прокормим Морица.

— Ты шутишь?

— Бог с тобой, ничуть!

— Александр... Если я не доживу... Увидят после меня наш флаг в Копенгагене. Мориц сделает...

— Повстречался я с ним. Аника-воин... Да нам бы не лезть покуда... Ну, коли заставят... Наги и босы, матушка, обнищали. Софью ему, говоришь? Битте, битте! Жених-то разборчив, поди. Скажет — царевну мне подайте! Елизавету отдашь ему?

— Отдам.

— Твоя воля.

Сомнительно, чтобы клюнул Мориц и покорился России,— мечтает ведь сувереном стать в Курляндии. Выгнать его надлежит безусловно — только не в Питер. Иметь здесь соседом сего парвеню, притом окончательно распроститься с герцогством... Нет, милостивица, спасибо! Но спорить Данилыч почел излишним — политичнее согласиться и даже польстить амазонке.

— Что ж, попытка — не пытка. Постараемся заарканить маршала, подмога преважная нам. Я-то, дурак, не скумекал... Правда твоя, нашего полку прибудет. Стратег молодой, известный... От англичан мы всегда в опасности. Ладушки, ладушки... Кого же отправим в Курляндию?

Говорит, как с ребенком. Не замечает она. Забавляется, что ли, составляя разные прожекты, наступательные и брачные?

Поручить Левенвольде? Напрасно колеблется матушка — барончик смышлен, обходителен, пора приобщить его к государственным заботам. Про себя же Данилыч решил — провалит.

— Дворянство бы не пронюхало... Удержит барон язык за зубами? Ты внушай ему!

Напустил азарта, горячился, обсуждая подробности секретной миссии. Обещал подыскать расторопных спутников, охрану.

— Повезет же Софье,— промолвил благодушно, передохнув.— Вчера мужичка, сегодня графиня, завтра, смотришь,— герцогиня. Тогда и мне окажи фавор.

Вскинула брови, ждет. Расположенье доброе. Данилыч собрался с духом.

— Машку мою благослови!

— Изволь. За кого ее?

Оживилась, в голосе ласка. Чует вину за собой. Данилыч, скрывая волнение, сказал:

— Коли угоден я тебе... Коли нужна моя служба... За царевича Машку.

Сердце подступило к горлу, билось отчаянно.

— Я рада, Александр.

Барьер перед сим прыжком представлялся высокий — мало ли что ей взбредет. Князь опешил даже. Запас аргументы, выстроил их, просились на язык.

— Матушка... Раб твой, благодарствую, слов нет. Авантаж для меня великий. И для тебя ведь...

Обязана усвоить — чем выше его престиж, яко первого стража престола, тем ей, помазаннице, крепче на оном восседать. Возросшая власть Александра на благо, ибо позволит пресечь раздоры среди именитых, покарать заговорщиков, обуздать интриганов. Теперь, заручившись агреманом Ее Величества, он сообщит Рабутину. Вообще, спешить с помолвкой не следует, акция серьезная. Слух, правда, бродит уже, невесть кем пущенный, люди чешут языки. Что ж, тем проще выловить злоумышленников, а они вьются вокруг, норовят ужалить. Тьфу, гады ползучие! Ну, поплатятся...

— Эй, Александр! — прервала царица.— Младшая твоя... Тоже невеста. Ты думал?

Палате лордов уподобляет Дмитрий Голицын Верховный тайный совет. Данилыч иронизирует — похоже, да не совсем. У него-то власти побольше, чем у короля Георга, ибо действует именем самодержицы. Внемлите и покоряйтесь!

Царица на Совете отсутствует, Карл Фридрих почти безгласен, интерес к делам теряет. Князь же — здоровый или больной, в стужу или в распутицу — собрание не пропустит. Мало ли чего начудят без него вельможи! Капризы, фантазии амазонки единственно он умеет обуздать, внушить решение здравое. Приносит заготовленные указы, Екатерина подписывает.

Подушная подать снижена на одну треть. Царица сперва тревожилась: хватит ли денег на войско? Александр обрисовал бедственное положение крестьянства, растрогал ее. Нельзя же губить кормильцев. Убыль в казне возместят торги, мануфактуры.

С вельможами спорить труднее.

Северное купечество стонет — коммерция через Архангельск худая. Требуют тех же льгот, которые даны их собратьям в Петербурге, русским и иностранным. И верно — предпочтение царскому «парадизу», на первых порах благое, ныне устарело. Но боярская толща упряма. Купцы ее мало заботят. А ворота в столичном порту открываются шире — для товаров помещичьих.

Дебаты шумные — по поводу монополий, введенных государем. Большинство требует отменить, князь не против, препоны стесняют приватное начинание. Но бояре норовят обставить так, чтобы львиную долю выгод — вотчинникам. Коммерсанту, заводчику несть числа добрых советов, пожеланий — и ни рубля субсидии. Авантаж горожанам хоть копеечный, ох, тяжело получить! Экономия нужна, но разумная, дабы курица, несущая золотые яйца, не тощала. Вон сколько еще дармоедов в разных конторах, бумагу зря переводят.

Армия на голодном пайке, денег ждет месяцами. Некоторым вельможам кажется — офицеры слишком богато живут. Светлейший возражает устно и письменно.

«Оным дается жалованье и так против европейских стран весьма малое и только содержат себя те, кои имеют деревни, а кто не имеет, те с немалой нуждой пробавляются. Когда офицер в пропитании имеет нужду, то какую может показать службу?»

Диктовал с возмущеньем. Беспоместные офицеры вышли из простого люда, чин и дворянство имеют по заслугам, крестьян еще не успели приобрести. Спесивые сих достойнейших воинов презирают. Фельдмаршал тверд.

— Матушка наша,— заявил он, сжав рукоятку шпаги,— обижать славное рыцарство воспрещает.

Знает князь, когда против шерсти погладить, когда мирволить. Остается задача главная — обезопасить себя на будущее. От царицы зависит... Утвердила Петрушу наследником, утвердила Марию невестой его — но только словесно. Завещанья покуда нет. Напоминания деликатные безуспешны — боится она взять перо. Атаковать придется решительно.

Не звали и ждать перестали — пожаловал Крекшин. Долго пыхтел в сенях, сбивая снег с шапки, с замызганного полушубка,— январь, исчерпав заряд морозов, под конец разразился вьюгой.

— Календарь у тебя басурманский, что ли? — пошутил Данилыч, так как обычного новогоднего поздравления от звездочета не было.

— Стучался и вопиял. Говорят, его светлость в Зимнем. Аз яко червец на дне пропасти, ты же на горе, глава во облацех.

Скинул овчину, обдав кислым запахом, под ней оказалась синяя куртка вроде матросского бострога, поношенная. Немытые волосы с тусклыми проблесками седины раскинулись по плечам.

— Униформу пошто не носишь?

Губернатор обязан спросить. Служащим Монетного двора одежда определена казенная. Ему, вишь, тесно в ней. Тот же домовой лохматый, пугавший челядь.

— Прости, душно в немецком!

— Бунтуешь все...

Усадил гостя в плитковой, велел подать водки, соленых огурцов. Речи его занятны. Согрелся, обмяк в кресле, надобно разазорить.

— Что ж на немецкое ополчился? Из Европы к нам просвещенье идет.

— Видимость это, машкерад. Тело грешное наряжаем, а душа-то в потемках.

— На то ученье.

— Ой, князюшка! Где учители? Вон профессоры в академии, читают трактаты, да кто их разумеет? Я толкнулся к Байеру,— авось присоветует путное, кое-как по-немецки ему... Замахал на меня, заклохтал... Понял я то, что русское государство основано германцами. Вот евоный трактат... Почему они наш язык не учат? Ты скажи им!

Заноза старая колет — отверженный он, труды его членам Академии недоступны, изволь по-немецки или по латыни! В ученом синклите ему не место. Гисторию Петра великого государыня доверила академикам и светлейший одобрил. Крекшину ли тягаться...

— Какова грива-то? У коня... Одиннадцать сажен?

Царь будто бы видел такую, в Голландии. Крекшин, ничтоже сумняшеся, написал.

— Говорил я тебе, сказки рассказываешь.

— Убрал я гриву, эко дело! Я заново начал, всю гисторию, с Новгорода, который был столицей всех славян. Величие Руси век от века возрастало, до ныне зримого апогея, вящего расцвета. Ты постыди, батюшка, профессоров. Ихняя гистория ложная, унижают нас. Уж коли ты не заступишься... Ох, горе! Изруган хожу и оплеван.

— Постой! Ну, скажу я им... Думаешь, готово? Враз ты в мантии, магистр наук.

— Ты силы своей не ведаешь. Народ смотрит — Меншиков-то в седле, а царица пешком шествует. Неужто стерпит Господь? Пустит молнию, собьет его. Нет, сидит Александр Данилыч. Значит, милость тебе громадная ниспослана. Предела не достиг еще...

— Укажи мне, ведун-колдун! Я-то глух, тебе астры глаголют.

Бывало, Крекшин чуть ли не с порога сообщал гороскоп. Данилыч беспечным смешком прикрыл щемящее любопытство.

— А тебе зачем? Астры индифферентны.

— Э, да ты по ученому заговорил! Впрямь академик.

— Звездам круговращенье задано, больше ничего. Идущему предел не видим. Перешагнешь, оглянешься назад, тогда и узришь. Миновал и не заметил, а то соломку постлал бы. Молим, подай, Боже, знак заранее! Древние люди полет птиц наблюдали. Мне вот утром голубь в окно стучал. К чему? Пустое это... Совесть лучше подскажет. Возгордился человек — хлоп, и споткнулся!

— Тут и кинутся на него и заклюют,— сказал князь, применив рассуждение к себе.— Трудится человек, кругом же зависть, злоба, невежество.

— Гистория рассудит. Петр Великий искоренял невежество. Цифирные школы завел. При нем-то сколько их было... Рано ушел государь, рано покинул. Предела своего не достиг, надорвался, мучений сколь за нас, скудоумных, воспринял. Немецкое-то одели...

— Снять, что ли, прикажешь? — с кривой усмешкой спросил князь.

— Сыми попробуй теперь! Разве что с кожей вместе... Приросло, батюшка.

— Да ну? Ой, беда!

Потянул, дернул рукав кафтана, дабы высмеять философа. Смех в горле застрял.

— Одел господин немецкое и мнит, будто он европеец. Пагубное тщеславие. Внуки и правнуки в сем заблуждении пребудут. А народ, как был, в лаптях... Солдат кричит «виват», в том и просвещенье. Господин и язык-то наш забудет. Настанет смятение, яко среди племен, что вавилонскую башню строили. Своя своих не познаша. Тогда и поймут — чужим, заемным век не прожить. Ну, батюшка, надоел я тебе. Не гневайся на ничтожного!

Расстались холодно.

— Сам ты возомнил о себе,— бормотал Данилыч, входя в спальню.— Напялил рубище, чего доброго начнет мутить честных христиан. Еще один юрод вылупился... Вытолкал его профессор — и поделом.

Спальня, казалось, наполнилась множеством машущих крыльев, резким клекотом — то зыбкое свечное сияние всполошило птиц на изразцах. Сорвались пернатые, заметались рассерженной стаей. Вспомнилось: голубь стучал в окно Крекшину. Древние следили за полетом птиц. Некий намек в его словах... Предел человеческих устремлений сокрыт, разве что знак какой подаст провидение.

Днем синие голландские птицы смиренны, при свечах же черны, клювы, крылья враждебно остры. У Данилыча с детства неприязнь к хищным птицам — как он ненавидел ястреба, который повадился таскать цыплят со двора! Нет, знаки, знамения — суеверие, фатер осуждал. Астры вернее, Крекшин читал в небе, а нынче вдруг отрекся от них. Или узнал нечто и промолчал? О пределах толковал, похоже — предупреждал. А цифирные школы с какой стати помянул? Упрекать ведь осмелился.

Это правда, что школ убавилось, уцелевшие переходят в церковное ведомство, псалмы вместо чисел и чертежа. Вины за собой светлейший не признает. Ведомо ли Крекшину, что в казне миллион недобора? Государь поручил своему камрату Петербург, любезный парадиз, и камрат печется, новые флигели Зимнего с великим поспешанием возведены. Престиж государства — цель первостатейная.

Свечи погашены, птицы утонули в темноте, слышится лишь шорох крыльев, мешает уснуть. Данилыч с головой закутался в одеяло. Сгиньте, проклятые!

Слышен глас Феофана и в петербургских гостиных — баритон на редкость гибкий, то грозно порицает леность ума, то очарованно, на высоких нотах славит могущество разума. Приходит в скромной рясе, часто с молодыми друзьями. Он самый заметный, самый громкий в «ученой дружине» — так прозвали в Петербурге компанию книгочеев, философов, спорщиков.

Салон княгини Волконской для них открыт. Поискать в столице хозяйку более гостеприимную — каждому рада, лишь бы знал политес и не напивался.

Протопоп ласкает взглядом полный стан княгини, ловит благосклонную ее улыбку и рассуждает:

— Кто истинно просвещен, тот сытости в ученьи не ведает, а напротив, неутолимый аппетит имеет к постижению от юных лет и до скончания живота.

Михаил Бестужев — брат княгини, дипломат, объездивший почти всю Европу, любезно кивает, помахивая люнеткой, сиречь увеличительным стеклышком на черепаховой ножке.

— Натура наша корыстна,— начал он.— Интерес к машине порождается машиной. Ежели она выгодна, являются при ней мастера и ученики. Очень немногие тянутся к знаниям, к добродетелям бескорыстно.

— То божья искра,— возразил Феофан.— Раздувать ее надо. Проникновенным словом...

— Слов-то на Руси всегда в избытке,— усмехнулся Бестужев.— Тешим себя словесами, а дело вязнет.

— Верно, верно,— вмешалась Волконская.— Ленивы, терпим мерзость, грабительство. Разбойник пирует в своем дворце, измывается над нами — терпим, терпим...

Лицо, намазанное белым кремом на винном спирту, от злости бледнеет мертвенно. Разбойник, узурпатор, кровопиец, Чингис-хан, Тамерлан — десятки кличек придумала лютому врагу Меншикову. Кабы слово убивать могло... Дело же главное в России, по ее мнению, в том и состоит — свергнуть власть наглого парвеню.

Где храбрые? Кто схватит карающий меч?

— Светлейший сватает дочь за наследника,— говорит она, дрожа от возмущения.— Это ли не наглость!

Отводят глаза. Смущенные смешки, в сторону. Все прощают сатрапу. Ганнибал, друг сердечный, будто не слышит ее. И у него Франция на языке. Там механика в почете и цифирных школ тысячи. Да Бог с ней, с Францией! Княгиня кинула ему гневный взгляд и невольно залюбовалась узким, обтянутым лицом эфиопской смуглости, угольной чернотой длинных, плавно курчавых волос, которые она так любит разглаживать.

В армии Людовика он дослужился до капитана, теперь инженер-поручик гвардии, градус, почитай, тот же. Познаниями генералу нос утрет. Привез из Франции четыре сотни книг, часть оных пропитания ради продал. Свою «Геометрию и фортификацию», труд в двух толстых тетрадях, преподнес царице,— и что толку? Три года, как вернулся из-за границы, тянет лямку, повышения нет как нет. Ясно же, кто препятствует...

Эфиоп целует жарко, но женские чары, увы, не всесильны — ропщет он, но действовать против тирана остерегается. Уклончив и Девьер, бывший фаворит Аграфены. Ревность зажал, зачастил снова, намедни повеселил прибауткой, уловленной полицейскими.

Из грязи квязь,
Из девки царица,
Из болота столица.

Чьи же уста обронили? Дворянские, ответил Девьер коротко. Одно зубоскальство с ним, дела никакого... Сам-то счастлив был бы сразить ненавистного тестя. Присматривается? Не доверяет? На братьев-дипломатов княгиня махнула рукой — отшучиваются, боязно им рисковать карьерой.

Феофан однажды привел красивого юношу, представил — Антиох Кантемир, сын покойного молдавского господаря Димитрия, стихотворец, полиглот, ходит в Академию на лекции. Вместе с отцом сопровождал Петра в персидском походе. Карие глаза студента блестели отважно, возбудили надежду у княгини — быть может, вот он, витязь, ниспосланный судьбой, победитель сатрапа! Оказалось, зелен мальчишка, наивен, подобно Феофану обожает Петра, безрассудно чтит ближних его. Замыслил поэму, для которой выбрал название — «Петрида», набросал несколько строк. Изображает смерть Петра как деяние Зевса — громовержец столь восхищен подвигами царя, что забрал к себе на Олимп. Обществу аллегория пришлась по вкусу, хозяйку чтение сего детского опыта удручало. Чего доброго, и вора Алексашку к богам причислит.

Увы, безнадежно звать на борьбу ученую дружину! Говорят то же, что и братья-дипломаты,— при нынешнем-де разброде и небрежении хоть один человек трудится — и со знанием государственных дел.

Меншиков, фараон ненасытный, торжествует. Доколе же? Отступить? Нет! На скрижалях истории будет вырезано имя Аграфены Волконской. Встала во главе праведного заговора, одолела монстра.

Рыцари клянутся ей в верности. Она вручает кинжалы, смазав ядом... Увы, мечта! Кругом изнеженные, малодушные. Смирить горячность, вести борьбу бескровную, осторожно, острым умом вместо клинка.

Гостей прибывает, салон открывается дважды и трижды в неделю, кормит Волконская вкусно. Французская книжка «светских разговоров» заброшена, хозяйка полную волю дала. Судят ли о порче нравов, притязаниях Морица в Курляндии или о доходах с вотчин, она выбирает возможного сообщника и затем, после трапезы, отводит в сторону...

Иногда визитует Толстой — в пятницу, понеже день постный, мясную пищу старец перестал вкушать. Признался Волконской:

— Отмаливаю свой грех.

Кается он, что был покорным орудием царя, аки пес борзой рыскал по Австрии, по Италии, выслеживая беглеца Алексея, и приволок к родителю бессердечному, на погибель. В Неаполе, где царевича спрятали в замке, подкупал стражу, вынюхивал, не щадя жизни. Оставить бы несчастного в покое...

— Наперед как угадать!

— Воцарится сынок его, тогда пропал я.

Спасется он, если престол достанется дочери Екатерины. Аграфена наружно сочувствует. Ей бояться Петра Второго нечего, она присягнет любому монарху, лишь бы сразить вампира Меншикова. К чему спорить с почтенным сановником? Царица его уважает. Весьма пригодиться может...

— А князь пресветлый, дружок ваш,— сказала она язвительно.— Неужто не выручит?

— Этот-то... Утопит, мать моя.

Ушел старец, нахваливая заливную севрюгу. Обещал всяческое содействие. Княгиня возликовала — ценный завербован союзник. Поделилась радостью с некоторыми друзьями. Секретный рапорт Меншикову гласит: «...Толстой говорил, якобы его светлость делает все дела по своему хотению, не взирая на права государственные, без совета, многие чинит непорядки, о чем он, Толстой, хочет доносить Ея императорскому Величеству и ищет давно времени, но его светлость беспрестанно во дворце, чего ради какового случаи он, Толстой, сыскать не может».

Но для Петра Андреича Волконские — опора зыбкая. Честолюбцы, влияния же при дворе не имеют. Однажды встретил в салоне Девьера, шепнул ему:

— Мелкий народец. Пустомели.

Тот понимающе сжал локоть, отошел — не здесь, мол, беседовать по существу. А чревоугодие — грех. Пресной кажется графу селедка пряного посола. Раздражает арап, жутковато ворочающий белками, надоело парижское стеклышко Бестужева, вдруг нацеленное в упор. Вскоре визиты Толстого прекратились.

Заметила это мамзель — гувернантка Волконских, сообщила Горохову. Потайной архив светлейшего пополняется.

Толстой навестил Девьера дома.

— Говорят, жена твоя родила,— начал он.— Оттого и зашел. Прибавленье семейства, значит. Здорова супруга-то?

— Здорова, спасибо,— ответил полицмейстер удивленно. Жалует старец впервые, неспроста такая честь.

— Каков младенец?

— Здравствует, благодарю.

Передохнув, Толстой изложил свой план. Надо убедить царицу, чтобы она «для своего интереса короновать изволила при себе цесаревну Елизавет Петровну, или Анну Петровну, или обеих вместе. И когда так зделается, то Ея Величеству благонадежнее будет, что дети ее родные».

Царевича полезно, не мешкая, удалить — «можно ево за море послать погулять и для обучения посмотреть другие государства, как и протчие европские принцы посылаютця»...

Того же хочет Бутурлин. Толстой с ним советовался. Все в руце монаршей. А время не терпит.

— Боюсь, опоздали мы...

Тут полицмейстер вспылил:

— Чего же вы молчите? Ты в Верховном сидишь. Я, что ли, поведу тебя к царице? Меншиков командует, в вы молчите. Будь я в твоем кресле... Ей-Богу, лучше бы было! Без меня управляете? Вот и страдаем.

— Помилуй! Мы-то при чем?

— Прости, распалился я...

— Осерчает царица,— вздохнул Толстой.— Решиться нужно, все же... Падем в ноги, пусть укажет наследницу. Иван Иваныч считает, троим нельзя идти, неудобно. Ты как судишь?

— Одному надо. Тебе, граф.

— Что ж, пойду... Аки агнец на заклание.

— Князь не спросясь ходит,— стыдил Девьер.— Словно в собственные хоромы.

— Вельзевул он, соблазнитель поганый.

С Бутурлиным Девьер говорил отдельно, не раз. Сравнивали, которая из царевен лучше.

— Анна умнее,— утверждал гвардеец.— На отца похожа.

— Умильна собой, приемна,— подхватил Девьер.— И Елисавет изрядна, только нрав покруче. Однако я за Анну... Ты прав, похожа на отца. Шатанья не допустит, а то вовсе порядка не стало.

Девьер и Толстой — оба ревностные служаки, истовые почитатели могучего самодержца на том согласились. Смущает голштинец, но ведь цесаревна мечтает избавиться от мужа-пьяницы, сама спровадит. Отреклась от прав наследства, выходя за него, да ведь случай крайний. Примет корону, если царица соизволит.

Кто мог помыслить, что Меншиков перекинется к царевичу! Цербер лютый, безотлучно при государыне, держит ее, ровно под арестом. И, слыхать, сватает свою дочь за наследника.

— Подлинно я не ведаю,— сказал полицмейстер.— Вижу, ласков больно с инфантом. Помешать бы этому...

— Как помешать?

Средства не знают. Зато бранят супостата дружно. Особенно Бутурлин жаловался Девьеру: «Что-де хорошева, что светлейший князь что хочет, то и делает. Команду мимо меня отдал младшему. К тому же и адъютанта отнял у меня. Чего ради он так делает? Знатно, для своего интересу».

Обижен старый воин смертельно: «Токмо-де светлейший князь не думал бы того, чтоб князь Дмитрий Михайлович Голицын и брат ево князь Михайла Михайлович и князь Борис Иванович Куракин и их фамилии допустили ево, чтоб он властвовал над ними. Напрасно-де светлейший князь думает, что они ему друзья... Ему скажут-де: „Полно-де, миленькой, и так ты над нами властвовал, поди проч!“ Правда, светлейший князь не знает, с кем знатца. Хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен. Токмо для своего интересу».

Речи Бутурлина со слов Девьера. Впоследствии он будет держать ответ в застенке, под кнутом палача, сотоварищей его допросят в их домах, без пристрастья.

С первыми дуновениями весны состояние больной царицы ухудшилось. С февраля она безотлучно в Зимнем, веселье в ее покоях стихает. Недуг загадочен — явно поражены легкие, чахотка, но необычная. Стеснено обращение крови, весьма загустевшей, отчего распухают ноги, мутится память. Кровопускание и прочие средства бесполезны.

Покоясь в кресле, она смотрит военный экзерсис. Поток сине-красных мундиров, послушный рокоту барабанов, а над крепостью взлетают комки дыма и пушечный гром бьется в окно. Вот лучшее лекарство! Заботится Александр...

Бумаги, которые он приносит из Верховного совета, она подписывает, едва взглянув. Прожекты, кроме военных, утомляют. Придирчиво изучала рисунок узора для чепраков, коими украсится лошади кавалергардов. Пистолетом нового образца, облегченного, тешилась, как дитя игрушкой, и, утвердив, положила под подушку. Князь проглотил смешок, лицом посуровел.

— Этак спокойнее, матушка.

Исподволь внушает Данилыч царице — единственный способ унять распри между вельможами, интриги, обезопасить его, неусыпного стража, а следовательно, и ее священную особу, это подписать завещание. Матушка со всех сторон обретет безопасность. Чужеземные агенты ведь среди придворных ищут сообщников, как им иначе действовать? Значит, необходимо полное единение вокруг престола. Пусть отринет она суеверие, хуже ей не станет, когда подпишет,— напротив, почувствует облегчение, исполнивши монарший долг.

Сдалась, наконец, упрямица.

Документ сдан в Верховный тайный совет, где содержится в запечатанном ларце.

Трон завещан царевичу Петру, управление же, до совершеннолетия его, поручается Верховному тайному совету и двум царевнам. Каждой из них назначено по одному миллиону рублей единовременно и по триста тысяч на приданое. Им же достанутся личные драгоценности царицы, столовое серебро и золото, а поместья перейдут в собственность Скавронских. Елизавете указано выйти замуж за князя — епископа Любекского, двоюродного брата Карла Фридриха, а царевичу жениться на Марии Меншиковой.

Герцогу купить на казенные средства дом в Петербурге и притом помогать ему в получении Шлезвига и шведской короны. Потомство царевен имеет право на российский престол лишь в том случае, если Петр Второй умрет бездетным.

Став полновластным государем, он не должен требовать отчета от своих опекунов. Стало быть, регенту, коим мнит себя светлейший, предоставляется свобода рук.

«19 марта. Тезоименитство светлейшей княгини Дарьи Михайловны»,— вывел секретарь большими буквами, вдавливая перо.

Справили с необычайной пышностью.

Утром играли величальную музыканты, присланные царицей,— очень желалось ей участвовать, увы, немощна. Потянулись с поздравлениями подчиненные князя. Девьер рассыпался в политесах, вид имел покорнейший. Стремясь удружить, отыскал в Курляндии человека, служившего в европских государствах, опытного церемониймейстера.

— Хоть завтра вызову. Шляхтич Клокман, мечтает поступить к твоей светлости. На всех языках чешет.

Данилыч потрепал зятя по плечу.

— Дельно... Оставайся откушать.

В зале поставлены скобой три стола — за двумя высшие чины империи, за одним иноземные послы и три немецких принца. Накрыто и в других помещениях. «В плиточной кушали генерал-майор Шаховской, четырнадцать штаб-офицеров и пять дамских персон». Вельможа, ведущий свой род от Рюрика, верно завидует тем, кто в зале, но роптать не смеет, смотрит на хозяина подобострастно. Данилыч с бокалом в руке ходил по комнатам, «трактовал всех», друзей и противников, недосуг ему было вглядываться, мысленно срывать маски. Улыбался с неизменным радушием, сыпал шутки, лихо вскидывал голову, дергая себя при этом за ус.

«А светлейшая княгиня кушала в Ореховой и с ней пятнадцать дамских персон» — сестра Варвара, супруги сановников. Дарья хочет еженедельно собирать женскую компанию.

— И у меня будет салон.

— Славно, мать моя.

Данилыч уважил чуть не каждого ласковым словом, пригубив из бокала, пьянел он от ощущения успеха, могущества. Гости наперебой зазывали его, хмельное блаженство, хмельная преданность читались на лицах, сейчас одинаковых до смешного. Задержался перед дипломатами — Рабутин произнес старательно сочиненный тост.

— Подобно Пенелопе ждала Дарья своего Одиссея, возлюбленного супруга Александра, которого труды и сражения надолго отвлекали от мирного очага.

Про Марию, прекрасную юную нимфу, сказал, что бог Гименей взял ее под особое покровительство. Царственно суждено сиять принцессе, как, впрочем, и восхитительной младшей сестре ее. Сладко щурился Рабутин, протягивая бокал второму в гистории великому Александру, стратегу и благодетелю русских.

Цесарь о готовящемся обручении извещен и, по словам посла, весьма контентен.

Угощение для детей — в зимнем саду. К шести часам, когда в зале гремел полонез, пожаловал Петруша с Натальей. Музыку дробила пушечная пальба с набережной. «Погода была ясная и теплая», сумерки запаздывали, но, едва загустев, взорвались — забушевал фейерверк. На крыше дома зажглось: «Виват великой княгине Дарье».

Жена князя имперского, но титул кое-кого ошеломит. Великая... По здешним меркам слишком высоко. Монарший титул... Данилыч распорядился, мастера огня исполнили. Буквы саженные, полыхают, всей столице видны. Нате, завистники!

— Призывает Бог матушку.

Сказал домашним с печалью искренней — ничто не вечно в сем бренном мире, опочил фатер, покидает нас его подруга, завершится эпоха, быть может, лучшая в его жизни, блистающая в истории.

Недуг царицы, загадочный для врачей, поразил легкие, сердце, жилы, проводящие кровь, настигает приступами, каждый раз более жестокими. Боли в груди, ломота в членах, обмороки, истощенье сил...

— Эй, Александр! Меня... знаешь, как одеть.

— Заладила, матушка.

Ранит его отрывистый, повелительный шепот. Сказала раз — и довольно. Амазонское свое — синее с красным воротником, Преображенского полка, в коем она полковница,— принесено в спальню, висит в гардеробе, чтобы под рукой было, для похорон.

— Весна на дворе,— произнес Данилыч мягче.— Встанешь.

14 апреля Нева вскрылась, белый плац в оспинах пыжей, истоптанный войсковыми ученьями, смотрами тает, рушится. Троекратно пальнула пушка в крепости, поднят штандарт. Светлейший дополнил ритуал — гвардейцы маршировали под окнами царицы, с музыкой и с барабанным боем.

Медикамент крепкий, ободряющий. Благодарная улыбка была наградой князю.

— Чаще устраивай!

Требует доложить, что на пушечном дворе готовят к лету, что на галерной верфи. Так вот с ней — полегчало и уже в седле чует себя.

— Твоя воля... Съезжу, доложу.

Помолчала. Тень грусти пала на лицо.

— Друг мой,— услышал он.— Теперь твоя воля.

Такое признание — впервые... И столь ласкова... Данилыч наклонил голову, приложил руку к сердцу, без слов — волнение испытал неподдельное.

Момент благоприятный...

— Матушка,— начал он.— Донесли мне... Зависть человеческая ненасытна. Жаль огорчать тебя... Есть мерзкая фронда, мне грозят, тебя смеют поносить гнусными языками. Я эти злые намерения открываю своими людьми. Составлю указ, принесу тебе, сама рассудишь.

Отнеслась с доверием.

Одна ее подпись, под завещаньем — есть, необходима вторая. Светлейший сознает — с кончиной царицы он потеряет главную свою опору. Весьма уязвим окажется, если заранее не устранит врагов — силой высочайшего указа.

Улики против Толстого, Девьера и прочих, хранившиеся дома, перенесены во дворец, в укромное место. Наступает время дать им законный ход. Но что в тех доносах? Разговоры? Преступные, но разговоры меж собой. Мало, мало... Наказание должно быть суровым.

За оскорбление величества...

Нет тому доказательств, так будут. Только толково взяться. Светлейший два часа наставлял Горохова.

— Волконскую оставь, пустая баба. В город тебе шляться нечего, при мне изволь находиться. Поскучает твоя мамзель.

— Дразнишь, батя.

— А что? Томит доброго молодца?

— Жениха ей найди...

— Дворянина, богатого? Дьявол с ней! Наш интерес в Зимнем.

Царица, как только ослобонит пароксизм, обращается к Бахусу. Блументроста до слез доводит. Новая блажь у нее — темноты, тишины не терпит. В гостиной танцы — катят ее туда, в кресле. Даже когда ей худо, велит дочерям забавляться, гонит их. Грустную мину являть не сметь — штрафной кубок за это, как бывало в компании у Петра.

— Где пьют, Горошек, там и болтают.

Шумно по вечерам в покоях Елизаветы. К ней присоединяется Анна, часто без мужа, участвуют фрейлины, в том числе Анна Крамер, особа услужливая. Щеголяет, меняя ежедневно кафтаны, Девьер — дамский любимец.

— Хитер мой зятек, да и у него, Горошек, язык с умом расходится.

«16 апреля, во время Ея Величества жестокой болезни»...

Слова эти повторяются в розыскном деле. Дата в судьбе Девьера черная. Не догадывался осторожный полицмейстер, что за каждым шагом его следят.

...«все доброжелатели Ея Императорского Величества были в великой печали, а ты в то время будучи в доме Ея Императорского Величества не токмо не был в печали, но веселился. Плачущую Софью Карлусовну вертел ты вместо танцов и говорил ей, ненадобно плакать, для чего».

Нужды нет, что веселье угодно государыне. Девьер просто вертел племянницу Екатерины — танцы, читай, неуместны, он один нарушил приличие.

«Анна Петровна стояла у стола и плакала и ты не встав, не отдав должного решпекта говорил — о чем печалисся, выпей рюмку вина».

Вошла Елизавета, он и ей отказал в решпекте, сидел на кровати. «Чинил ты и прочие злые поступки». Возмутители еще на свободе, а список прегрешений составлен, в нем тринадцать пунктов, продиктованных светлейшим. Иноземца, безродного графа легко изобразить главным злодеем.

Важно настроить вельмож. В «Повседневной записке» замелькало — «беседовал тайно». Прежде всего с высшими чинами. Голицын — единомышленник, канцлер Головкин флегматичен, бережет свой покой, но покладист. Угостив обоих обедом, Данилыч едет с ними к Остерману, который встречает хрипя, кутаясь, испуская стоны. Потчует прокисшим вином, говорит уклончиво — навещать его, притворно хворого, придется еще не раз. Наконец, санкция министров получена, светлейший зовет к столу мелкую сошку — с нею проще.

Формируется суд. 24 апреля Девьеру сообщено, что Ее Величество вызывает его к себе. Дежурить в покоях царицы князь поставил Горохова.

— Попросишь обождать,— сказал ему патрон.— Чур, без грубости, а то как шарахнется... Канитель тогда... Я буду у царицы, как выйду, ты в сей момент ко мне...

Екатерина перенесла накануне очередной приступ, ободрилась немного, Александра поддержала — да, пора пресечь козни смутьянов. Когда он вышел, пробило два пополудни. Часы английской работы, с медным циферблатом, увенчаны фигурой двуликого Януса, бога на связи времен, смотрящего в прошлое и в будущее. Он должен был остаться в памяти светлейшего и его врага. Князь сдерживал ликование, шагнув вперед — рука на эфесе шпаги.

— Постой-ка, Антон! Матушка наша приказала... Обязан тебя арестовать.

Сказал спокойно, по-свойски. Подобные дела надлежит исполнять без шума — тем более во дворце. Девьер опешил. Потом медленно, как бы в растерянности, начал вытягивать шпагу.

...«показывая вид, что отдает шпагу, вынимает ее с намерением заколоть князя Меншикова, стоявшего сзади его, но удар был отведен»,— записал саксонский посол Лефорт.

Горохов отнял оружие, светлейший снял с графа «кавалерию», сиречь орден Андрея Первозванного, голубую ленту. Совершил то, что давно лелеял в мечтаниях.

Полицмейстера тотчас под конвоем отправили в крепость. Туда же прибыли члены суда — Голицын, Головкин, генералы Дмитриев-Мамонов, Юсупов, Волков, обер-комендант Петербурга Фаминицын. Последние четыре — подчиненные князю по службе. Сам он отсутствовал, предпочел держаться в стороне — ему докладывают.

Тринадцать вопросов задано арестанту, пока без «пристрастия». Ее Величество ждет ответов добровольных, честных. Девьер защищался, некоторые «дерзости» забылись, но в оскорблении коронованных особ неповинен.

«Вертел ли вместо танцев плачущую Софью Карлусовну или нет, не упомню, а такие слова, что ненадобно плакать, помнится, говорил, утешая».

Увидев Елизавету, он встал с кровати, а царевна Анна беспокоиться не велела. Вообще поведение его в тот вечер представлено ложно. Судьи, как было условлено с князем, вознегодовали. Упорствует преступник. А тянуть следствие нельзя, надо закончить его, покуда царица в здравом уме.

— Ея Величество увещевает тебя,— говорят судьи.— По-христиански объяви, к кому ты ездил и советовался. Известно же — имеешь намерения против воли Ея Величества. Нам велено все сыскать и искоренить ради государственной пользы. Если не объявишь всех, кнута попробуешь.

Под пыткой Девьер называет имена. О веселье во дворце в дальнейших протоколах ни слова — на бумаге то, что светлейшему всего важнее. Существует «собрание», сговор лиц, ему враждебных. Пытались вмешаться в порядок наследования престола — деяние противозаконное, которое могло вызвать в России «великое возмущение». Кроме того, толковали, основываясь на слухах, о свадьбе наследника в тоне, оскорбительном для фамилии светлейшего князя.

Двадцать пять ударов кнута превратили спину Девьера в кровавое месиво. Он признал: совещался с Бутурлиным, с герцогом. Карла Фридриха не тронули, а полковник, не дожидаясь палача, выдал своих собеседников. Допросы велись ускоренно, дух застенка вселял ужас. Толстой каялся:

— Желали мы с Иваном Иванычем, чтобы Елизавету Петровну помазали... Опасались царевича и бабки его, мстить она будет.

Горшей вины за ними нет, но Толстого суд, покорный светлейшему, приговорил к смерти, наравне с Девьером. Старец имеет престиж при дворе, способен вредить. Пожалеет его царица, ну, заменит казнь ссылкой — и то профит, в политике и в коммерции лучше запрашивать, дабы без крайнего убытка сбавлять.

Так и случилось.

— Ты злой человек,— услышал Александр. Лицо ее вздрагивало от боли, дышала натужно, однако он три раза перечел приговор, и она прерывала, морщила лоб, собирая в уме все, что ведомо ей об осужденном.

— Меня спросят... Там...

Актом милосердия завершает матушка свое правление, грешно, находясь на пороге иного мира, посылать людей на виселицу. Досадно светлейшему, но спорить язык не повернулся.

6 мая «было пасмурно и великий ветер» — погода губительная при грудном недуге. Царица металась в жару, в бреду. В предспальне столпились посетители, к ним выходил убитый горем лейб-медик, лопотал едвв внятно. Нарыв, созревший в легких, лопнул и отравляет весь организм.

Исправленный текст указа подписан, Данилыч с утра при ней, успел подать, вложить перо в ослабевшие пальцы. Больная еще узнавала его. В полдень боли схлынули, но сознание начало стремительно гаснуть. Губы шептали что-то. Эльза, смахнув слезы, наклонилась над ней.

— Ая жужу лача берне...

Екатерина смотрела на близких невидяще, странная, робкая улыбка озаряла черты, должно быть, другие лица, очень давние, рисовались ей, и сама она — Марта, босоногая девчонка, качала младенца в бедной латышской избе.

Баю-бай, пушистые медвежата! Отец ушел улей искать в лесу, мать по ягоды... Поняла только Эльза, урожденная Глюк, она опустилась на колени и разрыдалась. Царевны, стесняясь мужчин, смущенно всхлипывали. Александр стоял с миной строгой, скорбной, слез выжать не мог, разные чувства теснились в нем.

...«ввечеру и прочие министры и генералитет во дворец все съехались также и прочих штаб- и обер-офицеров немалое число и в девятом часу пополудни волею божьей Ея Императорское Величество отиде от сего света успением в вечный покой».

Конец ее был тихий. Спокойно, на диво спокойно прекратилось царствование. Данилыч ощущал плечом верных офицеров — выручат в случае чего... Вдруг кто-то затеет бунт. Нет, безмолвно за окнами, в серых сумерках, где сомкнули ряды гвардейцы, полк под его командой, надежные преображенцы.

Духовник читает отходную, у тела усопшей одни близкие. Тайные советники ждут в предспальне, сановные — рангом пониже — в передней. Ждут его — первого вельможу, с этой минуты регента. Он передаст трон наследнику. Острое, радостное волнение вскипало в нем, изгоняя страхи, жалость. Звать царевича, звать немедленно...

Бой часов, протяжный, погребальный... Двуликий Янус, осклабившийся насмешливо, напомнил — поздно! Поздно для церемонии, для желанного торжества. Отложить до утра повелел неуступчивый Бог.

— Господа,— сказал он,— опять мы осиротели. Потеряли отца отечества, теперь вот матушку нашу... Тревожить Его Высочество я не смею, прошу пожаловать завтра. Будем присягать государю императору Петру Второму.

«Его светлость с генералами пошел к себе и по некоторых разговорах, покушав лег спать, а некоторые господа кушали в передней и уехали, а иные в передней спали»...

Себе казался князь персоной величественной, твердым, отважным правителем, внушающим повиновение. Многие из присутствующих увидели человека, который судорожно выпячивал грудь, постаревшего, утомленного суетой, ночными бдениями.

ПРЕДЕЛ

Наутро два полка гвардии стянуты к Зимнему. Новость уже обежала казармы, жилища, и везде спокойно, ни намека на смуту, на какое-либо своеволие. Ветераны, делившие с великим царем и царицей походы, проронили слезу.

Светлейший встал в пять часов, без надобности разбудил домашних, поспешил во дворец — нетерпенье толкало, ход времени хотелось ускорить. Еще раз простился с покойницей, взглянул на Эльзу — лицо мокрое, уродливое, на руке капли застывшего свечного воска. Тотчас вышел из спальни — сам выказать скорбь не мог и совестился. Долго шагал по пустым покоям, предвкушая свою викторию и не веря. Вдруг подменили завещание царицы... Или уничтожили... Заговор, обманувший бдительность Гороховa и его людей. К восьми часам в зале собрались сановники и генералы — не менее трехсот персон. Князь предстал перед ними в темно-коричневом кафтане, расшитом небросско, при всех орденах. Прежде чем заговорить, вздохнул, поднял очи горе. Объявил коротко, суровым тоном о кончине Ея Величества от чахотки.

— Извольте, господа, слушать тестамент... Последнюю волю матушки нашей,— пояснил он иноземное слово, внесенное в обиход.

Действительный статский советник Степанов страшно медлит, отпирая ларец, извлекая желтый конверт с пятью печатями, тот самый... Обломки сургуча падают беззвучно на ворсистый ковер. Бумага, сложенная вдвое...

Та самая...

Голос у Степанова ломкий, хилый для сей оказии, с натуги повизгивает. Данилыч сверяет читаемое — текст в памяти четок, а в душе колокола гудят, благовест пасхальный. Свершилось. Царевичу трон, царевичу... Кто посмеет оспорить? Воля царицы... Нет, по сути, его воля — регента при малолетке. Зал безмолвен, на лицах благонрввное послушание. Елизавета стоит печальна, ни кровинки на щеках, Анна холодновато надменна, как всегда. Чай, довольно им — по миллиону каждой да ежегодные выплаты, рухлядь всякая...

С царевнами обговорено заранее, едва ли противность учинят.

Наследник престола женится на Марии Меншиковой. Объявлено, закреплено... Светлейший опустил голову, сдерживая ликование. Молчит общество, кто мешать пытался, тех здесь нет.

Дочитал Степанов.

Инфант — отныне царь, слушая тестамент, сидел на возвышенье в креслице возле трона. Таращил глаза, вытягивался, как бы узрев нечто поверх голов — батюшка-князь велел на сутулиться.

— Господа, присягаем государю!

Тон обретал Данилыч все более властный. Улыбнувшись царю по-свойски, ободряюще, выхватил шпагу, отсалютовал ему, опустил и держал на весу, пока Степанов произносил слова присяги, а собрание гулко, молитвенно повторяло. Отрок слез с креслица, смотрел на сверкавший клинок пристально, зачарованно.

— Теперь, Ваше Величество, выйдем к войску.

Взял руку отрока, мягкую, доверчивую, вывел его на балкон и жадно вобрал весеннего воздуха в легкие.

— Государю нашему, Петру Второму... Ура!

Дружно, истово ответили, как и следовало ожидать. Воцарился внук великого Петра, мужчина. Трон подобает сильному полу. Отрок смущался, мановениями изъявлял признательность, милость, говорил что-то, глохшее в грохоте,— пушки палили с крепости, с двух императорских яхт, с двух судов военных, бросивших якорь перед дворцом.

Упоительный гром победы...

— Я уничтожил фельдмаршала.

Вилки, бокалы застыли в воздухе. Царь появился в столовой внезапно, обедающие в смятении немалом — все, кроме хозяина, посвященного заранее. Отрок серьезен, с ним Остерман — ныне главный воспитатель. Торжественно подает питомцу свиток, перевязанный алой ленточкой.

— Господин генералиссимус...

На середине длинного слова царь запнулся и, осердясь, топнул ножкой. Князь, встав из-за стола, принял указ, поклонился. Петр, поздравляя с новым званием, на Руси небывалым, ввернул полюбившуюся латынь.

— Принцепс... Вале...

Привет, мол, принцу.

Затем, под аплодисменты, удалился в свои покои — кушать с детьми. Со дня смерти царицы живет у Меншиковых, тут весело, вкусно.

— Сподобился я,— говорит князь, чокаясь с вельможеством.— Служба не пропадает. Еще Петр Алексеич, незабвенный отец наш, обещал мне, да не успел...

Генералиссимус... Наконец-то!

«Сей чин коронованным главам и великим владеющим принцам приличен»,— писал император, размышляя о рангах воинских. Нет, не обещал камрату, соврал Данилыч. Вожделенно мечтая, он глубоко впечатал в память сей параграф. Владетельным принцам... Что ж, Рабутин твердит — вот-вот почта доставит цесарский манифест. Землица козельская, правда, с копейку...

Все же герцогство.

Насчет обрученья с Остерманом условлено — царь будет свататься, соблюдая все онеры. Четвертый день, как прибрал Бог царицу, две-то недели траура надо дотерпеть.

Тех, кто хотел помешать союзу, нет в Петербурге. Толстой и сын его сосланы на север, в Соловецкий монастырь, где их велено «розсадить по тюрьмам» и «меж собою видетца не давать». Даже в церковь выпускать их порознь, под караулом. Каморы холодные, пища скудная. Для старца, больного подагрой, кара, по сути, смертная.

Девьера и Скорнякова-Писарева везут в Сибирь — до Тобольска вместе, оттуда в разные дальние города. Анна Даниловна напрасно взывала к милосердию — светлейший брат на ее мольбы не ответил. Женам осужденных жить в своих деревнях «где пожелают», но безотлучно.

Поплатилась за дерзкий свой язык Волконская — ей приказано пребывать в Москве и в поместьях. Наказаны ее друзья — Маврин определен на службу в Тобольск, обер-секретарь Синода Черкасов — в белокаменную, описывать церковное имущество.

Арап Ганнибал был осторожен, в салоне держал язык за зубами — не помогло, светлейший почел нужным удалить фаворита княгини. Быть ему в Казани, осмотреть старую крепость — буде ее чинить безвыгодно, пусть сооружает новую, по наилучшим образцам европским.

Среди ссыльных — Иван Долгоруков. Отзывался о Меншикове неуважительно, а главное, пьяница он, распутник, пустобрех, вовлекал инфанта в пороки.

Фортуна покорна князю.

Месят весеннюю грязь телеги с колодниками, кони драгун — конвоиров. В опустевших особняках обыски — чиновники, наряженные судом, роются в сундуках, гардеробах, вспарывают перины, подушки, допрашивают слуг. Нет ли тайников с оружием, с ядом, с подметными письмами? Старания обнаружить зловещий заговор безуспешны. Однако суд что ни день строчит распоряжения, диктуемые его светлостью,— ужесточить судьбу преступников, отнимать у них чернила, бумагу, изолировать, следить за каждым их шагом, подробно докладывать — во исполнение высочайшего указа.

Подпись Екатерины действует.

Верховный тайный совет наблюдает расправу безмолвно, доверие к Меншикову, согласие являет полное.

— Поправши злых, сотворишь благо,— поучает Данилыч сановных и простых.— Сдается, Россия избавлена от потрясений. Царя все любят, и есть за что. Душа у него ангельская.

Дарья не нахвалится.

— Все угодья в нем,— сообщала она подругам.— Пригожество, разуменье... Старших как почитает, поискать нынче. Голубочек наш... Мужа истинно обожает.

16 мая на похоронах Екатерины царь тер глаза до покраснения, щеку смочил слюной. Обряд справили поспешно. Три пушечных удара созвали вельмож на панихиду, затем под «минутную стрельбу» гроб водрузили на «великие, убранные черным бархатом сани», и восемь лошадей цугом поволокли их по набережной до Почтового двора, где стояла лейб-гвардия «с ружьем и со свечами». Окутанная черным галера пересекла Неву, сановная публика на двух других галерах, а светлейший с царем в малой барке отдельно. В церковь Петра и Павла военные несли гроб на плечах, князь не прикоснулся.

Ветер задувал свечи у гвардейцев, оцепивших храм, они ладонями оберегали огоньки, почти невидимые — день был солнечный. Положили царицу рядом с августейшим супругом.

Его Величество вдруг закапризничал, просить руки Марии не пожелал, поступил иначе. «Объявил себе невестой»,— так записано в «Повседневной» по прошествии двух недель. По знаку Остермана встал, окончив обед, и начал выжимать затверженные слова:

— По воле блаженной памяти Ея Величества... И по моей воле... Призываю божье благословение на мой брак с княжной Марией. Верю, что она составит мое счастье — прелестной матери прелестнейшая дочь.

Комплимент произнес по-латыни, воспитателю пришлось перевести. Данилыч позаботился о свидетелях — на обеде присутствовали обер-секретари государства Макаров, Волков, князь Шаховской, генерал Миних, адмирал Змаевич...

— Окажите милость,— сказал князь гостям,— пожалуйте послезавтра к нам на обрученье.

— Древние говорили,— подхватил Остерман,— то, что достигается быстро, то вдвойне дорого.

На губах улыбка — чуть ироничная, чуть снисходительная к людским страстям. Блеснула на миг и исчезла.

А что же Сапеги? Съели обиду? Разрыв прежней помолвки не декларирован, между тем приличие этого требует. Данилыч угадывал вопросы, но высказать никто не посмел. Тем лучше — думал он, с вызовом глядя на сытых, разомлевших. Не обязан отчет давать. Шито-крыто...

Старший Сапега получил в свое время богатое отступное. Последняя встреча с ним была два дня назад, в Ореховой, «особливая». Фельдмаршал подтвердил, что претензий не имеет. К чему ворошить инцидент, затрагивающий к тому же честь усопшей императрицы?

Также «особливо» совещался князь с магнатами церкви — с Феофаном, с архиереями Ростовским, Вологодским, Тверским. Речь шла об обряде обручения. Есть ли единый, освященный образец? Как надо именовать молодых — только ли «рабы божьи» или можно с титулом каждого? Вправе ли они по совершении помолвки уединяться? Светлейшему нужно знать, дабы приблизить сколь допустимо церемонию обручения к брачной. Синклит, изрядно угостившись, утомил Данилыча речениями богословов, но обнадежил. Уставной молитвы нет. Вообще, определяется церемония более обычаем, нежели канонами религии. Грехом считает церковь лишь плотский союз обрученных.

25 мая сотни приглашенных заполнили дом. Траур забыт, трубачи в драгунской униформе встречали приглашенных на крыльце, скрипачи, гобоисты — в сенях, на лестнице, на площадке, оркестр — в большом зале, где разместились самые знатные. Верховный совет в полном составе, главы Синода, генералитет, иностранные дипломаты. В два часа пополудни, с пушечным салютом, вошли жених и невеста. Все встали.

На потолке, в зеркалах — игра отраженной Невы, самоцветы трепещут в хрусталях, мерцают знамена, двенадцатилетний царь в потоке солнечных бликов досадливо жмурится. Пурпурный кафтанец — цвета римской тоги — на нем пламенеет, башмаки на высоких каблуках, и все же он маленький, хрупкий рядом с Марией. Одели ее с расчетом на солнце — рыжеватые волосы, схваченные брильянтовым обручем, выплеснуты свободно, платье цвета оранж, слепящее. Рослая, статная, невозмутимая, она похожа на золоченое изваяние, держится очень прямо, с видом покорной дочери, исполняющей предначертанный долг.

— Херувимчики наши...

Вырвалось у Дарьи — громче, чем ей хотелось. Общество в этот момент затихло, начинался обряд. Пел соборный хор, выстроившись под шведскими трофейными стягами, молодые обменялись кольцами, Феофан отечески соединил их руки, благословляя.

— Обручается благоверный Петр...

Вытянул единым духом титул государя, потом Марии — «благочестивой государыни». Так именовать до свадьбы дерзко, но светлейший настаивал, и Феофан уступил, взял на свою совесть.

У Данилыча сладко кружилась голова, явственно слышал он свадебный перезвон колоколов — нужды нет, что Петру еще годы ждать брачного возраста. Вкоец растрогал Гольдбах, учитель математики при царе. Знаменитый академик сочинил вирши и прочел оные с пафосом:

Гименеем сотканный венец
Увенчает притяженье двух сердец...

Гименей всем знаком, гости аплодировали с воодушевлением, затем потянулись к молодым, к князю, княгине — устами, мокрыми от вина, целовали руки. Лакеи щедро подливали, языки ворочались вяло.

— По мнению римлян,— рассказывал царю Остерман,— от безымянного пальца идет нерв прямо к сердцу.

— Это правда?

Ментор важно кивнул. Было бы неразумно принизить науку древних, столь милых Петру.

— А если я потеряю кольцо? Плохо?

— Очень плохо.

— На ночь можно снимать?

Отрок вступал в новую игру. О пятом часе гости разъехались. Княжеская ладья у пристани подняла вымпел, отчалила. Его Величество и Меншиковы провели вечер за городом, на Стрелиной мызе. Жених с невестой «кушали отдельно» — лаконично записал секретарь.

Царской невесте назначен штат придворных на казенный кошт — 34 000 рублей в год.

Славил бы фортуну князь, да подкрадывается болезнь, однажды арестовала на сутки. А расслабиться не сметь! Горохов докладывает — вздорные слухи смущают горожан. Меншиков, будто, окрутил царя, чинит всякое беззаконие.

27 мая в церквах читают указ, подписанный государем. Да будет ведомо народу — уничтожен заговор. Злодеи «тайным образом совещались противу... высокого соизволения Ее Императорского Величества во определении нас к наследствию». И толковали враждебно о завещанном ею же сватовстве к принцессе Меншиковой, «которую мы... и по нашему свободному намерению к тому благоугодно избрали».

— Ваш дед оставил храмину недостроенную.

Эту мысль Данилыч высказывал царю часто. Однажды, составляя письменную инструкцию, продиктовал. Храмина — это Россия, преображенная Петром, но еще далекая от совершенства.

Понимает ли отрок?

Он проворно вскакивает утром в экипаж, ездит с «батюшкой-князем» по городу. Башня Кунсткамеры отделана, в ней место для телескопа. Царский дворец начат — работные кладут фундамент. Пусть посмотрит царь, пусть милостиво попотчует. Водка и калачи у сержантов, в возке — Петру только знак подать.

Дичится отрок. Ему-то по малолетству разрешено лишь пригубить. А с Ванькой Долгоруковым вольготней было.

Посетили Галерный двор. Четырнадцать судов спущены на воду, под крики «ура» и пальбу. Петр повеселел, расспрашивал Змаевича, потешно сыпавшего русско-сербской скороговоркой, и остался всеми доволен.

На Неве сооружают наплавной мост. Данилыч мысленно повинился Неразлучному — возражал ведь он, желая простора для парусных и гребных экзерсисов. Но пора же столице обзавестись удобным сообщением. От берега к берегу ладьи, опустившие якоря, мастеровые наводят зыбкую, колеблемую потоком дорогу. Пусть подышит Его Величество ароматом смолы, послушает звон топоров. Может, самого потянет плотничать.

— Не угодно ли? Ваш дед...

Сперва показал, вонзив сталь несколько раз в сосновую мякоть. Царь взялся с опаской, неуклюже, чуть по ноге не тяпнул. Инструмент в диковину для сего Петра.

— А в Риме,— сказал он,— знатные персоны носили топоры. Только не такие...

Добро бы он, воспаряя к славным цезарям, забыл пустые, грубые развлечения. Огорчительно — вкус к охоте неистребим.

— Не жалко вам проливать кровь живых тварей,— сетовал князь.— Ваш дед...

— Он рубил головы людям,— ответил мальчик и смутился.

Что за речи? Кто настроил?

— Зловредные головы,— поправил князь.

Пришлось, пересилив отвращение, отправиться с Его Величеством в лес, за Петергоф. Спугнули двух фазанов, царь стрелял с азартом, нервно и бестолково, насшибал веток. Тьфу, до чего глупое времяпрепровождение! С морем его сдружить? Но как? Пытались уже... Эх, попробовать еще раз!..

— Вас зовут в Кронштадт. Порадуйте ваших воинов! Они оберегают державу.

Генералиссимус совершал туда вояжи в шлюпке. Царь с сомнением посмотрел на утлое суденышко, все же сел. Погода 5 июня выдалась тихая, залив словно зеркало. Моряки старались вовсю; бойко ставили паруса, носились по реям, выделывая курбеты головокружительные. Корабли цветисто перекликались флагами, порох на салюты тратили безоглядно. Пушкари на острове не ударили в грязь лицом, но батареи, обвалованные землей, были против флотских красот невзрачны, царь заскучал. После полудня подул ветер с веста, умеренной силы, но отрок вылез в Ораниенбауме хворый, зеленый.

Данилыч утешал.

— Без моря нам невозможно. Ваш дед наставлял мудро — который потентат врмию имеет — тот с одной рукой. А если и флот имеет — тогда с двумя.

— Я буду править по-своему.

Что это с ним? Загорался же при виде оружия, отвоеванных знамен... Сейчас отчужден, малодушен. Растет отрок, надо ума набираться, между тем, похоже, теряет риспект к великому отцу отечества. Светлейший поделился тревогой с Остерманом.

— Иногда, Андрей Иваныч... Боюсь сказать... От Алексея что-то в нем. Упаси, Бог!

— Пифагор был прав,— ментор глубокомысленно морщил лоб.— Переселение душ, из поколения в поколение, полагаю несомненным.

— Нечто вложено и от деда. Хоть малая доля...

Воспитатель заметил, что повторение есть мать учения, но не чрезмерное. Призывать постоянно великого монарха вряд ли полезно — любой интерес притупится, возникнет протест. Тем более у ребенка...

— На тебя уповаю, Андрей Иваныч. Мне-то пестовать его дольше... Сам понимаешь...

Жених задержался изрядно в доме невесты, циркулируют кривотолки. Пора отселить его. Пора ему в Летний дворец, в Петергоф. Но опасно безделье. Остерман написал план занятий, представил князю. Оба сей предмет дебатируют. Важное место уделено иностранным языкам. В немецком Петр слабоват, французским владеет сносно. Похвально его увлечение латинским — цесарь это одобрит, в его империи знание латыни считается престижным. Остерман берется вести разговоры с учеником на трех языках, о людях и государях, монархиях и республиках. Из наук нужнейшие для царя суть история, юриспруденция, военное искусство. Конечно, принцип Петра Великого — общая польза — надлежит усвоить твердо.

— Не токмо принцип, яо и деяния Петра, подробно,— говорит Данилыч.— Какие мы были захудалые до него, как возросли. Ты свидетель. Петербург откуда явился? Мою лепту тоже презирать не след.

Гольдбах изложит основы математики, каковая есть фундамент для сочинения машин, огнестрельных устройств крепостей, он же, побывавший во всех столицах Европы, сумеет пленить царя путешествиями по карте. Феофан Прокопович преподаст закон Божий, да так, чтобы Петр мог спорить с иноверцами и побеждать их. Уроки — каждый не дольше часа — перемежать забавами. Время послеобеденное посвятить строевым экзерсисам, прогулкам, соколиной охоте, которая снова входит в моду. Суббота — день музыки и танцев, воскресенье — отдых полный, отнюдь не взаперти. На воздух мальчика, на натуру, в поездки за город.

Остерману велено вести дневник, докладывать об успехвх ученика, о поведении его, не упуская капризов, умственных шатаний, дерзостей.

— Шептуны если какие сунутся к нему, назовешь мне. Служи, Андрей Иваныч!

— За мной служба не пропадет.

— Ой, берегись!

Варвара щурила зеленоватые глаза. Прервала князя, расточавшего Остерману хвалу.

— Ну что, баламутка?

— Хитрущий он. Обманет и не ухватишь.

— Мелешь ты... Меня, что ли, обманет? На кой ему ляд?

— У него и шило бреет,— молвила Варвара загадочно.

Данилыч сердился, доказывал домашним, что Остерман был ему всегда благоприятен, в интриги, сговоры, партии разные не мешался. Российской державе безусловно предан.

— Голицын его обхаживает,— рассказал Горохов.— Вчерась беседовали приватно.

— Что с того? Теперь к нему всяк норовит подлизаться. Гувернер же царский.

— Хитрый он, батя.

— Себе не враг, поди. Соображает... Чтобы мне навредил, не помню.

— И помочь ленился, батя.

Намек ясен — зван был возглавить суд над Толстым, Девьером и прочими, уклонился. В прошлом году мог бы пригодиться в Курляндии — не поехал. Всякий раз заболевал.

— Ловок притворщик,— смеется князь.

Когда-то Остерман был непонятен ему — чего ради прибился к царю этот пасторский сын, безбожник, дуэлянт? К сибирским мехам, к золоту равнодушен. А трудится с усердием необычайным. Великий государь ни в чем не мог упрекнуть.

Немец повышался в чинах, но блеск ордена, расшитого кафтана не прельщал его. Что же тогда?

Отличился наипаче, добыв государю Выборг. Спор из-за него в Ништадте, на мирной конференции, был изнурительный, генерал Брюс — старшина российских посланцев — уже духом пал, отписывал Петру — насели-де шведы, уступить придется город. Тут и выручил Остерман, сумел повернуть дело в нашу пользу, не прибегая ни к подкупу, ни к интригам. Что из сей виктории извлек? Одет небрежно, хозяйство убогое, женитьба ни малой не произвела перемены — все тот же он немецкий студент, хоть и постаревший, вечно кашляющий, с завязанным горлом. Комедиант ведь, мнимый больной из пиэсы Мольера. Маска выгоднан, испытана, к лицу приросла.

Царем обласкан, возведен в дворянство, а поместьями до сей поры небогат. Светлейший радел ему, предложил недавно селения, отобранные у Петра Толстого. Верховный тайный совет и слова не вымолвил против, Остерман же, к удивлению вельмож, отверг подарок.

Благодарил, прижимая платок к мокрому носу, беспечно, будто пять тысяч душ — безделица.

Теперь-то понятен Остерман. Осенило князя за шахматами. Он игрок — вице-канцлер в замызганном кафтане, изможденный диетой. Доской ему служит юдоль земная, фигуры — люди. Игру ведет особую. Сторонясь интриг, изучает их, сам неизменно в обороне, выигрыша желает лишь на поприще дипломатическом. Весь талант посвятил сему искусству, в нем и отраду находит.

Людские борения видит, среди сильных выбирает сильнейшего, заключает с ним союз, честно содействует. Зависть ему чужда — достоинство, по мнению князя, первостепенное. Сто раз он спрашивал себя — можно ли верить Остерману? Всяк человек — ложь, скаредный, продажный особенно... Вице-канцлер не запятнан этим, свободен пасторский сын и от боярского чванства.

Кому верить, как не ему?

Должность воспитателя принял охотно. Расчет прямой — уготовить себе опору на будущее. Снова и снова убеждает себя светлейший, что поступил правильно, отдал царя-отрока в руки надежные.

Верховный совет о том извещен.

Вельможи во всем послушны — если князь отсутствует на Совете, являются к нему с докладом, а то и заседают в предспальне либо в плитковой. Царевны манкируют, править не склонны, Карл Фридрих чувствует себя лишним без августейшей тещи, уединился в своих хоромах.

— Отчалит скоро,— говорит Данилыч вельможам.— Измором вынудим.

Стесняться некого, свои ведь. Слава Богу, сгинула с глаз ненавистная фигура голштинца. Следуемые суммы получает в рассрочку, с удержаниями. Распустил оркестр, фамильное серебро сбывает.

— Ветра ему попутного...

Смеются вельможи, кивают, избавление от дармоедов — благо. Между собой, покинув меншиковы палаты, с опаской шепчутся.

— Слыхать, светлейший-то ободрал герцога.

— Истинно... Шестьдесят тысяч мимо казны ушло... В кошель себе положил.

— Старый долг, будто...

— Кошель и так лопается.

Известно, себя Александр Данилыч не забудет. На обухе рожь молотит. Но руль управления кому иному поручишь? Кто лучше его знает состояние государства? Ему рапортуют военные и цивильные, пишут приказчики с заводов, промыслов, торгов, бурмистры вотчин, а владения-то разбросаны по всей европейской России. Воеводы губернские и те кланяются, чтут Меншикова, яко монарха. Своевременно упредил смуту на Украине.

— Казаки и мужики волнуются,— объявил князь Совету.— Коллегия у них на шее сидит. Вот сговорятся с крымцами, с турками... Долго ли до беды!

Поместья у него там крупные, еще город Батурин достался впридачу, милостью царицы. И ему поперек горла Малороссийская коллегия, учрежденная Петром. После измены Мазепы царь стал подозрителен, выборы гетмана запретил, назначил русских чиновников, которые грабят всех подряд — крестьянина, шляхтича, посадского.

— Дадим Украине гетмана,— предложил князь.— По крайности, казацкая старшина будет довольна. Тоже волк в овчарне, да хоть свой.

Решился исправить политику Неразлучного, чем вельможеству весьма потрафил. Одобрили с воодушевлением.

Вместе с Голицыным, Остерманом поощряет коммерцию, промышленность. Пошлина с продажи пеньки убавлена в пять раз, с галантерейных товаров вдвое. Снята казенная монополия на торговлю сибирской пушниной, обрабатывать металлы в Сибири волен каждый — испрашивать разрешение, а стало быть, и подмазывать канцеляриста отныне не требуется.

Петр строго определял, на каких судах приличествует возить в Петербург зерно, овощи, мясо. Надзиратели на пристанях свирепствовали. Парус залатан, весла некрашены, корпус самодельный, деревенский — откупайся или прочь уходи. Надзиратели набивали мошну, издевались, а то и выколачивали взятки. Отменены многие распоряжения царя — поборника всеохватной, дотошной регламентации.

Однако землепашец в той же кабале томится, нищ и бос, отчего и в городе скудость. Сие недвижно — хоть об стенку бейся.

Война не грозит — и то счастье.

Английские корабли в Балтику вошли, от российских берегов находятся в отдалении. Осенью во французском городе Суассоне съедутся дипломаты. Намерены примирить два союза, разделяющих Европу, русско-австрийский и ганноверский.

— Кого пошлем?— вопрошает князь риторически.— Я думаю, сынка твоего, а?— он подмигивает канцлеру, катающему по привычке бумажные шарики.— Отпустишь молодца? Он востер, востер... Подсобит Куракину.

Возражений нет. Головкин-отец скрытно ликует, румянец выступил на скулах.

— А ты, Андрей Иваныч, дашь инструкции.

Мнение Остерман уже подал, секретарь читает:

— Линия в европейской политике примирительная... Убежать от всего, что б могло нас в какое противоборство ввести... Освободиться добрым порядком от имеющихся обязательств с голштинским двором... Получа то, возобновить прежнее доброе согласие с датским двором, с цесарским же остаться в альянсе.

— Ладно, ладно,— подхватил светлейший.— Загостились голштинцы, пора и честь знать. Всяк сверчок знай свой шесток. Мир, значит, мир до первой драки... Воевать нам не на что, господа, казна «караул!» кричит. Флот прохудился, армия обнищала. С Персией никак не развяжемся. Монету везут туда...

Жалованье, отчеканенное в Петербурге, с годовым запозданием. Рубли обманные, доля серебра из-за бедности казны убавлена. Кто о том осведомлен — молчит.

Чего желать триумфатору? Заискивают, унижаются самые знатные. Короной не увенчан, власть же по существу безграничная. Един Бог выше.

«Меншикова боятся так, как никогда не боялись императора»,— записал посол Лефорт.

Триумфатор сим могуществом наслаждается. Из опыта своего и фатера вывел максиму — токмо простолюдины платят любовью, признательностью. Высокородные — никогда. Спесивые, богатые, завистливые управляемы единственно страхом.

19 июня «по принятии лекарств изволил кровь пускать».

26 июня «за жестокой болезнью не выходил».

Первые атаки противника, коему страх неведом. И столь мучительные, что больной причащается Святых Тайн. Пользуют Блументрост и Бидло — знаменитый голландец, очарованный когда-то Петром и нанявшийся в Россию. В домашней аптеке обильный выбор медикаментов — от колотья в груди, кашля, удушья.

Дарья велела мазаться елеем, пригласила хор из Александро-Невского монастыря, для услады душевной. И царь с невестой слушал в зале «пенье концертов», покорно скучал. В конце июня князю стало легче, повез государя в Адмиралтейство. Многопушечный «Петр Первый» стоял на стапеле, расцвеченный флагами, готовый к спуску. Внук разбил о борт бутылку вина, напутствуя деда.

Вскоре царь и Остерман отселились.

Воспитатель обещал открывать мальчику мир растений и насекомых. Данилыч собрался проведать, но приступ кашля, сильные боли под лопатками уложили в постель. Чахотка? Если правда — конец. Недуг рисуется в образе старухи с косой. Врачи успокаивают, гонят призрак прочь, однако хворь вся, конечно, в легких.

Арсенал пилюль, порошков, травяных настоев недостаточен — надобен отдых. Организм ослаб, переутомлен. Никаких забот! Всякое напряжение мысли вредно, затворник лишается шахмат, карт.

7 июля навестил посол Рабутин. «Цесарь пожаловал его светлости в Силезии лежащее герцогство Козель».

Наконец-то...

Герцог, стало быть, персона владетельная. Манифест императора, заключенный в серебряную раму, повесили в спальне. Данилыч снова и снова просыпался герцогом, ласкал взглядом цесарский титул — черной, колючей, клубками сбитой немецкой вязью. Потом переместил драгоценность в Ореховую, поделился радостью с Неразлучным.

Эх, кабы не хворь!

Привязалась, проклятая. Справил бы торжество, какого в Питере еще не видели, Европе на диво.

— Его Императорское Величество,— заверил посол,— желает вам преуспеть также в Курляндии.

— Видит око,— вздыхал Данилыч.— Зуб неймет.

— Почему же? Мориц возвращается, навербовал головорезов. Вам вышибать, герцог.

Герцог, герцог...

Бессильный, сброшенный с седла... В доме родном — словно в узилище. Грешно упрекать покойницу, прости Бог царицу — помытарила напоследок! Положим, и фатер не щадил. Сколько лет одолевал подъем Алексашка-пирожник? Без малого сорок... Немудрено устать.

«Сидел в спальне». «Сидел в предспальне». «Никуда, кроме предспальни, не выходил». «Гулял по галерее». Нескончаемо тянутся дни, сон плохой, белые ночи назойливы, высматривают тысячами немигающих глаз, шпионят за тобой — нету защиты от сей напасти. Голландские птицы неугомонны, вьются, свистят крыльями — сутки напролет.

Слава Господу, царь визитует. Данилыч ждет его с трепетом, вглядывается в юные черты пытливо. Каков стал в Летнем, с чужими? Мальчик мужает быстро, а с возрастом прибывает своеволие. Царь обходителен, по-прежнему, с детской гордостью, ввертывает латынь, какая-то перемена есть. Больше выучки, меньше сердечности... Или почудилось?

21 июля отрок — одетый во все новое, напомаженный — вышел к вельможам. Речь свою выучил наизусть, отчеканил звонко, бумагу же, скатанную в трубку, неподвижно держал в руке, подражая статуе. Терпел комара, впившегося в лоб. Советников юный Веспасиан весьма растрогал.

Иван Долгоруков из ссылки возвращен, Данилыч припугнул шалопута, взял слово не отвлекать царя от ученья, не совращать в беспутство. Благодарная родня обещала смотреть.

Хочется верить...

Князь медленно выбирался из пут недуга. 25 июня он стоял у открытого окна Ореховой. Помахал яхте, проплывшей мимо, с борта не ответили. Карл Фридрих с суп-

ругой отбыли восвояси. Вчера заезжали проститься, учтивы были — ссориться с Россией не резон. Проводить голштинцев князь, понатужившись, смог бы, да ну их, болящий от лишних, нудных политесов избавлен.

27 июля на Галерном дворе спустили тридцать три посудины, царь и Наталья присутствовали, Данилыч наблюдал с галереи, в подзорную трубу — опять прихватило. Но в предспальне, в плитковой — прежняя толчея. Чиновные валом валят — с жалобами, с докладами.

Мост на Неве стеснил движение судов, разводить его хлопотно. Указать выход в море по малой Неве, нужные фарватеры — до восьми футов — на ней и в заливе вымерить.

Принесли образец иконы Спасителя для Петропавловской церкви, князь собрал архипастырей, одобрил. В последний день июля покончил с домашним пленом — слушал в лавре литургию. Отправлено письмо в Москву — пусть пришлют в храмовый хор его светлости басистых — протодьякона Федора и певчего Леонтьева.

Ослабло тело — о душе забота.

Казнит всевышний за грехи — в Петербурге оспа. Дарья жжет некие арсеньевские травы, резко пахучие — должны отражать поветрие. Пожаловала Елизавета — жених ее, принц любекский, скончался. В утешении она не нуждается, просит женихов не сватать. Анна вон наплакалась.

— Глаз у меня дурной.

Смеется, хоть бы что ей.

— Усохнешь в девках.

Хохотнула, подалась вперед, платье туго обтянуло упругую спелость телес.

— Похоже разве?

— Изыди, дьяволица! — вскричал Данилыч, подняв руки, с деланным ужасом.

Оспа не тронула, чахотка отступилась. В августе что ни день «служебные дела», «смотрение работ» — ни намека на лекарства, на визиты врачей. Светлейшего поздравляют с выздоровлением — многие искренне.

Иностранные послы аккуратно сообщают своим дворам о самочувствии Меншикова, как будто речь идет о монархе. По словам саксонца Лефорта: «На смерть Меншикова смотрят как на несчастье в том смысле, что никто не может заменить его в деле исполнительной власти и нет желания взять на себя всю тяжесть таких обязанностей».

Вот-вот совершится намеченная свадьба, свяжет узами родства Меншиковых и Голицыных. Сашке тринадцать, дочь фельдмаршала лишь немного старше. По церковным правилам венчать рановато, но знатные отцы нетерпеливы, и духовные князья уступят.

Отрок Петр дипломатам неинтересен. Замечают вскользь, что учиться он ленив, падок на развлечения. «Он совсем не любит свою невесту»,— пишет Лефорт, между прочим, в угоду любопытным, понеже факт малозначителен. Будет так, как скажет Меншиков.

Возможно, пытливому саксонцу передали разговор Петра с воспитателем.

— Жаль принцессу Марию,— сказал Остерман.— Ваше безразличие оскорбительно.

— Мне все равно,— ответил царь.

— Вы обручены. Существуют элементарные приличия. Нарушать их никому нельзя.

— Подумаешь, важность! Я женюсь, когда захочу. Когда состарюсь... В двадцать пять лет.

Бунтует Его Величество, выбивается из рук. Как обуздать? Задача встретилась посложнее дипломатической — Остерман стал в тупик. Опять прицепился Иван Долгоруков — никакими силами не оторвать от него мальчишку. Сорвет с уроков, утащит на охоту, шатаются невесть где, иногда до утра.

— Я мечтал вырастить просвещенного монарха,— взывал ментор.— Несчастная Россия!.. Труды вашего деда пойдут прахом.

— Дед, дед,— огрызался царь.— Надоело.

Данилыч, кинувшийся в Летний, испытал шок — отрок дышал перегаром. Остерман шумно сопел, мял хрусткие, костлявые пальцы. Объяснения его доносились сквозь некую пелену — такая злость накатила.

— Не знаю, Андрей Иваныч, кто злой гений, ты или Долгоруков. Я тебе доверил. Ошибся, значит... Православного государя тебе отдал.

— Кто я, по-твоему? Турок?

— Чорт тебя ведает, какой ты веры! Нехристь ты, безбожник окаянный,— взорвался князь.— Ты хуже турка... У турка есть Бог, у тебя нету.

Сухое лицо немца исказилось.

— Тогда я прош-шу,— выжимал он раздельно,— я прош-ш-шу меня уволить.

— Еще что! Уж дудки! Мы тебе поручили.

— М-мы... М-мы...— ментор насмешливо жевал губами.— Верховный совет разве решал? Я не упомню.

— Я решил. Довольно тебе?

— Пардон. У нас два государя?

— Считай хоть этак. Только чур, заболеешь если... Твой маневр известен. Чуть что — на попятный... Так вот... Я тебя, как дезертира... В Сибирь угодишь.

Вывести мастера дипломатии из себя никому не удавалось — он и сейчас сохранил выдержку.

— Сибирь? — спросил недоуменно, пожав плечами.— Кто первый попадет... Не знаю, не знаю...

Данилыч задохнулся.

— Сулишь мне,— сказал он сдавленно.— Видал я... Гордецов таких...

Поймал себя на том, что говорит в пространство, дверь за вице-канцлером закрылась. Зашагал по комнате, остыл. Эх, зря ведь затеял ссору, порол напраслину. Попутал бес. Убрать Остермана, кого вместо него? То-то, что некого... Обиделся, не простит, пожалуй.

Следующий день избегали друг друга, на третий как будто сгладилась размолвка. Ментор озабоченно докладывал — царь, двигая пальцем по глобусу, искал Ганновер, заблудился и отпихнул земную сферу, чуть не расколол. Намерен в Петербурге учредить римские неистовства — сатурналии.

— Вишь, язычник. Ты ему, Андрей Иваныч, долг христианского государя растолкуй.

Остерман улыбнулся.

— Турок я.

Запало...

— Ладно... Я не злопамятен,— произнес светлейший милостиво. Ответного тепла не ощутил.

От царя не слышно больше — «батюшка». Еще недавно гостевал, ночевать изволил, теперь не заманишь, Ванька ему дороже всех.

Разбаловали отрока. По шерстке гладили. Деньги тратит на свои гулянки, на прихлебателей безоглядно — текут, словно вода. Негоже, с этаких лет. Придворному, исполняющему должность казначея, велено выдавать помалу, скромно — да где там... Его величество гневается, приказывает. Идут к нему деньги и помимо казны — вон цех каменщиков отвалил подарочек, десять тысяч червонцев. Мальчишке пустяк, вздумал презентовать сестрице.

Князь узнал случайно, перехватил сумму, после чего имел весьма неприятное рандеву.

— Вы посмели,— бормотал царь, бледнея, пугаясь собственной ярости.— Отдайте, а не то пожалеете...

Заплачет сейчас или забьется в истерии.

— Княжне не нужно столько,— пробовал вразумить Данилыч.— Ее украшает скромность, а вам ее как раз не хватает. По долгу государя вам бы в казну внести, финансы у нас тощие, я же говорил вам. Народ наш голодает.

— Это вы виноваты,— выпалил отрок.— Мне сказали... Погодите, я вам покажу... Я всем покажу...

Повернулся на каблуках, пошел прочь. Кто сказал ему? Данилыч бросился следом.

— Я вам из своих денег дам...

Малодушие допустил. Расстроился, весь вечер просидел в Ореховой, за шахматной доской, с адъютантом.

Горохов свел воедино подслушанное, добытое его командой, выложил — хоть бей в набат.

— Батя, Ванька, паскудник, таскает царя к своим. Долгоруковы его обхаживают. Катерина, вишь, невеста, так возомнили... Царь хвастал у них — я, говорит, Меншикова проучу. Попляшет у меня. Он, батя, корону ждет. Получу, говорит, корону в Москве, тогда увидят, что я могу...

— А что будет, Горошек? Такой же дурак, хоть и в короне.

— Долгоруковы, знай, поддакивают. Только медом не мажут его. А Катерина-то изголяется... Да ему на что она? Женского-то в ней ничего, шкилет. Ему Иван девку подсуропил. Стешку, портомойку твою, которую за воровство прогнали... У той ляжки...

— Ты к делу, к делу!

— Алексей Долгоруков к Остерману повадился. С Голицыным шептался. В контрах ведь были...

— Шепот был, есть и будет,— сказал светлейший, устав от многословия.

Вскорости мысли князя устремились в другом направлении — явился Ягужинский. Проездом из Польши был в Курляндии. Питерские дрязги побоку.

Мориц не склонен уступать Курляндию кому бы то ни было. Постановление ландтага неизменно, бароны чтут его, как полноправного суверена. Россия и Польша отказали ему в признании — что ж, он будет бороться. Ландскнехты, набранные зимой в Германии, размещены в Митаве и в окрестностях — пьяницы и дебоширы, чистое бедствие для жителей и полиции. Парни отчаянные, засиделись, рвутся в бой.

Слышно, едет польская комиссия — расследовать ситуацию — и по пятам, на всякий случай, движется войско, три тысячи штыков, а по другим сведениям пять. За Двиной русские, их еще больше. Мориц принимает эмиссаров с обеих сторон.

Офицер из Риги, от генерала Ласси приятно поражен — авантюрист утонченно вежлив, радушен.

— О, я нашел в вас ценителя! Отличное бургундское, верно? Сорт весьма популярный в Париже... Итак, Петербургу в тягость мое присутствие здесь.

Тон категорический предписан майору, но он разомлел и только вздохом дает понять — да, к сожалению.

— Странно,— удивляется Мориц.— Провалиться мне, если я когда-либо питал вражду к России. Напротив, питаю лучшие чувства... Но ведь настало новое царствование.

— У нас держатся прежней политики.

— Правитель тот же? — усмехнулся Мориц.— О, я высокого мнения о талантах князя Меншикова. Кстати, он ведь хотел заманить меня в ловушку. Вам известно?

— Честное слово, нет.

— Сватал мне мадемуазель Скавронскую. Дочь простолюдина... Вот благодетель. Да, я незаконный сын короля, но пасть еще ниже, отдать Курляндию... И что взамен? Должность генерала царской армии. Стоит ли?

— Вам судить, монсеньор.

— А господину Ласси я отвечу, ссориться со мной не расчет. Выгодней иметь союзником. Сюда идут поляки. Признайте мои права, и мы вместе прогоним поляков. Клянусь Вседержителем, я подниму весь народ.

Маневр двоякий. Посланец Речи Посполитой также выслушивает заверения в дружбе. Нашествие москалей, с часу на час... Армия огромная, страна будет разорена, захвачена. Курляндцы обожают своего герцога, и, если Польша признает его, против москалей встанут все, юные и седовласые.

Отряд наемников ничтожен — всего три сотни бойцов. Прибывают добровольцы. На столбах, на стенах жилищ, церквей расклеен призыв: «Я, герцог Курляндский, граф Саксонский, маршал христианнейшего короля Франции призываю всех, любящих свое отечество и способных носить оружие»...

Митава готовится к обороне. Горожане чинят обветшавший, потрепанный войнами пояс укреплений, роют на подступах траншеи. Из арсенала вытаскивают оружие и раздают. С гиком и уханьем волокут пушки — герцог указывает позиции для стрельбы. Глашатай, бегая по улицам, кричит:

— У восточных ворот поставлена «Толстая Гертруда», у западных «Силач Людвиг».

Имена, памятные митавцам. Медные великаны, отличившиеся в сражениях, украшены резьбой — гербами, фигурами драконов, грифов, выглядят устрашающе.

— Ее Высочество герцогиня,— вопит глашатай,— покинула свои покои.

Замок окажется под огнем. Мориц навещает ее в парковом строении, укрытом зеленью. Анна не в духе.

— Вы хотите воевать. Чушь! Артиллерия, которая развалится с первого выстрела.

— Ничего подобного. Погодите! Прогремит в день нашей свадьбы.

— Сомневаюсь,— вяло протянула она.

В убежище ей тесно, едва уместила самых нужных людей — шута и камергера Волконского, врачевательницу, ворожею, пажа и двух камеристок. Это полбеды. Хуже — осада города, ведь Мориц упорствует. Сам головы не снесет и других погубит. Как посыплются ядра, куда денешься! Польские, русские... Чего доброго, свои же прикончат.

— Возьмите листок бумаги,— говорит Мориц.— Пишите... Абракадабра-кадабра-кадабра, пятьдесят раз. Сожгите и плюньте через левое плечо.

— Зачем?

— Для вашей безопасности,— граф сдерживал смех.— Во Фландрии я спас таким образом множество воинов. Хороших, естественно. Трусов я не щадил.

— Пятьдесят?

— Да, не ошибитесь! Впрочем, я намерен поберечь Митаву. И вас, Анхен.

— Перестаньте меня так называть!

— Вы дуетесь. Да, я виноват, простите меня... Поверьте,— мелкая шалость ничуть не умаляет моей большой к вам любви! Повторяю, я берегу вас. Драться я буду не здесь. Эти древние пушки — демонстрация, чтобы отвлечь...

— Сперва сжигаю,— перебила Анна.— Плевать потом?

— Да, сокровище мое.

Вывела аккуратно, латинскими буквами, печатными. Абракадабра — слово магическое, аптекари твердят в один голос. А пуля не разбирает... Военная игра — без правил. Втянул Мориц в приключение, дай Бог уцелеть.

Озеро Усмас в ста верстах, Анна ездила туда с Бироном,— красивое место, замок на острове живописен. Жаль его разорять... Мориц воображает, что там он непобедим.

— Вас обложат, как кабана, и уморят голодом.

Она злится на него и на собственную беспомощность. Убраться отсюда по добру — по здорову, в Ригу, в Петербург? Бегство позорно да и вряд ли разумно. Воцарение Петра Второго благоприятно для русских, для родни Петра Великого, но Меншиков, ненавистный Меншиков покуда у власти. Запретил ведь приехать в Петербург, поздравить Петра Второго.

Поразмыслив, герцогиня решила положиться на судьбу.

— Бароны к Морицу расположены,— рассказывает Ягужинский.— Однако волонтеров у него не густо. Сынков баронских десятка два, хорохорятся, моду его перенимают — шляпы с большим пером. Ну, петухи! Штаны красные.

— Раздену я их,— сказал светлейший.— Да розгами...

— А поляки-то злы на Морица... Собаками затравить готовы.

— Говорил с Сангушкой?

— На ефимки не клюнет пока. Может, подопрет нужда, в карты он шибко режется.

— С другого бока щупал его?

— Щупал... Он бы рад, честь для фамилии высокая. Сомневается, сумеет ли помочь тебе.

Об этом — цифирные письма, которые посылались Ягужинскому в Варшаву. Сангушко получит завидного зятя — младшего Меншикова, если усердно послужит. О приданом за дочерью пусть голова не болит у пана — лишь бы стреножил польское вмешательство, уступил инициативу русским. Ударить на Морица, прижать баронов — авось, выгорит дело...

— Покумекаем, Паша. Отобедаешь у меня.

Присмирел Пашка, дожив до седых волос. Понял, до чего был нелеп, когда плакался у гроба фатера. На кого ополчиться смел! Поумнел теперь, оставил дерзкие мечтания.

Добывай, Пашка, Курляндию!

Август истекает, пахнет ранней осенью. Уже не за горами день, когда грянет благовест Успенского собора, созывая в хор все сорок сороков церквей Москвы. Там, по обычаю предков, на Петра Второго возложат корону и помажут елеем на царство. Опека еще продлится, но произойдет таинство посвящения в монаршее достоинство. Молва твердит, что царь и вельможи в Петербург не возвратятся — столицей станет Первопрестольная.

Старолюбцы весьма этого чают. Москва — исконное средоточие всего русского, оплот православия. Боярские палаты, обнесенные плотными заборами, с прошлого века не тронуты. На воротах святые иконы, на теремах островерхих — резные коньки. Благолепие храмов с питерскими не сравнить — здесь соломинкой торчит петропавловский шпиль, там блещет главами златоглавый Кремль. Царя в Петербурге воспитывают чужестранцы, совсем онемечат его, если не вызволить.

Разные толки среди русских людей — простолюдинов и господ. Петербург дорог новой знати, «ученой дружине», гвардии и тем, кому повезло здесь — удачливому грамотею, коммерсанту, заводчику, мастеровому. Родной дом для десяти с лишним тысяч жителей, гавань, принимающая в навигацию до пятисот купеческих кораблей. Неужто Петербургу быть пусту, как требовал того недоброй памяти царевич Алексей?

Спорят вельможи, стараясь прозреть будущее. Верховный совет заседает теперь в Летнем, под одной крышей с покоями царя. Светлейший обычно отсутствует — он у себя, ждет доклада. Без него смелые раздаются речи.

— Петербург, это как часть тела, зараженная Антоновым огнем,— заявил сгоряча Дмитрий Голицын.

Отсечь ее? Остерман деликатно, обиняками дает понять — перенос столицы ослабит Россию, подорвет ее престиж.

— В Европе скажут, мы в ретираде... От реформ великого Петра назад, в Азию.

Свое мнение прячет дипломат — вот-де к чему приведет акция, судите сами.

Но Голицын далек от того, чтобы обрекать Петербург на гибель. Красным словцом он зовет оглядеться — ведь не все, приносимое с Запада, полезно. Растекается яд безмозглого подражания. В Москве Дмитрию Михайлычу видится та здоровая основа, на которой разовьется, окрепнет новое государственное устройство — путем сочетания опыта русского и парламентов иностранных.

Обуздать самодержца — главная цель человека, помнящего звон петровых ножниц, резавших боярские бороды. Не упустить бы шанс... Несомненно, и Остерман, воспитатель царя, питает те же надежды, только помалкивает. В молодые-то годы слыл республиканцем.

Почти все советники единодушны — не вправе монарх без согласия Верховного совета объявлять войну, мир, заключать договоры с чужими державами, вводить налоги, назначить себе преемника.

— Его Величеству не до нас,— добродушно улыбался Голицын, поглядывая в открытое окно.

Крики мальчишек врывались из сада. Царь устроил на главной аллее состязание бегунов — по образцу древних.

— Дед его, помню,— продолжал боярин, впав в задумчивость.— Потешки... Потешки... Вдруг взял да и скинул Софью-правительницу.

— Энтот мал,— раздался скрипучий, старческий голос Апраксина.— Младенец еще...

Канцлер Головкин скатал бумажный шарик, изучал его, держа на ладони, глухо молвил:

— А прыток... прыток...

Адмирал грузно ворочался в кресле, урчал по-медвежьему, свирепел.

— Царь в уста лобызает, псарь кнутом стегает.

Громко сказано. Но Апраксину нечего терять. Пускай нынешний правитель потверже Софьи стоит, большую военную силу имеет и рать шпионов — адмирал не боится. Известно же, Меншиков предупредил об отставке.

Имя правителя если и произносят, то шепотом. Передают за верное — в южной армии возмущение, персияне в горло суют нашим солдатам обманные рубли. Выбиты по приказу Меншикова — и ведь помимо Монетного двора, секретно. Притянуть к ответу никто не смеет. Трусливы перед ним, безгласны... А деспот пуще наглеет — унижает почтенное общество, грубит, оскорбляет почтенных мужей, невзирая на сан и на седины.

Наболело у каждого.

Покои Петра Второго этажом выше, тайным советникам вход не заказан. Голицын после дебатов отсчитывает тростью деревянные ступени крутой голландской лестницы. Застает отрока — побеседует ласково о том-о сем, пристально вглядывается. Его Величество приветлив, любезно показывает тетрадки.

— Экой тихоня... Неужто всегда такой?

Вопрос к воспитателю, наедине. Знает боярин — не везде, у Долгоруковых — ух как боек!

— Юный Геракл,— говорит Остерман, любуясь и с некоторым самодовольством.

С ним не просто, ищи подспудное значение. Редкого побудит к откровенности. Голицын привык, сам вступает в игру намеков, недомолвок.Обоим очевидно — устранение Меншикова есть задача первостепенная. Светлейший князь — ярый укротитель самодержавия, о том и старался, однако лишь для того, чтобы высшую власть забрать себе. Деспот грозит застенком, Сибирью... Где храбрец, способный поразить его?

Приметил Голицын — царь уважает воспитателя, хоть и своеволен подчас, дерзок. Слышно, Остерман навлек княжеский гнев, изруган был. И молчит об этом... Ох, как тянет спросить прямо — с кем же ты, Андрей Иваныч? Увернется, скользок... Хуже того,— перепугается, выдаст.

Так может, спасения живота ради изловчиться, согнать сего воспитателя руками светлейшего... А замена где? Нет, по всему судя, Остерман союзник. Сомнение в том — готов ли действовать.

Боярин советуется с Долгоруковым. Родовые распри на время потушены.

— Болтаем мы, Алексей Григорьич. Обвенчает Меншиков свою Машку с Петром. Восплачем тогда...

Отец Катерины — машкиной соперницы — дернулся, атласные штаны окатил кофеем.

— Ирод проклятый... Болтаем, друг на дружку киваем. В кармане кукиш кажем супостату, а он пуще измывается. Остерман твой что? Пытал я его — человек в машкере.

— И не снимет,— сказал Голицын строго.— Заставишь разве, Алексей Григорьич? Брось это... Таков он есть. Мы на него взираем, он на нас.

— Мы-то... Всей душой...

— Это ему и надо знать. Я считаю, догадывается.

Совета практического Голицын не получил, да особенно и не рассчитывал. Беседы с Остерманом длились. Боярин терпел запах мышей в его доме, дешевое вино, грубый харч — залог здоровья, по воззрениям немца.

На вопрос наводящий откликался как будто невпопад — дифирамбом питомцу. С жаром несвойственным...

— Юный Геракл поразил родительницу, когда, еще будучи в колыбели, задушил двух змей.

— Одну бы прикончить.

Невольно слетело с языка. А на машкере Остермана обозначилось нечто, похожее на сочувственную улыбку.

Горохов докладывал исправно.

— Шатанье среди вельмож, батя. Апраксина жалеют.

Данилыч отмахивался.

— Ну их! Из ума выжил... Впрочем, ни на грош его не имел, ума-то. Дурак природный.

— Царя облепили... Ровно мухи вкруг меда.

— То им первый плезир. Еще что?

— Апраксин лает тебя.

— Сердит, да не силен — кому брат?

— Насчет монеты лопочут, которая в Персии. И будто ты голштинцев обсчитал.

— А, это? Плюнь, Горошек! Кто трудится, бремя несет — в того и камни летят. Кто на боку лежит, тот чист и свят.

Поважнее проблемы есть. Летят с курьерами инструкции в Польшу, князю Сангушко — магнат благоприятствует. В Ригу, Урбановичу, вполне преданному. Генералиссимус может пожаловать к нему в войско со дня на день. Сдается — курляндский узел разрубит сила военная.

Что ж... Сашке другую невесту...

Домашних князь ошеломил:

— С Елизаветой как мне быть? Любекский помер, кого же ей? Пруссия брауншвейгского принца сует, а по мне... Окрутим с Сашкой ее, а, бабоньки?

Дарья охнула.

— Гневишь ты Бога.

К Блументросту толкнулись — нет ли снадобья какого для князя? На сей раз не гипохондрия, а напротив — крайняя ажитация, небывалый кураж. Спит по ночам плохо. Лейб-дохтур дал валериану, Дарья подмешала в еду, да знать мала порция. Княгиня ступает затаив дыханье, на цыпочках, крестится, когда муж, диктуя секретарю, распалится да на весь дом:

— Бароны, бароны... Я их с потрохами куплю.

А то сабли вон из ножен, искрошить сулит. В затмении рассудка, богохульство изрыгает, чего Дарья вовсе не переносит. Пресвятая Богородица, исцели! Хворый, бешеный, еще воевать кинется...

Варвара на причитанья сестры фыркает — с крикунами строгость нужна.

— Наталью зачем обидел? Опомнись!

Царевне достался от брата серебряный ларец, подаренный ярославскими мастерами. Князь два раза посылал офицера — отобрать шедевр. Казне приличествует владеть. Наталья отвечала резко — светлейший, мол, ей не указчик. И что он мнит о себе? Низко пасть нужно, чтобы уступать.

— Признайся,— хлестала Варвара,— позавидовал ты... Сам бы схватил серебро, шиш казне.

Злился Данилыч, потом — валериана возымела эффект или мыльня — решил загладить промах. 26 августа именины девчонки, так угодить ей, справить громко. В Ораниенбаум, где летняя его резиденция, пригнал Черниговский полк, велел подготовить все фонтаны в парке, почистить дорожки, статуи. Полк расходовал порох щедро, но веселья не получилось. Многих гостей светлейший не досчитался — что могло помешать, при ясной-то погоде? Наталья отъединилась с кучкой подруг, царь смотрел хмуро, отворачивался. Остерман тяготился, вздыхал,— похоже, просил извинения за питомцев.

— Дети ведь,— шепнул ему князь.— Милые деточки, птички на веточке.

Балагурил, изрядно выпил. Беспечность его в этот вечер удивляла прусского посланника Мардефельда, чуявшего близость перемен.

Впоследствии он напишет: «Должно сознаться, что Меншиков легкомысленно отказался тогда от всего, что ему советовали добрые люди для его безопасности. Временщик сам ускорил свое падение, поддаваясь своему корыстолюбию и честолюбию. Ему надлежало действовать заодно с Верховным тайным советом, поддерживать им же заведенный государственный строй, а вместе с тем приобретать расположение к себе и царя и его сестры. Меншиков же прибрал к рукам все финансовое управление, располагал произвольно всеми военными и гражданскими делами, как настоящий император, и оскорблял царя и великую княжну, сестру государя, отказывая им в исполнении их желаний. Все это делал он, увлекаясь тщеславной мыслью, что ему надо обоих царственных детей держать под палкой».

Глубокая колея накатана между Ораниенбаумом и Петергофом, где царь дольше всего квартирует. Из окна смотрит, сколь усерден князь. С фонтанами канитель — то один, то другой зачахнет. Большой каскад чуть плещет... Мастера, коли не уследишь, дрыхнут в тени. Пропотел, ополоснулся под струей, поднялся к его величеству откушать.

Не прогнал.

— У меня радость,— сказал Данилыч, ободрившись.— Храм Божий обрели.

Домовая церковь в Ораниенбауме отделана, мрамор, золото, совершенное бижу. Третьего сентября освящение, сам Феофан отслужит.

— Покорно прошу пожаловать. Без вас не мыслим... Рухнет строение.

Царь повернулся к сестре, хмыкнул:

— Хочешь, пупхен?

— Мы, чай, христиане,— откликнулась она певучим своим голоском, пролила бальзам на сердце гостя.

Замиренье?

Увы, лишь видимость! Данилыч напрасно ждал августейших визитеров. Колокольный звон истязал. Голицыны, Шаховской, Головкин уважили, но торопились домой — бурей-де пахнет. Небо было чистое. Отсутствие царя испортило настроение, и Данилыч силился разрядить атмосферу. Молодецки выпячивал грудь, красуясь всеми орденами. Войдя с публикой в храм, сел на царское место.

Отчаянность напала.

Семья, приближенные в смятеньи — надлежит объясниться с царем. И немедля... Донесут ему о предерзости, сегодня же, так опередить бы... Мол, обижен был Его Величеством, худо стало, сел невзначай.

— Пошто навязываться? — отбивался Данилыч.— Много чести... Видал я капризы. Я царицу учил уму-разуму, уж этих-то сосунков уломаю.

Поехал на следующий день. Холодное безразличие, что больнее ранило, чем гнев. Провел четверть часа, обстоятельно толкуя о финансах, о бережливости. Отрок отмалчивался, грыз конфету, противно чмокал. И вдруг:

— Вам можно верить?

— Помилуйте,— опешил князь.— Ваш дед...

— А говорят, нельзя,— прервал отрок, сделал ручкой адье, на римский манер, и удалился.

Прискакав в Ораниенбаум, светлейший обедал один. Яства, прожевав кусок, отодвигал — безвкусны, пресны. Коротал вечер за шахматами, один. Стены сжимали словно тиски, дышалось тяжко.

5 сентября дворец, проводив хозяев пушечным салютом, опустел. Кареты на поворотах кренились устрашающе — быстрей, быстрей в столицу! Родной бург на Васильевском, нерушимый, часовые на крыльце... Лик Неразлучного в Ореховой... Как нехватало его!

Снизойдет же нечто, аки длань с горних высот. Если виновен я, накажи — фатер! Двинь кулаком в зубы или палкой огрей. Кайся, мол, паскудник, кайся — мешок с требухой! Трясясь в карете, Данилыч физически предощущал духовную сию экзекуцию, даже с неким сладострастьем. Больней, фатер, отколоти, как бывало, я раб твой... Ты покараешь, ты и выручишь, путь укажешь.

Жаркий день в Ореховую, сквозь плотные шторы, втекал скупо. Камрат опустился на колени, стремясь вновь почувствовать вожделенное прикосновение. Было душно, он мучительно закашлялся. Вот, сподобился! Прости, фатер, прости! Неужто вовсе отвергнешь?

Лик молодого царя мерцал далеким, звездным светом. Камрат не сводил с него глаз. Что-то мелькнуло в чертах, напомнившее внука. Так, недоуменно и без приятства встретил он вчера...

Наважденье... Фатер исчезал, вместо него в раму все назойливей вмещался Петр Второй. Данилыч вышел из Ореховой, шатаясь, держась за грудь.

— Чахотка,— сказал он себе.— Чудится всякое.

Вкушал декохты, молился. Десять раз прочел «Отче наш», потом некоторые слова повторялись в мозгу. Избави нас от лукавого... Кто лукавый? Кто настроил царя? Остерман, поди... Спелись завистники, заговор, заговор. Проглядел Горохов.

Настало блаженное отупение — эффект снотворного. Голландские птицы сорвались со стен спальни, покружились, улетели.

6 сентября встал посвежевший, за дверью раздавались голоса чиновных. Принимал доклады, обыденность успокаивала. Царь упивался последние дни охотой, он снова в Летнем. Допустит ли к себе? Посланный явился с отказом.

«Гулял по саду»,— записано в дневнике. «Кушал один, до вечера сидел в Ореховой».

7 сентября секретарь, заглянув в предспальню, посетителей не обнаружил. Его светлость пошел в Ореховую и пребывал там дезабилье, в халате три часа. Решил говорить с царем по-мужски. Прихватил с собой женщин — они ведь дипломаты, авось, окажутся кстати.

Караульщик, невежа, не сошел с крыльца, крикнул:

— Нету Его Величества. На охоте они.

— Врешь,— бросил светлейший и длинно, по-мужицки выругался. Толкнул офицера, рванул дверь. В зальце, где ожидался тайный совет, застал двоих — Дмитрия Голицына и Степанова. Боярин сидел угрюмо, тростью своей сосредоточенно сверлил ковер.

— Туда не ходи.— Тростью показал наверх.

Соловьиная трель летела из сада. Князь пощелкал языком, подражая, натягивал беззаботность. Разговор не клеился. «С час посидев отъехал к себе»,— записал секретарь.

Совет позднее собрался, без него. Остерман, орудовавший доселе в машкере, через питомца, оную снял. Огласил вельможам повеление Его Величества.

«Понеже мы восприяли всемилостивейшее намерение от сегодня собственною особою председать в Верховном тайном совете и все выходящие от него бумаги подписывать собственною нашею рукою, то повелеваем, под страхом царской нашей немилости, не принимать во внимание никаких повелений, передаваемых через частных лиц, хотя бы и через князя Меншикова».

Настало 8 сентября. Секретарь перечислил посетителей — генералы Волков, Салтыков, помощник губернатора Фаминицын, Шаховской. Все у его светлости кушали. «Было пасмурно и дождь с перемешкою». Ни слова о том, что Салтыков прочел князю царский рескрипт — почерком Остермана — и сверх того распоряжение устное.

Почетная стража, подобающая генералиссимусу, удалена. Его светлость под домашним арестом.

«Записка» скроет от потомков бедственный поворот событий. Упомянет только — «его светлости пущали кровь». Посол Лефорт сообщит подробнее — Меншиков упал в обморок. До последней минуты не мог он поверить в опалу.

У постели князя хлопочут врачи, Дарья в отчаяньи, сует им то склянку, то полотенце, да невпопад. Глаза со вчерашнего не просыхают. Мария по пятам за ней, хлюпает, младшие притихли, носа не кажут.

— К царю,— причитает княгиня.— В ножки падем.

Варвара дозналась — монарх у святой Троицы, на обедне. Больной протестовал — нечего унижаться! Ослушались, оставили медикам его, обе и с детьми втиснулись в переполненный храм. Петр отошел в сонм придворных, не достояв богослужения, отбыл. Не удалось проникнуть к нему и в Летнем. Приема нет.

Для опальных нет — царь устраивает пир, пригласил советников, фамилию Долгоруковых. По свидетельству Лефорта, он сказал:

— Я покажу Меншикову, кто из нас император — я или он. Он, кажется, хочет со мной обращаться, как с моим родителем. Напрасно. Не доведется ему давать мне пощечин.

Иван Долгоруков напился, сквернословил. Катерина — миловидная, ладная, владеющая французским и немецким, краснела. Царь, помещенный рядом, пленял ее познаньями в латыни.

Светлейший тем временем оправился. Подчиненные не ушли, набились в спальню, пробуют утешать, горюют — падение господина затрагивает и присных. Князь храбрился, ободрял — царь отлучает, царь и милует. Что постигнет, в худшем-то случае? Из-под ареста выход обыкновенно один — в ссылку. Ну, далеко не загонят. Поживет в деревне, отдохнет... А здесь кто будет управлять?

— Хватятся... Позовут...

Визитеры прощались — некоторые как бы украдкой, стыдясь собственной робости. Пахнуло холодом одиночества. Из глубин сознания пробилось — предел... Хотелось лечь, забыться. Пересилил себя, пошел к секретарям, начал диктовать.

...«обещаюсь мою к Вашему Величеству верность содержать всегда до гробу моего... Прошу... дабы изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя речение Христа Спасителя нашего: да не зайдет солнце во гневе вашем».

Молил ради старости и болезней «от всех дел уволить вовсе». То же во втором письме, покороче — великой княжне Наталье Алексеевне.

Успеха послания не имели. Петр Второй, выслушав воспитателя, хмуро произнес:

— Нон концедо.

Сиречь — петицию отклоняю.

«Указали мы князя Меншикова послать в Ораниенбурх и велеть ему жить там безвыездно»...

Диктовал царю Остерман, после приватной беседы со своей жертвой. Место ссылки дозволил выбрать. Притом тщательно выгораживал себя — валил на воспитанника.

— Это комок упрямства. Что за поколение народилось!

Ораниенбург — владенье в Воронежской губернии, некогда петровская верфь для мелких судов Донской флотилии. Данилыч там обстроился. Крепость со рвом, восемьдесят пушек смотрят с ее бастионов на озеро и на окрестные поля. Под защитой стен княжеские хоромы и около сотни различных построек, крытых тесом и на удивленье соседей — черепицей, невиданной здесь прежде, черной и красной. Диковина вящая — колокола над крепостными воротами:

«...один 20 пуд весом да два по 12, четвертой 8 пудов 5 фунтов и пятый против тогож, шестой пу̂да в 4, седьмой пудов три» — по сути карильон, по образцу тех, что восхитили царя и камрата заграницей. Звонарь, нажимая на рычаги, исторгал плясовые и победные марши.

— Самая благодать в Ораниенбурхе,— твердил князь плачущей Дарье.— Рыбка свежая... А яблок-то, яблок! Яблочко наливное, блюдечко золотое... Утрись, мать моя, затопишь!

Плечо от ее слез мокрое.

Варвара цедит сквозь зубы:

— Неслух... Себе яму выкопал...

Данилыч парировал:

— Бог не выдаст, свинья не съест.

А что-то внутри стучало упрямо — предел, предел. Заглушал здравыми доводами, турьим рогом, растворенным в водке — зело придает куражу. Спохватятся же дураки... Останется корабль государства без руля, без ветрил, да как налетит шторм... Ссылают-то с почетом, самим совестно. Свиту взять согласно со званием, имущество — изволь, бери! Шутливо, отечески унимает светлейший азарт Горохова.

— Батя,— пристал вояка.— Кликни только...

Мотался в слободе, у преображенцев. Знакомцы там у него, роту поднимет, вишь. Наплел им — вельможи-де хотят извести царя. Остермая, Голицыны, Долгоруковы... Похватать их...

— Батя, батя... Прежде батьки в пекло, дурная башка. Кто велел тебе людей смущать?

— Я на свой риск.

— Мой-то риск побольше твоего. Штиль штанден!

Никак не стоит штиль. Глаза безумные, шляпа на затылке, лоб потный.

— Батя...

— Не колыхайся, сядь! Бунтовать у меня, в Питере? Ну, инсургент! Проку-то что? Нагадишь мне, Горошек. Скидывай кафтан, помоги мне!

Сняли парсуну фатера, уложили в скрыню шахматный столик, янтарные фигуры. Челядь в Ореховую не допущена, к святыням не прикоснулась. Лежать им до возвращения хозяев или... Сроки всегда в руце господней. Увезти с собой заветное — решил князь, прикинув про и контра — означает сдачу главного оплота, капитуляцию.

— Поживем мы с тобой в деревне хоть месяц, хоть два... Что загадывать! На роду написано, ан никем не читано.

Повеселел Горошек. И самому легче.

— Здоровье поправлю. Ох, надо... Укатали меня Их Величества — царица да малый. А ты — драться... Видал я таких. Вот этой рукой стрельцам головы рубил. Шалить станешь, и тебе оттяпаю.

Вбежала Варвара.

— Сервиз лондонский поедет? Черный, кофейный?

Должно и в деревне блюсти бонтон. Женщины сообразят... В подвал упрятано пятнадцать ящиков с посудой — рюмок две тысячи, пивных бокалов четыре тысячи с половиной, тарелки, чашки и прочее. Но и в дорогу груза почти столько же. Ораниенбург был в забвении, комендант сообщал — рамы рассохлись, стекла повылетали. Скатаны к отправке ковры, гардины, обмотаны тряпьем и упакованы некоторые привычные глазу кунштюки — серебряные, хрустальные.

Все, что в зале — знамена трофейные, оружие — недвижимо. Из столицы — никуда! Заперто на замок, вахту несет хозяин бронзовый — бюст растреллиевой работы.

Мария отбирает любимых кукол, Александра — наряды, румяна, белила. Обе верят каждому слову отца. Сашка три сундука напихал мундиров. В покоях разоренье — пусто, горько пахнет дымом. Маршал двора Соловьев жжет возле конторы лишние бумаги.

Если же по дневнику судить — ничего чрезвычайного не происходит. «В три часа откушали и его светлость до вечера изволил быть в предспальне»,— сказывается недомогание. «В 10 часов лег почивать». И напоследок — «дождь с перемешкой».

11 сентября утром княжеский поезд тронулся. Загрохотал по мосту, вытянулся вдоль Невской першпективы, привлекая множество горожан. В четырех каретах, запряженных шестерками, семейство светлейшего, за ним сто тридцать три экипажа разного рода, с вооруженной охраной, слугами, кладью. В толпу вмешались иностранные дипломаты, прислушивались.

— Выше царя хотел влезть.

— Речено же: кесарю — кесарево.

— А добра-то, добра-то... Сказывают, на золоте спит, на золоте ест. Его еще покойный царь лупил, за воровство.

— Тебя обокрал, что ли? Нас Александр Данилыч не обижал, пенять неча.

— В Сибирь его?

— Поближе... В Сибирь нешто везут этак? В телеге везут, закованного.

— Ништо ему... Своей охотой едет.

— А княгиня, вон, глаза трет. Печалится. Дай Бог ей... Добрая женщина, жалостливая.

Один из видевших Меншикова вспоминал потом: «Проезжая по улицам петербургским, он кланялся направо и налево из своей кареты и, видя в сбежавшихся толпах народа своих знакомых, прощался с ними так весело, что никто не заметил в нем ни малейшего смущения».

ЭПИЛОГ

Стремительно оборвалась карьера человека, которого Пушкин очень точно назвал «полудержавным властелином».

Прощаясь с Петербургом, Меншиков сидел в экипаже прямо, выпятив грудь, сверкая всеми орденами и парадным убором, бросал в толпу ободряющие улыбки — вернусь, мол, управятся разве без меня! Остался верен себе Александр Данилович — никогда не являл он людям упадок духа. А ведь не мог не видеть — власти боятся волнений, потому и допущен сей торжественный выезд.

Да, покамест не арестант. Опальный вельможа, следующий в именье с семейством, слугами, с собственной вооруженной охраной. Золоченые кареты, фуры набиты челядью, армейские повозки с кладью...

Гвардия безмолвствовала. Одни безразличны, другие, несмотря на конфуз в Курляндии, верны фельдмаршалу, но дали слово — потерпеть, воздержаться от буйства. Ему же и отольется оно...

На другой день офицер, посланный вдогонку тайно, отнял у княжеской свиты ружья, шпаги, пистолеты, приставил к поезду конвой. В Твери подоспел еще нарочный — невеста царя сняла обручальное кольцо. Часть прислуги, груза сочтена излишней, отправлена в столицу. В Клину изгнанников ожидал третий курьер — Варвару велено определить в подмосковный монастырь.

Инструкции нарочным подписаны членами Верховного тайного совета — Головкиным, Голицыным. Остерман руку приложить остерегся — он по-прежнему за кулисами.

Поезд двигался по осенним дорогам медленно, с долгими стоянками. Меншиков простудился, ожила застарелая грудная болезнь, он харкал кровью. Петербург сжалился, откомандировал врача. Но свиту снова сократили. Ворота Ораниенбурга открылись только 2 ноября.

Господина встретили сельские старосты, управляющий с докладом. Грянули колокола. Потянулись в усадьбу возы с мукой, фруктами, всякой живностью. Светлейший зажил на широкую ногу, надеясь, что злоключения кончились. Приказы его по вотчине подобны манифестам монарха.

«Мы, Александр Меншиков, князь Римский и Российского государства»...

Отпраздновал день рожденья, одарил подчиненных и конвоиров. Начальнику, капитану Пырскому — перстень с алмазом, лисий мех, породистых жеребцов да овса и сена в близлежащее его поместье. Тот падок на презенты и угождает поблажками.

Тем временем по Москве, где по случаю коронации царя находился двор, гуляло подметное письмо. Анонимный автор упрекал вельмож — напрасно-де удалили Меншикова, государству причинен убыток. Дерзкий сей голос, вероятно, не единственный, вызвал беспокойство. Досаждали правителям и хлопоты Варвары, ее родни и знакомых. Меншиков стал опаснее. Верховный тайный совет решил отселить князя подальше от столиц — в Сибирь, а сторонников его наказать. Тотчас начались аресты.

Зимой в Ораниенбург наехали следователи. Пырского убрали. Имущество ссыльных занесли в реестр дотошно — вплоть до кочерги. Крупные драгоценности, вся недвижимость, крепостные отобраны в пользу казны.

Напомню — у Меншикова было почти полмиллиона крестьян, тысячи деревень, семь городов, заводы, прииски, рыбные ловли, доходные дома, лавки, морские и речные суда. Почитай, в каждое из ремесел, существовавших в стране, вкладывал свой инте-

рес, звал учиться у иностранцев, покупал за границей машины. Некоторые русские изделия сумел продвинуть на иноземный рынок. Трезво оценив выгоды труда наемного, применял его широко.

Рухнула гигантская хозяйственная империя, весьма значительная в экономике России, рухнула и рассыпалась по ведомствам, по отдельным добытчикам. Предприятия, доставшиеся невежественным крепостникам, неизбежно захирели.

В апреле 1728 года к усадьбе подкатили повозки, крытые рогожей. Меншиковы — рядовые арестанты. Надзиратели и челядь не отказали себе в удовольствии поиздеваться — выбросили, отъехав в сторону, остатки пожитков семьи, даже смену белья. Дарья ослепла от слез. Горе, лишения доконали ее — 10 мая возле Казани она умерла.

Более двух месяцев длился последний перегон, водой и по суше до Березова. То был убогий городишко в Тобольской губернии, на притоке Оби реке Сосьве. Меншиков сперва ютился с детьми в остроге, то есть в деревянной крепостце, служившей и тюрьмой. Потом они построили себе избу и церковку. Знавшие там Меншикова вспоминали, что он удивительно стойко переносил невзгоды, бодро работал топором. Смирился с судьбой? Или верил в счастливую звезду? Поднаторев на досуге в грамоте, изучил священное писание, истово пел в храме псалмы. Религия, должно быть, помогала обрести душевную независимость.

Избавиться от грудной болезни Александр Данилович не смог, 12 ноября 1729 года она свела его в могилу. Дочь Мария, сломленная бедами, ненадолго пережила отца. В настоящее время ничто в Березове не напоминает о Меншиковых — река подмыла берег, унесла останки тел и строения.

В январе 1730 года Петр II скончался от оспы. Его преемница Анна соизволила простить Александру и Александра-младшего. Они вернулись в столицу. Отпрыск генералиссимуса, лишенный талантов, честолюбия окончил свои дни в безвестности. Княжна волей императрицы была выдана за Густава Бирона — брата всесильного временщика.

Покинув Курляндию, Анна постаралась удержать ее под своим влиянием. Мориц Саксонский спасся от русских войск в рыбачьей лодке, переодетый простолюдином. Он и потом заявлял свои права на герцогство, но безуспешно. При Екатерине Второй оно стало частью Российской империи.

Дележ наследства Меншикова продолжался десятилетие. Сотни чиновников составляли описи, разбирали жалобы на князя, претензии кредиторов, неоплаченные счета и при этом не забывали поживиться. Некоторые сокровища, восхищавшие современников, исчезали бесследно. Дети получили княжеский гардероб, медную и оловянную посуду, несколько усадеб.

Следствие над Меншиковым с его смертью не прекратилось. Вельможи вознамерились заклеймить навечно безродного временщика, бывшего любимца гвардии. Насколько же он обворовал казну? Задача оказалась головоломной. Ведь Петр открывал ему государственный сундук с полным доверием, без всяких расписок. Светлейший брал на нужды армии, Петербурга, брал и сверх того. Царь, сам непритязательный, потакал роскошествам в резиденциях «камрата», устраивал в них приемы, торжества. Дворец на Васильевском острове сделался, по сути, выражаясь нашим языком, дворцом съездов.

Ревизоры прибегали к косвенным доказательствам, к натяжкам, дабы из трат оправданных, из миллионных доходов Меншикова-предпринимателя вычленить растрату, подсудную корысть. Все же сумма получилась гораздо более скромной, чем предполагалось — порядка ста тысяч рублей.

Очень хотелось высокородным выставить князя изменником родины. Проверили все его переговоры и связи с коронованными особами, с дипломатами. Обвинение повисло в воздухе.

Сосланные Меншиковым «заговорщики» оправданы. Петр Толстой не дождался освобождения, он умер в тюремной келье Соловецкого монастыря. Девьер и Скорняков-Писарев много лет прослужили в Охотске, последний готовил тамвт орую экспедицию Беринга, Антон же в 1743 году был отозван в Петербург, получил прежнюю должность полицеймейстера и 1800 крестьян из числа меншиковских.

Предок Пушкина Ганнибал дослужился до генерала, в тридцатые годы он был инспектором артиллерии в Прибалтике.

Избавившись от Меншикова, Верховный тайный совет утвердился как орган правления коллегиального. Вольнодумцы, мечтавшие учредить подобие строя парламентского, оживились. Но им не хватало единства. В среде родовитых бытовали традиции феодального боярства, которое себялюбиво считало государственную службу «кормлением», яростно отстаивало интересы фамильные, узковотчинные.

Ревнители старых порядков возликовали, когда двор пребывал в Москве. Рассчитывали, что он там и пребудет. Но после смерти юного царя Петербург вновь столица, к радости тех, кто дорожил «окном в Европу». Предтечи западников и славянофилов

сталкивались в споре, но с позиций идейных то и дело соскальзывали в трясину амбиций и мелких свар.

«Интриги этого двора заставляют всех благомыслящих людей плакать кровавыми слезами» — писал испанский посол де Лириа.

Избрал Аняу, пригласил на трон Верховный тайный совет. Думалось, что курляндская вдова, племянница Петра нравом тише, сговорчивее, чем Елизавета — родная его дочь. Человек, лучше знавший герцогиню и ее окружение, упорный противник ее покоился в гробу. «Верховники» — так прозваны Дмитрий Голицын и его товарищи — подготовили для Анны «кондиции», то есть условия. Речь вовсе не шла о восстановлении боярской думы XVII века — чисто совещательной, зависевшей от царского произвола. То был первый проект российской конституции. Слово Совета в важнейших вопросах — войны и мира, налогов и т. п. объявлялось решающим.

Как известно, попытка подорвать самодержавие потерпела неудачу. Анна порвала «кондиции», взойдя на престол. Отважные реформаторы попали в опалу — наказать суровее правящую элиту она не решилась. Совет был распущен, Дмитрий Голицын провел остаток жизни вдали от государственных дел, в подмосковном именьи Архангельское.

Ягужинский, поначалу сообщник «верховников», переметнулся к Анне, предупредил о намерениях вельмож. В тридцатых годах он был посланником в Берлине, потом кабинет-министром.

Остерман способствовал восшествию Анны, возвышению Бирона. Карьера царедворца кончилась в 1746 году, при Елизавете. Он был сослан в Березов и там умер.

Позволительно гадать, чем завершилось бы выступление «верховников», будь рядом с Голицыным умелый, прогрессивный политик, поддержанный снизу. История нуждается в таких деятелях — а в кризисную пору особенно остро. Во всяком случае, засилье Бирона и его клики, наставшее при Анне, вряд ли нужно почесть неизбежным.

Кажется, перст истории указывал на Меншикова... Он создал Верховный тайный совет в противовес императрице Екатерине, фактически свел на нет ее своеволие, но действовал чем дальше, тем сильнее для собственного возвышения. Испытания властью он не выдержал. Блестящий, преданный соратник Петра-преобразователя, он сделал много полезного для России, но закончил свою удивительную карьеру бесславно.

Трагедия властолюбца, всегда поучительная.

Анатолий
КОРШУНОВ

◆◆◆

По утрам уже студено —
Осень тихо подошла.
И на озими зеленой
Зорька инеи подожгла.

Палый лист утратил краски,
Нудным вымочен дождем.
И рябина, точно в сказке,
Ярким радует огнем.

В эти дни
Одни контрасты
Замечает грустный взгляд:
Все черно,
Лишь дуб вихрастый
Зеленеет невпопад.

◆◆◆

В подполье убрана картошка.
Гирлянды лука на стене.
У печки намывает кошка
Гостей к домашней тишине.

И мать сидит,
Кусочек пряжи,
Как бы котенка теребя.
Она носки внучатам вяжет,
Безделья сроду не любя.

Все в доме прибрано, как надо,
И у нее довольный вид.
А осень на деревьях сада
Забытым яблоком висит.

◆◆◆

Степь до горизонта неоглядна —
Тут когда-то был Руси рубеж.
В желтых берегах течет Непрядва,
Речка славы русской и надежд.

И мечом блестит над полем брани
Луч,
Что в росы бросила заря,
И плывут туманы —
От дыханья
Спящего в траве богатыря...

Лев
КУКЛИН

◆◆◆

Старею, мудрею, добрею,
На солнце нежарком сижу.
Уже ничего не имею,
Уже никого не сужу.

Закаты сменяют рассветы.
Цветы опадают с ветвей.
И есть одиночество: это —
Условие жизни твоей.

Уже не живу — доживаю,
Без слез, без тревог, без затей.
Лишь дождь на свой счет принимаю,
Да просвист веселых стрижей.

А что для тебя остается?
Суровый Плутарх под рукой,
Да это нояркое солнце,
Которое ловишь щекой...

На Лиговке

— Где ты вырос, мальчишка предвоенной поры?
　　— На Лиговке, у Мальцевского рынка!
Ах, какие там были проходные дворы,—
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка!

На все стороны света выходили они...
Память, честно храни
　　　　наши дивные дни,—
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка!

Мне сравнялось двенадцать отчаянных лет.
Был я худ, как скелет,
　　　　и шнырял без штиблет
　　По Лиговке, близ Мальцевского рынка.
Был я тощ, как скелет,
　　　　жил под прозвищем «Шкет»,
От кровавых соплей отмывал свой портрет
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка...

Милицейские часто там пели свистки.
Мы играли там в «маялку» или «битки»...
— В чем же был ты мастак,
　　　　или — жил ты за так
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка?
— Я чечетку в толпе «выдавал» за пятак
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка!
А потом я спешил на Московский вокзал,—
Там на палочке сладкой эскимо я лизал...
Репродуктор победные марши кричал,—
Здесь гудел мой причал,
　　　　здесь я школу кончал —
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка!

Ах, какою там славой сияла шпана!
А потом — всех настигла большая война...
— Где, мальчишка, твой бомбой разрушенный дом
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка?
— Это место теперь отыщу я с трудом
　　На Лиговке, у Мальцевского рынка...

Пейзаж — 90

Люблю грозу в начале мая...
Ф. Тютчев

Гроза — как взрывы на АЭС!
И дождь — грибной, кислотный,
стронцевый,—
Сокрыт в нем острый интерес
Тех, кто с ума назавтра стронется...

Приборчик Гейгера трещит,
Как микроад с открытой дверкою,
И вороны — гортань горчит! —
Уже не кашляют, а перхают.

Гранитом невским я бреду,
За чистоту воды не ратуя:
Вон — в Летнем сумрачном саду —
Там даже статуи с нитратами!

Крадется небо вдоль границ,
Трясет рассветами — закатами.
Адмиралтейство, словно шприц,
У облака рукав закатывает!

Ненависть

Маленькие, злые паразиты
Понабились в наши уголки.
Не в пример мозгам у них развиты
Челюсти, а также — языки.

На Подоле, Пресне или Охте
На путях, от горечи седых,—
Как они пускают в дело локти,
Как умело двигают под дых!

Злоба свои бицепсы утроит,
И огнем бикфордским побежит
Красное,
как выстрел,—
«армяноид!»,
Черное,
как порох,
слово «жид!»

И не в белых святочных сугробах,
Позабыв об отческих гробах,—
Снова Русь закорчится в погромах,
С пеною кровавой на губах...

Как играла форель

Как играла форель!
Улыбалась над отмелью ель,
И вода, как свирель,
исполняла подобье хорала.
Видя в этом занятии некую высшую цель,—
Веселясь на миру,— как форель благородно играла!

Птицы пели с листа,
и поглядывал лось из куста.
Очертания рта
у форели округлы и плавны.
Эта схема проста:
все, что чисто — и есть красота.
От сознания этого было прохладно и славно.

Как играла форель!
Был ей ведом особенный хмель.
И река, как купель,
эти игры в себя принимала.
Но уже для смертельных сетей выпрядалась кудель...
Как играла форель!
Я не знал, что она — вымирала...

Как играла форель!
И природа была молода,
И прозрачна вода,
да и воздуха вдосталь хватало...
С горьким грузом стыда —
все равно не вернуться туда,
Где играла форель в чешуе дорогого металла...

Мы — как знаки беды
для полей, для лесов, для воды.
И пустеют сады —
мы уже натворили немало.
И не блещут стрекозы на крыльях из звонкой слюды,—
Всюду наши следы...
И от нас вся планета устала!

Иван
ВИНОГРАДОВ

РУЖЬЕ

Рассказ

Летом 1935 года, помнится, под вечер, пришел к нам нарочный и вручил мне (не отцу, а именно мне) повестку: назавтра утром «яниться в помещение Горского сельсовета, имея при себе харчи на двое суток». Упоминание о харчах немного насторожило, но вида я все же не подал и расспрашивать посыльного, зачем вызывают,— не стал. Да и вряд ли он был посвящен в сельсоветские тайны, этот проворный, но, скорей всего, малограмотный мужичонко, обутый ради ответственного дежурства в новые, еще желтой кожи, поршни.

Мать, правда, заохала: зачем им ребенок-то понадобился, чего там задумали?

Отец же, как и я, сохранял внешнее спокойствие.

— На два дня — не на два года,— сказал он.

— Поймешь там их, дождесся правды,— продолжала тревожиться мать.— Скажуть — на день, забяруть на год — и концов не найдешь.

Тревога тревогой, но уже захватила ее и забота об упомянутых в повестке харчах:

— Каво ж (то есть — чего же?) я тебе дам-то в дорогу, сынок? Свининки обжаренной, так всю подобрали. Ну молоцка я стоплю, хлеб ешшо свежий...

Она не только говорила, но и действовала. В посудном шкафчике, что висел у нас на стене справа от двери, почти что над столом, она не глядя нащупала два куриных яйца, сообразила, что этого маловато, и заспешила в сени, а там, слышно было, полезла на потолок, где куры сами оставляли на свалявшейся пакле свои подарки хозяйке.

Меня харчи не заботили: у матери всегда что-нибудь найдется. Мне хотелось все-таки отгадать, зачем я потребовался советской власти — для помощи ей или для какой-нибудь «ответственности»? Время было новое, строгое и не всегда понятное.

Совсем недавно в наших краях (позже, чем всюду) завершилась сплошная коллективизация; оставались кое-где лишь отдельные упрямые единоличники, на которых теперь и соседи-то поглядывали без сочувствия: нечего от других отделяться! Сами же эти «другие» постепенно приобщались к противоестественному для них коллективному труду на общей земле и к неясному, неощутимому заработку в виде палочек-трудодней. Успокаивали себя тем, что в других местах уже несколько лет так живут и не умирают. А главное — куда денешься, если власть не позволяет жить по-другому? Куда пойдешь, кому скажешь?

Приобщались — и подспудно, затаенно ждали чего-то еще, не веря, что на том все закончилось. Беда ведь в одиночку не ходит. Того и гляди, грянет новая — неизвестно какая и с какой стороны. Поэтому всякий вызов в сельсовет или появление начальства в деревне пугало людей и порою толкало на необдуманное. Одного мужика вызывали в сельсовет на дежурство, но не сказали зачем. Он струсил — и в бега! Потом его где-то поймали, стали допытываться, почему скрывается, и посадили на всякий случай в тюрьму. Зря не бегают!

Мне, казалось бы, нечего было бояться. Я отлично закончил школу колхозной молодежи — ШКМ, еще с шестого класса вел в своей деревне-колхозе всю полагающуюся бухгалтерию, хотя в силу несовершеннолетия и не мог официально быть счетоводом (на этой должности значился мой отец). Сверх того,

я пробовал выпускать стенную газету и вывешивал ее на своем крыльце, хотя к ней почему-то никто не подходил. Зато потом ее взяли в сельсовет и похвалили. Во время коллективизации я тоже вел себя правильно — читал мужикам брошюрки о классовой борьбе и ликвидации кулачества. Мужики курили или дремали, потому что вся эта непонятная борьба происходила, наверно, в каких-то других краях. У нас же просто силком загоняли людей в колхозы, а если кто долго сопротивлялся или не так как надо высказывался, того раскулачивали, высылали, облагали твердым заданием, превращая в крепкого хозяина в последнего бедняка. Кого-то еще наганом попугивали, сажали в холодную. Вот и все. Никакой классовой борьбы мы не вели и не знали и, скажем, лично меня все это мало касалось. Мне очень понравилось учиться в школе, за что я, конечно, был благодарен советской власти, и единственно чего хотел тогда — это продолжать учебу. Книги, тетради, учителя, школьная дружба — все это оказалось настолько увлекательным и желанным, что ни мое нынешнее счетоводство, ни другие какие возможные на селе должности меня не интересовали. «Тебе надо продолжать учебу»,— было сказано и учителями моими, а им я верил больше, чем даже родителям, из которых отец закончил в свое время лишь три класса церковно-приходской школы (выработав, правда, отличный почерк), а мать сходила несколько раз в кружок ликбеза, чтобы научиться расписываться, но так и не осилила эту грамоту: слишком много — и разных! — буковок было в нашей фамилии, и каждую полагалось запомнить, да еще и вывести неумелой рукой на бумаге...

Продолжать учебу... Это была моя мечта, робкая и желанная, и почти что неосуществимая. Потому что и в седьмой-то класс я ходил (или меня отвозил отец) за пятнадцать километров. Десятилетка была только в районном центре Новоржеве, а это уже тридцать верст от родного дома, туда и на лошади почти сутки потребуются. Временами моя мечта обращалась на север, в сторону Ленинграда, но тут возникало другое противодействие: можно ли так надолго оставить стареющих родителей при малолетней сестренке?

Так вот я и жил в неопределенности, как бы переминаясь. Заполнял цифрами бухгалтерские книги, обмерял выполненную на земле другими людьми работу, начислял трудодни, да еще читал книги, добывая их где придется. Жизнь моя все равно как затопталась на месте, и я, пожалуй, ждал какого-нибудь толчка судьбы.

В свои невеликие тогдашние годы я пережил несколько влюбленностей — в одноклассницу Настеньку Симанову, потом и новоржевскую девочку Тамару, вместе с которой ездил в свои последние зимние каникулы в Москву (такой была для нас с нею премия за отличную учебу), наконец — в молоденькую местную учительницу по фамилии Острогорская, которая была немного старше меня и слегка пугала меня своей взрослостью, но сама она явно не считала меня недостойным внимания малолетком: нас объединяла, по-видимому, грамотность и, так сказать, культурность.

Ни одну из своих тогдашних любовей я даже не поцеловал и мои чувства томились, не разгораясь и не принося радостных, сладких ощущений. Наверное и тут мне требовался некий толчок.

Перепутье, неуверенность, ожидание — таковы были мои душевные состояния в то лето, когда принесли эту памятную повестку.

Утром я с небольшим узелком в руках направился в деревню Туровец, где находился сельсовет. Дорога шла сперва по ржаному полю, пересекала жиденький ручеек, затем сворачивала к маленькой деревушке Панлыши, но можно было пройти и мимо деревни, по спрямленной тропинке, через пустырек и луговину. Погода стояла хорошая, солнечная, утро взбодрило меня, и вот уже замерещилось впереди что-то героическое. Скажем, поход вооруженного отряда против какой-нибудь банды. Могла же она появиться и в наших тихих краях, не только в газетах и книгах.

Председатель сельсовета, местный грамотный мужик, знавший на своей территории всех больших и маленьких, с первых же слов и действий подтвердил мои предположения. Коротко ответив на мое «здравствуйте», он встал из-за стола, взял стоявшее тут же в углу новенькое двухствольное ружье и спросил:

— Стрелять умеешь?
— Приходилось маленько.
— Где?
— Да так, в одном месте.

Осторожничал я потому, что у нас в доме было ружье, а держать его то ли не разрешалось, то ли требовалось где-то регистрировать. Мы вообще уже начинали всего бояться и на всякий случай отвечали начальству уклончиво.

Ружье у нас было очень старое, если не сказать — древнее, заряжалось со ствола шомполом, и уже на моей памяти отец менял дряблый, весь какой-то облезлый и вконец разболтавшийся приклад. Помню, как старательно переводил он на толстую доску форму приклада (обводил карандашом по старому), как выпиливал, вытесывал и обрабатывал затем все выпуклости и вогнутости, примерял неоднократно ствол и снова подгонял, подстругивал, подшлифовывал приклад рашпилем и осколком стекла, даже бережно расходуемой наждачной бумагой. Завершив отделку, он покрыл приклад олифой собственного приготовления, сваренной из льняного масла, затем покрасил... лазоревого цвета краской. Другой у него в то время просто не было, и вот ружье словно бы заулыбалось и стало выглядеть как-то не очень серьезно. Хотя стреляло страшно гулко и так отдавало в плечо, что не всякий устоит на ногах...

— Если приходилось — тогда держи! — Председатель передал мне двухстволку, от которой дохнуло терпким запахом ружейного масла и повышенной ответственностью. Потом он достал из кармана своего отвислого пиджака три латунных патрона и несколько загадочно произнес: — Три на троих.

Мне пришлось положить на лавку свой узелок с харчами, чтобы взять патроны. Но принимая их, я сообразил, что заряжать такое ружье не умею. Моя растерянность отразилась на лице настолько отчетливо, что председатель явно озаботился.

— А говоришь — приходилось,— пробурчал он.
— Не из такого,— сказал я.
— Из какого же?
— Ну такое старинное, шомполом заряжается.
— У кого это такое хранится?
— Да это не в нашей деревне,— начал я вилять.— У одного старика.
— Ну ладно, потом расскажешь,— не стал председатель пытать меня.— А пока — смотри.

Он забрал у меня ружье, одним движением большого пальца переломил стволы и еще раз, замедленно, показал, как это делается, что там надо отодвинуть. Протянул руку за патроном, вложил его в ствол и встряхнул ружье. Стволы тут же вернулись в прежнее положение.

— Запомнил?
— Надо бы самому,— попросил я.
— Ну давай сам... Сперва разряди... Да не нажми на скобку!.. Ну вот так, правильно... Еще разок все сначала...
— А на какой крючок раньше нажимать? — Я уже увлекся новым видом учебы.
— На какой нажмется...

Боевая подготовка одиночного стрелка заняла здесь не больше пяти минут. Я зарядил ружье и взял его «на ремень». Председатель вывел меня на сельсоветское крыльцо. Остановился, повернувшись в сторону четверых мужиков, что держались около запряженной подводы.

Я видел их еще когда поднимался на это крыльцо и с одним, самым молодым, поздоровался: это был Федька Баламут из соседней деревни, в которой жила замужем моя старшая сестра. Второй молодой тоже показался мне полузнакомым — наверно где-то видел его; я ведь уже начинал тогда похаживать на наши деревенские гулянки-ярмонки. А вот заросший щетиной подводчик и угрюмо-бородатый мужик в сером домотканном кафтане были мне незнакомы. Оба они сидели на дрогах — один с правой, чтобы править, второй — с левой стороны.

Председатель как бы пересчитал их всех, кроме подводчика, помахав в сторону каждого указательным пальцам. Сказал:

— Вот этих троих, осужденных выездным судом, поручается тебе отконвоировать в новоржевскую тюрьму...

Сердце у меня екнуло: не к такой «героике» я готовился. Это было не столько страшно, сколько стыдно.

— Сдашь под расписку,— продолжал между тем председатель, извлекая из внутреннего кармана пиджака сложенные бумаги.— Тут два экземпляра. Один заберут у тебя там, другой привезешь мне... Ты понял?

Понять-то я все понял, и даже слишком хорошо,— не зря был все школьные годы отличником,— а вот исполнять такую задачу мне никак не хотелось.

— Я не знаю,— сказал я.

— Чего не знаешь? — недовольно спросил председатель.

— Как надо конвоировать.

— А тут ничего не надо знать. Иди и смотри, чтоб не побежали. Особенно...— Он повернулся к арестантам спиной и негромко, чтобы они не слышали, продолжил: — Особенно приглядывай за бородатым. Молодые — просто дуроломы, подрались на ярмонке, а этот — с классовым душком. Саботажник! Так что, если этот побежит, стреляй сразу.

— Прямо в него? — испугался я.

— В кого же больше? Если он на такое решится, то тут и думать нечего: ясно, что враг.

— А если попаду? — продолжал я маяться.

— Тогда привезешь в район покойника и тоже сдашь под расписку.

— Не могу я...

— Тебя что, не учили, как надо поступать с врагами советской власти?

— Вы хотя бы скажите ему, чтоб не бегал.

Председатель хохотнул и ударил меня по плечу.

— Если б они нас слушали, так и судить было бы некого. А с этим разговаривать — что горох в стенку бросать...

Из-за плеча председателя я разглядывал саботажника, который был, наверно, в одних годах с моим отцом. Мужик как мужик, даже и не подумаешь, что враг какой-то. Оделся предусмотрительно в теплый суконный кафтан — с расчетом на осень, на ногах — крепкие сапоги из грубой, домашней выделки кожи, на голове — темная добротная фуражка, в которой и осенью не будет холодно, а на худой конец и зимой тоже можно вытерпеть...

— Ну давайте, двигайте! — повернулся председатель к подводчику и арестантам.

Подводчик — такой же, как и я, мобилизованный на «ответственное задание» — задергал вожжами, зацокал языком, посылая коня на дорогу, арестанты покорно двинулись за повозкой.

— Давай и ты,— подсказал мне председатель.— Харчишки свои брось на дроги, а сам — за этими. Гляди — не зевай.

Пока мы шли деревней, я держал ружье наперевес, считая, что так полагалось. Деревня провожала нас, поглядывая из окон, с крылец и через огородные заборы. Хотя здешние жители наверняка уже нагляделись на подобные картинки за время коллективизации и ликвидации, наша группа вызывала у них особое любопытство. За что же теперь-то народ забирают и увозят? Вроде ведь все утихомирилось.

У колодца молодушки узнали Федьку Баламута и запричитали не вполне натуральными голосами:

— Куда ж тебя, Феденька? За что тебя, миленький? Ты же беднянком числишься...

— Прощайте, бабоньки-девоньки! — сорвал Федька с головы кепчонку с пуговкой наверху и тоже ненатурально, ернически заголосил: — В тюрягу гонють сердешного, отрывають от вас, жаланных, на долгое время. Помолитесь за меня Христу-Господу.

Он приостановился и начал кланяться, так что мне тоже пришлось задержаться.

— Дурацок ты, Федька,— сострадательно проговорила самая старшая из трех женщин.— Подумал бы, куда идешь-то. Не зубки скалить надо.

Федька вроде как задумался. Но ненадолго. Опять начал балаболить:

— Дык я и говорю: надо по-хорошему с бабоньками попрощаться, да пошшупать хоть какую...

Он и впрямь рванул к ближней молодке, раскинув руки, та отгородилась от него коромыслом, а он тогда к следующей, и когда приблизился — вдруг дернулся рукой вниз, схватил себя за колено, а молодушка инстинктивно прикрыла ладошкой то самое место, на которое он вроде нацелился. Водилась среди баламутов такая шуточка. Молодушка застеснялась, Федька расхохотался... а подвода и двое других арестантов — уже за деревней!

— Федя, не задерживай,— попросил я.

— Иди, иди, Федюшка! — провожали его и женщины. Та, что постарше, спросила меня: — А Левонтия-то за что ж?

Я сказал, что не знаю, зато третья заметила:

— Тоже заслужил, наверно.

— Не скажи, Фрось,— покачала головой старшая.— Бывая, что и не заслуженных бяруть...

За деревней, на сухой пожне, боролись друг с другом мальчишки лет десяти. Этих больше всего заинтересовало мое ружье.

— Глянь — двухстволка! — прекратили они свою возню.

— Я знаю: это сельсоветская.

— Эй, дай стрельнуть! — осмелел один.

Но стоило мне повести стволом в сторону этого храбреца, как он тут же стушевался, спрятался за другого. С вооруженным человеком не шали, малец!.. Я и сам в это время глянул на себя со стороны, ребячьими глазами, и увидел грозного воина.

Федька тем временем бегом догнал своих сотоварищей, пристроился к ним и что-то уже балагурил, а мне бежать с ружьем в руках наверно не полагалось: все же представитель власти, как-никак. Да и мальчишки смотрят вослед, разинувши рты. Оставалось лишь почаще да пошире шагать, соблюдая достоинство вооруженного человека.

Проехали одну деревню, затем другую, третью. В наших местах они почти все небольшие, по десять-пятнадцать дворов, и стоят кучно, верстах в двух-трех одна от другой. Некоторые и совсем близко. От моего Глебездова, например, до соседней Малиновки и версты не наберется, до Меженина, откуда происходил Федька Баламут — ровно верста, как считалось, а в третьей стороне на таком же примерно расстоянии было Орехово, в четвертой, за горушками — Каменка. Между прочим все четыре примерно обозначали для нас стороны света. Малиновка — север, Меженино — юг, Орехово — запад.

Лежал у нас на пути и лес — Ругодевский бор — место несколько таинственное, а то и жуткое. Тут, по рассказам, и звери, и разбойники водились, могли, вероятно, и классовые враги обосноваться, даже банду собрать. Конечно, не из наших мужиков, а из каких-нибудь сторонних, где классовая борьба проходила с кровью. Наши-то местные кулаки были, кого ни вспомнишь, смирные, богомольные, они и поросенка зарезать сами не могли — звали опытных в этом деле специалистов. Но где-то попадались и отчаянные. В газетах писали.

Перед самым лесом началась песчаная дорога, и тут я начал отставать от подводы. Ноги вязли и заплетались в сыпучем песке, красивое, придававшее сил и уверенности ружье становилось все тяжелее. Приходилось время от времени делать небольшие пробежки, но после них я уставал, и расстояние между подводой и мной опять увеличивалось. Зато мои арестанты хорошо спелись между собой и с подводчиком, они попеременно садились на дроги и так отдыхали, мне же садиться, наверно, не полагалось. Я продвигался вперед мелкими шажками, как спутанная лошадь, между тем как настоящая лошадь шла и по песку резво и все увозила и увозила от меня моих подопечных.

Въехали в лес. После какого-то поворота дороги я остался на ней один. До этого, кажется, пели птички, а тут все вдруг заглохло, и в моем воображении возникла такая картина: арестанты разбежались по лесу, собрать их невозможно, я приезжаю в Новоржев с «пустой» сопроводиловкой, и меня сажают вместо упущенных подконвойных в тюрьму.

Тут я заметил рядом с песчаной дорогой твердую обочинку и припустил по ней из последних силенок. Увидел, хотя и не близко, подводу и двоих... да, только двоих арестантов... Третий блаженствовал на дрогах.

«Постойте! Погодите же!» — повторял я без конца. Но только лишь про себя: вслух кричать о помощи было стыдно...

Лучшим из людей того времени оказался подводчик. Он остановил лошадь, подождал меня и сказал:

— Ты, малец, садись-ка, передохни...

Третий арестант, сам крестьянин, догадался, что коню будет тяжеловато, и спрыгнул на дорогу, уступая мне место. Но я сел на дроги лицом назад, чтобы видеть идущих следом подконвойных.

Жизнь моя похорошела несказанно. Усталое тело расслабилось, отяжелевшие ноги все равно как в райский ручей окунулись. Неудобство обозначилось только одно: приходилось сталкиваться глазами с кем-то из арестантов, а это меня смущало. Но со временем я заметил, что они не очень-то меня видят. Им было куда обратить свои взоры: в свое недавнее прошлое и неведомое будущее. Хмурый саботажник вглядывался в себя сосредоточенно, можно сказать, сощуренными глазами, а драчуны вдруг-таки оживились и начали друг друга попрекать: оказывается, они и дрались-то между собой, и пострадали один от другого.

— Ты, бляха, чуть до легкого мне не достал,— говорил Федька Баламут.

— А если бы ты мне череп проломил? — отвечал другой, по имени Павля, то есть Павел.

— Ну и проломил бы, так что? Все равно там пусто.

— Зато у тебя много говна всякого.

— Опять захотел? — вскипел Баламут, и я испугался, как бы они не затеяли новую драку.

Образумил их саботажник:

— Опомнитесь, мальцы! Мало вам всего?

Драчуны опомнились и примолкли. Федька, правда, пробурчал для завершения:

— Наши все равно накладут вашим...

Дорога продолжалась. Мягко ступали колеса по мягкой земле, сбоку заглядывало мне в глаза неяркое, в предвечерней дымке, солнце, пели по-вечернему лесные птички, и если бы можно было вздремнуть, хотя бы и сидя,— лучшего не придумаешь. Я уже поклевывал носом. Но всякий раз спохватывался, выпрямлялся, поправлял тяжеленькую двухстволку, лежавшую на коленях, и снова держался если не орлом, то хотя бы молоденьким петушком.

И все же незаметно для себя задремал и, видать, крепенько, потому что когда очнулся, ружья в руках моих не было. Не увидел я и саботажника. Позади повозки шагали только замолкшие и примиренные общностью судьбы драчуны.

Я начал испуганно озираться. Покосился налево: подводчик был, конечно, на месте. Сидел сгорбленно — тоже, небось, кемарил с открытыми глазами. С правой стороны сидел на дрогах саботажник... с моим ружьем на коленях. Стволы направлены хотя и не прямо в меня, но в мою сторону.

Кто кого и куда теперь конвоировал — поди, разберись. Может, мы уже и не к Новоржеву, а по какой-нибудь боковой дорожке в глухомань тащимся, где меня могут привязать к дереву, как это делали индейцы, и оставить на съедение зверям. Как раз и вечер наступил — самое удобное для всяких злодеяний время. Я ощутил спиной корявую округлость могучего дерева, а на плечах и руках — веревки.

Надо было соображать, как быть дальше.

Ружейные стволы покачивались на расстоянии вытянутой руки. Бородатый сидел пока что спокойно, даже, пожалуй, беспечно, глядя перед собой на проходивший перед его глазами строй сосен. Так что если я схвачусь за стволы и тут же спрыгну на дорогу, он может и не удержать двухстволку.

Пока что я как бы продолжал дремать. Делал вид — и готовился к решающему броску. Но Федька Баламут углядел, что я пробудился, и захохотал:

— Что, конвоир, проспал царство небесное?

Повернулся ко мне и саботажник. Неожиданность была мной упущена — это ясно.

Оставался путь мирных переговоров.

— Гражданин, отдайте ружье! — проговорил я с этакой официальной строгостью.

Саботажник усмехнулся и ответил прямо как Федька Баламут:

— Ты его, считай, потерял, малец.

— Гляди, потом самому хуже будет,— постращал я его.

— Хуже тюрьмы?

— Сам знаешь...

Бородатый нисколько не испугался моих угроз, и мне показалось, что он торжествует свою классовую победу. Видимо, ничего больше не оставалось, как действовать по первому плану.

Отвернувшись от саботажника (чтобы перестал глядеть на меня и он), я все же видел краешком глаза два черных бездонных дульца и стволы до самого приклада. Поерзал на дрогах, поудобней устраиваясь. Потом резко рванулся вправо, ухватился руками за стволы. Тут же бабахнул выстрел. Ладони обожглись о ствол, мгновенно ставший горячим. Лошадь с испуга дернула дроги и понеслась...

Оглушенный, я лежал на дороге. Надо мной — бородатое лицо и огромные стеклянные глаза.

— Ты живой? — спрашивал бородатый вроде бы испуганно и почти жалостливо.

Я был жив и готов был бороться за свою жизнь. Но в голову пробивалось уже осознание какой-то страшной нелепицы, здесь происшедшей. Рядом стояли и драчуны, причем Федька завернул длиннейшую фразу, которая состояла из одних ругательств, но не содержала в себе злости и произносилась с явным к кому-то сочувствием.

Бородатый держал меня за плечи, как бы прижимая к земле, и спрашивал:

— Куда тебя? Где больно тебе?

Болело у меня правое колено, но не это меня беспокоило. Где ружье? — вот в чем была главная тревога и боль. Я повернул голову сначала направо, потом налево и увидел двухстволку в пыли на дороге, в полуметре от нас с бородатым.

— Пусти! — сказал я саботажнику. И когда тот отклонился (он стоял на коленях), я довольно проворно завладел символом и орудием своей власти. Вскочил на ноги.

— Дак ты не раненый? — повеселел мужик-саботажник.

Я отступил от него, но при этом больное колено слегка подогнулось.

— Аль нога? — испугался мужик.

Нога у меня просто подвернулась, и я уже осознал, что не сильно: маленько похромает — и все пройдет.

Понял это и мой противник. И вдруг начал исступленно креститься и приговаривать:

— Господи, благодарю Тебя, Сына Божьего! Спас Ты меня, грешного! Пронес мимо чашу сию...

Глаза у него блестели от слез и были уже не стеклянными, а живыми. Он поднялся с колен, вытер щеки обратной стороной ладони, обратился с мокрыми еще глазами ко мне.

— Неуж ты подумал, что я хотел худого тебе? Мы же с твоим папашей в школу ходили, побратимы были. А ружьецо-то вывалилось с рук твоих, вот мы и взяли. А когда ты за него схватился — само выстрелило, само! Неуж ты подумал, что я душегуб какой? Меня и осудили-то зазря.

— Зазря не судят,— все еще топорщилось внутри меня недоверие к классовому врагу.

— Раньше и я так думал, сынок, а таперь... Если и других так же, то это суд неправедный...

— А за что тебя, батя? — спросил тут Федька Баламут.— Болтали — за саботаж, а какой саботаж-то ты сделал?

— Да за коня собственного,— отвечал бородатый.— Подох он на холхозной конюшне, а сказали, что это я извел его. Припомнили, как не хотел сдавать его на холхозную конюшню... Он же для меня как брат родной был...

В глазах мужика опять заблестело.

— Ну ладно, батя, что поделаешь,— утешил его Федька.— Ты потом подай, как это... кассацию.

— Найдешь нонче правду! Где там!

Меня теперь оставили на дрогах одного, и сел я уже как положено, сбоку, удобно свесив ноги. Драгоценное ружье мое снова лежало на коленях. Нога в таком положении не болела, и ничто уже вроде бы не тревожило меня — просто я ехал в Новоржев, ну и заодно вез бумагу на троих осужденных.

Вдруг колеса застучали по булыжной шоссейке. Впереди был город или, скорей, городишко, про который у Пушкина сказано в одном шутейном стихотворении совсем неуважительно.

Перед глухими воротами тюрьмы мы остановились и подождали, пока нас заметят изнутри. Но никто не выходил, а стучать и даже приближаться к этим воротам мы опасались. Арестанты мои притихли совсем — даже Федька Баламут приуныл. И тут вышел через калиточку важный человек в форме — милиционер или военный — неспешной развалочкой направился в нашу сторону, спросил, кто конвоир. Я сделал к нему робкий шажок. Он протянул руку. Я вспомнил о сопроводиловке...

Когда арестанты прощались с подводчиком, а заодно и со мной, бородатый попросил меня:

— Если кого из наших встретишь, так скажи — довел, мол, до места.

— Ладно,— пообещал я.

А когда их всех увели, я все равно как потерял что-то. Всех было жалко — и арестантов, которых, может, и впрямь не по вине засудили, и подводчика, который вслух сетовал, что маловато накосил в дорогу травы, а в городе чем ты покормишь коня? Заодно я и самого себя пожалел, ни в чем в общем-то не провинившегося и вот удостоенного такой задачи: привести людей в тюрьму, сдать их под расписку. Да еще и постоять в темноте с холодной, в мурашках, спиной, перед тюремными воротами...

Мы решили не оставаться на ночь в городе и выехали в поле. Версты через три-четыре подводчик приглядел подходящую, скорей всего, ничейную лужайку, распряг коня и пустил его пастись. Сами мы подремали, скорчившись на дрогах, под равнодушными холодными звездами. С зарей тронулись к дому.

На другой день я сдавал председателю сельсовета ружье. Тут выяснилось, что я уже попривык к нему и расставаться с ним вроде бы не хотелось. Но когда сдал, то вдруг ощутил всеобщую приятную легкость — и в руках, и в плечах, и на душе.

Председатель обнаружил использованный патрон.

— Ты в кого стрелял? — спросил озабоченно и строго.

— В зайца,— соврал я.

— Ну так показал бы, что ль.

— Не попал.

— Стрелок ты хренов! — не то осудил, не то пожалел меня председатель.— Ну да ладно! — махнул рукой.— Главное — этого саботажника довел.

Я как-то неожиданно осмелел, а может, это всегда происходит с бывалым человеком, вернувшимся с ответственного задания,— словом, я уверенно заявил:

— Он — не саботажник. Его зря осудили.

— Кто это тебе нашептал? — вскинулся председатель.

— Я сам понял.

— Молод ты еще... понимать! — погрозил он мне своим увесистым пальцем.— Так что — помалкивай!

На этом он отпустил меня домой. Я рванул, как подстегнутый. И с тех пор вот так и помалкивал — до сегодняшнего дня.

1989 г.

УСТАМИ БУНИНЫХ

Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под редакцией Милицы Грин

ОДЕССА

1918

[В Одессу Бунины приехали в начале июня 1918 года, вероятно, 3/16 июня, так как в Одесском дневняке Веры Николаевны под датой 3/16 июня 1919 года сказано: «Год, как мы в Одессе». Жизни в Одессе посвящен пространный дневник В. Н., как и страницы записей Бунина, сохранившихся в том виде, как были сделаны в свое время. Это пожелтевшие, исписанные его рукой листки бумаги, размера «фолио», сложенные пополам. Почерк нервный и местами неразборчивый. Начало и конец отсутствуют. Относятся эти записи ко времени, когда Одесса находилась в руках большевиков в 1919 году. Предполагаю, что из этих заметок частично родились впоследствии «Окаянные дни».]

19 июня/2 июля

⟨...⟩ Ян опять в городе. ⟨...⟩ Отравляет мысль о Москве. Как там живут? Голодают ли?

22 июня/5 июля

⟨...⟩ Вчера вечером пили чай у Недзельских. У них был художник Ганский, первый русский импрессионист ⟨...⟩ Пришли туда и Тальниковы[1]. Впрочем, Юлия Михайловна скоро ушла и хорошо сделала, т. к. между Ганским и Тальниковым возник очень острый разговор по поводу евреев. Ганский ярый юдофоб, почти маниак. ⟨...⟩ Тальников сдерживался, но все-таки горячился. ⟨...⟩ Слушать было тяжело, неприятно-остро. ⟨...⟩

Ян опять в городе. Он понемногу приходит в себя. О политике говорит мало. ⟨...⟩

30 июня/13 июля

⟨...⟩ Пришел Катаев[2]. Я лежала на балконе в кресле. Ян вышел, поздоровался, пригласил Катаева сесть, со словами: «Секретов нет, можем здесь говорить». Катаев согласился. Они сели. Я лежала затылком к ним и слушала.

После нескольких незначущих фраз, Катаев спросил:

— Вы прочли мои рассказы?

— Да, я прочел только два, «А квадрат плюс Б квадрат» и «Земляк», а больше читать не стал,— сказал с улыбкой Ян,— так как подумал: зачем мне глаза ломать? Шрифт сбитый, да и то, что на машинке переписано, тоже трудно читать, и я понял из этих вещей, что у вас несомненный талант,— это я говорю очень редко и тем приятнее мне было увидеть настоящее. Боюсь только, как бы вы не разболтались. Много вы читаете?

— Нет, я читаю только избранный круг, только то, что нравится.

— Ну, это тоже нехорошо. Нужно читать больше, не только беллетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Возьмите Брэма, как он может обогатить словарь. Какое описание окрасок птиц! — Вы и представить не можете.

— Да, это верно,— соглашается Катаев,— но, по правде сказать, мне скучно читать небеллетристические книги.

— Я понимаю, что скучно. Но это необходимо, нужно заставлять себя. А то ведь как бывает: прочтут классиков, а затем начинают читать современных писателей, друг друга, и этим заканчивается образование. Читайте заграничных писателей. Одолейте Гете.

Я искоса посматриваю на Катаева, на его темное, немного угрюмое лицо, на его черные, густые волосы над крепким невысоким лбом, слушаю его отрывистую речь с небольшим южным акцентом. Он любит больше всего Толстого, о нем он говорит с восторгом, затем Чехова, Мопассана, Флобера, Додэ, но Толстой и Пушкин — выше всех, недосягаемы. Уже три года он пишет роман, но написал только девяносто пять страниц. Хочет дать прочесть Яну первую часть его.

5/18 июля

Вчера вечером я слышала, как Ян, гуляя с Нилусом в саду, сказал: недавно я вспомнил молодость и так ярко все представил, что расплакался.

Они ходили по саду и долго говорили о художественной литературе.

— Я только того считаю настоящим писателем, который, когда пишет, видит то, что пишет, а те, кто не видят,— это литераторы, иногда очень ловкие, но не художники, так, например, Андреев. ⟨...⟩

8/21 июля

⟨...⟩ Ян по утрам раздражителен, потом отходит. Часами сидит в своем кабинете, но что делает — не говорит. Это очень тяжело — не знать, чем живет его душа. ⟨...⟩

Известие о расстреле Николая II произвело удручающее впечатление. В этом какое-то безграничное хамство: без суда... ⟨...⟩.

14/27 июля

⟨...⟩ У Овсянико-[Куликовских] велись довольно интересные разговоры. Между прочим, и о народе, о религиозности его.

— Русский народ все-таки очень религиозен,— сказал Д[митрий] Н[иколаевич] своим мягким голосом.

— А что вы подразумеваете под религиозностью? — спросила я.

— Веру в высшее существо, которое нами управляет, страх перед явлениями природы,— ответил он.

— Но ведь это каждый народ тогда религиозен... ⟨...⟩ — заметил Ян.— Ведь это все равно, что говорить, что на руке русского человека пять пальцев. Разве в Германии, Англии, я уж не говорю об Америке, нет религиозного движения. ⟨...⟩

— Да, чем народ культурнее, тем он религиознее,— согласился Д. Н.

— Русский народ религиозен в несчастии,— заметил Ян. ⟨...⟩

27 июля/9 августа

Вчера перед обедом пришел Тальников. ⟨...⟩

— Расскажите, что вы читали на чеховском вечере в Одессе,— попросила я. ⟨...⟩

Сначала он рассказал, что Овсянико-Куликовский говорил всего пятнадцать минут.

— ⟨...⟩ он говорил, что Чехов отрицательно относился к русскому народу,— раньше он об этом не решился бы сказать. ⟨...⟩

Я спросила, а что же говорил сам Тальников.

— Я говорил, что Чехов не великий писатель, потому что в нем нет железа. Он лирик. Ведь несмотря на то, что мы все Чехова читаем и любим, мы почти не помним образов, остается в памяти: «Мисюсь, где ты?» и тому подобные фразы. Остается впечатление, как от музыки. ⟨...⟩

— А куда вы отнесете Мопассана? — спросил улыбаясь Ян.

— Мопассан — другое дело,— он создал пятнадцать томов мужчин, женщин,— возразил Тальников.

— Да и мироотношение у него иное, очень глубокое,— добавил Ян.

— Вот у вас есть то, чем характеризуется великий талант,— продолжал Тальников.

Но Ян не поддержал этого разговора. И мы заговорили о Короленко. Ян возмущался его речью: — Разве художник может говорить, что он служит правде, справедливости? Он сам не знает, чему служит. Вот смотришь на голые тела, радуешься красоте кожи, при чем тут справедливость? ⟨...⟩

4/17 августа

⟨...⟩ Про Елец рассказы страшны: расстреляно много народу. ⟨...⟩ Когда подходили немцы к Ельцу, то большевики созвали съезд крестьянский, Микула Селянинович, и хотели, чтобы он санкционировал диктатуру, всеобщую мобилизацию и еще что-то. Но Микула не согласился ни на один пункт, тогда президиум объявил, что это не настоящие крестьяне, а кулаки, и председатель стал стрелять в публику, но члены съезда кинулись на него, и начался рукопашный бой, какой всегда бывал в древней Руси, когда решались общественные вопросы. Бежали по улицам мужики, за ними красноармейцы. ⟨...⟩ Многих мужиков арестовали, четырнадцать человек из них расстреляли. Когда на следующий день жены принесли в тюрьму обед, то им цинично сказали: «Это кому?» — «Как кому, да мужьям нашим!» — «Да нешто покойники едят?» Бабы с воплем разбежались по городу. ⟨...⟩

7/20 сентября

— Вы слышали,— спросил Ян Яблоновского[3]: — говорят, Горький стал товарищем министра Народного Просвещения?

— Это хорошо, теперь можно будет его вешать,— с злорадством ответил Яблоновский. ⟨...⟩

6/19 октября

⟨...⟩ Яблоновский написал открытое письмо Горькому. ⟨...⟩

7/20 октября

⟨...⟩ Ян говорит, что никогда не простит Горькому, что он теперь в правительстве.

— Придет день, я восстану открыто на него. Да не только, как на человека, но и как на писателя. Пора сорвать маску, что он великий художник. У него, правда, был талант, но он потонул во лжи, в фальши.

Мне грустно, что все так случилось, так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на Капри, после пения, мандолин, тарантеллы и вина, Ян сделал Горькому такую надпись на своей книге: «Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, я всегда буду любить вас». ⟨...⟩ Неужели и тогда Ян чувствовал, что пути их могут разойтись, но под влиянием Капри, тарантеллы, пения, музыки душа его была мягка, и ему хотелось, чтобы и в будущем это было бы так же. Я, как сейчас, вижу кабинет на вилле Спинола, качающиеся цветы за длинным окном, мы с Яном одни в этой комнате, из столовой доносится музыка. Мне было очень хорошо, радостно, а ведь там зрел большевизм. Ведь как раз в ту весну так много разглагольствовал Луначарский о школе пропагандистов, которую они основали в вилле Горького, но которая просуществовала не очень долго, так как все перессорились, да и большинство учеников, кажется, были провокаторами. И мне все-таки и теперь не совсем ясен Алексей Максимович. Неужели, неужели...

8/22 ноября

⟨...⟩ — Высшие классы,— сказал Ян,— это действенные классы, а народ аморфная масса. Так называемая интеллигенция и писатели — это кобель на привязи, кто не пройдет, так и брешет, поскакивает, из ошейника вылезает. ⟨...⟩

11/24 ноября

⟨...⟩ Ян сказал: «Как это сочетать,— революционеры всегда за свободы, а как только власть в их руках, то мгновенно, разрешив свободу слова, они закрывают все газеты, кроме своей. Революция производится во имя борьбы против насилия, а как только власть захвачена, так сейчас же и казни. Вот Петлюра уже расстреливает офицеров Добровольнической армии». ⟨...⟩

19 ноября/2 декабря

Ян вспоминал, как в год войны Горький говорил в «Юридическом Обществе», что он боится, «как бы Россия не навалилась на Европу своим брюхом».— А теперь он не боится, если Россия навалится на Европу «большевицким» брюхом,— сказал Ян зло. ⟨...⟩

23 ноября/6 декабря

⟨...⟩ Жена Плеханова говорила, что Горький сказал, что «пора покончить с врагами советской власти». Это Горький, который писал все время прошлой зимой против Советской власти. Андреева в Петербурге издает строжайшие декреты. Вот, когда проявилась ее жестокость. Пятницкий рассказывал, что она в четырнадцать лет перерезывала кошкам горло! ⟨...⟩

26 ноября/9 декабря

⟨...⟩ Вчера вечером был у нас Цетлин. Многое мне в нем нравится, он хорошо разбирается в людях. Много интересного он рассказывал о Савинкове[4]. ⟨...⟩ Он человек сильный, жизнь у него редкая по приключениям. Рассказывать он любит. Впрочем, молчалив. Керенского презирает и ненавидит. ⟨...⟩

Савинков теперь в Сибири, зимой жил в Москве. Он за диктатора и республику. Зимой он был в Ростове, где вел дела вместе с Корниловым[5]. ⟨...⟩ Корнилова он не считает умным. ⟨...⟩ Между Савинковым и Корниловым были такие отношения, что они иногда говорили: «А пожалуй, кому-нибудь из нас придется другого вешать».— «Пускай я лучше вас повешу»,— шутил Савинков. ⟨...⟩

11/24 декабря

Дождь. Сегодня Сочельник на Западе. Вспомнили Капри, ранее утро, последние звуки запоньяров. Как это хорошо! Потом мальчишки весь день бросают шутихи. Этот день в Италии считается детским, и никто не сердится на проказы мальчишек, пугающих взрослых. А вечером процессия: несут Христа в яслях, идет Иосиф, Божья Матерь,— процессия проходит по всему Капри. Мы идем с Горькими. Марья Федоровна говорит, как в театре, каждому встречному все одно и то же, на слишком подчеркнутом итальянском языке. Алексей Максимович восхищается всем, возбужден, взволнован. Мне жаль, что я его знала. Тяжело выкидывать из сердца людей, особенно

тех, с которыми пережито много истинно прекрасных дней, которые бывают редко в жизни.

13/26 декабря

Вчера была впервые на «Среде» здешней, но читали наши москвичи: Толстой и Цетлин. ⟨...⟩ На прениях мы не присутствовали — поспешили домой. ⟨...⟩

Зейдеман затевает клуб. И Толстой согласился быть старшиной в нем, кажется, за три тысячи в месяц. Легкомысленный поступок! ⟨...⟩

Буковецкий хорошо сказал про Толстого: «Он читает так, точно причастие подает».

20 декабря/3 января

⟨...⟩ Как социалисты всегда умеют устраиваться с богатыми. Мякотин — у Рубинштейн, Руднев — у Цетлиных, Елпатьевский всегда останавливался у богатых друзей — или у Соболевского, или у Ушковых, Чириковых водой не разольешь с Каринскими, это понятно — одним лестно, другим удобно. В жизни все оплачивается. Рубинштейны за содержание Мякотина устроили у себя народно-социалистический центр. Кроме того, присутствие Мякотина, вероятно, избавляет их от реквизиции комнат. Социалисты ходят по ночам,— не боятся, что стащут пальто, деньги. Мне кажется, что они так привыкли, что они обеспечены — минимум всегда будет — что об этом они не беспокоятся.

30 декабря/12 января

На днях был Наживин [6]. ⟨...⟩

Он два месяца, как из Совдепии, главным образом он жил у себя на родине, во Владимирской губернии, но бывал в Москве, имел доступ в Кремль, а потому много видел. ⟨...⟩

Он удивлен настроениям в Одессе.

— В Совдепии о республике никто не говорит — это уже считается дурным тоном,— сказал он смеясь,— разговор идет лишь о том, кого выбрать. Мужики, которые почти поголовно настроены черносотенно, при прощании говорили мне: «Ну, как хошь, а передай, что мы, такие-то, хотим, чтобы был кто потверже! На Алексея мы не согласны, мал еще!»

— Ну, а молодые ежики, у которых за голенищами ножики? — спросил Ян.

— Молодые? — продолжал Наживин: — у нас деревня почему-то искони поставляла рекрутов в Балтийский флот, хотя даже реки у нас нет. И теперь эти матросы, которые раньше драли глотку в пользу большевиков, ходят в дорогих шубах и у каждого по драгоценному перстню на руке, говорят: «Нет, без буржуазии никак нельзя, нигде этого не было и не будет — во всех странах она есть».

Где-то Наживина чуть не расстреляли, спас его пропуск, данный местным советом.

Ян спросил относительно комитетов бедноты:

— На заседание этого комитета приехал председатель на жеребце, стоющем несколько тысяч. Все богатые крестьяне записаны в «комитет бедноты».

В Москве все почти поправели. Во Владимире пересматривают все вопросы сызнова. Отдельные лица перерождаются самым невероятным образом. ⟨...⟩

Он советовал нам ехать на Кубань, там и дешевле, и жизнь кипит. Тут же рассказал о нравах добровольцев и большевиков. Пленных нет. Офицеров вешают без суда, солдат секут шомполами, небольшой процент выживает. Кто выживет, из тех образуют полки, которые оказываются лучшими. ⟨...⟩

— Вот,— сказал Наживин,— Иван Алексеевич, как я раньше вас ненавидел, имени вашего слышать не мог, и все за народ наш, а теперь низко кланяюсь вам. ⟨...⟩ И как я, крестьянин, не видел этого, а вы, барин, увидали. Только вы один были правы.

Говорили и об еврейском вопросе.— Я теперь стараюсь всюду бороться с антисемитизмом,— продолжал Наживин,— но трудно, во многих местах погромы. ⟨...⟩

Заговорил о том, что евреи не понимают, что Кремль наш, что в Кремле наша история, а не их, что они никогда не могут так чувствовать, как мы. ⟨...⟩

Потом перешли на Софью Андреевну Толстую. Он большой ее защитник.

— Вот сидим мы раз в сапогах в гостиной,— рассказывает он,— с Булыгиным, бывшим пажом. Входит Софья Андреевна и подходит к нам с каким-то вопросом. Мы оба поднялись. Вдруг на глазах ее показались слезы. «Что с вами?» — «За двадцать лет в первый раз, что толстовцы встали передо мной, они никогда не считались со мной, как с хозяйкой» — ответила она взволнованно.

⟨...⟩ Был Сергей Викторович Яблоновский. ⟨...⟩ Рассказывал, что из Харькова к Бальмонту поехали еще две жены. ⟨...⟩ Говорили об Алексее Константиновиче Толстом [7]. О том, что Чехов неправ был, назвав его оперным актером.

— Толстой, напротив, сам создал,— сказал Ян,— тот стиль, в котором его упрекает Чехов. ⟨...⟩

Ян все это время читает А. К. Толстого.

1919

13/26 февраля

⟨...⟩ Ян недавно перечитал «Семейное счастье» и опять в восторге. Он говорит, что мы даже и представить себе не можем, какой переворот в литературе сделал Лев Николаевич. Ян перечитывает старые журналы, а потому ему очень ярко бросается в глаза разница между Толстым и его современниками.

— По дороге неслись телеги, и дрожали ноги,— прочел он: ведь это модерн для того времени, а между тем, как это хорошо! Ясно вижу картину.

17 февраля/2 марта

⟨...⟩ Говорили о большевиках. Ян считает их всех негодяями, не верит в фанатизм Ленина.— Если бы я верил, что они хоть фанатики, то мне не так было бы тяжело, не так разрывалось бы сердце. Как-то ⟨...⟩ перешли на Андрея Белого,— они с Яном хвалили его, как собеседника,— дошли и до Блока. Тут мнения разделились: Волошину очень нравится «Двенадцать», он видит, что красногвардейцы расстреливают Христа, и он сказал:

— Я берусь доказать это с книгой в руках.

Ян не соглашался с таким толкованием, кроме того, он нападал на пошлый язык.

— Поэту я этого простить не могу и ненавижу его за это... ⟨...⟩

23 февраля/8 марта

Пошли к Куликовским. ⟨...⟩

Тут перешли к большевикам, а от них к Горькому. Куликовские говорили, что когда Бурцев [8] написал, что «откроет им, кто был на службе у немцев, то все содрогнутся», многие подумали о Горьком. Д. Н. говорит, что после победы над большевиками нужно будет Горького изгнать из всех обществ, и что он первый не допустит его никуда. ⟨...⟩».

24 ф./9 марта

Был у нас Гальберштадт [9]. Это единственный человек, который толково рассказывает о Совдепии. Много он рассказывал и о Горьком. Вступление Горького в ряды правительства имело большое значение, это дало возможность завербовать в свои ряды умирающих от голода интеллигентов, которые после этого пошли работать к большевикам, которым нужно было иметь в своих рядах интеллигентных работников.

На Невском теперь устроено бюро, где сидит Тихонов [10], для получения переводов со всех существующих и несуществующих языков. При Гальберштадте очередь была чуть ли не в версту. Платят, смотря по тому кому — от пятисот рублей до полторы тысячи за лист. Авансы дают свободно. Если какой-нибудь журналист голодает, к нему обращаются с советом: «да возьмите перевод, это вас ни к чему не обязывает, дело хорошее»,— это первая ступень. Затем, когда человек уже зарабатывает немного, если он журналист, к нему являются и говорят: «почему бы вам не участвовать в такой-то газете, будете получать несколько тысяч в месяц, а участвовать можете и не участвовать, дайте лишь имя». Существует даже непартийная газета.

Горькому дано в распоряжение 250 миллионов рублей. Подкуп интеллигенции развит до нельзя и чем он контр-революционнее, тем дороже ценится. Горький вступил в правительство, ⟨...⟩ когда в одну ночь было казнено 512 человек.

Гальберштадт передал два рассказа очевидцев казни. Один знакомый ловил с приятелями рыбу по воскресеньям, и для этой цели они уезжали с вечера на какой-то остров недалеко от устья Невы. Они разложили костер и ждут рассвета. Вдруг слышат крики, не понимают откуда, затем треск пулеметов, потом опять крики. Вдруг к ним подходят два красногвардейца или «красно-индейца», как их зовут в Петербурге, просят позволения прикурить и посидеть. Они испугались и, конечно, разрешили. Красногвардейцы посоветовали затушить огонь, «а то плохо будет». Они затушили. Воцарилось молчание жуткое, которое продолжалось довольно долго. Слышат, что один из красногвардейцев плачет. Спросили о причине. Оказывается, это расстреливали офицеров, они не выдержали вида казни, и теперь не знают, что им будет за то, что убежали...

Второй случай ему рассказывал рабочий, который раз с товарищем пошел по грибы и тоже услышал стоны. ⟨...⟩ за рощей ров, на краю которого стоят приговоренные к расстрелу: офицеры и в штатском. Латыши произвели залп, приговоренные упали в ров. После этого поставили следующую партию. ⟨...⟩

— Ужас ведь в том,— сказал Гальберштадт,— что хоть бы какое-нибудь сопротивление, а то в покорном оцепенении люди подставляют себя под выстрелы. Ведь это не единичная смертная казнь, когда личность индивидуализируется. ⟨...⟩

5/18 марта

Сейчас я долго сидела с Яном. Он возбужден, немного выпил и стал откровеннее. Он все говорил, что была русская история, было русское государство, а теперь нет его.

Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь нет и истории никакой. ⟨...⟩ «Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен был быть писателем, а должен принимать участие в правительстве».

Он сидел в своем желтом хвлате и шапочке, воротник сильно отставал и я вдруг увидела, что он похож на боярина.

— Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую и вступить в правительство. Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка, ты и представить не можешь, как я страдаю... ⟨...⟩

12/25 марта

В воскресенье после нашего обеда зашел к нам Л. Ис. [11] и сообщил несколько новостей из писательского мира (приехал из Совдепии один человек):

Горький теперь член Исполнительного Комитета Совета рабочей, крестьянской и красноармейской северной коммуны — в Петербурге.

Брюсов [12] занимает три должности: первая — регистратура выходящих книг, вторая — реквизирует частные библиотеки, а третья — профессор истории культуры в Академии социальных наук.

Гусев-Оренбургский [13] в «Известиях» печатает длинную повесть, как один плохой человек стал хорошим, превратясь в коммуниста. ⟨...⟩

Потом говорили о Толстом [Л. Н. Толстом.— М. Г.] Алданов считает Толстого мизантропом, так же как и Ян. Ян говорил, что до сих пор Толстой не разгадан, не пришло еще время. Алданов расспрашивал о встречах Яна с Толстым. Ян передал их, они были кратки. Сильная любовь Яна к Толстому мешала ему проникнуть в его дом и стать ближе к Толстому. ⟨...⟩

17/30 марта

⟨...⟩ А. А. Яблоновский очень накален. Ян говорит, что он один по-настоящему страдает, а остальные — механические люди!

В Одессе наши москвичи большей частью устроились плохо. У большинства расстраиваются желудки от обедов по столовым. Приходится часами ждать, стоя, чтобы съесть отвратительный обед. ⟨...⟩

В Москве полный душевный маразм. Все ненавидят большевиков, но все служат им покорно. Ленин говорит, что мировая революция зависит от того, возьмут ли большевики порты Черного моря.

Большевики сильно работают. Они разрабатывают прокламации к добровольцам, где пишут: «как вам не стыдно идти вместе с французами. Разве вы забыли 12-й год?» и обещают все блага добровольцам. А с другой стороны — прокламации французам, где тоже напоминают 12-й год и пугают им. ⟨...⟩

21 марта/3 апреля

⟨...⟩ Сегодня призвали всех французов в консульство и предлагали уехать. ⟨...⟩ Кончается мое мирное житие. Начинается скитальческая жизнь, без всяких связей в тех городах, где мы остановимся. ⟨...⟩

23 марта/5 апреля

Вчера целый день на ногах. Пришел мистер Питерс [14] проститься. В сутки пришлось ему собраться и ехать, бросив насиженное гнездо, в котором он прожил целых 18 лет! Он полюбил Одессу и русских. И вдруг, совершенно неожиданно, по приказанию консула, он должен бежать в Константинополь. ⟨...⟩ Простившись с ним, я пошла в продовольственную управу. ⟨...⟩ Они спокойны, думают, что большевики поладят с интеллигенцией. Говорили, что дни Деникина и Колчака сочтены. ⟨...⟩

Я спрашиваю совета: уезжать ли нам? Они уговаривают остаться, ибо жизнь потечет нормально. Я не спорю. Но я знаю, что под большевиками нам придется морально очень страдать, жутко и за Яна, так как только что появилась его статья в «Новом Слове», где он открыто заявил себя сторонником Добровольческой Армии. Но куда бежать? На Дон? Страшно — там тиф! За границу — и денег нет, да и тяжело оторваться от России.

Захожу в то отделение управы, где служит дальняя родственница Яна, княгиня Голицына. ⟨...⟩ Она очень возбуждена, говорит, что им нужно бежать. ⟨...⟩

На улицах оживление необычайное, почти паническое. Люди бегут с испуганными лицами. Кучками толпятся на тротуарах, громко разговаривают, размахивая руками. Волнуются и те, кто уезжает, и те, кто остается. Банки осаждаются. Франк, который стоил рубль, доходит до 10—12 рублей, фунт — до 200 р. ⟨...⟩

Вернулся Ян, очень утомленный. Новых известий не было. Я позвонила Цетлиным. Они уезжают, звали и нас. Мы пошли проститься. У них полный разгром. Им назначили грузиться на пароход через 2 часа. Фондаминский хорош с французским командованием, он устраивает им паспорта. Кроме Цетлиной, мы застаем там Волошина, который остается после них на квартире, и жену Руднева. Она только недавно вырвалась из Москвы, где сидела в тюрьме за мужа, но, несмотря на это, она защищает большевиков, восхищается их энергией. ⟨...⟩

Цетлина опять уговаривает нас ехать. Сообщает, что Толстые эвакуируются. Предлагает денег, паспорта устроит Фондаминский. От денег Ян не отказывается, а ехать не решаемся. Она дает нам десять тысяч рублей. ⟨...⟩

Волошин весь так и сияет. Не чувствуется, чтобы он волновался, негодовал или боялся, в нем какая-то легкость. ⟨...⟩

⟨...⟩ Прощаемся с Толстыми, которые в два часа решили бежать отсюда, где им так и не удалось хорошо устроиться. Они будут пробираться в Париж. ⟨...⟩

⟨...⟩ Мимо нас провезли на извозчике убитого, картуз на заду, сапоги сняты и болтаются портянки.— Какие нужно иметь нервы и здоровое сердце, чтобы снять с убитого сапоги,— сказал Ян.

Еврейская дружина сражалась с поляками. На Белинской улице из домов стреляли в уходящих добровольцев, они остановились и дали залп по домам.

Началась охота на отдельных офицеров-добровольцев. Несмотря на засаду за каждым углом, добровольцы уходили в полном порядке, паники среди них совершенно не наблюдалось, тогда как французы потеряли голову. Они неслись по улицам с быстротой молнии, налетая на пролетки, опрокидывая все, что попадается на пути. ⟨...⟩

Целый день народ. Я лежу за ширмой и слушаю, что рассказывают, стараюсь запомнить, кое-что записываю. Все встревожены, стараются понять происшедшее, так внезапно свалившееся на нашу голову.

Были Недзельский, Розенталь, Гальберштадт. Как всегда, Гальберштадт рассказывал много. Лицо его красно, он очень возбужден. Он признался, что вчера ночью он первый раз в жизни плакал: — Ведь на завтра, воскресенье, было назначено выступление союзников на Киев! ⟨...⟩ Да,— продолжал Гальберштадт,— и — буржуй, буржуй, которого эксплуатировали, впрочем, всю жизнь издатели, не меньше всякого рабочего, но все же социалистические идеи для меня чужды, я никогда не был социалистом и быть им не могу.

— Да почему же вы не эвакуировались? — спросил Ян.— При ваших связях с французским штабом, вам, вероятно, ничего бы это не стоило?..

— Да, мне даже предлагали место во французской колонии и, будь я на 20 лет моложе, я отправился бы, а теперь начинать новую жизнь трудно...

— Да,— соглашается Ян,— очень жутко. Вот нам m-me Цетлина предлагала, да мы не решились... предлагали и на Дон, но там тиф, да вот и Вера свалилась, да и приятелей неловко оставлять... все это так внезапно...

— Да кроме того, совсем бы и с Москвой разделились, а теперь мы можем переписываться, хотя и страшно получить оттуда первую весть. ⟨...⟩ папа был очень болен,— добавляю я.

У нас на улице около аптеки идет пляс. Временами рвутся снаряды, бомбы, раздаются выстрелы...

— Попляшите, попляшите, скоро заплачете,— говорит печально ухмыляясь Ян.

25 марта/7 апреля

⟨...⟩ Я хотя и не выхожу, но уже ощущаю то «безвоздушие», которое всегда бывает при большевиках. Это чувство я испытывала в Москве в течение пяти месяцев, когда они еще не были так свирепы и кровожадны, как стали после нашего отъезда, но все же дышать было нечем. И я помню, что когда мы вырвались из их милого рая, то главная радость, радость легкого дыхания, прежде всего охватила нас. Я уж не говорю о том, что мы испытывали в Минске, Гомеле и, наконец, в Киеве, где была уже настоящая человеческая жизнь, жизнь, какую мы знаем; большевики же приносят с собой что-то новое, совершенно нестерпимое для человеческой природы. И мне странно видеть людей, которые искренне думают, что они, т. е. большевики, могут дать что-нибудь положительное, и ждут от них «устройства жизни»...

Нам жутковато: в слишком хорошем доме живем мы, слишком много ценных вещей в нашей квартире. Но больше всего боюсь я наших дворовых большевиков...

30/12 апреля

⟨...⟩ Отличительная черта в большевицком перевороте — грубость. Люди стали очень грубыми.

Вчера на заседании профессионального союза беллетристической группы. Народу было много. Просили председательствовать Яна. Он отказался. Обратились к Овсянико-Куликовскому, отказался и он. Согласился Кугель. Группа молодых поэтов и писателей, Катаев, Иркутов, с острым лицом и преступным видом, Олеша,

Багрицкий и прочие держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям. Держали себя они нагло, цинично, и, сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними. Говорят, подоплека этого такова: во-первых, боязнь за собственную шкуру, так как почти все они были добровольцами, а во-вторых, им кто-то дал денег на альманах, и они боятся, что им мало перепадает ⟨...⟩

31 марта/13 апреля

Сейчас видели гражданские похороны. В России всегда лучше всего умели хоронить — при всех режимах. Не символ ли это нашей страны? Большевики тоже постарались. Похороны помпезные. Масса красных знамен с соответствующими надписями, были и черные с еще более свирепыми — «смерть буржуям», «за одного нашего убитого смерть десяти буржуям»... Оркестр играет марш Шопэна. Покойников несут в открытых гробах. Я видела несколько лиц, почему-то очень темных, но только у одного кровоподтек на правой стороне лица. Некоторые имеют очень спокойное выражение, значит умерли легко, а вовсе это не «жертвы добровольческих пыток», как писалось в их безграмотных газетах. ⟨...⟩

5/18 апреля

⟨...⟩ Многие озабочены и заняты главным образом съедобными делами — где бы что достать, где бы что купить? Наш дом этим не страдает. Мы уже начинаем быть на грани недоедания.

Многие стали перевозить библиотеки в Городскую читальню. Милый Людвиг Михайлович де-Рибас охотно помогает сохранить книги от нынешних варваров.

Профессиональные карточки у нас в руках, но мы не чувствуем себя от этого в большей безопасности, ведь, строго говоря, мы очутились вдруг вне закона. ⟨...⟩

⟨...⟩ Идет сильное «перекрашивание». Уже острят: «Что ты делаешь?» — «Сохну, только что перекрасился».

Интересно наблюдать, как каждый по-своему переживает водворение в жизнь «коммунистического рая». Нилус, например, все хочет видеть в большевиках что-нибудь положительное. Он вообще таков, что прежде всего в каждом отыскивает хорошее. Ему органически чуждо все подлое, а потому он все надеется найти хоть одну луковку, за которую можно простить. ⟨...⟩

8/21 апреля

⟨...⟩ За всю неделю не были в церкви. Только пошли с Яном в Великую Субботу в архиерейскую церковь. Служил архиерей. Народу было мало. Один гимназист, несколько гимназисток, два-три пожилых чиновника, немного старух и стариков. Архиерей, худой с приятным русским крестьянским лицом, служил очень хорошо, на какой-то грани — и величественно и просто. ⟨...⟩ Около меня заплаканная сестра милосердия, а передо мной гимназист, необыкновенно усердно молящийся. И как странно для такого дня — такая пустота в церкви. ⟨...⟩

И в церкви особенно чувствовалось, как наваливается на тебя тяжелая рука большевизма. То забываясь под чудные слова и песнопения, то пробуждаясь и вспоминая, что наша жизнь кончена, что мы очутились в плену у чудовищ, где нет больше ни истинной красоты, ни поэзии, ни добра, а только циническая подделка подо все это, что теперь раздолье всякому хамству, всякому цинизму и что единственное, что они не могут отнять у нас — это наши духовные богатства, хотя, конечно, ослабить их могут при помощи голода, холода и всяких истязаний — я тут в церкви неожиданно понимаю, в каком направлении нужно работать, чтобы сохранить себя, свое я, не калеча его.

На возвратном пути читаем на стене новый декрет: все буржуи, моложе 40 лет, завтра в Светлое Воскресенье должны выйти на работу — чистить улицы! У наших ворот сталкиваемся с дворником Фомой. Мы с ним приятели — он из деревни моего деда, а потому мы считаемся земляками и подсмеиваемся надо всем южным. Рассказываю ему о декрете, он усмехается, даже задет неуважением к его специальности.

— Они думают, что всякий сумеет улицу подмести,— говорит он внушительно,— да вы больше грязи наделаете, ведь это надо знать, как делать. Да вы не беспокойтесь, я сам все сделаю, а вам просто придется метелочку в руках подержать. ⟨...⟩

Окончание следует

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Давид Лазаревич Тальников, критик.

2. Валентин Катаев, советский писатель. См. В. Катаев, Трава забвения. М.: Советский писатель, 1969.
3. Вероятно, С. В. Яблоновский, литератор.
4. Борис Савинков, помощник министра в правительстве Керевского. Член партии социал-революционеров.
5. Генерал Корнилов, в неудавшемся восстании которого участвовал и Савинков.
6. Иван Федорович Наживин, толстовец.
7. Поэт и драматург XIX века.
8. В. Л. Бурцев, политический деятель.
9. Л. И. Гальберштадт, журналист, секретарь сборников «Северное сияние», редактором которых был Бунин.
10. Писатель Ал. Ник. Тихонов (Серебров).
11. Вероятно, Л. Ис. Гальберштадт.
12. Поэт Валерий Брюсов.
13. Писатель.
14. Англичанин, у которого В. Н. брала уроки английского языка.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Александр
ГОРЛОВ

СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ

Часть I

АВГУСТ СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОГО

Открытое письмо А. Солженицына Министру госбезопасности СССР Андропову

Многие годы я молча сносил беззакония Ваших сотрудников: перлюстрацию всей моей переписки, изъятие половины ее, розыск моих корреспондентов, служебные и административные преследования их, шпионство вокруг моего дома, слежку за посетителями, подслушивание телефонных разговоров, сверление потолков, установку звукозаписывающей аппаратуры в городской квартире и на садовом участке и настойчивую клеветническую кампанию против меня с лекторских трибун, когда они предоставляются сотрудникам Вашего министерства.

Но после вчерашнего налета я больше молчать не буду. Мой садовый домик (село Рождество, Наро-Фоминский район) пустовал, обо мне был расчет у подслушивателей, что я в отъезде. Я же, по внезапной болезни вернувшись в Москву, попросил моего друга Александра Горлова съездить на садовый участок за автомобильной деталью. Но замка на домике не оказалось, а изнутри доносились голоса. Горлов вступил внутрь и потребовал у налетчиков документы. В маленьком строении, где еле повернуться трем-четырем, оказалось их до десятка, в штатском. По команде старшего: «В лес его! И заставьте молчать!» — Горлова скрутили, свалили, лицом о землю поволокли в лес и стали жестоко избивать. Другие же тем временем поспешно бежали кружным путем, через кусты, унося к своим автомобилям свертки, бумаги, предметы (может быть — и часть своей привезенной аппаратуры). Однако Горлов энергично сопротивлялся и кричал, созывая свидетелей. На его крик сбежались соседи с других участков, преградили налетчикам путь к шоссе и потребовали документы.

Тогда один из налетчиков предъявил красную книжечку удостоверения, и соседи расступились. Горлова же с изуродованным лицом, изорванным костюмом повели к машине. «Хороши же Ваши методы!» — сказал он сопровождающим. «Мы на операции, а на операции нам все позволено!»

По предъявленному соседям документу — капитан, а по личному заявлению — Иванов сперва повез Горлова в наро-фоминскую милицию, где местные чины почтительно приветствовали «Иванова». Там «Иванов» потребовал с Горлова же (!!) объяснительную записку о происшедшем. Хотя и сильно избитый, Горлов изложил письменно цель своего приезда и все обстоятельства. После этого старший налетчик потребовал с Горлова подписку о неразглашении. Горлов наотрез отказался. Тогда поехали в Москву, и в пути старший налетчик внушал Горлову в следующих буквально фразах: «Если только Солженицын узнает, что произошло на даче, считайте, что Ваше дело кончено. Ваша служебная карьера (Горлов — кандидат технических наук, представил к защите докторскую диссертацию, работает в институте Гипротис Госстроя СССР) дальше не пойдет, никакой диссертации Вам не защитить. Это отразится на Вашей семье, на детях, а если понадобится — мы Вас посадим».

Знающие нашу жизнь знают полную осуществимость этих угроз. Но Горлов не уступил им, подписку дать отказался, и теперь над ним нависает расправа.

Я требую от Вас, гражданин Министр, публичного поименования всех налетчиков, уголовного наказания их и публичного же объяснения этого события. В противном случае мне остается считать их направителем — Вас.

А. Солженицын

13 августа 1971 г.

Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину.

Препровождаю Вам копию моего письма министру госбезопасности. За все перечисленные беззакония я считаю его ответственным лично. Если Правительство СССР не разделяет этих действий Министра Андропова, я жду расследования.

А. Солженицын

13 августа 1971 г.

А теперь — по порядку.

12 августа

Утром, в 5.00, вместе с Екатериной Фердинандовной [1] встретили Александра

[1] Е. Ф. Светлова, мать жены Солженицына, мой давний друг, с которой я вместе работал многие годы.

Исаевича на Курском вокзале. Накануне вечером от него пришла телеграмма из Иловайской, что он заболел в дороге и просит встретить. Действительно, он очень плох: еле ходит. Очевидно, в дороге он перенес тепловой удар, следствием которого явилась аллергия с признаками тяжелого ожога по всему телу (он с товарищем ехал в машине при работающей печке, которая из-за неисправности не отключалась, а температура наружного воздуха была около 35 °).

На даче Ростроповича в Жуковке, куда я его привез, поговорили о предстоящем ремонте его машины. Мне ясно, что нужно менять что-то в сцеплении: диск или «корзинку». Александр Исаевич сказал, что диск есть, почти новый, на даче в Борзовке (интимная кличка дачного участка у с. Рождество), дал мне ключи от дома и записку примерно следующего содержания: «Как войти в дом: если на двери висит замок, попробовать открыть его средним ключом в связке (ключ не от замка, но иногда открывает). Если ничего не выйдет, то поискать настоящий ключ под резиновым ковриком в кухонном шкафике под лестницей. После снятия висячего замка открыть внутренний. Если дверь открываться не будет, поддеть ее топором и сильно дернуть».

Я еще пошутил, что если записка попадет в руки милиции, то мне несдобровать: ясно станет, что попался опытный взломщик (как в воду глядел!).

Кроме того, Александр Исаевич дал мне записку к Н. А. Решетовской [1] на случай, если она окажется на даче.

В этот же день я ехать в Рождество не предполагал, так как из-за ранней поездки на вокзал не выспался, а предстояла еще большая работа в институте. Но к концу работы вдруг как-то сразу решил съездить, чтобы не «висела» забота. В 16.00 зашел к Екатерине Фердинандовне и сказал, что еду. Она предложила ехать со мной, но я ее отговорил, так как дорога не очень близкая и в два конца займет 2,5—3 часа. Договорились, что позвоню, как приеду.

В 17.15 подъехал к дачному поселку (посмотрел на часы, чтобы проверить время в пути: от института до дачи около часа). Проехал еще метров 30 после съезда на дорожку и остановился на обочине шоссе, не разворачиваясь к Москве.

Подъезжая, я увидел на противоположной обочине стоящую у леса радиатором к Москве светлую «Волгу» и водителя, очень низко сидевшего за рулем (лица не было видно). Я стоял перед «Волгой» метрах в 20—25, но номера разглядеть не мог: он был заляпан грязью (хотя погода — теплая и дорога — сухая). Промелькнула мысль: «Странно: если они приехали за грибами, то почему остановились у поселка и один остался в машине; если на дачу, то почему стоят у края леса, а не у домов». Обошел «Волгу» сзади, вошел в лес (задний номер машины был тоже испачкан и не «читался»), вернулся тропинкой вдоль шоссе к дороге и пошел к даче, никого не встретив.

Подошел к двери и, к своему удивлению, обнаружил, что висячего замка нет, внутренний открыт, но дверь закрыта изнутри. На этот случай инструкция «как войти в дом» никаких указаний не давала. Вдруг отчетливо услышал в доме движение и мужские голоса. Раз в доме и закрылись изнутри — значит, свои.

Постучал в дверь. Голоса смолкли, движение прекратилось. Постучал в окно — никакого ответа. Обошел дом со стороны веранды и посмотрел в окно. Внутри дверь в комнату, которая направо при входе, была открыта, ярко горел какой-то красный свет (возможно, блик солнца), но никого не было видно. «Очевидно, говорят на участке»,— подумал я. Обошел дом со всех сторон, но вблизи людей не было. Может быть, показалось? И я приступил к выполнению последнего пункта инструкции: взял стоявший при входе топор, поддел им дверь и стал ее дергать. На этот раз услышал, как несколько человек пробежало по внутренней лестнице на второй этаж, а в окне мелькнуло мужское лицо. Опять громко постучал в дверь — никакого ответа.

Удивительно, что до самого последнего момента у меня не возникало никаких подозрений. И уж во всяком случае никакой опасности я не ощущал: вторая половина дня, светло, вдалеке на участках видны люди.

Я сильно рванул дверь, она соскочила с внутреннего запора, и я вошел в дом.

Внизу никого не было, а с верхнего этажа мне навстречу сбежали двое мужчин: один — низкий, коренастый, со шрамом, второй — среднего роста, со «среднестатистическим», никак не запоминающимся лицом (в дальнейшем он назвался капитаном Ивановым, и я запомнил только его глаза: мутные и пустые, как у удава).

— Кто нужен? Почему вломились в дом? — услышал я и стал объяснять, что приехал по просьбе хозяина дачи за диском сцепления для машины. В свою очередь поинтересовался, с кем имею дело.

— А мы тебя здесь ждем. Выходи с нами и быстро!

— Я никуда с вами не пойду! Объясните, как вы оказались в чужом доме, и предъявите свои документы!

— Сейчас покажем. Пошли! К лесу его! — услышал я голос. Я почувствовал, что схвачен с двух сторон за руки, и в сле-

[1] Н. А. Решетовская — первая жена А. И., с которой он разошелся. Я с ней не знаком.

дующий момент меня вытолкнули из дверей за дачу, в сторону леса. «Капитан» встал на дорожке, загораживая мне путь к шоссе, а «низкий», очевидно, из двоих — старший, выхватил записку Александра Исаевича, стал читать ее.

— Как вы смеете читать чужие письма! Немедленно предъявите документы! Вы ответите за произвол! — я даже задохнулся от негодования.

— Пошли! — и меня снова схватили. Я рванулся, но тут острая боль пронзила тело: мне резко, с хрустом заломили руки за спину и, очевидно, ударили по голове. На какой-то момент ушло сознание, а потом я понял, что меня волокут к лесу: голова беспомощно болталась по земле, а мимо глаз проплывали какие-то сучья, листья, трава... Наконец, осенило: «Бандиты! Грабят дачу, а я свидетель! Сейчас убьют! Нужно что-то сделать, чтобы остановить немедленную расправу!»

И я закричал: «Вы будете отвечать! Я — иностранный подданный!»

Это произвело впечатление. Те остановились, немного ослабили хватку. «Ах, иностранец! Ну, тогда отпустим, если будешь идти тихо сам».

Я изо всех сил толкнул низкого ногой, вырвался от второго и бросился бежать. Возможно, что мне удалось бы убежать. Я чувствовал, что они бросились за мной и что я оторвался от них на 3—4 метра. Но, чтобы оказаться на дорожке к шоссе, нужно было, пробежав заднюю часть дома, резко, под прямым углом повернуть налево. Я на секунду замедлил бег перед поворотом, и в тот же момент на меня сразу навалилось несколько человек, может быть, спрыгнули с балкончика дома.

(В дальнейшем в милиции мне разъяснили, что, если бы меня не удалось остановить, я был бы застрелен «при попытке к бегству»: на этот счет у моих преследователей имелась однозначная инструкция.)

Я еще попытался подняться из общей кучи тел, вырваться, но меня уже держали крепко, прижимая лицом к земле. Потом подняли, и первые двое опять потащили с вывернутыми руками к лесу. И тут, понимая всю безнадежность своего положения — сейчас убьют, и все канет в Лету,— я закричал со всей силой, на какую был способен: «На помощь! Бандиты! Помогите!»

Сейчас, когда многое отодвинулось, вспоминаю, что мысль закричать, попытаться созвать людей появлялась раньше, еще когда «низкий» читал отнятую записку. Но останавливала какая-то непреодолимая, непонятная сила, возможно, благовоспитанность и сознание нелепости положения: в мои-то годы и при моем положении орать благим матом! Представил, как это будет выглядеть со стороны, когда сбежится народ! И я никак не мог заставить себя закричать.

— Молчать! — «низкий», отпустив мою руку, попытался зажать мне рот ладонью. Воспользовавшись освободившейся рукой, я вырвался и, продолжая звать людей, ухватился за какое-то дерево. Тогда «низкий» попытался разжать мне челюсти, а «капитан» стал запихивать мне в рот грязный носовой платок (они разорвали мне углы рта, и я еще долго потом не мог нормально есть и говорить).

Все дальнейшее вспоминается как кошмар. Чью-то руку я схватил зубами, получил сильный удар в лицо, но продолжал изо всех сил звать свидетелей. Увидел у дальней дачи перебегавших людей: бежать на крик в лесу они не решались. Меня снова сбили с ног и пытались заткнуть рот на земле. Я отбивался, и тем двоим это не удавалось. Кричал, как только появлялась возможность (временами они вжимали мое лицо в землю, но я вырывался).

В этот момент из дома Александра Исаевича выбежало еще четверо или пятеро мужчин и по той же тропинке за дачей, где волокли меня, бросились к нам. В руках у них были какие-то свертки, ящики.

«Теперь конец!» Но, подбежав, они напролом через кусты (я лежал поперек тропинки) кинулись дальше в лес. Один из них на ходу наклонился и со всего размаху ударил меня в лицо, крикнув: «Замолчишь, гад!» Другой, высокий, интеллигентного вида и в очках, бросил через плечо: «Его — к машине!» И исчезли, а я снова остался с первыми двумя.

Не стараясь больше заставить меня замолчать, они попытались поднять меня с земли и принудить бежать вслед за остальными. Я ухватился за какой-то забор, меня снова сбили с ног и за руки, бегом поволокли по земле теперь уже к стоявшей у шоссе светлой «Волге». Я продолжал сопротивляться и звать на помощь.

И тут дорогу преградила группа людей (человек 10—12), в основном — женщины. Раздались возгласы: «Хулиганы, бандиты! Немедленно отпустите человека!»

«Капитан» и «низкий» остановились, я поднялся. Низкий сказал: «Что вы сбежались? Видите, пьяный кричит!» И снова, взяв меня за руку: «Пошли!»

Я стоял в совершенно истерзанном виде, с разбитым лицом, в разорванном костюме, в одном ботинке (второй почему-то держал в руке «капитан»). Может быть, меня и можно было выдать за пьяного, но за избитого пьяного, вызывающего сострадание, а не за такого, которого надо волоком куда-то тащить.

— Никуда я с вами не пойду,— я не двигался.

Один мужчина с огромной палкой схватил «низкого» за руку: «А ну, отпусти!» Народу прибавлялось: подбежало еще несколько человек.

Тогда «капитан» вынул из кармана красное удостоверение и поднес его к лицу мужчины, с палкой. Тот его взял и стал читать вслух. Меня тошнило, в голове шумело, и я услышал только слово «капитан». Для меня это было так же неожиданно, как и для всех окружающих. В этот момент я увидел, как светлая «Волга» со всеми сидевшими в ней рванула с места и умчалась в сторону Москвы.

Толпа стала быстро таять, исчез куда-то и «низкий», я остался вдвоем с «капитаном».

— Хороши же ваши методы! — только и смог сказать я.

— Мы на операции, и нам все дозволено,— ответил он и спросил: — Вы как сюда приехали?

— На своей машине.

— Где она?

— Вон у дороги,— я показал.

— Идемте к Вашей машине.

— Я требую, чтобы Вы назвали мне свою должность и фамилию,— я уже приходил в себя после «боя».

— Я — капитан Иванов,— он назвал еще имя и отчество, но я не запомнил. Мне удостоверение он не предъявил. В машине он сел рядом.

— У Вас есть документы? — Я дал ему свои права на вождение автомобиля. Он их раскрыл и вслух прочитал фамилию, имя, отчество.

— Кто вы по специальности?

Я ответил.

— Это «Москвич-408»?

— Да.

— Скажите, а на какие средства Вы его купили?

Я опешил. Ожидал любой вопрос, но не такой. Стал объяснять. Он вслух складывал мою зарплату с зарплатой жены, вычитал налоги, умножал на месяцы, выспросил о гонорарах за книги, научные статьи. Наконец, «убедившись», что деньги я не ворую, сказал:

— Ехать можете?

— Могу.

— Тогда давайте отъедем.

Я развернулся и поехал к Москве. Через 2—3 километра он велел остановиться.

— Сейчас нам нужно вернуться на дачу.

— Зачем? — Я сидел вполоборота к нему, отодвинувшись к двери.

— Необходимо выяснить детали Вашего приезда. Там остался второй наш сотрудник.

— После состоявшегося «знакомства» вторично иметь дело с Вами и Вашими сотрудниками не хочу и на дачу не вернусь,— я сказал это достаточно твердо.

— Ну что же. Здесь в лесу ручей. Идемте, я помогу Вам обмыться. Потом поедем дальше: нельзя в таком виде появляться на людях.

Вид у меня был, наверное, действительно страшный: все лицо в кровоподтеках и перемазано грязью.

— Я уже сказал, что никуда, а тем более в лес, с Вами не пойду. Помоюсь там, куда Вы меня привезете.

Минут пять он уговаривал меня идти с ним к ручью мыться, потом сказал: «Ладно, поехали в Наро-Фоминскую милицию».

Туда мы приехали через несколько минут, он попросил запереть машину и подождать, а сам ушел в здание милиции. Минут через 7—10 он вернулся и провел меня в комнату «красного уголка», которую открыл, вынув ключ из кармана. Встречавшиеся нам в коридоре сотрудники милиции уступали ему дорогу.

Мы остались вдвоем, и он сказал: «Вот Вам бумага, пишите объяснение всему происшедшему на имя начальника Наро-Фоминской милиции. У Вас ручка есть?»

— С собой нет.

— А еще пытаетесь убедить меня, что Вы — научный работник. Ручки даже не имеете,— и он протянул мне шариковый карандаш.

Я стал писать о том, как оказался на даче, как увидал посторонних людей в штатском, у которых потребовал документы, а они поволокли меня в лес и били, как на мои крики собрался народ. Временами «Иванов» брал бумагу, прочитывал и просил уточнить отдельные детали (давно ли знаю хозяина дома, бывал ли на даче раньше, мой домашний и служебный телефоны и т. д.). В одном месте я ошибся: написал А. С. Солженицын, он поправил: «Александр Исаевич. А еще говорите, что знаете хозяина дачи».

Когда я кончил, поставил дату и расписался, он взял мое «объяснение», положил передо мной еще лист чистой бумаги и сказал: «А теперь напишите расписку, что обязуетесь ничего не разглашать о случившемся».

Я ответил не сразу, стараясь, чтобы голос звучал спокойнее и не дрожал:

— Я такую расписку не дам и оставляю за собою право подать жалобу в суд на ваши действия.

— А Вы не спешите, подумайте. Это в Ваших интересах.— Говорил «Иванов» очень вкрадчиво и тихо, обращаясь ко мне по имени-отчеству.

— Я уже все обдумал и решил окончательно. Вы вломились в чужой дом, меня избили безо всяких с моей стороны провокационных действий и требуете, чтобы я еще об этом и молчал! До сих пор я даже толком не знаю, с кем имею дело!

— Еще раз спрашиваю: дадите подписку?

— Не дам.

Молчание.

— Ну, хорошо. Можно ехать в Москву. Я поеду с Вами.

Он опять сел рядом со мной в машину, и мы поехали.

«Неужели попытается что-то сделать в дороге?» — была мысль. Когда выехали из Наро-Фоминска, я до отказа выжал педаль газа и машина пошла со скоростью около 110 км.

— Снизьте скорость! Куда Вы так гоните?

— А я всегда так езжу. Да и дома давно волнуются: мы с женой должны были пойти в театр,— придумал я.

— Кто знал о Вашей поездке сегодня?

— Очень многие: сам хозяин дачи, его и мои друзья, жена. Все они, бесспорно, давно волнуются, почему меня нет. Может быть, даже кто-нибудь поехал навстречу.

Некоторое время он о чем-то сосредоточенно думал, временами посматривая на меня и на дорогу. Я продолжал гнать, не снижая скорости. Впереди показался пост ГАИ: дорога по Киевскому шоссе была дальше закрыта и машины направляли в объезд на Минское шоссе.

Я пристроился в середину колонны грузовиков и теперь «тянул» с их скоростью, не обгоняя: любая остановка моей машины на тесной дороге, если бы «Иванов» попытался со мною что-нибудь сделать, тут же образовала бы «пробку».

«Иванов» стал меня подробно выспрашивать, где работаю, кем, имею ли ученую степень, собираюсь ли защищать докторскую диссертацию, где и когда, кто жена, где работает, кем и т. д.

— А дети есть?

— Сын.

— Сколько лет?

— Двенадцать.

— Значит, в пятом или шестом классе?

— В восьмом.

— Он что у Вас, вундеркинд?

— Для чего Вам все это нужно? Лучше подумайте, как будете отвечать за совершенное беззаконие.

— Вы преувеличиваете свои возможности. У меня юридическое образование, и я вижу лучше. А если нужно будет отвечать — ответим. Уж такая у нас работа: сегодня благодарность, завтра — выговор, потом опять выговор, а потом — снова благодарность.

Мы миновали кольцевую дорогу.

— Хотя Вы и отказались дать подписку о неразглашении, предупреждаю, что о происшествии на даче никто ничего знать не должен.

— Но это невозможно, даже если бы я этого хотел: ведь многие знают о моей поездке!

— Скажите, что не доехали, что передумали или сломалась машина.

Разговор принимал забавный оборот.

— А как быть с запиской хозяина, которую Вы отобрали?

— Скажите, что потеряли.

Ну и ну! Подробный инструктаж!

— Вот что я должен Вам сказать. Если хозяин дачи или кто-нибудь вообще узнает, что произошло сегодня, Вы лишитесь всего, что имеете. Вы рискуете не только своей карьерой и не только не защитите докторскую диссертацию, но пострадают и Ваш сын, и жена. А если мы сочтем нужным, то и посадим Вас.

— Как это — посадите? За что? И кто это — «мы»?

Он промолчал. Показался Ленинский проспект.

— Остановите, пожалуйста, у магазина телевизорон: я выйду.

Когда машина стала, он сказал:

— Я надеюсь, что Вы все поняли. И хорошенько подумайте над моим советом, не спешите с решением. Потом уже ничего поправить будет нельзя. До свидания.

И он протянул мне руку. Я молча сидел за рулем, глядя на дорогу и «не замечал» протянутой руки «капитана Иванова». Он вышел.

Было около девяти. Представляю, что делается дома! И что сказать, когдя я приеду? Может быть, стоит поехать в какуюнибудь больницу, сказать, что избили хулиганы, а для суда нужен акт медицинской экспертизы? Интересно — все угрозы «Иванова» — не фикция? Если нет, то что же это тогда?

Медленно поехал к дому.

Поставил машину, вышел, постоял, собираясь с мыслями, и направился к подъезду. В голове шумело, твердого плана, что сказать, не было.

Жена замерла у порога при виде моей фигуры с разбитым лицом. «Что случилось? Авария?»

Я бодро шагнул вперед, по возможности «весело» улыбнулся распухшими губами и сообщил:

— Чепуха! Пристали на улице у заправочной колонки двое пьяных, и я с ними подрался!

— Дрался четыре часа и не мог позвонить?

— Нас всех забрали в милицию выяснять обстоятельства. Меня отпустили, а их задержали!

Потом я лежал в постели со свинцовыми примочками на лице и пытался обдумать все происшедшее.

Позвонила Екатерина Фердинандовна узнать, приехал ли я уже. Слышал, как жена подробно излагала ей историю моей драки с «пьяными». Потом звонил кто-то из друзей, которым тоже была передана версия о драке на улице с добавлением: «Дожил до сорока лет, а ума не набрался!»

Хотел вступить в дискуссию по поводу последнего замечания, но мешал компресс на физиономии.

— Как-то странно сегодня работает телефон: гудит, что-то щелкает во время разговора. Нужно будет позвонить на станцию,— жена посмотрела номер телефона аварийной.

Я спросил:

— Ты звонила уже кому-нибудь, придя с работы?

— Звонила, телефон работал нормально.

Посмотрел на часы: уже 12 и день закончился.

13 августа

Ночь почти не спал.

Главный вопрос: что делать? — гудел в голове. Вообще решение вроде уже было: я не дал подписку о неразглашении и Александр Исаевич должен узнать о налете на дачу и последовавших в связи с моим приездом туда событиях. Но тогда, сразу «после боя», еще кипела кровь от негодования и не было опасности близким, а сейчас, в спокойной обстановке, все можно было решать заново. Это «можно» и было страшным.

Так что же делать дальше? Промолчать, помня речи «Иванова»? Кстати, опомнившись и посовещавшись, он может захотеть на другой день заставить меня молчать другим путем, не надеясь на силу угроз. Ведь, если ему так нужно (иначе зачем было меня стращать?), он должен будет к этому вернуться и, в лучшем случае, снова попытаться как-то принудить меня к подписке о неразглашении.

Но нельзя же так жить! Кто-то вламывается в чужой дом, меня «мордуют» только за то, что я тому свидетель, и требуют, чтоб об этом не знал хозяин дома!

А что значит — не молчать? Рассказать обо всем Александру Исаевичу и подать в суд? На кого? На «капитана Иванова со товарищи», неизвестно где служащими?

Но если верить словам капитана, то он заранее знает, что может посадить меня и никакой суд здесь не поможет.

Или просто рассказать Александру Исаевичу и друзьям обо всем и ждать, когда посадят.

Так что же делать?

Проходил один час за другим, а решение все не появлялось. Если бы был один как перст, тогда бы легче. А тут ведь жена, сын, которому еще только становиться! Ведь в их адрес тоже были угрозы «Иванова».

Постепенно заставил себя успокоиться и сосредоточиться.

Ведь я прав! Я не сделал ничего, что противоречило бы закону или принятым нормам общежития. В чем меня можно обвинить? В том, что не подчинился приказу неизвестных мне лиц и не пошел добровольно с ними в лес? Но так на моем месте поступил бы любой психически нормальный человек. В том, что сорвал чью-то «операцию»? Но это не было моей целью: я приехал в дом за деталью для автомобиля по просьбе хозяина дома и с его ключами и запиской. В том, наконец, что дружен с Солженицыным?

Я не могу и не стану молчать! Иначе нельзя. Мой сын подрастет и меня же за это презирать будет!

Заснул под утро, и вскоре зазвонил будильник — пора на работу. Я был спокоен: решение принято, а там — что судьба пошлет!

На работе утром сразу зашла ко мне Екатерина Фердинандовна.

— Как это тебя угораздило связаться с какими-то пьянчугами?

— Ничего этого не было. Я застал на даче посторонних лиц, которые меня и избили, а потом потребовали, чтоб об их посещении не узнал Александр Исаевич,— и я стал подробно рассказывать о вчерашнем происшествии. Она была ошеломлена и сидела неподвижно.

— Нужно, чтоб Александр Исаевич знал о случившемся и как можно быстрее,— закончил я.

Наступила пауза, когда не знаешь, о чем еще говорить или спрашивать.

— Какой кошмар! — только и сказала она. Потом добавила: — Я еду к нему. А угроз не бойся: ты под его защитой, и никто не посмеет тебя тронуть!

Через некоторое время Екатерина Фердинандовна уехала из института, а еще через час мне позвонил начальник отдела кадров:

— Товарищ Горлов, спуститесь, пожалуйста, ко мне.

Через несколько минут я был уже у него. Когда я открыл дверь его кабинета, то увидел сидящего за столом «Иванова» в форме капитана милиции и еще одного человека лет 45—50, в штатском. Оба встали мне навстречу, пожали руку и попросили присесть. Начальника отдела кадров выпроводили, дверь в кабинет закрыли, и мы остались втроем.

Беседу со мной вел второй, в штатском. «Иванов» за все время не проронил ни слова.

— Мы приехали к Вам сегодня в связи со вчерашним инцидентом на даче. Дело в том, что в Наро-Фоминскую милицию поступил сигнал о намеченном в этот день ограблении дачи Солженицына, и мы устроили там засаду. Хозяев дачи найти не удалось и дверь пришлось вскрывать в присутствии понятых,— он достал из папки и прочел мне акт, где было сказано приблизительно следующее:

«Мы, работники милиции Наро-Фоминского ОВД (должности и фамилии), в присутствии понятых (фамилии), получив сигнал о готовящемся налете на дачу

и не найдя ее хозяев, вскрыли дверь и устроили засаду в доме...» Затем шло описание находящихся в доме предметов. Мне запомнилось: «Два стакана на столе без признаков передвижения длительное время», потом «„Спидола" в нижней комнате».

Я молча слушал.

— У нас очень сложный район. Например, на днях бандиты остановили на дороге «Москвич» и выстрелили в голову водителю. Были и другие происшествия. Поэтому Ваше появление в доме, когда там находились наши работники, ждавшие взломщиков, и привело к инциденту. Но мы уже познакомились с Вашим личным делом, услышали о Вас самые лестные отзывы и почти уверены, что все случившееся — недоразумение, а Вы отношения к налетчикам не имеете. Чтобы окончательно снять с Вас подозрение, нам нужно уточнить некоторые детали, а также поговорить с Екатериной Фердинандовной и хозяином дачи,— и он вынул из папки и разложил на столе отнятую вчера записку Александра Исаевича с инструкцией, «как войти в дом» (она-таки попала в руки милиции!), мое «объяснение», показания соседей.

В показаниях соседей, которые он зачитал, говорилось, в частности, что видели, как я прошел на дачу и что ранее я приезжал туда с хозяином.

— Почему Вы оказали сопротивление и пытались убежать?

— Эти лица вызвали у меня подозрение, так как находились в чужом доме. Они не предъявили документов на мое вполне законное требование об этом.

— У нас были случаи, когда сотрудник доставал удостоверение, а в него в это время стреляли. Они же считали Вас за бандита!

— А я их считал бандитами, тем более, что их было много, а я — один. Кроме того, я соглашался с ними идти, но не в лес, а к шоссе, где люди.

— Почему Вы заявили, что Вы — иностранец?

— Чтобы предотвратить немедленную расправу: как только мне вывернули руки, стало ясно, что я имею дело с профессиональными костоломами.

— Постарайтесь помочь нам напасть на след настоящих грабителей. Итак, Вы приехали за сцеплением к автомобилю. Давно ли автомобиль испорчен?

— Недели три.

— Вы пытались купить нужную деталь в магазине?

— Да, недели две назад.

— Как это было?

— Я приехал в магазин и спросил у продавца, есть ли диск сцепления.

— Что он ответил?

— Нет уже больше года и что я, очевидно, шутник.

— Вы не могли искать диск у посторонних лиц и при этом как-нибудь сказать, что едете туда-то, а дача стоит без хозяина?

— Нет, не мог. Если бы я купил диск, то отпала бы необходимость ехать на дачу, так как машина, которую нужно ремонтировать, стоит совсем в другом месте.

Неожиданно он спросил:

— А где Солженицын работает?

Я недоуменно поднял глаза:

— Он писатель. Вы, очевидно, это знаете.

— Так он не на службе?

— Он был в Союзе писателей, теперь там не состоит,— стал я объяснять.

— А Вы не знаете, на какие средства он живет?

— Не знаю.

— А где он сейчас? Нам ведь нужно будет спросить его о поручении Вам.

Я сказал.

— К нему можно приехать?

— Я не знаю.

— Очень жаль, что Вы никак не прояснили обстановку. Мы постараемся теперь найти Екатерину Фердинандовну. Нам сообщили, что она уехала в другой институт. Попробуем ее там найти, а Вас попросим до 4-х никуда не отлучаться: может быть, Вы нам еще понадобитесь. У Вас какие планы на субботу и воскресенье?

— Собираюсь с семьей поехать в Переяславль-Залесский на два дня.

На этом разговор окончился, и они уехали.

Действительно, около 16 часов они позвонили и сообщили, что Екатерину Фердинандовну не нашли, а я могу ехать отдыхать.

Мы с женой и сыном уехали на Плещеево озеро, где провели два дня: 14 и 15 августа.

15 августа.

В Москву приехали около 10 часов вечера. Родители жены сказали, что несколько раз звонила Екатерина Фердинандовна и просила позвонить по приезде. Я позвонил.

— Саша, нужно срочно встретиться.

Около 11 вечера я подъехал на Пушкинскую площадь, а через несколько минут пришла Екатерина Фердинандовна и села в машину.

— Саша, Александр Исаевич написал протест Косыгину и Андропову по поводу инцидента с тобой на даче. Открытое письмо Александра Исаевича уже два дня передают зарубежные радиостанции. Он просил передать тебе копию этого письма и свое письмо к тебе.

Она протянула мне конверт, где лежали два письма. Первое — напечатано на машинке (с него начат наш рассказ), второе — ко мне — от руки.

13.8.71

Дорогой Саша!

Восхищен Вашей храбростью, мужеством, твердостью, неуклонностью — вижу знак нового времени и нового поколения. Обнимаю Вас сердечно! Страдаю Вашими ушибами и ссадинами — но, надеюсь, они минуют,— не то, что Ваш поступок.

*Хочу, чтобы Вы ясно поняли, и поверили мне и доверились: только **предельная** гласность и громкость есть Ваша надежная защита — Вы станете под мировые прожекторы и никто Вас не толкнет! Поэтому я взялся решить за Вас — сегодня же пишу открытое письмо Андропову и отдаю в Самиздат.*

Постарайтесь мне поверить и убедить своих близких, что при всяком умолчании и сокрытии ОНИ, наоборот, тихо бы Вас задушили. Я бы даже хотел указать в Самиздатских копиях Ваш адрес и телефон — пусть Вам пишут, звонят, знают Вас.

Редко достается человеку в один день (да еще после бессонной ночи, опять же для доброго дела) сразу проверить и проявить мужество и физическое, и нравственное, и ни на одном не сломиться.

Еще раз обнимаю Вас! Выздоравливайте и крепитесь!

Ваш А. Солженицын

Я дважды перечел оба письма, помолчал, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли и унять смятение: такой оборот дела был для меня полной неожиданностью. Сказал что-то вроде следующего:

— Может, можно еще остановить в Самиздате?

— Сейчас уже ничего не остановишь. Успокойся и постарайся здраво все оценить. Это был единственный путь, и ты вскоре убедишься, что Александр Исаевич поступил правильно.

Мы еще поговорили о каких-то мелочах, но я ни о чем, кроме сообщенного, думать не мог и вскоре, попрощавшись, уехал.

Выражение моего лица было, наверно, достаточно красноречивым, потому что жена спросила сразу: «Что случилось?»

Я протянул ей оба письма, потом взял «Спидолу»: действительно, все зарубежные радиостанции читали письмо Солженицына, подробно описывая события, называя мои имя и фамилию, полное наименование моего института (в подлиннике письма Солженицына институт назван сокращенно).

Наступила пауза. Я, уже придя в себя, ждал, а жена — в себя приходила.

Затем последовал бурный разговор, который затянулся далеко за полночь. Все понемногу улеглось, и нужно было начинать жить при новых, неведомых нам обстоятельствах.

16 августа

На работу приехал за полчаса до начала: не хотел встречать знакомых и что-то объяснять. Сразу прошел в кабинет и закрыл дверь.

В этот день в 10.00 было назначено большое совещание в Госстрое по плану работ на следующий год для ряда институтов. Проект плана был подготовлен, в основном, мною, и нужно было к его обсуждению собраться с мыслями. Мне позвонил в 8.30 зам. главного инженера и попросил зайти за ним через час, чтобы вместе ехать на обсуждение в Госстрой.

Но ни о чем, кроме случившегося накануне, я думать не мог. Представлялись десятки и сотни радиостанций, передающих на всех языках мира описание инцидента со мной, газеты и журналы со статьями об этом. И везде — полностью имя, фамилия, учреждение! К этому я готов не был.

И главное: радиовещание зарубежных станций на русском языке, экстренные совещания по этому поводу в соответствующих органах, где, может быть, именно сейчас принимается решение о Солженицыне и обо мне! Каким оно может быть, это решение?

Зазвонил телефон. Услышал голос начальника отдела кадров:

— Товарищ Горлов, спуститесь, пожалуйста.

Встал, машинально посмотрел в окно: перед подъездом, развернувшись, стояла незнакомая «Волга» (институтские машины стоят в стороне на стоянке, и я их знаю).

«Только спокойно! И держать себя в руках!» — но выполнить это было не просто. Немного постоял, стараясь унять волнение, и медленно пошел вниз.

Начальник отдела кадров встретил меня, почему-то широко улыбаясь:

— Вас просят проехать в Комитет госбезопасности, машина у подъезда,— он еще что-то сказал, но я уже не слушал. За ним у окна стоял высокий мужчина лет тридцати, в штатском.

— Но я должен через полчаса ехать в Госстрой на важное совещание.

Незнакомый мужчина подошел ко мне:

— Нам нужно ехать немедленно, наше дело важнее,— и, обращаясь к кадровику:

— Найдите, пожалуйста, замену товарищу Горлову.

— Да, да, конечно! Мы найдем!

Я спросил:

— Могу я хотя бы подняться к главному инженеру и предупредить об отъезде?

— Нет, задерживаться нельзя, необходимо ехать.

Мы с ним вышли, он открыл дверцу машины и сел со мной сзади. Дорогой он молчал, а я смотрел в окно на мелькавшие дома, людей, машины, мысленно прощаясь со всем этим надолго. Проехали мой

дом на Ленинском проспекте, я проводил его взглядом. Вспомнил отца. Его увозили в тридцать седьмом ночью, а через 20 лет сообщили, что «реабилитирован посмертно».

Жена, наверное, опоздает на работу: еще недавно звонила из дому, справлялась об обстановке.

Обогнули памятник Дзержинскому и подъехали к приемной Комитета госбезопасности.

В большом помещении приемной он попросил меня подождать. Я сел в кресло, он оставался рядом. Было еще 2—3 посетителя.

Через зал прошел мужчина с папкой, окинул меня взглядом и сказал моему спутнику: «Приглашайте». Это был представительный полный человек лет 50—55, среднего роста.

Мы прошли за ним по коридору и вошли в большой кабинет, где могло разместиться человек 30—35. В центре стоял длинный Т-образный стол, во главе которого сел мужчина с папкой, предложив мне сесть напротив. Мой попутчик вышел, тихо закрыв двойную дверь.

— Мы пригласили Вас в связи с тем, что зарубежные антисоветские радиостанции передают, а ряд буржуазных газет и журналов опубликовали материалы об инциденте с Вами на даче Солженицына. При этом говорится, что насилие над Вами совершено находившимися в доме работниками госбезопасности. Вот посмотрите,— и он протянул мне листок с переводом статьи из какой-то японской газеты.

Наверху было подчеркнуто: «Срочно, из Токио».

В статье приблизительно правильно излагалось письмо Солженицына Андропову с добавлением, что в доме устанавливали ящики с аппаратурой и что меня работники КГБ били палками.

— У нас к Вам следующий вопрос: можете ли Вы утверждать, что в инциденте принимали участие работники госбезопасности?

— Нет, не могу. Мне никто не предъявлял документов, все были в штатском и вообще до последнего момента я считал, что имею дело с бандитами.

— Вы кому-либо говорили, что это работники КГБ?

— Нет, не говорил.

— В той статье, что я показал, все соответствует действительности?

— В основном, да. Есть отдельные искажения, а именно: меня не били палками и я не видел устанавливаемых ящиков с аппаратурой.

— Как Вы думаете, какими мотивами могли быть вызваны эти искажения?

— Не знаю. Может быть, на этот счет могли быть и какие-либо политические соображении.

— Теперь, пожалуйста, напишите подробно обо всех событиях на даче, указав, как Вы и говорили, что у Вас нет оснований связывать этот инцидент с органами госбезопасности.

— Опять в форме объяснения?

— В любой форме. Мы же не можем Вас к чему-то принуждать!

И я снова в подробностях описал все до момента допроса в милиции в Наро-Фоминске, закончив словами о возможном непричастии КГБ к делу.

— Дальше не надо,— он все прочел.— Вы еще говорили о мотивах искажений, считая, что здесь могли быть политические соображения. Об этом тоже нужно написать.

Я дописал, хотя не понимал, какое значение имеет эта явно второстепенная деталь. Какая разница, как я оценил замену «кулаков» на «палки»?

Он еще раз прочел все и попросил подписать.

В изложении событий я в одном месте уклонился от истины: написал, что записку от Солженицына с просьбой поехать на дачу получил не от него лично, а утром на работе от Екатерины Фердинандовны. Иначе мне пришлось бы рассказывать о поездке Александра Исаевича, его болезни и возвращении, встрече на вокзале рано утром. Эти обстоятельства, не внося ясности в суть событий на даче, привели бы к необходимости разъяснять дополнительные детали лично об Александре Исаевиче, которые я считал в данном деле лишними.

— Ведь Вас привезли в Наро-Фоминскую милицию. И там Вам дали объяснения?

— Да.

— Я хочу просто пояснить Вам, что все это — их дело. Органы госбезопасности здесь ни при чем.

На этом беседа закончилась. Он вызвал моего сопровождающего и велел отвезти меня на работу, добавив: «Ведь служебное время дорого».

Трудно было согласиться, что высказанное неожиданно «беспокойство» о делах моего института оказалось своевременным. Я вспомнил о срочности, с какой меня увезли в КГБ, и посмотрел на часы: в Госстрое о плане следующего года уже больше часа идет совещание, от результатов которого зависит работа многих институтов. Представил себе растерянность своих коллег, пытающихся разобраться в подготовленных мною к этому совещанию материалах: я никого не успел ввести в курс дела. Но что делать: как мне объяснил сопровождающий из КГБ — их дела важнее [1].

[1] Я думаю, что одной из целей этой беседы было личное освидетельствование моего физического состояния: можно ли меня показать иностранным корреспондентам и сказать, что шум вокруг меня — сплошное вранье и никто меня не трогал? Но лицо мое в это время все опухло, один глаз заплыл и рот почти не открывался: красноречивее не скажешь!

Вышел на улицу с ощущением явившегося из Дантова ада. Снова были воздух и небо, и я шел по улице, возвращаясь (пока!) к привычной жизни.

18 августа

Никаких новых особых происшествий к этому дню не произошло. Только вокруг меня с огромной быстротой разрастались и расходились кругами самые невероятные слухи на фоне непрекращающихся передач обо мне западных радиостанций.

Но я решил пометить этот день из-за одного необычного и очень странного телефонного звонка. Позвонили мне вскоре после начала работы:

— Товарищ Горлов? Здравствуйте. Мы с Вами не знакомы, но Вы обо мне, наверное, слыхали. Я — Н. А. Решетовская.

В первый момент я не понял, с кем говорю, но потом, вспомнив, очень удивился: у нас с ней никаких общих знакомых, кроме Александра Исаевича, не было, так откуда же она узнала мой служебный телефон? И уж если она этот телефон разыскала, значит, я действительно зачем-то ей очень понадобился.

— Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Я вас слушаю.

— Александр Моисеевич (и отчество мое она тоже знала), нам с Вами необходимо срочно встретиться.

— По какому поводу?

— Я считаю, что мы должны согласовать свое поведение в дальнейшем в связи с этой историей на даче. Меня вот тоже расспрашивают, и я должна что-то объяснять.

Я не сразу ответил, стараясь понять, для чего это может быть ей нужно. Ведь говорят же только обо мне, а ее вообще в то время на даче не было. Для чего втягивать в это дело еще кого-то и только все запутывать? Я так и постарался ей все это объяснить, добавив:

— Мне кажется, что этого не нужно делать, тем более, что я все равно сейчас очень занят и не смогу уехать с работы.

Но она продолжала настаивать:

— Мне нужно с Вами поговорить. Ведь эти передачи продолжаются, а я не знаю, как себя вести!

— Но при чем здесь Вы-то? — я честно ничего не понимал.

— Я должна Вам кое-что объяснить...

— Так говорите, я Вас слушаю.

— По телефону не могу.

Я чуть подумал и сказал:

— Вы должны извинить меня, но я действительно никуда не могу уехать из-за служебных дел.

— Хорошо, я позвоню Вам завтра. Тогда мы сможем встретиться?

— Возможно, но это станет ясно опять же завтра.

И вдруг она взорвалась совсем по другому поводу и чисто по-женски:

— И вообще, на каком основании Вы в своих объяснениях называете Екатерину Фердинандовну тещей Александра Исаевича? Запомните раз и навсегда: у Александра Исаевича только одна теща — это моя мать, которую зовут Мария Константиновна и которая живет сейчас в Рязани,— она выкрикивала еще что-то в том же духе, но я уже ничего не отвечал, ошарашенный неожиданным открытием.

Вот это номер! Так ей, оказывается, известно мое «объяснение», которое я писал за глухими стенами КГБ, куда меня провели через строгий кордон. (Я тогда действительно на вопрос, кто такая Екатерина Фердинандовна — будто уж они не знали! — ответил, что она — теща Солженицына.) Значит, она там тоже бывает? Или просто доверенное лицо? Тогда понятно, что ей нетрудно узнать и мой телефон, и имя-отчество.

Она, вдруг успокоившись, сказала:

— Так я Вам завтра позвоню. До свидания.

На другой день она действительно звонила, и опять произошел похожий, но более короткий разговор. Она настаивала на нашей встрече, но теперь я уже твердо решил с нею не видеться и отказал. О моих «объяснениях» в КГБ она больше не упоминала.

Мне так и осталось неизвестным, для чего ей (или кому-то за ее спиной) так было нужно в этот момент наше свидание.

20 августа

Сегодня я написал и отправил заказным письмом жалобу на имя начальника милиции Наро-Фоминского района. Я писал:

«12 августа с. г. при посещении мною дачи Солженицына у села Рождество работниками милиции Вашего района надо мною было учинено никак не спровоцированное с моей стороны насилие: мне выкручивали руки, били по лицу, волокли по земле.

Подробно обстоятельства этого инцидента были изложены мною в тот же день в объяснении на Ваше имя.

Я требую в связи с этим:

1. Наказания лиц, совершивших насилие.

2. Принесения мне официальных извинений.

3. Возмещения причиненного мне материального ущерба: у меня разорвали и испачкали травой и грязью костюм и туфли».

Надо сказать, что события развивались столь стремительно и по такому неожи-

данному для меня направлению, что, естественно, мысль о жалобе в суд (или еще куда-нибудь), которой я грозил «капитану Иванову», у меня некоторое время и не появлялась. Я жил в постоянном нервном напряжении, ежеминутно ожидая какой-то катастрофы со мной, моей семьей, близкими. Зыбкость, казалось бы, вполне прочного до этого бытия вдруг стала столь очевидной, что оставалось только уповать на счастливую звезду. Я настороженно всматривался в идущих рядом со мной по улице людей, проезжающие автомашины. Управляя сам автомобилем, старался предугадать все возможные изменения в движении едущих вдалеке машин.

Однажды, когда я ехал в автомобиле с работы, на меня неожиданно на полной скорости вынесся из бокового проезда самосвал: я чудом успел затормозить в последний момент, избежав аварии. В другой раз ко мне на улице подошел какой-то подвыпивший мужчина и сказал: «А тебе, сука, жить осталось два-три дня»,— и пошел дальше. В обычных условиях я бы не обратил внимания на эти случаи. Но теперь мне во всем виделась чья-то злая направляющая рука. Я неожиданно просыпался среди ночи и подолгу лежал, прислушиваясь к подозрительным шорохам.

Дни шли, ясности в поведении официальных органов по отношению к инциденту не прибавлялось.

А зарубежные радиостанции продолжали передачи о происшествии. Почти все мои знакомые уже о них слышали, звонили мне, приходили за разъяснениями. Сообщали и об услышанных передачах. Рассказывали, в частности, что радио Пекина тоже передавало об инциденте, сообщив, что напавших на меня я обзывал «ревизионистами», а собравшиеся соседи заявили насильникам, что «Мао об этом узнает!»

На работу и в институт, куда я представил для защиты докторскую диссертацию, стали приходить анонимные письма. В одних меня поддерживали, в других — ругали. Познакомился я еще с одним новым явлением. Однажды встретил в коридоре хорошо знакомого человека и, как обычно, поздоровался с ним. Он же прошел мимо, сосредоточенно глядя поверх моей головы. Я в недоумении остановился и громко окликнул его: он шел не оборачиваясь. Потом подобные случаи повторялись. Я даже попытался провести статистическую обработку этого явления и установил, что приблизительно одна пятая всех моих знакомых перестала меня замечать. Эти люди боялись встреч и разговоров со мной и старались их избегать.

Но, конечно, друзья остались друзьями, стараясь как только возможно поддержать меня, окружить вниманием. Это было для меня очень важно при том положении, в котором я находился, помогло держать себя в руках и не растерять веру в людей.

Вскоре я понял, что «игра в молчанку» с официальными органами не в мою пользу. И уж коль скоро я начал как-то добиваться справедливости, то мне необходимо официальное объяснение инцидента как для наказания виновных, так и для ограждения меня от возможных нападок неосведомленных лиц. Я вспомнил заявление моего собеседника в КГБ о том, что это дело милиции Наро-Фоминска, и написал приведенную выше жалобу.

2 сентября

Этому дню суждено было определить, что же, наконец, «там» решили обо мне. Накануне, 1 сентября, в час дня мне позвонили на работу и пригласили приехать в Наро-Фоминскую милицию. Разговор был таким:

— Алло, это Горлов?

— Да, я слушаю.

— Говорит зам. начальника милиции Наро-Фоминска майор Баранников. Я прошу Вас приехать для разбора Вашей жалобы сегодня в 16 часов.

— Я не могу приехать сегодня: у меня через час начинается заседание техсовета, где я председатель. И потом следовало предупредить заранее.

— А когда Вы сможете?

— Думаю, что завтра часов в 16.

— Подождите немного.

Пауза длилась несколько минут, в трубке слышны были приглушенные голоса.

— Хорошо, приезжайте завтра к 16 часам. Простите, как Ваше имя и отчество?

Я ответил.

— До свидания.— И гудки, отбой.

Я хотел еще спросить, не могут ли мне прислать приглашение официально — ведь я должен уехать завтра в рабочее время,— но не успел. Зашел к руководству, рассказал о телефонном звонке. Мне разрешили уехать завтра с работы.

Утром я шел на работу с тревожными мыслями о предстоящей встрече. Друзья настоятельно советовали мне на этот раз не ехать одному. Но кого попросить поехать со мной? Если передо мной собираются извиняться, то можно обойтись без «телохранителей». А если, наоборот, меня обвинят в том, что я стал причиной международного скандала и нанес ущерб престижу государства? Ведь в этой ситуации такой винтик, как я, подлежит жестокой каре, и любые ходатаи за него также могут быть вовлечены в «круг позора»! Если кто-то и согласится со мной ехать (а таких, как оказалось, не очень много), то при худшем обороте дела на мне будет лежать вина и за друзей!

Лучше было бы присутствие официальных лиц — представителей института: ведь информация идет только из сообщений зарубежных радиостанций. Это порождает кривотолки, не имеющие ничего общего с действительностью. Например, мне сообщили, что было так: Солженицын получил кучу долларов за свой последний роман и построил на них огромный особняк под Москвой. К нему пришли работники КГБ забирать деньги и выгонять его из дома. Завязалась драка, в которой я его защищал и «схлопотал себе по шее».

Но пригласить официальных представителей оказалось невозможным, и со мной поехали два близких товарища по работе.

Настроение было подавленным, удручало молчание «органов» (с момента происшествия прошло уже три недели), потом этот короткий разговор по телефону, ничего не прояснивший. Перед отъездом привел в порядок рабочие материалы в столе и показал сослуживцам, что где лежит.

Приехали в Наро-Фоминск в 16.00, машину поставил напротив здания милиции у того места, куда привез меня когда-то «капитан Иванов».

Втроем зашли в милицию и нашли на втором этаже дверь с надписью «Зам. начальника». Я приоткрыл дверь: «Разрешите?»

В кабинете во главе стола говорил по телефону пожилой майор милиции, а сбоку от него сидел уже знакомый мне мужчина в штатском: он приезжал на второй день после инцидента вместе с «Ивановым» и допрашивал меня на работе.

— Вы — товарищ Горлов? — майор прикрыл трубку.

— Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я как раз говорю об этом с Москвой.

О чем «об этом» он говорил — я не понял, но вышел к поджидавшим меня товарищам. Сквозь дверь были слышны отдельные фразы майора: «Да... да... Ну, как и было в телефонограмме... Хорошо...». Потом минут 5—7 они о чем-то говорили между собой, и, наконец, майор приоткрыл дверь и позвал меня.

Мне не представились. Я сел к столу и спросил:

— Со мной приехали два товарища с работы. Они могут присутствовать при разговоре?

Ответил в «штатском»:

— Нет, в этом нет необходимости.

После этого заговорил майор:

— Мы рассмотрели Ваше заявление. Я прежде всего хочу Вам кое-что разъяснить,— и он некоторое время рассказывал об уже слышанном мною: какой у них сложный район, как стреляли в водителя «Москвича», как сообщили о готовящемся ограблении дачи Солженицына, как милиция устраивала засады, а в это время явился я и т. д.

— Поэтому происшествие с Вами — недоразумение. Теперь Вы требуете, чтобы мы наказали участников операции и принесли Вам свои извинения. И что это значит — принести извинения? Потом, если я сегодня накажу своих работников, то ведь завтра они не пойдут на другое задание? Ответьте мне на это.

Я попытался понять, о чем меня спрашивают. Потом сказал:

— Я хочу, чтобы Вы официально признали действия Ваших работников по отношению ко мне 12 августа неправомерными и за это принесли свои извинения.

— А как их принести?

— Что — как принести?

— Ну, извинения, о которых Вы говорите!

— Заявить мне официально, о чем я только что говорил,— разговор становился по меньшей мере странным.

— А, ну это, конечно, пожалуйста. Мы официально заявляем, что наши сотрудники тогда на даче по отношению к Вам поступили неправомерно, и мы приносим за это свои извинения. Так сказать, погорячились. А как мы должны их наказать?

— Я не знаю, Вам это виднее.

— Вообще-то они уже наказаны. Мы по этому поводу даже несколько раз собирали совещания, на которых разбирался их проступок.

В разговор вмешался «штатский»:

— Но их неправильные действия были вызваны Вашими неправильными действиями. Ведь что получается: человеку предлагают спокойно пройти, а он вырывается, бежит и еще кричит, что он иностранец. Поэтому над Вами и пришлось совершить насилие. Нам потом пришлось высылать в этот район специальный наряд милиции, чтоб успокоить местных жителей: там еще долго были все взволнованы и напуганы.

— Все было не так! Я попытался вырваться и стал звать людей после того, как в ответ на мое законное требование предъявить документы мне скрутили руки и поволокли к лесу. Ничего подобного не произошло бы, если бы я знал, что имею дело с представителями власти. А то, что я в какой-то момент назвался иностранцем,— не наказуемо и никак не должно было мешать Вашей «операции». Мне непонятно, почему Вы на этом постоянно акцентируете внимание.

— А у нас район для иностранцев закрыт!

— Так Вы же знаете теперь, что я не иностранец!

— Зачем же Вы назвались иностранцем?

Разговор стал уходить куда-то в сторону.

— Я вас не понимаю. Только что вы признали действия милиции неправомер-

ными и за это извинились. А если я вас понял неверно и это не так, то я снова готов выслушать, для чего меня сюда пригласили.

— Нет, нет, все правильно. Мы извиняемся и признаем, что наши работники были не правы,— заговорил майор.— Остался еще один вопрос: возмещение материального ущерба. Как Вы его оцениваете?

— Костюм и ботинки были практически новыми и стоили первоначально около 130 рублей. Вещи разорваны, перемазаны грязью и покрыты пятнами от травы.

— Ну, так костюм, наверное, можно подлатать и почистить. Ботинки — тоже,— это уже говорил «штатский».— Принесите нам счет за ремонт, и мы постараемся его оплатить.

— Вещам вернуть прежний вид невозможно. Если вы согласны возместить мне стоимость вещей, то я готов привезти их и отдать вам в любое время.

Майор всплеснул руками.

— Где же нам взять столько денег? Это я должен вычитать из зарплаты своих сотрудников, а они получают по 100—110 рублей в месяц. Простите, а Вы сколько получаете?

— 310 рублей.

— Ну, вот видите! А у них еще большие семьи.

Я очень удивился и посочувствовал, узнав, что у «капитана Иванова» и у приказывавших ему людей в штатском такая маленькая зарплата, но обсуждать этот вопрос не стал.

— Хорошо. Я снимаю свои требования о возмещении материального ущерба.

Мои собеседники сразу как-то повеселели.

— Тогда будем считать, что инцидент исчерпан, а Вы, пожалуйста, напишите нам, что удовлетворены разбором дела по своему заявлению,— и майор положил передо мной чистый лист бумаги.

— Но я хочу получить от Вас письменный ответ на мое заявление.

— Ни в коем случае! Это невозможно,— «штатский» даже привстал со стула.

— Почему?

— А где гарантия, что завтра наше письмо не будет передаваться зарубежными радиостанциями?

— Во-первых, если даже это и случится, то непонятно, что здесь страшного: органы милиции допустили ошибку и хотят ее исправить. Во-вторых, мне такое письмо необходимо: вокруг моего имени на работе и в научной среде распространяют всякие слухи. Ваш официальный ответ внесет ясность в это дело и оградит меня от сплетен и нападок.

— Хорошо. Мы можем принести официальные извинения в присутствии приехавших с Вами сотрудников. А письменно — не можем. Так Вы согласны?

Я немного подумал и ответил:

— Если иначе нельзя, то согласен.

Затем я вышел в коридор и попросил товарищей войти. На ходу в двух словах объяснил им ситуацию.

Штатский начал разговор, обращаясь к моим товарищам:

— Простите, пожалуйста, я должен сначала записать Ваши имена и должности,— он достал из кармана записную книжку и карандаш.

Мне стало не по себе: вступление имело характер «психической атаки», очевидно, хорошо отработанной. Сам этот «штатский» за все время нашего знакомства так ни разу и не представился, и я не знаю ни его должности, ни имени. Я посмотрел на друзей: они явно волновались, называя свои фамилии, имена, должности. Даже попытались предъявить служебные удостоверения.

— Это не обязательно,— «штатский» скосил глаза на документы, аккуратно записал все сообщенные данные и убрал записную книжку в карман. Майор сказал:

— Мы пригласили Вас, чтобы в вашем присутствии еще раз подтвердить, что действия работников милиции по отношению к товарищу Горлову на даче Солженицына были неправильными. Мы об этом сожалеем и приносим свои извинения. Уже две недели мы занимаемся почти целиком этим делом, выясняем обстоятельства, совещаемся.

Зазвонил телефон, майор что-то выслушал и сказал:

— Да, да. Ничем другим не занимаемся.

— Я хочу добавить,— перебил «штатский»,— что действия товарища Горлова тоже были неправильными: он отказался идти добровольно, сопротивлялся, кричал. Сотрудники милиции и применили силу.

— Ведь у нас работа не умственная,— вставил майор,— у нас работа опасная.

Один из моих товарищей сказал:

— Но как же добровольно идти в лес с вызывающими подозрение людьми? Ведь бандиты тоже ходят в штатском и тоже обычно приглашают пройти в лес или в другое глухое место!

— Но это же были работники милиции, а не бандиты!

— Откуда Горлов мог это знать? Ведь ему не предъявили документов!

— Можно было догадаться. Ему вначале предложили идти спокойно, без насилия.

— Но ведь в глухое место, в лес!

— Так с работниками же милиции! — и опять все сначала.

— Могло случиться и хуже,— продолжал «штатский»,— мне не ясно, почему наши сотрудники не применили оружие, когда Горлов бросился бежать. При таких операциях существуют совершенно четкие инструкции: если нельзя задержать убегающего, то в него стреляют. Так что по отношению к товарищу Горлову было сделано все возможное, чтобы задержать его наиболее гуманным способом.

Я был потрясен таким откровением! Что же дальше? Выходит, что я должен извиняться за причиненные хлопоты и благодарить за то, что еще сижу здесь живой!

— А теперь товарищ Горлов пишет на милицию жалобу и требует 5 рублей (!) на чистку костюма. А можно ли в деньгах оценить тот огромный урон, который нанесен государству передачами зарубежных станций об этом инциденте?

Итак, мой портрет готов: мелочный шкурник, навредивший государству и старающийся шантажом выторговать у милиции пятерку! Что такому положено? Я сказал:

— Мне непонятно, каким образом вы оценили причиненный мне ущерб в пять рублей. А что до ущерба государству, то он целиком является следствием работы ваших сотрудников, действия которых Вы сами признали незаконными! Кроме того, по поводу упомянутых передач я уже давал объяснения в Комитете государственной безопасности и возвращаться к этому не хочу.

— Подумать только! — «штатский» повернулся к майору.— Что же это они нам ничего не говорят? Надо будет спросить там, в Управлении. Я об этих передачах-то узнал случайно совсем недавно от одного товарища! Он мне как-то звонит и спрашивает: что это у вас там произошло с Горловым, о котором говорят Би-Би-Си и «Голос Америки»? А я ничего не знаю. Ты эти передачи слушал?

— Да что ты! — майор заговорил очень быстро.— Я никогда эти радиостанции не слушаю и иностранных газет не читаю. О передачах тоже услышал недавно и случайно.

Я смотрел на обоих и думал: может быть, мне тоже прикинуться простачком из лесу и сказать, что я вообще никогда не видел радиоприемник?

Опять зазвонил телефон, майор взял трубку:

— Да, да. Мы и не отвлекаемся. Хорошо,— положил трубку и обратился к нам.

— Так я думаю, что все ясно. Мы официально приносим извинения за неправомерные действия наших сотрудников и просим сообщить об этом дирекции и общественности Вашего института. Если Вы, товарищ Горлов, этим удовлетворены, то, пожалуйста, напишите, что считаете возможным прекратить ход дела.

Весь разговор постоянно балансировал на грани каких-то скрытых угроз. И если бы я отказался писать требуемое заявление, то, как я чувствовал, должен был возникнуть новый конфликт, в который к тому же могли быть втянуты и мои товарищи.

— Что я должен писать о тех, кто принес извинения?

— Напишите: заместители начальника милиции Наро-Фоминского района.

— А фамилии, должности?

— Это не надо.

Я стал писать: «Начальнику отделения милиции Наро-Фоминского района тов... от...

2 сентября 1971 г. в Наро-Фоминском районном отделении милиции в присутствии моих товарищей по работе мне заместителями начальника (?! — *А. Г.*) районной милиции даны объяснения и принесены извинения в связи с учиненным надо мной насилием 12 августа 1971 г. Обстоятельства дела изложены в моей жалобе на Ваше имя от 20 августа 1971 года. Принесенные извинения я принимаю и считаю возможным дальнейший ход дела прекратить».

Поставил дату и расписался. Майор спросил:

— Вы какую дату ставите?

— Сегодняшнюю.

— Понимаете, у нас есть твердая установка: 10-дневный срок рассмотрения жалоб трудящихся. Я сейчас проверю, когда поступила Ваша жалоба. Желательно, чтобы этот срок был соблюден.

— Я могу поставить любую дату, если для Вас это важно.

— Нет, нет. Все в порядке, я посмотрел: Ваша жалоба пришла 22 августа. Ну что же, тогда все. До свидания.

Все встали, «штатский» и майор стали пожимать нам руки, прощаясь. Я сказал:

— До свидания. Постараюсь в Ваш район больше не приезжать.

— Да что Вы! Зачем же так! Приезжайте, пожалуйста, в любое время. Мы будем очень рады!

На этом можно было бы и закончить описание событий, связанных с «моей линией» в этом происшествии. На середину октября, когда я заканчиваю дневник, ничего нового в развитии самого инцидента не произошло. Естественно, что многое изменилось в моей жизни, но это уже другая сторона медали. Можно добавить, что, несмотря на предосторожности моего Наро-Фоминского собеседника в штатском, через несколько дней зарубежные радиостанции в своих передачах на русском языке сообщили, что, по сведениям корреспондентов из Москвы, меня посетили (где — не сообщалось) работники милиции и принесли извинения, объяснив свои действия недоразумением. Приблизительно то же было напечатано и в тех зарубежных коммунистических газетах, которые свободно продаются в

Москве. Например, газета «Morning Star» поместила обо мне заметку под таким заголовком: «Принят за взломщика!»

И последняя деталь. Вскоре после начала передач зарубежных станций о письме Андропову из КГБ позвонили домой Александру Исаевичу (говоривший назвался полковником Березиным) и просили ему передать (Александра Исаевича дома не было), что за всю эту историю ответственна милиция, куда и следует обращаться, а не КГБ. 17 августа Александр Исаевич, сославшись на этот звонок, направил свой протест в МВД с копией письма Андропову и Косыгину. Приблизительно через полтора месяца пришел следующий ответ:

А. И. Солженицыну
Москва, К-9, ул. Горького,
д. 12, кв. 169

В связи с Вашим письмом от 17 августа 1971 года сообщаю следующее. В последнее время от жителей дачного поселка, где Вы проживаете, поступили сообщения о случаях краж, совершаемых из дач неизвестными лицами. Накануне на 82 км Киевского шоссе было совершено два разбойных нападения.

В связи с этим органы милиции 12 августа проводили операцию против уголовных элементов. Известные Вам события явились результатом недоразумения и превышения соответствующими должностными лицами своих прав. По отношению к виноватым будут приняты строгие меры наказания. Этот случай тем более неприятен, что в органах милиции, как Вам известно, проводится большая работа по укреплению социалистической законности, устранению фактов нарушения законных интересов граждан, повышению культуры в работе личного состава.

Мы сожалеем по поводу случившегося.

Зам. начальника Управления внутренних дел Мособлисполкома
А. Экимян

Окончание следует

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ

БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ

Феноменология и судьба советского духа

Обновление и перестройка самых различных сфер общественной жизни, в том числе — вполне материальных и вещественных, приходят во все нарастающее противодействие с некоей «нематериальной» силой.

Все больший круг проблем нашего настоящего и перспектив развития связывается не просто с «человеческим фактором», а с его сердцевиной — мировоззрением, идеалами, ценностными ориентациями и «принципами» — всем тем, что определяет смысл и мотивы поведения отдельных людей, коллективов, больших социальных групп. Эта нематериальная — духовная?— и вездесущая сила оказывается куда прочней и опасней «механизма торможения» или пугала бюрократизма. Все более отчетливо проступает не просто стена, в которую упирается «перестройка» и за которой отсиживаются ее противники, а нечто агрессивное, более того — обнаруживаемое в самих «перестроечных силах». Дух на то и дух, чтобы быть вездесущим.

Речь пойдет о сознании, о мировоззрении, активно входившем в «поле» духовных исканий на протяжении всего исторического пути нашего общества, вышедшем в этом столетии на передний план, играя до сих пор главенствующую роль. Поэтому лишь условно оно может быть названо «советским духом». Дело, однако, не в названии. Главное — понять его как нечто целостное, существующее, имеющее свою предысторию, историю и судьбу. Не поняв корни и природу этого сознания, мы обречены на систематический отказ от собственного прошлого, на повторения «покаянческого» сюжета — выкапывание и выбрасывание очередного трупа — сюжета весьма сомпительного в нравственном плане. Духовное обновление предполагает не только осуждение сталинщины, но преодоление мировоззрения, миропонимания, мирообъяснения, оправдывавшего, объяснявшего, обосновывавшего и благословлявшего геноцид.

Что же такое подобное мировоззрение? Нечто чужеродное, искусственно, силой насаждавшееся? Или, подобно вирусу, попав в благоприятную среду, способно перародить ее по своему образу и подобию, нарушив ранее живые связи и омертвив ткани ранее живого организма? Или сам вирус культивирован этой средой, являясь квинтэссенцией определенных черт российского миропонимания и революционно-демократической мысли? В любом случае это сознание — выстрадано нашим обществом. Задача — в уточнении смысла и перспектив этого «выстрадано».

1. АМБИВАЛЕНТНОСТЬ КРОТОСТИ И КРУТОСТИ

Важно продвинуться дальше нынешних аналитик сталинизма: как объективистских социологических и экономических объяснений свершившегося, так и различных его квалификаций. Тонкие наблюдения, яркие примеры остаются лишь подведением сложного явления под общее понятие — не более. Анализ и прогнозы, как, например, в статье Л. Гозмана и А. Эткинда «От культа власти к власти людей» («Нева», 1989, № 7) остаются в плоскости общих рассуждений, применимых к разновременной и разноязыкой реальности. Тоталитаризм един и универсален, где бы он ни проявился: в Египте времен строительства пирамид, государстве инков, гитлеровском «новом порядке», Китае периода «культурной революции» или Камбодже «красных кхмеров». Как говорили древние, «дьявол един».

Поэтому мало сказать о идее всевластия. Необходимо уяснить содержание, природу, причины и истоки, питавшие и питающие конкретную форму тоталитарного сознания. Тоталитаризм не является подобно «богу из машины» в древнегреческих трагедиях. Как справедливо отмечают авторы той же статьи в «Неве»: «...необходимо осознать, какие наши потребности удовлетворялись столь патологическим образом».

Что позволило «дьяволу» воплотиться именно в данной среде? Думается, что не только и не столько «рубашовы» и их убийцы. Можно говорить о феномене попадания вируса духовного СПИДа тоталитаризма в исключительно благоприятную почву. Более того, можно говорить о поэтапном «заражении» задолго до появления «рубашовых», которых породил уже больной организм. Такая констатация предполагает аргументацию, которой может быть лишь конкретный «анамнез» — история болезни. В ней можно различить предысторию (условия и «латентный период») и собственно историю.

Российский и советский духовный опыт — опыт исключительного напря-

женного духовного поиска. Этим исканиям свойственно стремление во всем дойти «до конца» при отсутствии границ нравственных исканий, неспособных определиться, закрепиться на конкретной позиции. На это неоднократно обращал внимание С. С. Аверинцев. Амбивалентность жертвы и палача, разбойника и святого. Царь на Руси одновременно и Божий помазанник, и антихрист. Амбивалентность кротости и крутости. Добро способно мгновенно обернуться злом, а зло — предстать добром. Если математику иногда определяют как игру с бесконечностью, то наш духовный опыт подобен игре с «нравственной бесконечностью».

В данной работе я ограничусь собственно историей продукта этого беспредела — явным течением болезни, природа которой представляется коренящейся в марксизме, российском его понимании, глубже — определенном типе революционно-демократической идеологии. В предыстории остаются сюжеты высокой духовности, ее содержания, ее искушений идеей третьего Рима, рационализмом Просвещения, формированием имперского сознания.

Переломным моментом в развитии российского духовного опыта стало 14 декабря 1825 года. Декабристы разбудили не только Герцена. Российское сознание начало порождение «мутантов» — «вирусоносителей» духовного СПИДа.

2. «НОВЫЕ ЛЮДИ» В ПОДПОЛЬЕ

«Общие понятия и большое самомнение в любой миг могут стать причиной большого несчастья»,— писал И. В. Гете. В недрах российского XIX столетия, вполне терпимого в сравнении с предыдущими и последующими, зрели зерна «Большого несчастья» — безответственной нетерпимости. Страшную опасность этого процесса хорошо видел Ф. М. Достоевский, ясно прописавший в «Бесах» истоки, содержание и возможные следствия этой самозваной нетерпимости. Можно сказать, что им фактически не только в общих чертах, но даже в деталях был осмыслен сталинизм. Угаданы (не только) идеи, и (даже) их социальное происхождение — недоучившийся школяр-семинарист, претендующий на абсолютную истинность своих поверхностных рационализаций. В 1876 году Достоевский писал: «Но может ли семинарист быть демократом, даже если б захотел того?» Сталинизм, в самом деле, и есть семинаризм, развлекающий себя игрой в диалектику, абстрактная схема, «огрубляющая и омертвляющая живое». Это сознание и идеология, отключенные от живой культуры и живой мысли, развивающиеся в самодостаточном мире абстракций, «образованщина» — по А. И. Солженицыну. Поэтому особенно опасно, когда «семинаризм» становится, как говорил Достоевский, «идеей, попавшей на улицу», отрицая и живых людей: «Устранить народ, сократить его, молчать его заставить».

Подпольное самозванчество, alter ego имперского сознания, нравственность желающих «всех сделать счастливыми, а кто не захочет...», носят, несомненно, «бесовской» характер не только в смысле названия романа Достоевского. В одной из недавних дискуссий Ю. Ю. Булычев определил этот результат разложения российского сознания как «бес-овский», порождающий «бес»-почвенность, «бес»-культурье, «без»-основность и «без»-ответственность человеческого бытия.

В претензии на тотальность рационализации, отбрасываются как иррациональные такие нравственные категории, как ответственность, грех, стыд, совесть, покаяние. Между тем глубоко прав М. М. Бахтин, когда утверждает, что рациональность — лишь средство осознания меры и глубины изначальной ответственности («не-алиби» человека в своем бытии), которая «больше», чем рациональность. Ответственность («вина») абсолютна, заслуги — относительны. «Бес-овщина» же еще и «бес»-стыдна, претендует на «без»-грешность. Для нее абсолютны заслуги, которые она себе самозванно приписывает, а вина и ответственность — относительны, проблематичны, и, таким образом, всегда находится оправдание любому преступлению, любой глупости и косорукости. К этому приводит теория и практика, пытающаяся поставить рациональность «впереди» ответственности.

Этот процесс «бесовского» разложения отчетливо виден в эволюции революционного демократизма. После отмены крепостного права — цели декабризма и последующего демократического движения наиболее радикальные революционеры-народники предали анафеме и реформу, и ее последствия, и ее создателей. Это был путь революции если и для народа, то без (опять!) него, а то и вопреки ему. Этот отрыв выражен и в непонимании народом смысла убийства народниками Александра II. Оно расценивалось как месть «царю-освободителю» крестьянства со стороны господ, не желающих допустить «черный передел». Левонароднический экстремизм все более становился «катакомбным» сознанием с «подпольной» психикой, фанатизированным мировосприятием. Трагическая идея героического самопожертвования сливалась с мыслью о мессианстве и избранничестве «героев».

Народовольцы — не пионеры политического экстремизма. Задолго до бомбы Гриневицкого можно найти множество

кровавых акций индивидуального и массового террора. Тем не менее представляется, что в этом ряду их выделяет «экзистенциальная» глубина обоснования экстремизма. Показательно, что народовольцы публично выразили «глубокое соболезнование американскому народу» по случаю смерти президента Дж. А. Гарфильда, убитого, кстати, в том же 1881 году. Исполнительный комитет «Народной воли» посчитал «своим долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито». Прекрасно понимая всю двусмысленность своего положения, народовольцы поясняли, что там, где существуют политические свободы, демократическая государственность, там «политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей».

Народовольцы прекрасно осознают вторичность собственного экстремизма не только от политической российской действительности, но и от собственно имперского сознания, свою нравственную «зеркальность» от него. Они обосновывают свою практику террора не просто талионом типа «око за око, зуб за зуб» или «золотым правилом» нравственности «не делай другому того, чего не желал бы по отношению к себе», а фактически судят с теоретических высот кантовского категорического императива: переводят этот теоретический метапринцип любой морали в план практической нравственности и поступков. Мы вновь сталкиваемся, таким образом, с благородным, высоким, но все же — самозванчеством как тенью, двойником имперского тоталитаризма — с одной стороны, и проявлением абстрактного гуманизма, нравственной игры с бесконечностью — с другой.

Приведу авторитетное свидетельство выдающегося практика российского экстремизма Б. Савинкова, приводящего обращенные к нему слова «интеллигентной девушки»: «Почему я иду в террор? Вам не ясно? „Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю“.— Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу». Российский экстремизм — сознательное душегубство по высоким нравственным мотивам. Причем пусть это не покажется парадоксальным, но — сознательное убийство собственной души. Убить другого можно, только сначала погубив свою душу. Но самозванчество в итоге этого душегубства видит спасение души, видящееся в идее, ради которой творится двойное, если не тотальное душегубство. Философия нравственности полна таких ситуаций, в которые загоняет себя абстрактный разум, играя в игры с «нравственной бесконечностью».

Как чутко отметила Л. Я. Гинзбург, интеллигенция, чтящая Достоевского, «не заметила», что бомба Рысакова, не убив царя, убила подвернувшегося мальчика с корзинкой. Этот мальчик действительно достойный факт осмысления духовности, реализующейся между «единственной слезинкой ребенка» Достоевского и «был ли мальчик» Горького. Причем факт — не писательский образ — являющийся, по сути дела, нравственным символом реального события, страшным символом издержек истории и духовных исканий. Будучи неосмысленным, «не замеченным», он вернулся кошмаром массовых «издержек» «щепок» и «винтиков».

3. САМОЗВАНЧЕСТВО ДАНКО, «БЕС-ОВЩИНА» И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Самозваное самоназывание свойственно российско-советскому опыту. Где еще в истории столь распространено самозванство? Где еще отцы-основатели отказывались от собственных имен и фамилий ради партийных кличек? Где еще политическая партия сама себя называет «национально-*патриотической»?* За всеми этими самоназываниями стремление уйти от себя, от своей природы и истории, от подлинной биографии и судьбы, заклясть ее другим именем. И — представительство от этого имени. Не от себя.

Российский и советский духовный опыт есть опыт поэтапной возгонки и рафинирования; очищения и одновременно — расширения сознания безответственного представительства «от имени» класса, нации, инстанции — только не от себя лично. Себя нет, я — распущено, как масло на сковородке. Есть народ, класс, община, сокамерники, собутыльники, одноклассники, однокашники, и тому подобное — коллектив, который всегда прав не почему-нибудь, а потому только, что коллектив. И если я хочу чего-то, то должен представить это как интересы коллектива, от его имени, но только чтобы это не было моим интересом и решением. От парткома, от профкома, от всех угнетенных, от ветеранов, от Ивана Петровича. Этакая коллективная ответственность. Круглый квадрат. Железная деревяшка. Абсурд. Паспорт, прописка, пропуска, мандаты, талоны на еду. Не я от себя. А я от имени своего имени. Но имени, заверенного кем-то, уполномоченного не собою, а кем-то. Это сознание *сознательного* ухода от сознания, от вменяемости и ответственности. Потому и исторический опыт *наш* абсурден, что он невменяем. И вменить-то его всегда некому.

Начиная с конца прошлого столетия — начала нынешнего, можно говорить о на-

растающем самозваном представительстве знающих, «как надо».

Богатый материал дают горьковские «Песни» («О Соколе» с ее противопоставлением «рожденных летать» «рожденным ползать», «О Буревестнике» с ее самоценностью бури), «Мать» (с ее явным новозаветным сюжетом) и особенно «Старуха Изергиль» с легендой о Данко, огнем своего сердца осветившего путь заблудшим людям. Все эти произведения выросли непосредственно «в теле» революционно-демократической мысли России на рубеже столетий, в них нашло свое образно-мифологическое выражение содержание этой мысли, ее менталитет.

Во-первых, это противостояние нравственного героя и толпы. «Герой», осуществляющий, говоря словами П. Лаврова, «свою историческую деятельность во имя нравственного идеала», оказывается не только вне нравственной оценки — отрицается даже возможность такой оценки его деятельности. Во-вторых, это необходимость веры идеалу и в идеал. Вне и «без»-нравственный «герой», противостоя толпе и ведя ее за собой, нуждается в том, чтобы толпа безоговорочно верила ему, а еще лучше — в него. Согласно тому же Лаврову, борющейся партии более всего опасны не противники, а неверующие. Поэтому, утверждал он,— «нужны мифы и их мученики, легенда о которых переросла бы их истинное достоинство, их действительную заслугу. Им припишут энергию, которой у них не было. В их уста вложат лучшую мысль, лучшее чувство, до которого доработаются их последователи. Они станут недосягаемым, невозможным идеалом перед толпою. Число гибнущих тут неважно. Легенда всегда их размножит до последней возможности».

Очевидно, что тема «культа» органически присуща этому менталитету. Богостроительский сюжет в российской социал-демократии не случаен и заслуживает более пристального внимания. Среди богостроителей — те же М. Горький и А. А. Богданов, а также А. В. Луначарский, который в книге «Религия и социализм» рассматривал К. Маркса как «продолжателя дела пророков», а марксизм — как «последнюю религию», как «великую религию, подаренную титаном-евреем пролетариату и человечеству». Заслуживает внимания и тема сатанизма, нет-нет да проявляющаяся в леворадикальной мысли. По крайней мере, М. Бакунин восславлял Сатану — «вечного мятежника, первого свободного мыслителя и эмансипатора миров», а тот же А. В. Луначарский развивал в ницшеанском духе мысли о Люцифере.

Среди других составляющих менталитета «самозваного Данко» — конспиративность, установка на тайну и секретность замыслов, следствием чего, помимо прочего, является и допущение «лжи во благо». Толпе не только незачем знать подлинное лицо и мысли «героев», ее можно сознательно вводить в заблуждение ради самоценного единства. И, наконец, следует упомянуть неконструктивную, нетворческую и потребительскую ориентацию этого сознания на присвоение результатов чужого труда: от теоретического — «экспроприации экспроприаторов» и практического — «грабь награбленное» до мечты чевенгурцев: «Солнце — вечный пролетарий будет работать на нас и за нас».

Примерно в то же время В. В. Розанов писал, что есть только две философии: выпоротого и ищущего, кого бы ему еще выпороть. Причем вся русская философия (по Розанову) — философия выпоротых: если кто-то из своих заговорит о необходимости пороть, его сочтут безнравственным. Розанов оказался не прав. Нашлись такие люди, которые посчитали такое желание идеологически и нравственно оправданным.

Сознание людей конспиративно и, возможно,— вопреки их воле, «делающих других счастливыми»,— удивительно целостно. Упомянутые установки и ориентации дополняют и подкрепляют друг друга. Эта целостность двояка. С одной стороны, она тесно увязана с нравственными установками «почвы» (нравственный максимализм в сочетании с правовым нигилизмом, самоценность страдания, коллективистское понимание справедливости и тому подобное), питается ими и развивает их в программе практических действий, находящей отклик в глубинах «коллективного бессознательного» общества. С другой стороны, эта целостность развертывается и использует аргументацию в виде рационалистических построений. И в этой связи нельзя не говорить о роли марксизма.

Разложение архаического сознания народничества, крайним выражением народолюбия которого стал индивидуальный террор, вызывало энергичные поиски союзников в неприятии все более прорастающего в России капитализма и борьбе с ним. В нем виделась угроза не только патриархально-общинному укладу жизни, но и индивидуалистическая угроза нравственности высокой духовности. Такой союзник парадоксальным образом был найден в лице марксизма. Марксизм в России был воспринят народнически, а народничество «оделось» в него. В итоге мифологемы российской духовности были выражены в марксистской терминологии, а сам марксизм приобрел характер мифологического сознания, что лишь усиливалось его популяризацией в неподготовленной среде.

Слияние «бес-овщины» и «Данко» явственно в «моральной философии» революции, например, в отношении к экспроприациям («эксам», в которых, как известно, активное участие принимал молодой Коба — Джугашвили). Отношение это даже в РСДРП было неоднозначным. Большевики считали оппортунистической саму постановку вопроса о моральных и аморальных, допустимых и недопустимых методах борьбы, а согласно Ленину, «марксизм, безусловно, не зарекается ни от каких форм борьбы». Вопрос этот обсуждался на двух (совместных) съездах — IV и V,— где большевиками предлагалось признать экспроприации допустимыми при условии «самого строгого контроля со стороны партии». Оба раза, однако, проходила резолюция меньшевиков, запрещающая какое бы то ни было участие в «эксах» или содействие им. Часть большевиков — и Ленин в том числе — голосовала против. Некоторые дружины, не подчинившиеся решениям съездов, быстро скатились к простой уголовщине и бандитизму вроде уральской группы Лбова («лбовщина»). Тогда еще «самозваный Данко» отличал себя от «Бармалея-подпольщика» и находил силы противостоять ему.

Вообще вопрос о Данко и Бармалее — вопрос глубокий, если не вечный. Самозванчество — идея и явление неоднозначное. Если в политике оно явно нуждается в каких-то правовых ограничениях для безопасности окружающих, то научное и художественное творчество просто держится на нем и питается им. Новый творческий синтез возможен только в сознании, сознающем себя в той или иной степени демиургом. Не исключено, что именно «пропитанностью» самозванчеством российской духовности объясняется колоссальный творческий потенциал российской культуры, интерес и тяга к ней культуры Запада. Символизм, футуризм, аналитическое искусство, супрематизм и так далее — это целые миры, до сих пор питающие сокровищницу мировой культуры. Важно и отмечающееся многими исследователями обстоятельство — несмотря на все их самостояние и самодостаточность, русские «измы» ближе друг другу, чем своим «аналогам» за рубежом. И близки они не в деталях, а в своем самозванческом дерзостном существе.

Несогласие с существующим — духовный опыт всей российской культуры. Все мыслящие так или иначе, но всегда были «против». Формы этого изначального, «онтологического» несогласия были многообразны. Но начало XX века, сочетание народнических традиций с модернизмом и авангардизмом породило эпически парадоксальную форму — сплав эгоцентризма, элитарности и жертвенности — «имманентного» самозванчества, направленного против самого себя. И символисты, и футуристы заигрывали с темной стихией российского бунта, который, быть может, уничтожит и интеллигенцию с ее культурой вместе. «Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном»,— писал В. Брюсов.

В этой связи приходится признать принципиальную правоту А. Ципко, первым в современной научной публицистике заговорившего о мировоззренческой ответственности за сталинизм российской леворадикальной интеллигенции. Сколь бы ни были тщательными социологические аналитики и подсчеты социального состава ВКП(б) после смерти Ленина — сталинизм восходит не к сознанию крестьянской стихии или «рабочего в первом поколении», а к рафинированной «бес-овщине», крестьянам до такой бармалеевщины просто не додуматься. Российская леворадикальная интеллигенция (и художественная, в том числе) «выстрадала» сталинизм во всех смыслах этого слова.

Такую оценку подтверждает и позиция интеллигенции в послеоктябрьский период. Многие тянулись к бесовскому огню мирового пожара. Тянулись и обжигались. В этом, наверное, главная трагедия российской интеллигенции, стремившейся примирить себя с революцией и ее результатами. Это путь многих: А. Блок, Г. Шпет, М. Булгаков, О. Мандельштам... «Двенадцать», «Батум» М. Булгакова, воронежский период О. Мандельштама... Другие, подобно М. Горькому, сомневаясь в период Октября, приняли безоговорочно сталинский переворот, освятив его идеологию перлами типа «Если враг не сдается, его уничтожают» или «Жалость унижает человека». Между прочим, это указывает на интимное родство сталинизма и российского Данко-самозванца, двойника Бармалея-подпольщика. Крестный отец, по крайней мере, признал своего наперстника.

К. Маркс и Ф. Ницше — авторы двух великих искушений, оставленных XIX столетием XX-му. Оба — искушения невменяемым представительством, безответственным самозванчеством. Первое — от имени классов, второе — от имени нации. Оба не знают личности, растворяя ее либо в общественных отношениях, либо в «крови и расе». Оба по ту сторону добра и зла, вернее — амбивалентны к нему. Оба не знают свободы воли. Оба вне- и бесчеловечны. Европа в силу традиций гражданского общества и правового государства болезненно, но избежала первое искушение, с кровью, но, похоже, изжила второе. Россия же с готовностью кинулась в первую ловушку. О второй — чуть позже.

Речь, однако, идет не просто об адаптации марксизма «российской идеей». Ско-

рее можно говорить о ее «очищении» с его помощью. Еще Н. А. Бердяевым отмечалось интернационализирующее, денационализирующее влияние коммунистической идеологии до и после Октября, вплоть до изменения самого русского антропологического типа. Однако роль марксизма — не в подмене «российского мессианизма» мессианизмом пролетарским. III Интернационал — не «третий Рим», как полагал Бердяев. Марксизм нес в себе самостоятельный мощный заряд духовной энергии, заключенный в единстве глобального размаха, научной глубины и формы изложения, а также мобилизующей силы революции пролетариата, которому нечего терять в этом мире. Другое дело, что этот мощный заряд пришелся на общество, в котором «овечьи добродетели народа» (Н. А. Бердяев) сочетались с зараженностью интеллигенции идеологией «бес-овщины». На фоне серии изнурительных и унизительных войн, а также практического отсутствия индивидуального правосознания, ограничивающего многообразные формы самозванчества, симбиоз «российской» и «коммунистической» идей послужил источником мощнейшего взрыва духовной и политической энергии.

Не исключено, что мы имеем дело со всплеском «пассионарности» — биосоциальной активности — в смысле теории этногенеза Л. Н. Гумилева. Возможно, что дело шло к формированию нового этноса (действительно — «исторически новой общности людей»), если бы не... «пассионарность» сталинщины с ее геноцидом по отношению ко всем носителям «пассионарности». Противоречие сталинизма и сталинщины? Возможно.

В объективном итоге идеологический и политический потенциал марксизма сработал на «очищение», рафинирование в российском сознании «имперского духа» и его двойника самозванчества — все той же безответственной нетерпимости. Как писал в 1907 году тот же Н. А. Бердяев, после «Петербурга» А. Белого и кубизма искусству нечего сказать, должны действовать политики и правители. Заигрывания интеллигенции с насилием и мировым пожаром заканчивались. Начинались реальные пожар и насилие.

4. ГЕРОИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. СОЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. АПОФЕОЗ

Показателен следующий — «героический» — этап развития интересующего нас сознания. Его мировоззренческие установки, пожалуй, наиболее адекватно переданы в песнях гражданской войны. Они еще ждут благодарного исследования. Приведу только несколько хорошо известных примеров, вряд ли нуждающихся в подробных комментариях.

«...И как один умрем // В борьбе за это» — потребность не просто умереть в борьбе, не бороться до смерти, именно умереть всем, «как один». «...И все должны мы // Неудержимо // Идти в последний смертный бой» — к теме последнего и обязательно смертного боя добавляется требование долженствования неудержимости. Речь идет о все той же безответственной нетерпимости.

Возможно, что прав А. И. Солженицын, утверждая, что в этом веке Россия знает только одну революцию, нарушившую ход развития империи и оказавшуюся несостоятельным разрывом с прошлым,— февральскую. Октябрьский переворот потому и прошел безболезненно, что «февральская система» была отвергнута обществом, которое и было возвращено на круги своя. Объективно и по сути дела была спасена и даже рафинирована идея империи, а имперское сознание утвердилось в очищенном тоталитарном, рационалистически первозданном виде, практически — как воплощенная абстракция рационалистической утопии.

Собственно Российская империя действительно пришла к упадку (династии, самодержавия, имперской государственности) и начала разваливаться в 1918 году. Очевидно, ее ждала судьба Австро-Венгрии, в итоге развала которой вряд ли кому-то стало бы хуже. Финляндия, Польша, прибалтийские республики — верные признаки такого распада. Начался распад и собственно «метрополии»: Приморье, Сибирь, Дон, республика Антонова... Этот вполне естественный процесс был остановлен мощным центростремительным усилием. Не случайно в конце 30-х годов генерал Деникин провозглашал здравицу Советской России и коммунистам, с которыми он сражался в гражданскую как с «врагами» и «предателями» России, но сделавших то, что не смог сделать он — спасти идею и саму империю. «Данко»-«рубашовы» начинали как партия интернационалистическая, желавшая поражения царской России в войне, под знаменем мировой революции, начинающейся на развалинах Российской империи. Однако мировая революция не состоялась, отчаянная борьба за ее плацдарм все больше оборачивалась сохранением империи. Реальная империя прекратила существование, но воплотился ее платоновский эйдос. Данко сделал свое дело и становился лишним.

Середина — конец 20-х характеризуются решительным размежеванием «бесов» и «Данко», «рубашовых» и выпестованных ими своих будущих палачей. Огромную страну «убедили», «завоевали». Однако ленинские призывы «учиться управлять», «торговать», «не сметь командовать» крестьянством, «всерьез и надолго» ориентироваться на экономические методы — практически услышаны не были. Верх взяло упоенное победой сознание безграничных возможностей волевого прекраснодушия. Молодое советское общество приготовилось к великому прорыву в будущее, к воплощению вековой мечты, оправдывающей тяготы, лишения, кровь не одного поколения. Это сознание, непосредственно предшествующее сталинизму, сознание, энтузиазм и эйфория которого были сталинизмом использованы. Радикально зараженный общественный организм не осознавал еще своей болезни, принимал лихорадку за прилив сил.

Не будем ворошить пантеон святынь этого времени. Они слишком дороги нашим старикам. Споры о Павлике Морозове, стахановцах, Магнитке показывают всю болезненность и неоднозначность современных переоценок. Представляется, что есть более спокойный, но сохраняющий объективность и дающий очевидные результаты ход мысли. Речь идет о художественной литературе, оставившей нам память об эпохе. Такую яркую, например, как в творчестве А. Гайдара — знаменитого 14-летнего командира полка, отстраненного от командования после расстрела по его приказу большой группы добровольно и с оружием перешедших к красным белогвардейцев, направленного на учебу в Москву и ставшего там знаменитым детским писателем.

Если взять, например, «Сказку о Мальчише-Кибальчише» (фактически не что иное, как своеобразный житийный текст — легенда, рассказанная пионером и пересказываемая пионерам же), то нетрудно убедиться, что на малом пространстве текста выражены практически все основные мифологемы «сознания победителей»: самопожертвования и ухода поколение за поколением в мясорубку борьбы (показательно, что для представлений о «хорошей жизни» достаточно отсутствия этой борьбы — «не рвутся снаряды, не трещат пулеметы»); воздаяния после смерти («пройдут пионеры — салют Мальчишу»); наличия агрессивной внешней опасности — «проклятого буржуинства» (в котором тем не менее находятся «бочки варенья» и «корзины печенья»); внутренней опасности скрытых врагов (предательство Мальчиша-Плохиша). И как апофеоз — максима «Нам бы только день простоять да ночь продержаться!»

Не одно поколение советских детей зачитывалось «Судьбой барабанщика» с ее высоким романтизмом борьбы со скрытыми врагами и шпионами. Вспомним «Тимура и его команду», в тайне от людей, конспиративными методами творящих добро. Перед нами не что иное, как развитие темы конспиративного, нередко насильно творимого (и таким образом — самозваного!) благодеяния.

С любопытной трансформацией гайдаровских сюжетов в 70—80-е годы сталкиваешься в цикле детских радиопередач «Следствие ведет Колобок» (авторы Э. Успенский и Г. Гладков), который трудно расценить иначе, чем пародией на «Тимура» и «Судьбу барабанщика». Речь здесь идет о «срочной помощи добрых дел», действующей в форме сыскного бюро. Она адресуется и к слушателям предложением «написать» о плохих людях. Характеры и сами «дела» типа защиты «народных шедевров Третьяковки» (шедевр само это словосочетание!). Главным защитником выступает Колобок — персонаж, за которым тянется вполне определенный шлейф сказочных ассоциаций «ухода от всех», этакого неукорененного, «деклассированного и денационализированного» перекати-поля. Удивительные все-таки возможны прорастания архетипов «коллективного бессознательного»!

С 30-х годов начинается апофеоз, полное торжество очищенного мифологического сознания, собственно сталинизма и утверждение мифократии. Нетерпимость, поддерживаемая авторитетом победоносной партии, превратилась во всеобщий нравственный закон. Надо только отдавать себе отчет, что это была извращенная нравственность. Ее носители не знают сомнений в собственной непогрешимости. Главный враг — сомневающийся, нарушающий абстрактную чистоту морально-политического единства (хотя заклинания о единстве партии и народа, «блока» коммунистов и беспартийных лишь выдают их реальное противостояние). Поэтому сначала подлежали уничтожению политические противники — меньшевики, эсеры, анархисты, фракционеры и «уклонисты» (объединение усилий с ними все реже приходит на ум). Затем «практическая нетерпимость» репрессий обрушивается на ту часть населения, которая не может не иметь своего мнения, не может не сомневаться — на интеллигенцию: от гуманитарной до военной и научно-технической. Одновременно шло подавление крестьянства, автономной части общества, экономически не зависевшей от милостей Административной Системы.

Полное торжество идеологии нетерпимости и связано с воцарением сталинизма и сталинщиной. Важно, что общество в целом восприняло, а часть и до сих пор воспринимает, массовые репрессии как должное и необходимое. Даже самими жертвами этих репрессий их несправедливость воспринимается через призму этой идеологии. «За что! Ведь он никогда не участвовал ни в какой оппозиции!» — сквозная тема воспоминаний репрессированных. Расстрелы, пытки и страх перед

ними, разумеется, сыграли свою роль. Но главным фактором была все-таки агрессивная добровольная массовая нетерпимость, обусловившая оправдание и искреннюю массовую поддержку расправ с цветом общества, армии, интеллигенции, крестьянства, партий, принятие заведомо нереальных планов и тому подобное.

Не хочется вновь говорить об этом, многое уже сказано и хорошо известно — к чему повторяться. Подчеркну лишь, что сталинизм реализовал единство двух полюсов рационалистической нравственности: сознания «выпоротых» и «ищущих, кого бы выпороть». Он придал этой первоначальной амбивалентности, затем разведенной рационализмом, новую диалектическую целостность. Полное самовластье на всех уровнях от Вождя-Хозяина до местных «хозяйчиков» подкреплялось одновременно героизмом и энтузиазмом, «агрессивной послушностью». Показательно, что их проявления идут по угасающей от движения стахановцев к «бригадам коммунистического труда». Вырождение энтузиазма сопровождалось и ослаблением самозванчества «в центре», но лишь усилило его на местах. Ослабление централизованного контроля лишь способствовало развертыванию коррупции и организованной преступности. Заигрывавшие ранее с «Данко» все более явно перерождались во множество мафиозных «бармалеев». Щелоковщина, медуновщина, рашидовщина, адыловщина... двойной — аппаратный и мафиозный — рэкет есть проявление этого процесса.

5. «ОЗИМОЕ СОЗНАНИЕ», ИЛИ НАЧАЛО КОНЦА

Это этап стагнации и начинающегося разложения — «застоя» — мифологического сознания и мифократии, ростков альтернативного поиска, подобно озимым — высеянным в «оттепель» и покрытым снегами застоя до лучших времен.

Как писала мудрая Н. Я. Мандельштам, «...но всякая идея имеет начало, кульминацию и спад. Когда наступает спад, остается инерция: юноши, которые боятся перемен, опустошенные люди, жаждущие покоя, кучки стариков, напуганных делом рук своих, и мельчайшие исполнители, которые механически повторяют внушенные им в молодости слова». Переходим к этапу настолько близкому к настоящему, что он не ощущается как до конца пережитый вчерашний день. Так иногда бывает поутру, что звучат в тебе вчерашние голоса, споры. Душой и умом ты еще там, с ними. Но наступившее и разбудившее тебя утро есть начало уже наступившего другого дня. И такое неизжитое еще недавнее вчера, «вчерашнее сегодня» не всегда дается для целостного осмысления, разбивается на сюжеты, «картинки», лица, ситуации. Поэтому вновь полезно прибегнуть к посредническому осмыслению художественной литературы.

Исключительного внимания в этом плане заслуживает творчество В. С. Маканина, удивительно полно представившего и выразившего феноменологию этого сознания, создавшего типологию его проявлений, по представительности и открываемой новизне не уступающую чеховской. Это многоголосие составляет портрет эпохи, отчаянно пытающейся понять самое себя, свои истоки и корни, цели и перспективы, а главное — настоящее.

Чем же характеризуется «озимое» (квалификация самого Маканина в единственном его интервью — ленинградскому видеоканалу «Пятое колесо») сознание? Это сознание эпохи полностью развернувшегося вируса духовного СПИДа сталинизма, действия его разлнчных «штаммов»: административно-командного, газетно-энтузиазмического, военно-казарменного, лагерно-психушного, косоруко-бесхозяйственного, алкогольного, теневого и так далее. Это время торжества и застойной перезрелости мифократии и рационалистически-утопического бюрократизма. Вирус настолько развернулся, что успел уже практически уничтожить среду собственного обитания: экономическую, духовную, политическую — и начал зависать в созданной им же самим пустоте.

Основная часть населения только-только обжилась в отдельных квартирах, в которые люди переехали из бараков и коммуналок с их коверкающим душу бытом. Нравственность этого сознания Маканин определяет как барачную этику в отдельных квартирах. Главное отличие этого сознания, в отличие, например, от сознания победителей,— в сознании собственной античеловечности и бесперспективности. Оно рефлексивно, направлено не энтузиазмически вовне, а на самое себя, озабочено собой, собою мается.

Главная маета связана с осознанием своей неукорененности, сорванности, отсутствия корней и зависания в пустоте. Эта сорванность может пробиваться в подсознание, заставляя искать, нащупывать глубинные связи и истоки («Голоса», «Утрата»), может гнать человека с места на место, загоняя в одинокую смерть на краю света (маканинский «Гражданин убегающий» предвосхитил распутинских «архаровцев»). Неукорененное, сорванное сознание сбивает людей в неструктурированные, дисперсные «рои», закрепляя в кругах компаний, в которых четко различаются «свои» и «чужие» («Старый поселок», «Место под солнцем»). Фактически это аналог и про-

должение барачно-лагерных стаеобразных общностей. Для человека до отчаяния важным становится быть своим в такой стае, стать «чьнм-то». Воля к неволе и самозванчество приобретают одновременно бытовой и метафизический характер.

Чутко уловлено Маканиным восторженное преклонение интеллигенции не просто перед «народом», а перед «прошедшимн лагерь», вплоть до самоотдачи на поругание уголовнику-рецидивисту, которому приписываются «высокие страдания» («Отставший»). Интеллигентные люди, несмотря на комплекс вины и стремление слиться с «роем», разобщены и изолированы, не нужны не только обществу, но и друг другу. Суетливая активность сочетается с не менее судорожным недеянием.

И над всем царит, все пронизывает идея справедливости, как равенства в условиях, когда на всех заведомо не хватает счастья и благ («Ключарев и Алимушкин»), жилья («Пора обменов»), любви («Отдушина»). Даже в творчестве действует своеобразный «закон Ломоносова»: чем больше «прибавляется» в профессиональном творчестве, тем больше «убавляется» в народной среде, его питающей («Там, где небо сходилось с холмами»).

Нетерпимость проявляется в самых разнообразных формах и ко всем «не своим»: от нравственного ригоризма молодости («Прямая линия») до эпического противостояния «дворянской» и «красногвардейской» бабушек, беззаветно любящих своего внука («Голубое и красное»), до мафиозности «стаи» («Старые книги», «Место под солнцем»). Нетерпимость приобрела «онтологический» характер, максима «не высовывайся» настолько глубоко вошла в кровь и плоть, что человек начинает безотчетно, испытывая при этом одухотворенность и духовный подъем («Антилидер»), даже себе во вред, набрасываться на любого, кто хоть чем-то отлкчается и выделяется.

Вся эта симптоматика, как нетрудно заметить, проявлялась и раньше — в сознании победителей и в апофеозе. Но для «озимого» сознания специфично именно безысходное осознание собственной чуждости, стремление и невозможность уйти от самого себя. Это больное сознание больного общества, осознавшего свою болезнь и ее источник — неправедность и ложь.

Прописываются Маканиным и линии поисков возможного «спасения». Его можно искать, самозабвенно вписываясь в «систему» («Место под солнцем»), что чревато утратой себя и крахом. Можно искать его в вере, дающей «энергию заблуждения»: то ли в отстаивании застарелых «принципов», то ли в надежде на чудо, что есть кто-то, кто спасет в последний момент («Предтеча»). Можно «очиститься», покаяться правдой о себе перед другими — так лечит онкологических больных Якушкин в «Предтече». Беда в том, что все эти пути «спасения» оказываются основанными на все той же нетерпимости, даже — последний. Каяться, отказываясь от своего прошлого (выкапывать и выбрасывать очередной труп — как в фильме Т. Абуладзе) — вряд ли конструктивное и нравственное занятие.

Фактически речь идет о тупиках и распаде сознания самозваного Данко-конспиратора. Поразительно, что даже этот обертон чутко ловится Маканиным. В «Один и одна» рефреном проходит тема уподобления двух интеллигентов конспираторам, которые слишком долго носили в карманах свои половинки рыбки-пароля. При встрече они друг другу не открываются — края рыбки стерлись и не стыкуются. («Победителн» очень легко и быстро «стыковалчсь» — показательно сравнить тогдашние быстротечные гражданские браки и нынешние томительные поиски супруга.) Они оказываются ненужными и новой стае хищников, дорогу которым сами же открыли.

Геннадий Павлович в «Один и одна» сопоставим н с прекраснодушным Маниловым (что лежит на поверхности), и со Степаном Верховенским, не признающим в «бесах» своих духовных наследников. Как и сердце Данко, их душа растоптана теми, кого они вели за собой. Цикл феноменологии данного сознания сюжетно замкнулся. Можно сказать, что Геннадий Павлович завершает славную галерею «новых» и «новейших» людей.

Но в чем же возможная позитивная альтернатива «действительного спасения»? Наверное — в поисках корней, прислушиваться к «голосам», пробивающимся в ум и душу из толщи истории («Голоса»), и расти на этих корнях; искать «отставших» от безумных крысиных бегов «хранителей» с перебитыми руками и ногами («Отставший»), восстанавливая тем самым какие-то утраченные традиции. Вопрос только — какие?

По крайней мере ясно, что бесперспективно и даже опасно искать на стыках расползающейся ткани, на нестыкующихся стыках осколков («рыбок») то, что казалось единым монолитом. Из этих осколков-льдинок составляется лишь одно «невозможное» Снежной Королевы. Но это уже тема сегодняшнего дня.

6. «ПОКАЯНИЕ» МИДАСА, ИЛИ СМЫСЛОУТРАТА

Фильм Т. Абуладзе открыл и во многом «озаглавил» нынешние духовные искания. Переосмыслению подвергаются все и вся. Прошлое: дореволюционное и революционное, гражданская война, нэп, кол-

лективизация, война 1941—1945 годов, внешняя политика. Настоящее: национальные проблемы, кооперация, ИТД, афганская война, молодежные проблемы. Накал и ход дискуссий иногда напоминают сон Родиона Раскольникова в конце «Преступления и наказания». Одно можно констатировать четко и ясно — распад сталинистской мифологии и мифократии, осознаваемый некоторыми социальными силами и людьми как профессиональная, деловая, а то и личностная жизненная смыслоутрата.

У «озимого» сознания сохранялась иллюзия, что неверными методами осуществляются верные идеи. Несмотря на осознанную неправильность политики, сохранялась вера в правильность лозунгов. Теперь же возникает сомнение и в лозунгах. В свое время В. В. Розанов выводил российский социализм из религиозного сознания: ветхозаветная религия — живой синтез духа и плоти, новозаветное христианство — абстрагирование духа от плоти, социализм — абстрагирование буквы от этого духа. Если воспользоваться этой небесспорной формулой, то сейчас можно констатировать «разбегание» букв, недавно еще составлявших слова, а возможно, и утрату букв.

Глубокий распад мифократии можно было бы расценивать как безоговорочно положительный процесс, как основу и источник рационального осмысления, социального диалога, терпимости, утверждения человеческого достоинства. Перестройка могла бы стать духовной реформацией, несущей ценности свободы, личностной ответственности и инициативы. Однако приходится употреблять сослагательное наклонение, ибо дело обстоит намного трагичнее, чем кажется на первый взгляд. Главный «механизм торможения» — наше сознание — то, от чего не откажешься в одночасье, что не перестроится по директиве. Ведь не случайно избавление от сталинизма шло относительно легко и быстро только в тех восточноевропейских странах, где он — хотя и насаждался искусственно — но не имел духовной почвы и легитимности. В советском же обществе, в результате многолетнего, если не многовекового, очищения идеи тождества желаемого и действительного и «жизни в идее», преобладают искаженные и очень далекие от реальности представления о собственно реальной жизни.

Между тем современные производственные технологии, само строение общественного труда предполагают не просто квалифицированных работников индустриального профиля, но и образованных, культурных, а главное — ответственных, способных к компетентной инициативе, самостоятельному мышлению. Однако в условиях авторитарного тоталитаризма, фактической нищеты и двоедушия происходит разрушение нравственности, не дополняемое конструктивными духовными и нравственными процессами. Образуется нравственный вакуум. В годы войны, перед лицом стихийных катастроф вакуум естественно заполняется. Но при ослаблении внешней опасности, в условиях нормальной жизни внутренних сил, подорванных духовным СПИДом, оказывается недостаточно. Сохраняется вера в запретительные меры, сильную руку и прямое насилие (антиалкогольная эпопея, дискуссии о смертной казни, о кооперации, талонизация в сочетании с «рабочим контролем»). Наиболее денационализированная часть общества — русский этнос — отчаинно цепляется за то, что лишило и лишает ее самостояния и самосознания — идею империи. Персонифицированная власть, как и испокон века на Руси, остается «священной коровой».

Иначе говоря, «большой миф» рухнул, но менталитет остался, и осколки «помнят» друг друга, «помнят» и тянутся друг к другу. Социальная неустойчивость и смыслоутраты касаются главного — смысла жизни, ее перспектив. Зыбкость и социальная незащищенность создают питательную среду роста преступности и одновременно — ностальгию по «сильной руке». В условиях политической неструктурированности, дисперсности, «размазанности» общества, отсутствия в нем естественных социально-экономических и политических связей и отношений, направленных на реализацию интересов различных социальных сил, неосознанность самих этих интересов — в этих условиях политическая активность носит деструктивный характер, лишена конструктивного начала. Выборы носят характер «халявного протеста» — пощечины руководителям, «не давшим» мыла, чаю, сахара и так далее. Сохраняется российский маятник кротости и крутости: вчера руководитель — помазанник Божий, сегодня — злодей, завтра — праведник. На выборах побеждают «казаки-разбойники»: либо следователи — желательно КГБ — фирма гарантирует, либо пострадавшие — желательно с отсидкой и желательно от КГБ — это фирма тоже гарантирует. И как стопроцентный «верняк», «в десятку» — пострадавший от КГБ следователь КГБ.

Тотальное неверие ничему и никому (в силу краха «большого мифа») дополняется не менее тотальным желанием лучшего и желанием верить. В принципе, недовольство существующим и притязания на лучшую долю никогда не были тормозом развития. Наоборот. Недовольство есть первый шаг к прогрессу. Но не тогда, когда оно доминирует в инфантильно-потребительской среде.

Никак России вот уже полтора века не пролезть через игольное ушко первоначального накопления. Все понимают, что с той стороны всем станет лучше, очень даже ясно видят, как это «лучше» выглядит. Но никак не пройти через изначальную узость. Надо, но только всем миром. Как это кому-то, вот ему будет лучше, чем мне?! Почему?! За что?! А я?!

Нужно очень резко затормозить эту инерцию ума и души, чтобы осознать бессмысленность, если не полный идиотизм борьбы с «нетрудовыми доходами» и самого словосочетания. «Нетрудовой доход» — это все равно что «круглый квадрат» или «железная деревяшка». Не то прилагательное к не тому существительному. Доход не может быть трудовым или нетрудовым. Доход может быть законным или незаконным. В терминах «трудовой — нетрудовой» трудящемуся не понятно, что такое наследство, клад, подарок, творческий гонорар, доход с патента. Непонимание до невроза и истерики. Ведь не трудился, не вспотел, а доход есть! Я потею, потею, тружусь всю жизнь и дохода никакого, а он...

Труд никак не связывается с доходом на Руси, труд — это нечто подневольное, вынужденное, рабское. Какой тут доход! Доход — что-то туманное, далекое, сомнительное, не про нас, не наше. Наше — не доход, а доходяга. От труда можно только «дойти». А достаток либо от того, что смог «достать» что-то или даже кого-то, либо от барских или царских щедрот — «дача». И ведь до сих пор убогие бидонвили, слепленные из уворованно использованных-присвоенных материалов «трудящимися» на милостиво выделенных ему властями неудобьях, называются «дачами». Зато торгово-закупочная деятельность, когда не потеют, а доход имеют — нечто непонятное, не наше, подозрительное. Недаром купеческий Новгород всегда был костью в горле московских князей и царей.

Можно долго говорить о психологии рабского подневольного труда, обессмысленного и раздавленного княжеско-партийно-государственным рэкетом присвоения результатов чужого труда. Но ведь не с народником-популистом говорить об этом! А таковых — левых и правых — по данным социологов в 1990 году, только в Москве — 87%. Его волнует прежде всего «справедливость» очередного перераспредела, справедливость очереди. Агрессивно-халявное отношение к государству — «Дай!» — дополняется восприятием роста чьего-то благосостояния как нарушения основ социальной справедливости. Такое недовольство опасно.

Тем более, что оно «круто замешано» на нетерпимости, приобретшей за многие века своего культивирования «онтологический», почти метафизический характер. Она пронизывает и пропитывает все — от художественной жизни до «бытовых сцен». Беда не в том, что какие-то внешние причины вызывают рост агрессивности и насилия. Тогда проблема была бы лишь в устранении этих причин. Беда в том, что нетерпимость стала субстанцией ума и души. Насилие начинается с отрицания всего, что хоть сколько-нибудь противоречит воспаленному самозванчеством сознанию. Каждый «живет в идее», своей идее, готов страдать за нее.

Экономический кризис и политическая неоднозначность создают исключительно благоприятную среду для новой волны нетерпимости и мифотворчества. Общественное сознание чрезвычайно уязвимо для различного рода паник, слухов и самозванчества. Примитивные идеи легко подхватываются и распространяются. Общественное мнение, если не религиозно, то крайне доверчиво. Все кажется, что кто-то откроет какую-то сокровенную истину («главную тайну» Мальчиша-Кибальчиша) и жизнь враз переменится. До дыр зачитывается Ленин в поисках «скрытых» до сих пор заповедей. В этой ситуации «сами собой» возникают самозванцы-носители этой «истины». Опять — отмычки к вратам счастья.

Очень напоминает все это известный анекдот, когда на призыв к праздной толпе «прекратить танцевать!» та подхватывает призыв: «Пре-кра-тим тан-це-вать! Пре-кра-тим тан-це-вать!..» и, скандируя его, пускается в новый пляс.

Действительно, сохранилась и приумножилась удивительная способность превращать любую разумную идею в неожиданную противоположность. Демократию — в игру самозванческих амбиций, кооперацию — в механизм усиления монополизации и инфляции, акции — в форму изъятия средств, аренду — в средство закабаления, правовое государство — в гонку законотворчества, регламентирующего все случаи жизни. Все, к чему ни прикоснется Мидас нашего сознания, превращается в собственную противоположность вопреки всем разумным прописям науки и опыту зарубежной цивилизации.

Есть ситуация свободы и есть ситуация воли. В ситуации свободы зона моей свободы совпадает с зоной моей ответственности. Если я принимаю решения свободно, то есть если это мои и только мои решения и действия, то я и только я за них отвечаю. И наоборот — мне может быть вменено только то, относительно чего я свободен. Остальное — не мои решения и не мои действия, я не могу отвечать за них, даже если и выполнял нечто под принуждением, вынужденно, несвободно. Поэтому как я могу стать свободнее, расширить сферу своей свободы? Только

расширив сферу своей ответственности. А как я могу это сделать? Только учтя интересы других людей, ответив на их запрос и взяв на себя ответственность за его реализацию. Ситуация свободы — ситуация мира и сотрудничества, признания другого. Потому и богатеет свободное общество, что оно есть общество взаимного удовлетворения взаимного спроса. Социальное пространство в нем всюду плотно структурировано этим взаимным спросом, тотальным диалогом, одним из проявлений которого являются рыночные отношения.

И есть ситуация воли. Это когда меня напрочь не интересуют интересы других. Зато у меня есть идея. И я себя не пожалею во имя ее, но и других не пощажу. Например, есть идея храм построить. Денег нет — не беда: пару старушек угроблю, купца ограблю, зато храм поставлю. В ситуации воли социальное пространство не структурировано, в нем не на что опереться. Оно пусто, как барабан, и в нем носятся самозванцы со своими идеями, сталкиваются друг с другом, отлетая друг от друга как бильярдные шары. Грохоту и шуму много — реального толку никакого. Здесь нет мира, нет другого, а есть всеобщая вражда.

В ситуации свободы речь ответственна. Слово необратимо и нелинейно. Поступочно. Речь и слово — средства влияния на реальность. В ситуации воли они безответственны и невменяемы, линейны и обратимы, потому как самодостаточны и самоцельны. Оторванные от реальности, с нею никак не связанные, слова образуют как бы параллельный ей ряд, а то и претендуют на замену самой реальности. Это не ответственная, вменяемая речь, а невменяемое бормотание — заклятье реальности и других людей. Не поступок — гражданский правовой акт, а магическое действо. Этим, наверное, и объясняется поразительная способность к практически мгновенной смене убеждений, отказ от собственных слов, их забвение. Все та же амбивалентность «по ту сторону добра и зла».

Политический плюрализм вырождается до уровня личных амбиций «лидеров». Партии, ассоциации, кооперативы, малые предприятия и тому подобное не регистрируют только ленивые. И не важно, что дела реального нет. Главное — заявиться, зарегистрироваться, провозгласить себя. Со своим уставом и своим счетом. Численность граждан и уставов со счетами стремительно сближается, и есть опасность, что вторых скоро будет больше.

А сотрудничества нет и не предвидится. Есть ревнивое стояние «на своем», стремление навязать другим свою «эгиду». Пусть все делают то, что и делали, но пусть под нашей эгидой, от нашего имени. Разговор об «эгиде» — типично самозванческий. Не учет взаимных интересов, а собственное ячество. Ф.-И. Штраус незадолго до кончины, прилетев в СССР, обронил близкую к гениальности фразу: «Общность интересов важнее разговоров о дружбе». Но это про свободных людей в ситуации свободы. Мы же упорно продолжаем говорить о дружбе, заклиная друг друга собственными «эгидами», навязываемыми другим.

7. НОВЫЙ СИНТЕЗ?

Парадокс в том, что общество сегодня оказывается лучше подготовленным к тоталитаристскому и самозванческому манипулированию, чем даже в 1918 году или в конце 20-х. С болью и кровью вырвавшись из нравственной ловушки классового невменяемого представительства, наше общество, похоже, с радостью готово угодить во вторую ловушку представительства «крови»: «Земля — достояние народа...» И ведь это записывается в закон. С пафосом победы и без тени сомнения, что земля не может принадлежать народу. Она может принадлежать тому, кто ее обрабатывает. На юге России издавна жили вместе разные народы. Греки ловили рыбу, русские занимались ремеслами, украинцы — земледелием, молдаване — скотоводством, евреи — торговали. Этносы могут прекрасно уживаться до тех пор, пока один из них не начнет претендовать на землю и государственность. Как только это происходит — возникает ситуация Палестины, Ливана, Ольстера, Карабаха... Здесь могилы и моих предков, и моих, и моих... Здесь наши храмы, и наши, но и наши, и наши... Это кочка башкирская, а эта — татарская. Все. В лучшем случае — вавилонская башня.

Но ведь «нация», по сути дела, столь же пустое, бессмысленное и опасное понятие, как и «класс». Они важны для теоретических рационализаций — абстрактных инвентаризаций, но не для использования в реальной жизни. В жизни национальная, как и классовая, принадлежность — извне навязываемое отнесение человека к некоей абстрактной категории. Отец — узбек, мать — украинка, живет в Киргизии, ни по-киргизски, ни по-узбекски, ни по-украински не понимает. Говорит по-русски и относит себя к русской культуре. Но ему говорят — ты узбек. Отец и мать — татары, сам живет в Киеве, ни татарского, ни украинского не знает, но ему говорят — ты татарин. Это не выдуманные примеры, а живые люди, мои хорошие знакомые.

Нация — извне навязываемая человеку инвентарная бирка, а не этническое самосознание — самостоятельный выбор, соотнесение, самоидентификация личности с определенной культурой. Национальность — медико-полицейская инвентари-

зация — лишает личность этого выбора. Как и класс, она — издержка невротически коллективистского сознания, когда человек, не зная себя и своих интересов, думает, что они выражаются в его принадлежности к абстрактному множеству типа нации или класса. «Нашизм».

Более того, в настоящее время мы, похоже, переживаем синтез невменяемости сталинизма и национал-социализма, что убедительно показано в серии публикаций А. Янова. Этот процесс, предсказанного еще С. Франком синтеза «красной» и «черной» идей происходит на наших глазах. Такой курс имеет очевидную социальную базу, опирается на интересы немалых слоев общества. Развращенных выводиловкой и уравниловкой «трудящихся» интересует гарантия заработков, желательно — немалых. Отсюда их боязнь рыночных отношений, заставляющих думать о завтрашнем дне. Эти интересы смыкаются с интересом бюрократического чиновничества в сохранении «сильной власти», что, в свою очередь, стыкуется с интересами хозяйственников, кооператоров и бизнесменов теневой экономики, заинтересованных в свободе рук на рынке при сильной политической власти. «Параллелограмм сил» очевиден.

Оснований для негативных оценок и пессимистических прогнозов более чем достаточно. На протяжении всей нашей истории нарастает и приобретает все более отчетливые формы безответственная нетерпимость, ее содержание приобретает все более очищенный, рафинированный вид, она становится все более явным принципом общественного устройства и индивидуального сознания. Можно ли сказать, что в наше время достигнут предел?

Такой вывод можно было бы отнести на счет личного пессимизма автора. И я заранее и сразу с такой оценкой соглашаюсь. В различных аудиториях приходилось сталкиваться с неприятием сделанных выводов. «Это слишком безысходно», «должна же быть надежда» и тому подобное. Приходится констатировать, что эта потребность в оптимизме — одно из проявлений все той же духовной болезни.

Можно, конечно, ограничиться дежурным оптимизмом насчет демократизации, гласности, арендизации и так далее. Типичные сюжеты нынешних дискуссий — от общественного транспорта и очередей до университетских аудиторий и съездов народных депутатов — «необходимость дать позитивный идеал» (По заказу? Дать? Кто и кому?), или, если воспользоваться «храмовой» терминологией, восходящей к тому же фильму Т. Абуладзе,— показать и «храм» и «дорогу», к нему ведущую. Так «прорастают уши» все того же сознания.

Говорить не своими словами, думать не своими мыслями, переживать не своими чувствами, не своими, но кажущимися прагматически целесообразными — вот наш опыт. Наша культура перенасыщена культурой, отработанными другими временами и другими народами культурными формами. Наша культура охранительно-предохранительна, если не контрацептивна. И все хотят бороться за наследие. Живое творчество «здесь и сейчас» практически никого не интересует — только апробированное и престижное. То, что нужно возрождать. Но не живое творчество, не свои мысли, не свои слова. Не собственная работа собственной души. Навык собственной работы ума и души практически отсутствует.

Есть заглатывание с превеликой готовностью чужих мыслей, слов, культурных «консервов». «Как, Вы не читали последней статьи Нуйкина? С Вами трудно общаться». «Глотатели пустот — читатели газет»,— писала Марина Цветаева. Собственные мысли собеседника не интересны. Интересно — читал он то же, что и ты, или — нет. Бирочно-инвентарный подход.

Логика этого сознания доводит до дилеммы: либо продолжение перестройки и нарастание напряжений до «внутреннего взрыва», либо ее остановка, когда единственным средством консолидации остается сплочение перед лицом внешней опасности — пусть даже выдуманной, то есть неизбежный «внешний» взрыв. Либо истерические заклинания о «развале» страны, либо танки и саперные лопатки. Становится ясным, что главным препятствием обновления становится все тот же менталитет.

Приходится иногда слышать вопрос — стоит ли рационализировать абсурд? Не имеем ли мы дело с неким историческим недоразумением? Например, захватом в свое время власти полубезумным уголовником? Мне кажется, что мой пессимизм методологически более плодотворен и оптимистичен, чем «оптимистические» векселя на «дороги, ведущие к храму», или сведéния к абсурдистскому выверту истории. Начиная с абсурда, мы оказываемся беспомощными. Только поняв его природу и неслучайность, получив абсурд в итоге рационализации, можно попытаться противостоять его силам и радоваться его поражениям, как бы неожиданны они ни были. Это будет действительно спасительной правдой.

Реальная надежда не на идею, не на ее представителей, а на каждого из нас, оказавшегося у разбитого корыта и жизнью поставленного перед необходимостью собственной работы собственных ума и души. Осознания собственных интересов и сотрудничества с другими. Не слияния и единства, а реального конструктивного сотрудничества. Не представительство и жизнь в идее ткут реальную ткань бытия.

Ирина
МУРАВЬЕВА

КАК НАС ОТУЧАЛИ ОТ ПРАВДЫ

За последние годы слово и понятие «правда» в нашем общественном сознании и употреблении наконец-то вроде бы пошли на сближение. Слово «правда», конечно, существовало у нас всегда и имело самое широкое хождение — в громких речах, в названиях многочисленных газет с прилагательным и без оного, то есть в том, примерно, смысле, как названия министерств в романе Оруэлла «1984»: Министерство Любви (где пытают), Министерство Правды (где подчищают историю, правду уничтожая). В чем-в чем, а уж в демагогии мы поднаторели, достигли действительно невиданных в мире высот, догнали и перегнали сотни Америк...

Кроме «правды» газеты «Правда», существовала всегда и правда иного рода, потаенная, народная, за которую можно было и срок схлопотать,— правда Самиздата, анекдота, разговоров «на полночных кухнях», правда Галича и Высоцкого, Солженицына и Сахарова. И вот теперь есть возможность высказать ее во всеуслышание и не сесть за это в тюрьму или в психушку, не быть выдворенным за пределы родины. Сказано много смелых, весомых, прямо-таки ошеломляющих слов — с газетных и журнальных страниц, с экрана телевизора, с трибуны Съезда народных депутатов и со множества трибун рангом пониже.

Атмосфера общественной жизни стала иной, это бесспорно.

Конечно, и теперь многих правдолюбцев и правдоискателей норовят объявить «экстремистами» (очень уж полюбилось это удобное словцо демагогам разного толка) или даже по старинке — агентами иностранных разведок. Чаще всего это происходит в провинции, да и не только... Конечно, и теперь увольняют из армии или, как в ссылку, отправляют служить куда-нибудь подальше, на Север, людей, дерзнувших ступить в неравную борьбу за справедливость — слыханное ли дело! — с высшими чинами.

Короче говоря, словесной, печатной правды, которая сама по себе большое завоевание и к которой мы уже начинаем привыкать, пока гораздо больше, чем правды, так сказать, дела и факта, правды на местах и в действии. Она существует как бы отдельно от нас, как бы парит над нами в воздухе, не спеша садиться на грешную землю.

Ничего нового в этом, понятно, нет. Полное торжество правды, рай на земле, как показывает история, невозможны; во всяком случае — что-то не получается... Жизнь всегда была ареной борьбы двух сил — добра и зла, правды и лжи. Всегда существовали люди, которым без правды, как без воздуха, которые просто физически гибли без нее... И другие — корыстные, хитрые, подлые, которым вся эта правда ни к чему, пока несправедливость не коснулась лично их — никуда от этого не денешься. Было бы глупо призывать всех поголовно резать на каждом шагу правду-матку — «комплекс правдолюбия» уместен далеко не всегда. Но это больше, пожалуй, касается частной жизни. Я собираюсь вести речь о другом.

Все же у нас в стране (и я помню это с детства) всегда существовали, вопреки официально навязанным, другие нравственные критерии и ориентиры, на которые оглядывались, открыто опускаться ниже которых стыдились; существовала скрытая под покровом официальной лжи нравственная жизнь народа, в числе правил которой было понятие о том, что лгать и красть, даже по мелочи, нехорошо, что есть честное слово, которому можно верить без бумажки, есть понятие чести вообще.

Но постепенно жизнь довела нас до того, что элементарные понятия стали казаться слишком элементарными, примитивными, что ли. Перед очередными выборами одна интеллигентная дама на мои слова о том, что кандидат в депутаты должен быть, кроме всего прочего, хорошим человеком, снисходительно возразила:

— Какое это имеет значение для политики? И вообще, что значит хороший человек? Хороший, плохой — что за детский сад!

Действительно, только в детском возрасте безоговорочно делим мы окружающих на хороших и плохих. А мы, взрослые, солидные люди, мы все такие сложные, трудно уловимые, у нас столько различных побудительных мотивов поведения, столько причин для умолчания, столько оправдывающих обстоятельств, да и жизнь так сложна, что где уж нам до прямых оценок и суждений! Но критерии порядочности, как ни увертывайся, все равно существуют, и по ним хороший человек — это тот, кто при возможных своих внутренних противоречиях и недостатках поступает по совести, кто может заблуждаться, но заблуждаться искренне, а не по расчету, кто в решающий момент не предаст, не смолчит, не опустит глаза. Тот, на кого можно положиться. Тот, у кого сохранилось «старомодное»

понятие чести и справедливости, не подмененное лукавством, способностью оправдать средства — целью, расчет и трусость — тактикой.

В наши дни эти критерии стали все больше и больше размываться...

Человеческое общество в конце концов без правды загнивает — в этом мы убедились на собственном опыте. Общая правда складывается в конечном счете не из директив сверху, а из малых ежедневных правд, осуществляется через них — через то, что происходит «на местах». И ох как трудно, оказывается, дается эта «малая правда»! Нам самим, казалось бы, и карты в руки... А мы помалкиваем. К счастью, не всегда и не все. Но часто, очень часто молчание воцаряется, когда молчать нельзя. Почему?

Мы уже не боимся, что нас немедленно посадят или уволят (а впрочем, в уголке сознания живет, возможно, и это — ведь все может быть, диктует нам опыт). Но мы так привыкли к тому, что критика, попытка выяснения правды тут же вызывает ответный огонь, что непосредственный наш начальник — царь и Бог в своей конторе; что наша дальнейшая работа целиком зависит от него (да что говорить, так и есть), и мы поневоле готовы поступиться чувством справедливости, чувством собственного достоинства. В результате соотношение сил снова складывается в пользу сторонников старых методов, и черное опять становится белым. А мы молчим, как в «старые, добрые» времена. «Потому что молчание — золото» — как крепко вбита нам в голову эта премудрость!

Исторические корни нашего молчания проанализировал И. Клямкин в своей новомировской статье «Почему трудно говорить правду». Я же хочу показать, как формировалась привычка к молчанию, то есть к молчаливому одобрению лжи (хотим мы этого или нет) на примере одного поколения, зрелый возраст которого пришелся на шестидесятые годы. Возможно, это поможет что-то понять в происходящем сейчас.

Ведь общественная нравственность рутинна, внутренние процессы в ней идут медленно, отставая от процессов социальных. Сейчас мы пожинаем лишь плоды того, что происходило шестьдесят — семьдесят лет назад (этого не понимают или не хотят понять апологеты «порядка», который якобы существовал при Сталине, упорно сваливая все плохое, что происходит сейчас, на день сегодняшний, забывая, что история — процесс непрерывный). Например, старинный русский принцип определенного благородства в драках, воплощенный в поговорках: «Семеро одного не бьют», «Лежачего не бьют» — был все еще жив даже после войны, в сталинские времена. Для василеостровской шпаны моего детства он еще был законом. Но в те же страшные годы, когда не только семеро конвойных, а все силы государства били одного, безоружного, постепенно (не сразу!) выбили и старые принципы из народного сознания. Лежачих стали бить ногами, а на одного принято теперь набрасываться именно толпой — так безопаснее для нападающих.

Причины происходящего сегодня надо искать в давно прошедших днях. Поэтому, возможно, полезно будет вспомнить, как нас отучали от присущего человеку чувства правды, от необходимости «жить не по лжи» (спрятав заодно от нас на долгие годы само это произведение Солженицына); как закладывалась в психику нашего поколения столь удобная привычка к общественному молчанию. Не выступать с доносами и обличениями (хотя было и это, как же без этого!) — для нашего поколения в массе характерно молчание. Молчать, не вмешиваться, а потом так же молча голосовать за то, что предложено... Я имею в виду просто среднего человека из поколения — не подлеца и не героя; да простят меня те, кто не молчал.

Боюсь, что мне слишком много придется рассказывать о себе, о фактах из собственной жизни, в этом есть известная неловкость; но ничего не поделаешь — все горькое лучше всего познается на собственном опыте.

В возрасте десяти-двенадцати лет мир и его устройство воспринимаются чаще всего как данность. И мы пели с чувством, звонкими голосами (объединенный хор четвертых классов): «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет...», нисколько не задумываясь, почему какой-то там непонятный полет нашей юности — это именно Сталин, ни в чем не сомневаясь и пребывая в счастливом неведении. Это было время надежд. Мы радовались концу войны, тому, что можно, наконец, наесться досыта (хоть кашей, хоть макаронами, но все же наесться), и массе других, ослепительно ярких, словно дождем омытых мелочей. Сталин и его восхваление шли вторым планом, фоном жизни, как нечто само собой разумеющееся, незыблемое. Взрослые, оберегая нас, слишком многое от нас, двенадцатилетних, скрывали; лишь иногда мой дедушка в раздражении, со словами: «Ну, опять завели!» — выдергивал из розетки вилку радиорепродуктора, когда начиналось очередное величание Сталина, а это происходило по нескольку раз в день...

Радио играло в тогдашней нашей жизни гораздо большую роль, чем сейчас,— общедоступного телевидения еще не было. Слушать популярные радиопередачи

собирались семьями. Некоторые далеко не первосортные стишки из детских и литературных передач тех лет запали мне в память на всю жизнь...

И вот в один из весенних или летних дней 1946 года я услышала из черной тарелки репродуктора рассказ Михаила Зощенко «Рогулька» — о несведущем штатском человеке с разбомбленного парохода, ухватившемся в воде за какую-то рогульку,— а потом оказалось, что это не рогулька, а мина: «Наконец, с катера кто-то высовывается и кричит нам в рупор:

— Эй вы, трамтарарам, за что, обалдели, держитесь — за мину!»

Рассказ хвалили — в послесловии к нему было сказано, что Зощенко в свойственной ему одному манере сумел сделать мину нестрашной, опасность — предметом шутки. Мне рассказ тоже понравился.

Прошло несколько недель. Я включила как-то радио и снова вдруг услышала про «Рогульку». На этот раз металлический голос с гневом говорил, что рассказ Зощенко «Рогулька» — издевательство, насмешка над советским человеком, глумление над священными для всех нас чувствами. От чьего лица это говорилось, я, к сожалению, не помню, но хорошо помню свое тогдашнее изумление. Мне, двенадцатилетней, не склонной еще читать газеты, и невдомек было, что между этими радиопередачами пролегло не только несколько недель, но и постановление ЦК и доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И я никак не могла понять, как один и тот же рассказ можно было еще совсем недавно хвалить, а теперь по сути дела за то же самое, только сменив плюс на минус, взахлеб ругать.

Мне был дан первый урок явного, белыми нитками шитого двоемыслия, суть которого так блестяще изложил Оруэлл: «Зная, не знать; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь; придерживаться одновременно двух противоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих; логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая ее...» — но я этот урок не приняла. Я наивно думала, что произошла какая-то ошибка, я привыкла верить черному репродуктору, считая, что неправду он сообщать никак не может: там ведь где-то всё проверяют, чтобы было правильно!

Но постепенно понятие двойной морали, общественного лицемерия уже начинало входить в нас. Мы уже хорошо понимали, что можно сказать дома, а что — в школе, на уроке или на собрании. Пионерские сборы, комсомольские собрания, я, как и многие другие, всегда не любила, считая их напрасной и скучнейшей тратой времени, в глубине души чувствуя их фальшь, но привычно полагая, что иначе и быть не может, так уж заведено и должно быть.

Что же касается пресловутого постановления, то я, конечно, вскоре о нем узнала и начала прилежно «изучать» его из года в год на уроках литературы. В то же время я всегда, с детских лет, любила Зощенко, мы с сестрой часто цитировали его кстати и некстати: «Что это,— говорит,— за шум, а драки нету? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка», «Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!», «Вынимайте меня из воды, или сейчас я сама выйду и всех тут вас распатроню»! Но постановление, клеймящее Зощенко и Ахматову (стихов Ахматовой я тогда почти не знала), почему-то прошло тогда мимо моего сознания, не вызвало внутреннего протеста. Видно, так уж сильно было вбито в голову — так должно быть, и все. И лишь позже, в университете, возненавидела я это постановление — кончалась для меня пора духовной спячки.

В восьмом классе, в начале учебного года, мы сбежали все, как один, с урока черчения и пошли в кино. Очень уж мы не любили черчение, я и сейчас не понимаю, зачем оно в школе в том виде, в каком его преподают... А фильм шел какой-то захватывающий, чуть ли не знаменитый «Тарзан». Класс у нас был новый, собран из разных школ-семилеток, и было в нем всего две комсомолки (остальных еще не успели принять). Одна из них, увы, я.

Директор школы, крупная женщина с волевым подбородком, объявила наш побег с урока политической забастовкой. Начали, как это водится в советской педагогике, выявлять зачинщиков. Выявить их не удалось, тогда директорша сказала, что отвечать за все будут комсомольцы — передовой отряд советской молодежи, раз уж они не сумели удержать остальных от побега. Нас двоих вызвали на школьный комитет ВЛКСМ и единогласно исключили из комсомола. Не помню уж, какие именно слова говорили бедные примерные девочки из комитета, но осуждение, как писали обычно в газетах, «было единодушным». Я восприняла это как крушение мира. Виноватой я себя не чувствовала — все это было как стихийное бедствие. Я сидела в пустом классе за партой и плакала навзрыд.

Ко мне подсела наша классная руководительница, математичка по кличке Евгеша, Евгения Матвеевна, обычно суровая и строгая, хотя и несколько эксцентричная (она, например, писала на полях контрольных работ: «Тихий ужас!» или «Бред сумасшедшего!», что, скорее, смешило, чем обижало). Со словами «Иринка, дура, не реви, все обойдется» — она погладила меня по голове.

Ей было жаль меня, тем более, что она знала: разыгрывается иезуитский спектакль, остановить который не в ее власти; нас решили просто попугать, чтоб впредь не повадно было,— исключить на комитете, а потом «простить» в виду ожидаемого нашего раскаяния на общешкольном комсомольском собрании. Ведь не исключать же, в самом деле, за побег с урока, не портить же процент всеобщего охвата учащихся комсомолом (вскоре должны были принять весь класс). Администрация школы отрежиссировала этот спектакль мастерски, члены комсомольского комитета разыграли его, как по нотам.

Бедная, добрая Евгеша, сама зажатая в тиски нашей системой, она не сказала мне тогда всей правды, но я благодарна ей хотя бы за слова утешения (кстати вспомнить, как опекала она попавшую через год в наш класс девочку, у которой был сослан отец-немец, а мать подолгу лежала в больницах; девочка жила фактически одна).

Так впервые испытала я на себе силу тотального осуждения, силу давления системы. Горько вспоминать, сколько было пролито по этому поводу слез, какое нешуточное было ощущение беды. Горько и смешно — ну, кто бы сейчас стал плакать, если бы его исключили из комсомола?..

Давить на человека, давить на него с детства (и в детском саду, и в школе), пока психика его не окрепла, демонстрируя ему силу и всевластие государства (что хотим, то с тобой и сделаем, попробуй только, отклонись в сторону!) — верный способ воспитать из него раба, молчальника, привить ему на всю жизнь бациллу страха.

Впрочем, нынешнее молодое поколение научилось здорово обороняться от этого, все еще сильного давления — оно молчит, обращая внимание на угнетателей не больше, чем на каких-то надоевших зуделок, образуя внутреннее, подпольное братство сопротивления, не подчиняясь и делая свое... Это свое может оказаться и непредсказуемым, может нести в себе и симптомы нравственного одичания — камертон утерян...

В Ленинградском университете, на отделении журналистики (тогда это было еще отделение филологического факультета) учились на одном курсе со мной трое ребят, которых прозвали «футуристами»,— Миша Красильников, Юра Михайлов и Эдик Кондратов. Ничего особенно футуристического они не делали, просто интересовались поэзией начала века, любили поговорить о том, о чем многие из студентов тогда еще и не слыхивали (поминали, например, кстати и некстати поэта Кусикова, цитировали Крученых и Каменского), и вели себя свободнее остальных, превращая общение в некую игру. С ними было интересно поговорить и страшновато попасть к ним на язычок.

И вот первого декабря 1952 года, утром, причесываясь перед зеркалом в вестибюле филфака, я увидала в зазеркалье за своей спиной одного из них — кажется, Кондратова. Он был одет непривычно — в русскую рубашку-косоворотку с поясом — и охорашивался, глядя на свое отражение.

«Чего это он так вырядился?» — подумала я и пошла себе на лекцию по современному русскому языку, который читала у нас доцент В. Иванова.

Вскоре появились в аудитории и «футуристы», все трое в русских рубахах навыпуск и смазных сапогах. Они достали гусиные перья (грозная обличительная статья в «Комсомольской правде» так и называлась потом — «Трое с гусиными перьями») и начали преспокойно записывать лекцию. В перерыве кто-то из них вынул из сумки воблу, постучал ею по голенищу, и они стали есть, запивая воблу квасом. После перерыва они послали Ивановой записку — какой-то вопрос по предмету лекции,— написанную с «ятями» и «ерами». Почему-то эта записка Иванову окончательно разволновала, и она, прервав лекцию, побежала жаловаться в партбюро. В аудиторию явилось партийное начальство... И вдруг кого-то из них (не знаю, кого именно) осенило — сегодня ведь первое декабря, день смерти Кирова. Значит, маскарад этот неспроста, он специально приурочен к траурному дню; значит, происшедшее можно расценивать как троцкистско-зиновьевскую вылазку. Защищал «футуристов» лишь секретарь партбюро филфака В. Зайцев, пытаясь объяснить своим коллегам, что это — всего лишь шалость. Но «слово» уже было произнесено. И пошло, и поехало...

Кстати, хочу оговориться сразу, чтобы сегодняшний нервный читатель не заподозрил во всем этом русофильскую демонстрацию — нет, это была просто не слишком умная студенческая шутка в духе, скажем, Хармса. А что касается «троцкизма»... Мы спросили потом «футуристов»:

— Ну, зачем вы все это устроили именно первого декабря?

И они сокрушенно ответили:

— Да мы просто забыли, что это день смерти Кирова...

Можно было обвинить их в чем угодно — в мальчишестве, в легкомыслии, но в троцкизме!..

Из всей этой истории попытались сделать подсудное политическое дело, но слишком мало было «улик». Многих из нас, тех, кто был осенью на картошке вместе с «футуристами», вызывали и

спрашивали: не вели ли они там разговоров о политике, не возмущались ли, например, тем, что студентов посылают в колхоз. Все отвечали, что ничего такого не было. А о чем они говорили вообще? Главным образом, о поэзии, стихи читали. Какие? Маяковского, Крученых... Ах, Крученых! Но одного Крученых, даже с Хлебниковым в придачу, чтобы дать срок, было маловато.

Оставалось действовать по линии комсомольско-административной. И вот в самой большой аудитории филфака — в актовом зале, на комсомольском собрании курса, преподаватель марксизма-ленинизма Майковская вместе с другими идеологами из кожи вон лезла, чтобы доказать политическую вину «футуристов». В припадке гневной истерии она объявила их «махровыми троцкистами», а всех, кто пытался их защищать (перечисляя наши фамилии) — «приспешниками Троцкого», ни много ни мало. Потом добавила, что и на картошке они вели «не те» разговоры, что якобы это подтверждено комсоргом русской группы Ладой Серебряковой. И тут на трибуну вышла бледная Лада и, плача, заявила, что ничего подобного она не говорила, это ложь.

Ее слова очень повлияли на ход собрания. Наш курс проголосовал против исключения «футуристов» из комсомола — мы обязались их «перевоспитывать». Их все равно, конечно, исключили, но в более «высоких инстанциях» — в Василеостровском райкоме. Вслед за этим их исключили и из университета, правда, только двоих, Кондратова по каким-то причинам (как «вполне раскаявшегося»?) оставили. После смерти Сталина восстановили в университете и Михайлова с Красильниковым (последний несколько позже все-таки попал в число политзаключенных — после венгерских событий)...

Словно какая-то тяжесть опустилась на наш курс после истории с «футуристами». Некоторые, в основном, партийные, говорили: «Так им и надо, доигрались!» — словно не понимая, что за невинную, в сущности, шалость, предпринятую, я думаю, из-за общей скуки и казенной «правильности» жизни, людям поломали судьбу.

Как отголоски происшедшего, стали заводиться и другие, как это тогда называлось, «персональные дела». В нашей группе неизвестно откуда и почему всплыло вдруг «персональное дело» Юры Аршинникова... Аршинников был хорошим, способным студентом, постоянно ездил летом на студенческие стройки и отлично работал там, писал стихи. Вообще он был человеком с живым умом. Но были у него и некоторые, по тем временам, «странности». Например, он вдруг начал изучать философию Рамакришны, основной принцип которой выражается словами: «Иди и дай дорогу другому»,— и, главное, ни от кого не скрывал этого.

И вот, видимо, в связи с Рамакришной и собрал комсорг Валентин Соколов нашу группу на проработку Аршинникова. Юре задавали вопросы примерно в таком духе:

— Почему ты изучаешь какого-то Рамакришну, а не труды классиков марксизма-ленинизма?

— Я и классиков марксизма-ленинизма изучаю, но мне хочется больше знать.

— Лучше бы ты глубже изучал труды классиков марксизма-ленинизма, хватило бы тебе и этого вполне.

Был и такой вопрос:

— Почему ты ездишь на стройки?

(Заметьте, что студенческие стройки были тогда бесплатными, на чистом энтузиазме — колхоз нас только кормил.)

— Мне там нравится,— отвечал Аршинников.

Значит, не из чувства долга, а ради собственного удовольствия, из эгоизма — таков был вывод (обличители забыли про теорию «разумного эгоизма»). Таким образом, даже хорошая работа на стройке была по сути дела поставлена Аршинникову в вину. Я пыталась что-то говорить в его защиту, но меня тут же «осудили товарищи». За комсомольский выговор Аршинникову проголосовали все присутствующие, только я воздержалась. И мне до сих пор стыдно, что я не проголосовала тогда против очевидной подлости и глупости,— чего было воздерживаться, когда все ясно? Но видно, такова была сила коллективного пресса, механизма «всеобщего осуждения» — она давила, гипнотизировала. Самое грустное — все это ни в ком уже почти не вызывало протеста, воспринималось как должное.

Аршинников смотрел на всех сквозь очки круглыми, удивленными глазами, но особенно унывать не стал и сочинил вскоре стихи, в которых были и такие строки:

Учить меня будет лишне,
Я сам уже все постиг.
Спасибо за все Рамакришне
И паре хороших книг.
Повсюду рай,
Поверь иогу.
Иди и дай
Другим дорогу.

И вот на пятом курсе, когда мы уже редко появлялись в университете,— писали дипломные работы, нас собрали в огромном актовом зале, в здании Двенадцати коллегий, и прочли нам материалы XX съезда. Это было, пожалуй, одно из самых ошеломляющих, радостно-трагических событий нашей жизни. Несколько позже, прочитав «Один день Ивана Денисовича», моя подруга говорила, что ее не оставляет чувство стыда,— в то же самое время, когда люди гибли в лагерях, она жила в теплой квартире, ела более или менее сносную пищу, читала, училась, ничего толком о происходящем в стране не зная...

Жизнь, конечно, изменилась тогда, но изменилась не так уж сильно. Старый механизм продолжал работать, старый стиль жизни во многом сохранился. Наш паровоз по инерции летел вперед.

В районной газете, куда я пришла работать по распределению, меня через пару месяцев послали «делать» отклики рабочих и колхозников по поводу вновь объявленного займа. Естественно, радостные. Только и разницы, что назывался заем раньше сталинским, а теперь государственным. Я не пошла, отказалась, сказав главному редактору, что все это липа, никто не радуется, а наоборот, чертыхается — заем был добровольно-обязательным, как коммунистический субботник. У нас был хороший главный редактор, кроме того, он считал, что я умею писать очерки.

— Ладно, пошлю кого-нибудь другого,— сказал он, почесав в затылке. И послал. (А другой редактор, наверное, мог бы меня за такие штучки запросто выкинуть с работы.)

И я продолжала писать свои умилительные очерки о «простых людях» — доярках, птичницах, растениеводах, мотаясь по району, с юным интересом вглядываясь в тяжелый крестьянский труд и не особенно задумываясь, как можно что-то изменить в лучшую сторону. А если задумывалась, сразу же появлялось ощущение полной безысходности, стены на пути — стены каких-то распоряжений, запретительных инструкций, в которых мне было не разобраться. Оставалось вместе со всеми разводить руками — ничего, мол, не поделаешь.

Все мы, избрав своей профессией журналистику, поневоле приняли навязанные нам правила игры. Что можно и чего нельзя — это внедряли в наше сознание постоянно, начиная с самых первых шагов. Помню, как я собирала еще на практике в Донецке (тогда Сталино) материал о работе шахтеров, надев робу, спускалась в забой, ползала, согнувшись, по узким лавам, а потом, наверху, узнала, что писать об этих людях, обо всей этой шахте нельзя: они «зачумленные», они были в оккупации, под немцами. Нельзя о них даже упоминать — как будто их вовсе не существует на свете.

Позже, в хрущевские и брежневские времена, уже более открыто, с улыбкой пожимали плечами — да разве такое пройдет? Ты что, не знаешь? Все равно выше себя не прыгнешь! И еще — как постоянный груз — кого-то подведешь, кто-то за тебя будет отвечать; ты ведь рядовая и беспартийная, тебе ничего, а есть еще и твои начальники — им и предстоит, в основном, отвечать за тебя. Как же можно подводить другого человека под монастырь? Что-то вроде круговой поруки лжи...

Гнет партийной диктатуры, вполне устоявшийся за минувшие годы, не стал менее ощутимым со смертью Сталина.

Партийное собрание, закрытое или открытое, плавный ход которого заранее предрешен и расписан секретарем парторганизации совместно с «куратором» из обкома или райкома (это называлось «готовить собрание»), стало одним из главных рычагов расправы с осмелившимися сделать шаг в сторону. Расправа эта, конечно, инспирировалась сверху, участникам собрания отводилась роль послушных исполнителей. Все было заранее предрешено, все превращались в статистов, или — по призванию — в солирующих обличителей. Чтобы вести себя иначе, надо было обладать известным мужеством.

Люди, работавшие одновременно со мной на Ленинградском телевидении в шестидесятые годы, делились примерно на три группы.

Группа первая. Люди, всегда, в любое время, готовые поддержать идеологическое начальство, всегда готовые обвинить других в смертном грехе безыдейности (они вообще любили порассуждать на собраниях об идейности и безыдейности в искусстве, это был их конек) и, как правило, совершенно бездарные (видимо, их высокая «идейность» должна была компенсировать этот весьма существенный для людей творческих профессий недостаток; под «идейностью» в те годы подразумевалась верность идеалам тоталитаризма, выдаваемого за нечто другое).

Один из таких «идейных», режиссер музыкальной редакции И. Стеркин, както, помню, со страшной злобой громил передачу нашей редакции «Литературно-театральный Ленинград» (редактором этого альманаха был А. Шлепянов), в которой выступил впервые по телевидению никому еще тогда в Ленинграде не известный Булат Окуджава с песнями «Дежурный по апрелю», «Вы слышите, грохочут сапоги...» и «Четыре года». Как только Стеркин не обзывал эти песни — и блатными, и безыдейными, конечно, и антимузыкальными. Видимо, они ему, действительно, сильно не нравились, но он привычно подводил под свои филиппики «идейную базу». Сколько было в этой группе людей, готовых «идейно» подличать в любую минуту, лишь бы выслужиться перед начальством, и делали они это так искусно, с таким пафосом, что трудно было усомниться в их искренности — лишь стереотипный набор фраз выдавал...

Группа вторая. Люди, в основном, порядочные, но вынужденные выполнять то, что от них требуют, и уже переставшие страдать от этого, внутренне подчинившиеся. При этом они ухитряются делать

много по-настоящему интересных передач, наряду с определенным процентом обязательных («революционная тематика», «тема рабочего класса», «советский строй — самый демократический в мире» и так далее). На собраниях никого не обличают, но и не вступаются за обличаемого, молчат. Плевать против ветра они не любят. Зато за рюмкой водки, вдали от микрофонов и подслушивающих устройств, они — отличные ребята, все понимающие и знающие. Более того, очень любят всякие закулисные разговоры, слухи, анекдоты — видимо, как отдушину. В основном, члены партии, вступившие, «как все», не по убеждению, а скорее для карьеры — им, беднягам, еще и партийную дисциплину соблюдать надо. Эта группа — самая многочисленная, многие из нее были моими добрыми приятелями.

Группа третья, самая малочисленная. Люди, не склонные к компромиссам и всерьез страдающие, когда их к ним вынуждают. В основном, беспартийные и из опыта общения с партийными «кураторами» усвоившие к ним острую неприязнь. Жизнь, конечно, их не щадила — им либо приходилось заниматься чем-то уж совсем отвлеченным, «чистым искусством», так сказать, либо идти на компромисс, либо просто вылетать с работы и поступать в дворники. Последнее случалось чаще.

Большинство же научилось спокойно делить себя на части — «официальную» и «неофициальную». Это только у Ольги Берггольц:

Друзья твердят: все средства хороши,
Чтобы спасти от злобы и напасти
Хоть часть трагедии, хоть часть души...
А кто сказал, что я делюсь на части?

Берггольц, конечно, не делилась. Рядовые люди делились, и очень даже легко. Но любой цинизм мстит за себя, иногда в следующем поколении. Оправдательный самообман так въедается в душу, что уже не содрать маску, не отделить ее от кожи. Все перепуталось, и ловкий демагог (я это часто наблюдала) склонен считать себя честнейшим и интеллигентнейшим человеком, но просто умным, не наивным... Он будет говорить, действительно умно и ловко аргументируя свою неправедную позицию, но за всем этим, за уверенностью манер будет проглядывать страх, застарелый, еще в детстве принятый в душу, ставший неузнаваемым и даже лукаво-агрессивным,— страх!

«Оттепель» подходила к концу. Уже состоялся знаменитый проход Хрущева по выставке «Тридцать лет МОСХа». Ленинградские идеологи решили, что пора и им начинать более серьезную борьбу с «формализмом» и вообще с распустившейся интеллигенцией, тем более, что они всегда были святее римского папы, то есть своих московских коллег.

Вскоре это впрямую коснулось нашей литературно-драматической редакции. Впрочем, наша редакция давно уже была «под колпаком» у обкома, и само ее существование в неразогнанном виде на протяжении нескольких лет было своего рода аномалией. Мы не выдавали в эфир ничего сверхкрамольного, «контрреволюционного». Но мы экранизировали все острое, интересное, что появлялось в современной нашей литературе,— например, «Ухабы» В. Тендрякова, «Большую руду» Г. Владимова, рассказывали о прозе А. Битова, В. Войновича, А. Гладилина, В. Максимова, В. Семина. Делали много передач по русской классике.

У нас не было подлых, сугубо конъюнктурных передач, но сказать, что мы совсем уж не «делились на части», тоже нельзя. Приходилось балансировать. Выпускать, например, на экран накануне выборов фалангу поэтов типа Вячеслава Кузнецова и Олега Шестинского с ура-бравурными стихами, славящими наш, самый демократический в мире строй. Делать такие передачи было невыносимо противно, совсем не делать — невозможно. Зато потом — передачи о Пушкине и Блоке, Превере и Тувиме, телевизионные спектакли по «Зиме тревоги нашей» Стейнбека, «Очарованному страннику» Лескова, «Стеклянному зверинцу» Уильямса, сюжеты о молодых поэтах и прозаиках Ленинграда, среди которых в те годы было столько многообещающих...

В общем, процент прославляющих строй передач был в нашей программе весьма ничтожным. Но это как раз и не устраивало ленинградское партийное начальство. Получалось так, что с экрана говорили не то, что ему угодно, не те люди и не о тех. Первый разнос на уровне обкома был устроен по поводу постановки тендряковских «Ухабов». Редактором ее была Бетти Иосифовна Шварц, наш старший редактор, человек широко образованный, с безупречным вкусом и крайне работящий. Передачи ее всегда имели успех, она была одним из лучших редакторов студии. Постановку объявили порочащей наш строй, не взирая на то, что повесть была опубликована и такой оценки в печати не вызвала. С той поры и Б. И. Шварц, и вся редакция были уже под прицелом партийного автомата.

И вот весной 1963 года по поводу нашей редакции было принято специальное решение Ленинградского обкома КПСС, материалы которого готовил его невежественный инструктор Д. И. Струженцов. Судите сами — в числе «идеологических ошибок» указывались, в частности, такие: пропаганда формализма и абстракционизма в живописи — цикл передач «Остановись, мгновенье!», автором которых был поэт и искусствовед Лев Мочалов (речь в них шла о сугубо реалистических произведениях русской живописи XIX века); пропаганда творчества «поэтов-формалистов» В. Сосноры, Р. Рождественского, Е. Евтушенко. Особенно почему-то прицепились в решении обкома к стихам Евтушенко (цитирую по памяти):

Нас в набитых трамваях болтает,
Нас мотает одна маета,
Нас метро то и дело глотает,
Выпуская из дымного рта,—

ставших потом песней в кинофильме «Служебный роман». Строки эти рассматривались в обкомовском решении как опорочивание советского образа жизни. Исходя из «идейных ошибок» такого рода, редакция обвинялась в аполитичности и безыдейности, в неправильном подборе авторских кадров (был в этом и скрытый антисемитский оттенок). Последним пунктом решения Б. И. Шварц снималась с работы. Директор студии Б. М. Фирсов имел мужество на заседании партбюро предложить признать ошибки, но оставить Шварц старшим редактором. За это проголосовали все члены партбюро, кроме его секретаря, режиссера В. Карпова — уж он-то знал, что к чему. В результате Фирсов, осмелившийся в чем-то не согласиться с обкомом, чуть не лишился партбилета.

Общее открытое партийное собрание работников радио и телевидения шло уже в обстановке «единодушного осуждения». Два-три человека все-таки это единодушие подпортили, говоря о заслугах Бетти Иосифовны. В их числе была и я; кроме всего прочего, передачи о «поэтах-формалистах» и цикл «Остановись, мгновенье!» были моими передачами.

Отчетливо помню этот миг жизни — полный народа солнечный зал (дело было весной), пылинки танцуют в потоках света,— а я иду к трибуне с написанным на бумажке, чтобы не сбиться со страху, выступлением, и все равно сердце замирает, меня знобит — страшно. Все это чем-то напоминает торжественные похороны (или, следуя Ярославу Гашеку, «торжественную порку»). В глазах туман, я читаю по бумажке... Я пытаюсь хоть частично реабилитировать Шварц, а также «поэтов-формалистов» Евтушенко, Рождественского, Соснору и русских живописцев XIX века. Мои слова, что поэты эти — вовсе не формалисты, встречены в президиуме неодобрительным недоумением. Правда, кто-то из московских начальников просит после моего выступления показать ему тексты передач «Остановись, мгновенье!» и вроде бы, прочитав их, даже со мной соглашается, но это ни на что, конечно, не влияет.

Я пытаюсь теперь представить себе, что было бы, если бы я назвала тогда все своими именами: сказала бы, что никаких «ошибок» не было и в помине и снимать с работы Бетти Иосифовну совершенно не за что (собственно, почти это я и говорила в завуалированной форме). Может быть, удалось бы расшевелить наших коллег, произошел бы общий взрыв возмущения, и Бетти Иосифовну удалось отстоять? Вряд ли... Машина работала хорошо, без скрипа и перебоев. Исключили бы из партии или уволили бы еще несколько человек, набрали бы новых работников... Обком своих решений не менял, профессиональными и талантливыми людьми не дорожил. Позже нами была предпринята попытка обратиться в ЦК, но там дали понять, что «ничего не поделаешь»... И все же в любом сопротивлении всегда есть свой смысл...

Сколько их было на моей памяти, этих хунвейбиновских собраний, унижающих людей, ломавших их судьбу, уносивших здоровье... Владимир Торопыгин, главный редактор журнала «Аврора», и его заместитель Андрей Островский, обвиненные в «белогвардейских настроениях» и снятые с работы за четыре строчки стихов, в которых Нина Королева пожалела расстрелянную женщину с ребенком — императрицу и наследника (через год после этого Торопыгин умер от рака). Следующий редактор «Авроры» Глеб Горышин и ответственный секретарь Магда Алексеева, уволенные за публикацию рассказа Виктора Голявкина «Юбилейная речь», никакого отношения к Брежневу не имевшего, но воспринятого как «оскорбление величества». Сколько сил души, нервных потрясений стоили людям эти судилища! И как врезались они в память поколения...

Если быть до конца последовательным, выход честного человека, работающего в идеологической сфере, был в те годы один — становиться в ряды диссидентов, протестовать, подписывать письма... Но для этого нужно было иметь много мужества, заранее предвидя все, что могут с тобой сделать, вплоть до заключения в лагерь или психушку. Кроме того, надо было обладать особой активностью, которая нашему поколению в целом не свойственна, особой склонностью к политической борьбе, которая тоже есть далеко не у всех. Каждому свое... Но свое у многих из нас в общественной жизни, да и не только в ней, было отобрано, мы могли проявить себя, в основном, в жизни частной, сокрытой от государственного ока, держа пресловутую фигу в кармане. Но и в частную жизнь вторгались... Безысходность заставляла одних ездить в геологические экспедиции, других — пи-

сать «в стол», третьих — пить горькую. Каждый искал себе отдушину.

И все же без неожиданных выплесков не обходилось.

Все серьезное в жизни часто происходит как бы случайно. Так во всяком случае пытаемся мы потом себе объяснить: если бы не то да не это... Но в глубине души знаем, что случайность не так уж и случайна.

Нашумевшая в свое время телевизионная передача из цикла «Литературный вторник» (январь 1966 года) тоже была во многом случайной — она не задумывалась специально как «диверсионная вылазка» (так квалифицировали ее впоследствии московские начальники). Но в то же время это был, конечно, до конца не осознанный ни нами, редакторами передачи, ни ее участниками порыв к свободе.

Темой январского «Литературного вторника», который мы готовили вместе со старшим редактором Р. Д. Копыловой, было сохранение традиций русской культуры в нашем языке — в разговорной речи и в литературе, в старинных названиях городов и улиц. Мы пригласили участвовать в передаче людей, которых считали причастными к этой теме: Д. С. Лихачева, В. В. Иванова, О. В. Волкова, Л. В. Успенского, Б. Б. Вахтина (он был постоянным ведущим цикла), В. В. Солоухина и других.

Передачи такого рода шли обычно прямо в эфир (или, как тогда говорили, «живьем»), без предварительной записи. Чтобы получилось нечто вроде живой, неотрепетированной беседы, накануне проводилось только обсуждение хода передачи с ее участниками; в цензуру сдавались тезисы выступлений. Р. Д. Копылова заболела, и обсуждение предстоящего проводила я вместе с режиссером Р. А. Сиротой. Цензор из меня плохой, и когда меня спрашивали: «Можно ли говорить об этом?» — я обычно отвечала: «Да» — мне стыдно было, да и не хотелось выступать в роли запретителя, даже смутно предчувствуя «опасность». Д. С. Лихачев, в частности, спросил меня, можно ли ему сказать о вкладе евреев в русскую культуру в конце XIX — начале XX веков. Я ответила утвердительно, несмотря на сомнения, высказанные режиссером.

Интересно, что Лихачев и Волков на этом обсуждении, долго приглядываясь друг к другу, вспомнили, наконец, что последний раз они встречались на Соловках — естественно, в роли заключенных...

Собранные нами в студии люди, заговорив на волнующую их, больную для нашей культуры тему, решили, что недомолвки и оговорки — ни к чему. Отбросив привычку к самоцензуре, большинству из них, возможно, и вообще не свойственную, они говорили свободно, о чем хотели и как хотели, то и дело упоминая «нежелательные» имена — Солженицына, Зощенко, Пастернака, Мандельштама, Платонова, Замятина. Эта свобода от общепринятого идеологического диктата, повидимому, больше всего и разъярила начальство. Сейчас многое из того, что было сказано в передаче, можно прочитать в любой почти газете. Но по тем временам это было чем-то вроде взрыва в Смольном. Ведь сказанная во всеуслышание, неприкрытая, без всяких эзоповых игр правда на фоне постоянной лжи и полулжи ошеломляет.

Лихачев начал, вслед за ведущим, разговор о богатстве русской речи, о традициях «Слова о полку Игореве» и «Жития протопопа Аввакума» (тоже, как потом выяснилось, «нежелательное» имя), о том, что наш язык не мог развиваться вне эстетической истории русского народа, вне его литературы, живописи, зодчества и отражает все это богатство. И тут речь, конечно, пошла о разрушениях и уронах, понесенных нашей культурой. О возмутительно беззаботном, варварском отношении к языку, к памятникам старины с болью говорили все участники передачи.

Солоухин, например, говоря о выразительной силе и красоте русского языка и уродующих его аббревиатурах, приводил в подтверждение своих мыслей строки Пастернака, которого еще совсем недавно вместе с другими исключал из Союза писателей:

> Мне четырнадцать лет,
> Вхутемас
> Еще — школа ваянья.

— Послушайте, как это звучит — школа ваянья! И вдруг — какой-то Вхутемас!

В. В. Иванов сетовал на то, что масса прекрасной русской прозы XX века у нас не опубликована, лежит в «запасниках». Рассказывая о связи живого разговорного языка с литературой, о сказовой традиции в русской литературе, идущей из фольклора — через Гоголя, Достоевского, Зощенко, Платонова — к Солженицыну, он в качестве примера цитировал «Один день Ивана Денисовича». Как раз в этот момент в аппаратной, где я сидела, раздался зычный микрофонный глас:

— Не захваливайте Солженицына!

Это был глас председателя Госкомитета по радиовещанию и телевидению Н. Н. Месяцева, прямо из Москвы — передача шла на Союз. Что я могла ему ответить? Захваливай не захваливай, нравится ему это или нет, а передача идет. Прокрадываться в студию и посылать записку участникам передачи, чтобы они не очень-то там расходились, я не собиралась. Как я узнала совсем недавно, Месяцеву позвонил «сам» Суслов, начальник отечественной идеологии, и велел прекратить передачу.

На что Месяцев ответил, что прекратить незаметно невозможно и все это получится «неинтеллигентно».

— Ну, делайте, как находите нужным. На вашу ответственность,— что-то вроде этого сказал ему Суслов.

А передача шла своим чередом. Уже прочитано было письмо старых большевиков из Куйбышева, требующих вернуть городу старое название — Самара; уже прозвучала резкая критика в адрес председателя московской комиссии по переименованиям, главы Моссовета и члена ЦК Пегова, ликвидировавшего Пречистенку и другие старинные названия улиц в Москве — говорили, что его звонок в ЦК («Да что ж это такое делается? Кого критикуют?») тоже сыграл свою роль в дальнейшей истории. Уже Волков упомянул о такой отнятой у нашего языка опоре, как церковно-славянский язык богослужения, и посетовал, что не устраиваются ныне (в 1966 году!) концерты русской духовной музыки («Если мы слушаем „Мессу“ Баха, то почему нельзя нам слушать „Литургию“ Чайковского или „Всенощную“ Рахманинова?»). Уже Лихачев сказал слегка дрогнувшим голосом о вкладе евреев и других народов — греков, финнов, болгар, татар — в русскую культуру...

Передача закончилась вроде бы спокойно, на другой день в студию пошел поток восторженных писем — люди не привыкли к такому разговору с экрана. Я взяла отгул и уехала за город, неясно что-то все же предчувствуя. Уже на другой день мне позвонили — срочно возвращайся, начинается крупный скандал.

Нас с Розой Копыловой уволили на другой же день. Но эта разумная по тем временам акция все равно не спасла студию от разгрома.

Всех нас вызвали в Москву, на заседание Госкомитета по радиовещанию и телевидению. Как я теперь понимаю, мы с Копыловой в качестве уволенных могли бы спокойно не ехать, поберечь нервы. Но почему-то считалось, что ехать мы должны.

Многие наши авторы и друзья всячески старались нас поддержать, то есть попросту говоря, приходили в гости с бутылкой. В результате этих соболезнований в день приезда в Москву я чувствовала себя далеко не лучшим образом. Мне дали с собой на заседание нашатырный спирт, и я время от времени его нюхала. Со стороны это выглядело, наверное, так, словно я теряю сознание от страха.

А было действительно страшно. Сначала велось расследование с допросом: кто? почему? откуда? Б. М. Фирсов, директор ЛСТ, пытаясь нас выгородить, говорил, что все произошло по недосмотру и неопытности редакторов, которые «не провели тщательного отбора выступающих, не изучили их мировоззрения». Но тут главный редактор нашего художественного вещания Е. Никитин, человек туповатый и, видимо, трусливый, заявил, что ничего подобного, это редакторы хорошие, образованные, профессиональные, они знали, на что идут, и ни с кем ничего не согласовали — подписанные им, Никитиным, тезисы ничего общего не имеют с тем, что прошло в эфир. Он долго громил передачу, которую сам не видел, путаясь в странных терминах «русопятство» и «славянопятство». (Из сокращенной стенограммы заседания: «Я бы эту передачу назвал — махровое славянопятство... Суть передачи заключается в том, что почти все ее участники, и даже не сказавшие ничего особенного, как Солоухин, говорили, что все в современности плохо, в прошлом — отлично»...)

Следом выступила режиссер передачи Р. А. Сирота и мужественно заявила, что она как человек партийный берет всю вину на себя. Нечто подобное — насчет моей вины — следовало сказать и мне, беспартийной,— ведь я была главной виновницей торжества. Но я все выжидала, не решалась взять слово — видимо, струсила.

Начались выступления членов Госкомитета. Эти, в основном, представительные, одетые в шикарные серые костюмы мужчины (а может быть, и не все в сером и не все представительные, но такое осталось почему-то впечатление), с удивительно похожими, непроницаемо-сановными, без выражения, лицами, обрушили на наши головы такое, что я уже разозлилась и сказала себе: нет, объявлять себя виноватой перед этими фашистами я не буду, не хочу, по-настоящему-то я ни в чем не виновата. В эту минуту я могла бы лишь выйти на трибуну и сказать, что ни я, ни кто-либо другой ни в чем не повинны, а наоборот, правы, но решиться на это было слишком страшно.

Вот несколько запомнившихся образчиков их фразеологии:

— Вы бы лучше подключили к каналам телевидения канализационные трубы!

Или — про известного пожилого писателя:

— ...протявкал Успенский.

В сокращенную стенограмму заседания, сохранившуюся в архиве, эти перлы не вошли. Но вот несколько отрывков из вошедшего в стенограмму:

А. А. Р а п о х и н: Меня возмущает тот факт, что все это может идти из Ленинграда. Это диверсионная вылазка, вылазка злобных элементов, которые сговорились между собой и хихикают... Есть среди интеллигенции гнилые элементы, которые сидят на шее рабочего класса, выливают на голову рабочему классу ведра грязи... С точки зрения политики это — идейная вылазка, направленная против

самих основ нашей идейно-политической жизни. Не Горький, не Шолохов, не Федин создавали и обогащали наш язык, а Замятин, Солженицын, Булгаков и так далее! Это значит забраться в квартиру гостеприимных советских людей и напакостить там!.. Я считаю, что нанесено огромное оскорбление нашему народу, и ставлю законный вопрос: как извиниться перед нашим народом?..

В. Д. Трегубов: Я уверен, что любое иностранное агентство взяло бы эту передачу и пустило бы в эфир... Посмотрите, как разделываются со всеми нами! Как поставлен вопрос: в России все разрушено, разрушены церкви, мост назвали Советской Армии (бывший Ольгин мост в Пскове.— *И. М.*)! Подумать только! Николай Николаевич звонит в Ленинград, правильно делает, а передача идет. Это реванш ленинградцев за выступление Егорычева (тогдашний секретарь Московского горкома партии.— *И. М.*), за Зощенко, за все...

К. С. Кузаков: На меня эта передача произвела впечатление хорошо организованной вылазки, потому что здесь была полная спайка. Здесь никаких противоречий. Это хорошо срепетированная передача. Люди по своим взглядам знают друг друга. Они подобраны... Если говорить с партийно-литературоведческих позиций, то это просто антипартийная передача. Здесь идет попытка апеллировать к народу за тех литераторов, которые давно раскритикованы...

Н. С. Бирюков: Здесь я слышал несколько выражений о том, что эта передача аполитичная. Это передача политическая, но она пропагандирует политику, противоположную нашей партии... Ведь в этой передаче ничего правильного... Ведь это вопрос о строе жизни. Это диверсионная вылазка идеологических противников... Я думаю, что мы должны доверять советским людям, и не можем запретить выступать товарищам без текста. У нас без текста выступали товарищи из Верховного Совета. Мне кажется, что если у редактора есть партийное чутье, он знает, кого можно повести на студию...

А. П. Филиппов: 〈...〉 Я должен сказать, что в Ленинграде делалась попытка атаковать под видом защиты нашей старой культуры то, что утверждается... Солоухин выступал в одной из предшествующих передач в развязной форме, несмотря на то, что ему было запрещено говорить на эту тему, тем не менее оказался здесь, в числе авторов... Мы, к сожалению, стали тащить на телевидение такие темы для дискуссий, которые нужно обсуждать в семейном кругу, в кругу писателей и так далее... Вахтин еще не во всем четко разбирается, а к тому же он оказался и безруким. Если человек говорит не то, то подойди и зажми ему рот...

Н. Н. Месяцев: У членов Комитета единое мнение, что это политически вредная и идейно порочная передача... Что касается художественных качеств этой передачи, то она не представляет никакой ценности в этом отношении... Я думаю, что это рецидив той острой борьбы, которая имеет место и которую пытаются навязать нам группки людей, имеющих постоянное чувство локтя и умонастроение, которое лежит в одной плоскости. Известно, что их настроения подогреваются извне. И они пытаются, где это возможно, дать бой нашим устремлениям, нашей идеологии, нашим взглядам, мешают жить так, как учит партия...

Передача была единогласно объявлена идейно порочной, политически вредной и даже шовинистической, что было уж совсем ложью — все было иезуитски поставлено с ног на голову. И мне, слушающей их штампованно-гневные речи, действительно стало казаться, что в этом большом торжественном зале с расположенными полукругом вокруг президиума стульями идет какое-то фашистское или средневековое судилище. Мне было уже все равно. Но вдруг Месяцев объявил, что Фирсов «по существу не в состоянии повысить партийную требовательность и провести большую воспитательную работу в коллективе», и поэтому он предлагает снять Фирсова с работы. (Говорят, что сам он этого не хотел — он ценил нашего директора — и несколько раз во время заседания советовался по телефону с тогдашним ленинградским партийным боссом Толстиковым, но Толстиков настоял на снятии, пригрозив, что иначе все равно сделает это сам да еще объявит Фирсову партийный выговор.) Этого никто, в том числе и сам Фирсов, не ожидал. И тут-то мы и дрогнули, почувствовали себя кругом виноватыми — перед Фирсовым, судьба которого круто менялась (как потом, правда, оказалось, к лучшему — он стал видным социологом), перед студией. О, это проклятое чувство вины без вины, навязанное нам идеологической системой: как же, вы подвели своего начальника, всех своих сослуживцев, вы ни о ком не подумали — какая безответственность! Этим иезуитским поворотом дела они нас, как говорится, достали. Мы уезжали в Москву уже почти спокойные и веселые, примирившись с мыслью о нашем увольнении. Назад мы ехали со страшной тяжестью на душе: нас не уволили, нас растоптали.

Долго еще приходили мы в себя после этого. Как выразился Борис Вахтин, по нам «проехал танк». Танк тоталитаризма. Нас выбросили из этой системы, и, как все на свете, это оказалось к лучшему... Но даже много лет спустя я почувствовала толчок боли, войдя в вестибюль Ленинградской студии телевидения...

Принцип: ничего не поделаешь, все бесполезно — надолго, если не навсегда, въелся в психику нашего поколения.

Но через два года после истории на ТВ мне предстояло еще одно — надеюсь, последнее в моей жизни — исключение. Вместе с несколькими литераторами я подписала письмо в ЦК в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова — настало время «подписантов». В письме мы даже не пробовали доказывать невиновность обвиняемых, мы просто требовали гласного процесса над ними, с соблюдением правовых норм.

Увольнять меня было неоткуда — я тогда нигде не работала. Оставалось только исключить из Союза журналистов. (Б. Иванова исключили за это письмо из партии, а к Я. Гордину «санкций» применить не удалось — он еще не был тогда членом Союза писателей.)

Меня вызвали на правление Союза журналистов.

Диалог развивался примерно так (я его очень хорошо запомнила):

— Мы хотим понять, что вы за человек, Муравьева,— начал свой допрос председатель правления, тогдашний главный редактор «Ленинградской правды» Куртынин.

— А я хочу понять, что за люди все вы.

— Зачем вы написали письмо в ЦК?

— Я не хочу, чтобы повторились времена культа личности.

— А что вы знаете об этих временах, вы же не жили тогда,— включился в беседу кто-то еще.

— А откуда мы вообще узнаем о прошлом?.. Есть книги, газеты, люди.

Потом длинную обличительную речь, с воспоминаниями о «Литературном вторнике», произнес мой давнишний «доброжелатель», председатель Ленинградского комитета по радиовещанию и телевидению А. Филиппов.

— У меня есть предложение исключить из Союза журналистов. По-моему, все ясно, можно не голосовать,— сказал Куртынин.

Я посмотрела на сидящих передо мной молчаливых членов правления. С некоторыми из них я была знакома. Вот Лев Варустин — когда-то он был руководителем моей дипломной работы в университете, двенадцать лет всего прошло. Вот Алла Белякова, комсомольская активистка нашего факультета, ныне главный редактор Ленинградского отделения АПН. Они сидели, потупив глаза. О чем они думали в эту минуту? Хоть бы кто-нибудь, хоть один человек сказал бы словечко в мою защиту — уж очень зыбкой была моя «вина»! Но я была в их глазах человеком, по-видимому, уж слишком подозрительным, персоной нон грата. А главное — дан приказ, о нашем письме с гневом говорили в Смольном!

Все они были в этот момент не людьми, а неким монолитом, частями большой, пришедшей в движение машины и действовать вопреки ее движению, не рискуя сбить резьбу и вылететь из гнезда, не могли. А кому ли из них хотелось рисковать?.. Было ли им стыдно? Не знаю. Радиожурналист Матвей Фролов, исключавший меня тогда вместе с другими, как выяснилось через двадцать лет, когда меня вновь принимали в Союз журналистов, начисто об этом эпизоде позабыл — значит, прошло мимо эмоциональной сферы, совесть особенно не мучила...

— Ну, что ж, прощайте,— сказала я несколько театрально, поднялась и вышла из комнаты. Зря, конечно, я не заставила их тогда проголосовать, каждого поднять руку — голосование-то все-таки полагалось.

Как ругали меня потом многие мои приятели за то, что я подписала это письмо:

— Зачем было вылезать? Что толку? Кому это надо? Только еще хуже всем будет, опять начнут гайки завинчивать!

А я оправдывалась:

— Попросили подписать, неудобно было отказаться...

Через несколько лет я шла по Невскому. Какие-то молодые иностранцы бросали с галереи Гостиного двора листовки, белые клочки бумаги птичками витали в воздухе. Я подняла одну из них и сунула в карман. Это была листовка в защиту заключенного Галанскова. С фотографии смотрело на меня открытое лицо, ясные, глубокие глаза. И я подумала, что не зря подписала тогда это письмо. Не зря — для себя самой. Галанскову оно не помогло. Галансков умер в лагере, так и не выйдя на свободу — кажется, от язвы желудка. В день его смерти — 30 октября — отмечается теперь Международный день политзаключенного...

Несколько лет назад, в самом начале перестройки, подписав на улице письмо о сооружении памятника жертвам репрессий, я — грустно и стыдно признаться! — вдруг почувствовала какой-то легкий укол изнутри, страшновато мне, что ли, опять... Подлые уроки не проходят бесследно.

Грустно все это вспоминать. И смешно, наверное, после всего вышеизложенного снова задавать риторический вопрос — почему мы молчим? Приучены, привыкли за много лет, а привычка, говорят, вторая натура.

Время, впрочем, рассортировало всех. Одни пошли в райкомы и горкомы, откровенно продались, стали делать карьеру, вполне восприняли науку жизни. Другие сумели спрятать свою душу, не дали проникнуть в нее порче, устояли в трудную

минуту, сохранили себя. Третьи... Третьи жили, как могли, старались не слишком поддаваться подлости, приучились молчать... Впрочем, порча все же поневоле коснулась и тех, и других, и третьих — никуда не уйдешь от своего времени.

Настала пора реанимации сил души, старой веры в правду, в возможность добиться ее. Неужели нечего уже реанимировать?..

Нам не грозят теперь немедленные увольнения и исключения. И все же мы по-прежнему ждем неприятностей от слишком смелых речей.

Вот, например, сцена из жизни небольшого коллектива. Выступает на собрании с отчетным докладом председатель профкома и критикует директора учреждения за стиль его работы, за то, что многие вопросы тот решает единолично или с одним-двумя приближенными, не вынося их на общее обсуждение, не согласуя с профкомом. В конце собрания встает директор и начинает издалека: говорит о том, что он никогда не мог понять смысл постулата «профсоюзы — школа коммунизма» и точно определить для себя границы деятельности профсоюзов, что наш профком явно уж хочет заниматься не своим делом и встревать в сферу административную. Что главная задача профсоюзов (или одна из задач) — крепить трудовую дисциплину, а у нас люди, бывает, опаздывают на работу, вот и председатель профкома как-то недавно опоздал. Одним словом, не суйся в наши дела, а то плохо будет — и ты не безгрешен... И все молчат, хотя всем стыдно. Молчат, зная замашки своего начальника, его реакцию на критику, злопамятность и мстительность. Сразу вслед за этим начинаются выборы. Выдвигают прежнего председателя. А он, оскорбленный речью директора, снимает свою кандидатуру, сказав, что в таких условиях он работать не сможет. Попытались его немного поуговаривать и выбрали другого, менее принципиального...

До тех пор, пока сидят на местах маленькие царьки прежнего пошиба, толку, конечно, не будет. Это понимают все. Начались было, и довольно широко, выборы этих самых начальников на местах — директоров заводов, институтов — и неплохие были результаты, но потом как-то заглохло это все, общим правилом не стало. А стоило бы ввести выборы начальников повсеместно — вплоть до редакций, издательств и прочих идеологических учреждений. Глядишь, и пришли бы к производственной власти люди честные, уважаемые.

Но все это, возможно, маниловщина. И неча на начальника пенять, коли рожа крива. Раболепно молчаливый и пекущийся только о собственной выгоде коллектив и выберет себе соответствующего начальника. Демократия, особенно в нашем варианте, как показывает опыт, не всегда ведет к должным результатам — пресловутый «глас народа» так часто выражает низменные интересы, тупость и непонимание происходящего, так легко его фальсифицировать, «организовать». Известны массы историй о людях, уже в годы перестройки затравленных своими коллективами.

Значит, дело в нас самих. Только мы сами, преодолев «синдром молчания» и застарелый страх перед неприятностями (все же они несравненно меньше, чем раньше), можем что-то сделать, что-то изменить, можем заступиться за преследуемого, восстановить дух порядочности. Для этого нужно громко, во всеуслышание, называть черное черным и белое белым. Иначе все краски будут перепутаны и дальше — любители в угоду начальству объявлять все наоборот так легко находят друг друга, так легко группируются вокруг власть имущих.

Промолчим — значит, опять они, опять ловкая ложь. Опять — все по-прежнему. Но дело, конечно, не только в сиюминутных практических результатах.

Есть, вернее, было, такое старое, идущее еще от сельской общины понятие — всем миром. Всем миром судили и рядили. И это наше общественное мнение (не официальное, конечно) ощущалось еще лет десять назад даже в трамвае или в метро. Вот сидит, скажем, добрый молодец, не уступает места старушке, и обязательно несколько человек не промолчат, скажут ему, что надо бы встать, так что сидеть после этого ему будет невозможно, стыдно. Теперь при таких обстоятельствах все молчат и отводят глаза — мое дело сторона...

Самое интересное — не раз я видела, как толпа берет сторону обидчика — продавца, нагрубившего покупателю, например...

Не могу забыть такой случай. Мы с десятилетним сыном ехали в Эрмитаж. Народу в автобусе было много, и сын оказался на том месте, где раньше обычно сидел кондуктор — сиденья там почему-то не было. Вдруг на следующей остановке в автобус через заднюю дверь буквально ворвался человек восточного типа и изо всей силы ударил моего сына по спине — так, что тот вскрикнул от боли. Я не успела даже ничего сказать или сделать... Оказалось, это водитель автобуса; сын стоял на каком-то клапане, что-то могло сломаться — так сообщил потом водитель в микрофон. Что меня больше всего поразило тогда, это реакция окружающих. Никто не возмутился поступком водителя, наоборот, многие стали его оправдывать: а вдруг бы действительно что-нибудь сломалось, а он отвечай? Им словно и в голову не приходило, что можно было просто сказать в микрофон: «Мальчик у задней двери, сойди с места кондуктора, там нельзя стоять». А главное — что взрослому, сильному мужику не пристало бить ребенка.

Всеобщее молчание, отсутствие общественного мнения, хотя бы одного голоса, который раздался бы в защиту справедливости, в защиту обиженного ведет к непоправимым искривлениям в психике общества. В частности, в сторону озлобления, жестокости. Причин возрастания жестокости, всеобщей озлобленности, конечно, и без того много, и они достаточно сложны. Но отсутствие противодействия, осуждения в каждом отдельном случае со стороны «мира», равнодушие к происходящему на глазах — тоже одна из причин этого. Я вовсе не призываю вмешиваться во все на свете; терпимость, невмешательство — вещи необходимые и хорошие, но только до определенных пределов.

Не так давно я видела, как взрослый мужчина, в спину которого попал свежок (брошенный, не знаю уж, случайно или нарочно), крикнул выглянувшему из-за угла мальчишке: «Ну-ка, подойди сюда!» и, когда мальчишка почему-то послушно подошел (а, оказывается, не надо было!), со всего размаху ударил его по лицу. Это было несоизмеримо: снежок, пусть даже кинутый нарочно, из шалости, и пощечина, отвешенная тяжелой мужской рукой. Возможно, она станет уроком жестокости и для этого мальчишки. Ведь жестокость так заразительна...

Нас, искорененных ортодоксальным воспитанием, так легко, иногда из самых благих побуждений, заносит в сторону, противоположную той, куда мы вроде бы стремимся — в сторову жестокости.

Я уж не говорю о смертной казни — позорном пережитке варварских времен, о смертной казни, которая давно отменена в большинстве цивилизованных стран, и о готовности наших озлобленных и напуганных сограждан — она была заявлена в телефонных звонках на телевидение в ходе одной из передач — самим расстреливать преступников. Кровная месть, око за око — из каких темных древних глубин всплыла эта философия, ранее нашему народу не свойственная?..

Вот какие смещения в общественном сознании из-за отсутствия четких критериев добра и зла, из-за дефицита правды происходят уже прямо на глазах.

Возродить дух порядочности в нашей повседневной жизни, жить, помня о вековечных нравственных критериях и по мере сил доводя их до других, не знавших их или позабывших... Как легко это написать и как трудно сделать! И сколько еще лет пройдет, пока сможет что-то измениться, сдвинуться с места...

Сейчас гораздо больше говорят и пишут об экономике и политике, что вполне естественно. Раздаются и такие голоса:

— Дайте людям жить в нормальных условиях, в все остальное наладится.

Не совсем так. Конечно, люди станут спокойнее, если смогут купить все необходимое. Но отсутствие нервозности и понятие о добре и зле — разные вещи. Разрешение экономических проблем тоже невозможно без определенного нравственного уровня. Настоящие деловые отношения предполагают честность партнеров, идея кооперации — честный производительный труд. Недаром у нас сейчас многие кинулись не производить материальные ценности, а спекулировать. А тем, кто хочет честно работать на земле, наоборот, всячески стараются помешать завистники.

Да и настоящая демократия без общепринятой шкалы нравственных ценностей невозможна — об этом пишут сейчас историки и политологи. Для России эта шкала ва́жна особенно. Если можно еще говорить о русском национальном характере (а он претерпел, по-видимому, большие изменения), то одна из его главных черт — совмещение противоположностей, крайностей, возможность неожиданного поворота в любую сторону — и к добру, и к злу, и тогда уж безудержность, отсутствие тормозов. Н. Бердяев писал по этому поводу: «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей. Им можно очаровываться и разочаровываться, от него всегда можно ждать неожиданностей... Противоречивость и сложность русской души может быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад». Уда общепринятых нравственных критериев всегда играла в России большую роль. Поэтому их уничтожение, их лукавая подмена и размывание особенно пагубны для нашей страны.

Я верю, что рано или поздно понятия правды и лжи вновь обретут для нашего народа прежнюю силу и значимость. Но вот когда это произойдет, неизвестно. Может быть, понадобится еще несколько поколений.

Как бы там ни было — борьба за правду, постоянная, упорная, в конце концов прорывает стену лжи. Это показала хотя бы история с трагическими последствиями Чернобыля, которые так долго пытались скрыть. Наша будущая жизнь все еще колеблется на чашах весов. От того, будем ли молчать или снова и снова добиваться правды, зависит сегодня столь многое...

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Я. БИЛИНКИС

...КАК ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ

Кризис... Кризис... Кризис... Мы часто сейчас повторяем это слово, о чем бы в сегодняшней нашей жизни ни заговорили. К нему же приходится прибегнуть, когда речь заходит об изучении литературы едва ли не на всех уровнях, об области гуманитарного знания вообще.

Как иначе в самом деле скажешь о положении вещей, если в очень хорошей специализированной столичной школе, где литературе отведено место совершенно исключительное, где она изучается по собственной программе и очень квалифицированный учитель работает в точном смысле слова самоотверженно, учащиеся, год прозанимавшись в девятом классе Пушкиным, «пропустили» «Горе от ума», и неизвестно, когда и в какой связи к Грибоедову обратятся? Не очевидно ли, что самое понятие о литературном процессе, об историческом развитии литературы останется этим ребятам чуждым или, во всяком случае, далеким?

В последнее время мы все чаще становимся свидетелями того, как причины гибели Пушкина все упорней, все настойчивей сводятся исключительно к интригам против поэта или даже к как-то особенно тонко разработанному заговору. Есть уже и версия, что Николай I собирался приблизить Пушкина к себе, чуть не опереться на него в своих государственных начинаниях, и это кого-то испугало и побудило к немедленным действиям. И совсем уже не берется во внимание, что болдинская осень 1836 года у поэта не состоялась, что отношения его с публикой драматически разладились, что, по верному наблюдению, сделанному еще Юрием Тыняновым, в пределах литературы ему становилось тесно, что прозу его даже Белинский и даже после его гибели сильно недооценил, наконец, что сам поэт в последний свой год явно нарывался на дуэли, словно бы искал конца... Опять все, что должно бы вести к закономерностям собственно литературной жизни, оставляется совершенно в стороне, а муссируется лишь более или менее им постороннее.

Так с далеким, так и с не очень далеким прошлым. По знаменитому ныне на всю страну ленинградскому телевизионному каналу «Пятое колесо» можно «узнать», что и Есенин, и Маяковский ушли из жизни вовсе не сами, но были устранены, попросту убиты — опять же в результате чьих-то гнусных политических интриг и черных замыслов. И авторов передачи нисколечко не смутило совпадение их ответа — в случае хотя бы с Маяковским — с тем, что усиленно пропагандировалось когда-то на страницах софроновского еще «Огонька». Там, разумеется, с совсем иной, чем в «Пятом колесе», откровенно черносотенной приправой. Но в приправе ли дело? В существе-то своем ответ получается прежним: все чьи-то козни, своих законов и жизни литературы вроде бы и нет.

Честный, добросовестный исследователь берется обнаружить в недавно написанном хорошем романе якобы прямое повторение всей художественной системы «Бесов» Достоевского. И, по всей видимости, искренне полагает, что оказывает тем и Достоевскому, и современному писателю немалую услугу. Хотя легкость тиражирования, присутствуй она здесь на самом деле, говорила бы отнюдь не в пользу и одной, и другой стороны. «Ни отнюдь»,— как любил выражаться один чеховский персонаж.

А Юрий Карабчиевский в далеко не безынтересной, талантливой книге «Воскресение Маяковского» трактует фразу своего героя «Я люблю смотреть, как умирают дети» как проявление элементарнейшей житейской жестокости и бесчеловечности, хотя ничто у Маяковского, да и во множестве иных случаев, не может быть понято вне широкого контекста культуры нашего века. Последняя же в самом глубинном основании своем, что бы ни говорить, едва ли не прежде всего эпатирующая, агрессивно-наступательная, шокирующая... Вспомним хотя бы идеи Антонена Арто о театре жестокости.

И раз уж мы заговорили о театре... В журнале «Театр» в статье «Скрипка Мастера» (она издана также и отдельной брошюрой) актер Вениамин Смехов взялся рассмотреть перипетии судьбы Московского театра на Таганке в восьмидесятые годы. Он подробнейше изложил все касавшиеся театра директивные решения, рассказал о всех ограничениях, препонах, запретах, выпавших на долю Юрия Любимова. Мы готовы согласиться, что все представлено достаточно объективно (пусть даже кое в чем тут и возникают сомнения). Но вот Любимов вернулся в театр. Все его прежние спектакли обрели сценическую жизнь. Поставлен уже и новый — «Пир во время чумы» по пушкинским «маленьким трагедиям». И оказалось, что судьба художника, коль скоро он остается жив, решается все-таки не в инстанциях, как высоки, самовластны, жестоки они ни были бы. Выяснилось, что путь, пройденный Театром на Таганке к моменту отъезда Любимова, пройден был, собственно, до конца (пройден с огромными результатами!) — и исчерпан. Что многое — и совсем не в угоду инстанциям — действительно предстояло пересматривать и перестраивать, чего руководитель театра не мог, очевидно, не почувствовать. Не мог он и не испытать перед лицом подобной перспективы понятных сомнений и, наверное, даже растерянности. На этой же сцене ведь уже шел в постановке А. Эфроса «Вишневый сад», где актеры Таганки проявили себя в совсем новом, непривычном для них прежде и таком притягательном и для них, видимо, самих, и для зрителей качестве.

Но, пожалуй, хватит примеров? Вывод? Если мы, гуманитарии, не решаем своих задач, не проникаем во внутренние законы художественного процесса, то обречены пробавляться тем и даже «разрабатывать» то, что меньше всего хотели бы утвердить. Дело ведь не в оценочных знаках, но в самом существе.

Да, кризис и здесь налицо. И надо искать выход.

Но, как всегда это бывает при сколько-нибудь органичном развитии, выход назревает «изнутри» самого процесса.

Мы помним, как на переходе от наших 50-х к 60-м годам все как бы наперебой бросились доказывать самостоятельность искусства, его значение *особой* области общественного сознания. Чрезвычайный интерес вызвали тогда и книга А. Бурова «Эстетическая сущность искусства», и трехтомная «Теория литературы», исходившие из этих именно установок. Тогда же вновь всплыли и стали лихорадочно перечитываться труды приверженцев «формальной школы», видевших в искусстве ничем не заменимый способ обновлять всякий раз наше восприятие мира, освобождать это восприятие от подстерегающего его автоматизма.

Открытия «формалистов» продолжают привлекать к себе и сейчас. И, может быть, лишь теперь мы придали должное значение тому, что, придя после значительнейших, великих свершений в естествознании, «формалисты», в отличие от структуралистов, которые явятся поздней, не поддались магии этих свершений, не кинулись у них одалживаться, тем более как-то впрямую приспосабливать их к своей сфере, но стали искать возможность *нового* «измерения» *своего* предмета. Это от них, «формалистов», ведь пошли такие аналитические «категории», как сказ, или мелодика стиха, или теснота стихового ряда...

На переломе же от 50-х к 60-м годам это направление их работы было достойно продолжено.

Во все времена — начиная, наверное, еще с эпохи Аристотеля — в художественном произведении уже умели выделять, скажем, эпитеты. Эпитетами же занялся и скончавшийся недавно А. Чичерин. Эпитетами «Войны и мира». И сравнил их с эпитетом пушкинской прозы. Обнаружилось при этом, проведенном теперь, сопоставлении, что пушкинский эпитет выражен обычно прилагательным и отмечает в людях, предметах, явлениях признаки постоянные, неизменно им присущие, среди эпитетов же «Войны и мира» преобладают причастия, передающие качества меняющиеся, подвижные, преходящие, у Пушкина встречающиеся лишь в черновиках и, очевидно, ему не понадобившиеся. Очертания слома, происшедшего в России в середине прошлого столетия, когда жизнь и здесь решительно пришла в движение и так прежде всего и стала восприниматься, проступили в смене эпитетов. Исторический процесс развития давал о себе знать, оказывается, и таким образом.

Когда затем известный французский филолог Ролан Барт в свой «постструктуралистский» уже период переходил от изучения произведения к изучению текста, он тоже брался за задачу в самой материи художественных созданий найти их принадлежность к некой единой цепи истории. Ограниченность прежних подходов преодолевалась и тут «изнутри».

Многочисленные построения сейчас вульгарных социологов очень ослабили в последнее время интерес к поискам марксистской философской мысли. А в поисках этих и немало плодотворного.

«Мы присутствуем сейчас при некотором ослаблении внимания к марксистской философии. Если это и объяснимо из условий времени, то по существу глубоко ошибочно, так как из всех атеистических мировоззрений марксизм явился самым обоснованным и сильным, вобравшим в себя и преодолевшим своих предшественников. К числу достижений марксизма, несомненно, относится разъяснение им тщетности „систем", то есть сооружения чисто мыслительными средствами некоего единства, откуда выводилось бы „остальное". Это положение вследствие его смелости и новизны не было принято и многими марксистами, не способными расстаться с верховным авторитетом „разума". „Системосозидание", конечно, продолжилось, в том числе и в русской идеалистической мысли; например, Н. А. Бердяев сообщает в „Русской идее" в виде высшей похвалы, что „Владимир Соловьев признается самым выдающимся русским философом XX века. В отличие от славянофилов он написал ряд философских книг и создал целую систему". Но по существу марксизмом в его критике „систем" был найден выход

из давнего и глухого тупика мысли»[1],— верно и точно говорит современный исследователь.

Да, еще народник Михайловский все недоумевал, где же это у Маркса обосновано его, Марксово, понимание истории, и никак не мог взять в толк, что по самой природе марксизма таким обоснованием должен был стать и стал конкретный анализ определенной общественно-экономической формации. А «гудошники от марксизма», как называл таких людей покойный М. А. Лифшиц, подменив анализ отвлеченными умствованиями, уходили в равной степени как от искусства, так и от марксизма.

Но есть в сегодняшней марксистской мысли об искусстве и иное. В качестве образцов этого иного я решусь назвать работы В. Днепрова. Прежде всего его книги о Достоевском и Толстом, первая из которых вышла тринадцать, а вторая шесть лет назад. Нельзя сказать, чтобы сразу по выходе они не были замечены. Конечно же, были. Но принципиальное их значение до сих пор не объяснено.

Ведь ко времени появления книг В. Днепрова у сопоставлений Достоевского и Толстого была уже достаточно долгая традиция. Она брала свое начало еще в 60-х годах прошлого века, когда вышли «Преступление и наказание» и «Война и мир», и один из русских критиков той поры, Н. Страхов, близко знакомый и тесно связанный с обоими творцами, оказался в необходимости о них высказаться. Потом сопоставление это, перейдя в ведение людей, уже не знавших лично ни Достоевского, ни Толстого, приобретало все больше направленность историко-литературную.

Постепенно сложилась тенденция не только со-, но и противопоставления писателей, обязательного предпочтения одного другому. Д. Мережковский, скажем, избрал своим кумиром Достоевского; В. Вересаев поздней, напротив, Толстого...

Тенденция эта проникла и на Запад. Проникла в форме некой категорической альтернативы: Достоевский или Толстой?

Но сегодня подобная постановка проблемы Толстого и Достоевского начинает и на Западе вызывать недоумение и отталкивание.

В. Днепров посвятил Достоевскому и Толстому по отдельной книге. Уже этим он как бы начал свое утверждение самоценности одного и другого.

Многосложность пореформенной русской действительности выдвинула две эти великие художественные системы одновременно, потому что в равной степени нуждалась в них обеих. Их общим основанием явился тот «подъем чувства личности»[1], о котором как о важнейшей особенности эпохи говорил В. И. Ленин.

Человек решительно освобождался от пут сословной прикрепленности и предопределенности. Он оставался отныне, если можно так сказать, на самого себя. И самому за себя ему предстояло теперь отвечать, поскольку ему самому принадлежал выбор.

У Достоевского, как устанавливает В. Днепров, герой выбирает идею, с которой связывает свою жизнь, и ходом жизни эта идея проверяется. Нет, даже не выбирает, мы выразились неточно. Идея рождается в герое, хотя и может совпадать с представлениями, вызревающими в это же время у «других» (в «Преступлении и наказании» Раскольников слышит в трактире разговор студента и офицера, подводящий их к тем же выводам, к каким уже пришел он сам). Одержимый идеей, человек у Достоевского становится ей же и обречен. Вся прежняя, основанная на религии нравственность не имеет больше над ним никакой власти и силы, а иной, внерелигиозной нравственности он не знает. И потому идея сразу и неминуемо выталкивает героя в действие, чреватое страшными подчас последствиями и для него, и для всех «других».

В. Днепров предлагает важные поправки к известным соображениям М. Бахтина насчет того, что у Достоевского действие разворачивается якобы лишь в пространстве, но не во времени. И это позволяет ему объяснить, почему инсценирование романов Достоевского, столь частое в последнее время, и возможно, и оправданно. Ведь в том диалоге, который являют собою, по заключению М. Бахтина, романы Достоевского, нет дурной бесконечности. Раскольникову приходится склониться перед нравственным превосходством Сонечки, отказаться от своих претензий на «наполеонизм», а затем и от самого принципа разделения людей на «Наполеонов» и «тварей дрожащих», войти в человеческое единство тех, кто с ним рядом.

Творец «Войны и мира» и «Анны Карениной» обращен к В. Днепрову прежде и больше всего полнотой и цельностью воссоздания жизни в бесконечном ее многообразии, такими, какие до и после Толстого в подобной мере не встречались, пожалуй, никогда и ни у кого.

В книге о Достоевском В. Днепров как будто мельком и невзначай назвал прозу Толстого «самобытной, породистой и отборной». И в самом этом выборе слов можно почувствовать, как ценит он самое качество, как чувствует природу толстовской прозы. «Самобытность, породистость и отборность» толстовской прозы — это же и есть степень ее наполненности собственно человеческим содержанием.

Вчитываясь, вглядываясь, скажем, в тот эпизод «Анны Карениной», где Левин, перехватив не обращенный к нему взгляд Кити, узнает об ее увлеченности Вронским и о своем несчастье, и в другой, где уже Кити по взгляду Вронского, брошенному тем на Анну, открывается, что им овладела любовная страсть, исследователь констатирует: «Чувственное восприятие оплетается массой связей со сферой эмоций и сферой мышления, оно занимает отныне более важное место в совокупной жизни сознания, в определении поведения, чем занимало раньше».

И Достоевский и Толстой в точном смысле этих слов по-новому представляют исследователю человека, обнаруживают исторические изменения во всей его внутренней структуре. «У нас нет еще материалистической „Феноменологии“ человека. Нет даже критического разбора книги Гегеля (речь о его «Феноменологии духа».— *Я. Б.*), основанного на новых данных из истории культуры. Но зато искусство, особенно роман, создавали и продолжают создавать реалистически художественную феноменологию человека, связывая воедино своеобразный характер эпохи с оригинальным строением человеческой личности, с новизной характеров»,— подводит итог своему изучению Толстого В. Днепров. И именно эти его слова, наверное, наиболее точно передают и своеобразие, и главные достоинства его взгляда на классику, его обращения с нею.

Пришедший к занятиям искусством от неудовлетворенности философской разработкой проблемы человека в его время, В. Днепров открыл в искусстве удивительные богатства философского содержания по этой, так сказать, теме. Открыл, потому что не игнорировал особую, эстетическую сущность искусства, но как раз на нее-то и опирался. А в качестве предпосылки своих анализов твердо придерживался вроде бы нехитрого и в глазах многих сейчас весьма сомнительного представления об исторической обусловленности и, значит, исторической изменчивости нашей природы.

Не случайно именно для В. Днепрова оказался неприемлемым тезис М. А. Лифшица обо всем новом — после Баха в музыке, после Толстого в литературе — искусстве как о процессе чуть ли не тотальной художественной деградации. И именно он же сумел показать, как необходим был, чтобы уловить наши утончившиеся душевные и чувственные проявления, импрессионизм или как не могла быть иной кубистическая форма знаменитой «Герники» у Пикассо, потрясенного бомбежкой маленького испанского селения и увидевшего в ней предвестие чуть не всех ужасов новой мировой войны, воспринявшего ее как сигнал о возможной гибели мира, едва ли не как светопреставление.

Главный пафос (воспользуемся этим понятием Белинского!) лучшего, что создано было в искусстве за XIX век, состоял прежде всего в постижении, познании человека. Константин Леонтьев имел право утверждать, что «изучать действительную жизнь или изучать жизнь по „Анне Карениной“ — это равнозначуще». Убежденные (и совсем не без оснований!) в достигнутых в этом смысле результатах, художники и брались зачастую наставлять человечество, предлагать рецепты спасения. От воссоздания жизни они, особенно к концу столетия, решительно переходили к проповеди, даже морализаторству. К Достоевскому и Толстому это относится, конечно же, в первую очередь.

В. Днепров свою книгу о Толстом впрямую назвал «Искусство человековедения». Подход исследователя самым непосредственным образом сошелся с особенностями его, так сказать, «предмета».

А о Чехове М. Горький в известной своей статье о нем сказал, что он, «как никто», увидел «разрыв в человеке» «двух взаимно друг друга отрицающих стремлений: стремления *быть* лучше и стремления лучше *жить*». По поводу ставших тогда привычными в устах тех, кто воспитывался на Гоголе, Толстом, Достоевском, упреков Чехову в том, что у него якобы «нет миросозерцания», Горький ответил: «У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание,— он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее».

Что это значит — «стал выше» жизни? Не найдя, по всей видимости, в данном случае вполне точного определения, Горький, однако, очень чутко отметил, что позиция Чехова принципиально отличалась от позиции всех, кто ему предшествовал или выступал с ним рядом. Отныне требовался безусловный учет и тех «сторон» нашей природы, которые раньше не останавливали на себе специального внимания. Чехов и отстранился — в той мере, в какой это вообще возможно в искусстве,— от объяснения жизни и перешел к «представлению» ее, что Горький и обозначил словами «стал выше ее».

Сегодня исследователи, например, Р. Гальцева и И. Роднянская в статье «Журнальный облик классики» в «Литературном обозрении» № 3 за 1986 год, готовы — с не большей, пожалуй, чем у Горького, точностью — противопоставлять Чехова как великого художника Достоевскому и Толстому как великим писателям. Но суть дела, думается, явлена — отношения Чехова с жизнью в са-

[1] Петр Палиевский. Василий Васильевич Розанов. «Литературная газета», 1989, 28 июня.

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. I, с. 433.

мой основе своей были действительно уже иными, чем до него. Уловить в должной мере и этот поворот в художественном движении В. Днепров, пожалуй, не сумел. Свою статью о Чехове он назвал «Об атеизме Чехова» и на этом и сосредоточился. Чехов оказался наделенным все же некой строго очерченной и искусственно замкнутой системой установок. Хотя ждать надо было здесь совсем другого...

Да, искусство и исследования о нем остаются и, несомненно, останутся *человекознанием*. Однако, очевидно, историзм наш должен быть решительно углублен и продолжен. Он должен быть распространен на все категории и понятия, находящиеся в обращении. Он и сам должен постоянно меняться в своем характере. Тогда и сегодняшний, как и любой другой, кризис окажется не тупиком, но ступенью в развитии, шагом в пути, всегда уходящем в бесконечную даль, где еще несчетно раз... возникнут новые кризисы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Дневник Елены Булгаковой. М.: Художественная литература, 1990.

В годы, когда «сама действительность стала... тотальным произведением искусства», когда «соцреализм — искусство победителей — хотел вобрать в себя всю реальность, всю ее преобразить и „освятить“ социалистическими идеалами» (Б. Гройс), Елена Сергеевна Булгакова вела дневник. Первая запись помечена 1 сентября 1933 года: «Сегодня первая годовщина нашей встречи с М. А. после разлуки. Миша настаивает, чтобы я вела этот дневник. Сам он, после того, как у него в 1926 году взяли при обыске его дневники,— дал себе слово никогда не вести дневника. Для него ужасна и непостижима мысль, что писательский дневник может быть отобран».

Дневник Елены Сергеевны написан с оглядкой на возможный обыск или арест: крайняя осторожность в оценках напоминает о жизни затравленного зверя, каковым оказался в 30-е годы Булгаков — даже не «попутчик», а «новобуржуазный литератор». Дневник — это не только описание жизни Михаила Афанасьевича, так сказать, подсобный материал для булгаковедов и «всех, кто...». Это живое по стилю, наблюдательное и пластичное повествование, созданное страстно любящей женщиной. Слова и фразы писателя, реалии страшного времени, перечень арестов, театральные интриги — все это врывается в мир непрочного счастья, которым Елена Сергеевна пыталась оградить и защитить мужа. О многом она просто боялась писать, но и того, что есть, хватает, чтобы составить образ беспощадного «века-волкодава».

Вступительная статья Л. Яновской излишне эмоциональна, но в целом толкова. Гораздо хуже обстоят дела с комментарием, который подготовили Л. Яновская и В. Лосев (тот самый, что долгие годы не подпускал исследователей к рукописям Булгакова, а нынче сам «кормится» их дилетантским изданием). Из каждых трех реалий не прокомментированными остались две (и это в случае с дневником, и без того полным намеков и умолчаний!), в комментарии Лосева — при всей его скудости — встречаются неточности, отсутствуют ссылки на булгаковедческую литературу, которой комментатор, похоже, просто не знает. Так что *научное изучение* текста дневника впереди: сделано полдела — дневник, наконец, издан. Будем надеяться, без купюр, призванных скрыть всю правду и защитить чью-то репутацию или очередной миф.

М. ЗОЛОТОНОСОВ

Горенштейн Ф. Зима 53-го. Роман. «Искусство кино», 1990, № 7—9.

Фридрих Горенштейн, наконец, возвращается к нам! До эмиграции он успел напечатать в «Юности» один рассказ — «Дом с башенкой». Если б этот человек ничего больше не написал, то и тогда остался бы в литературе — там, где «Хранитель древностей», и «Дом на набережной», и «До свиданья, мальчики». А теперь мы получим целый материк его романов.

Виктор Ерофеев считает, что до Виктора Ерофеева и Евгения Попова литературы не было, а что было, то можно считать кантите неглижабль. Нет, была! И шестидесятник Горенштейн был, а потому — и есть. Не впервой русским мальчикам сбрасывать очередного кумира с парохода современности! Но хоть Горенштейн и не успел быть кумиром, а — тяжеловат, не так-то его легко сбросить. Хотя — для этого есть все основания. Некогда ему нанизывать метафоры да вывязывать кружево внутреннего монолога. Он спешит выложить, вывалить свое знание о жизни, а уж оно такое неподъемное, так уж его много — мы и отвыкли, признаться, чтоб ткань романа была настолько добротной, не натянутой нигде, не продутой сквозняком авторских амбиций, не протершейся на острых местах...

Две параллельные фабулы сливаются, чтоб стать одной траурной прямой. Вместе с ребятами-ремесленниками практикант Ким спускается в шахту. Ребята погибли, Ким случайно выбрался наружу живым — но гибель гналась за ним по пятам. Порядок, сам уклад этой жизни устроен так, чтобы невинные погибали, чтобы Ким, сын репрессированных родителей, изгонялся из университета, был голоден и холоден, чтоб знал, чувствовал — он оставлен жить из милости, жизнь его сиротская никому не нужна, и при первой же возможности ее отберут. И отобрали...

...Труп Кима лежит в шахтном дворе на носилках, а по рукам ходит газета с сообщением о смерти Сталина. Горе стране, где важнейшим потрясением стала смерть тирана! Не один Сталин виноват в гибели Кима и миллионов таких, как он. Вся система, где задействованы тысячи сталиных, направлена против людей и против их самых естественных надежд и радостей. Но человек не создан для той жизни, какую ему уготовили сталины. И здесь в черноте, в нищете, в сиротстве, он бесконечно выше своей участи. Его назначение — высокое, но сталины хотели бы его растоптать. Нельзя им поддаваться!

И. ПРУССАКОВА

Анциферов Н. Душа Петербурга. Ленинградский комитет литераторов; агентство «Лира», 1990.

Выход в свет этой книги — праздник книголюбов: ведь первое издание, появившееся без малого семь десятилетий назад, у букинистов и при «договорных» ценах не залеживается! Автор ее — один из пионеров постижения отечественным краеведением и феномена города как такового, и города на Неве. Блистательный организатор экскурсий и глубокий исследователь выдвинул в центр своего труда мысль о том, что «город Петра оказался организмом с ярко выраженной индивидуальностью, обладающим душой сложной и тонкой...» Воплощается она в ландшафте, планировке, гармонии природы и архитектуры, топонимике, но с особой проникновенностью — в слове писателя.

Город — литературный герой... Есть персонажи словесности, что прожили в ней века, придя из античной мифологии и Библии, средневековых легенд, творческого мира Данте, Шекспира, Гете. Они воскресали вновь и вновь под пером многих писателей. Почему бы не стать в их ряд и городам? Петербург — стал, и цель Анциферова — повести в странствие по его площадям, улицам и набережным читателя, предварительно пережившего в душе художественный образ северной столицы.

Первое имя здесь — Сумароков, последнее — Маяковский. Мы знаем, хотя и куда меньше, чем Анциферов, ито — между. Каков же вклад каждого в формирование для нас облика города? Причем в двух ипостасях. Были Петербурга (история, пейзаж, уклад и быт). И мифа — существовал ли в истории другой город, овеянный таким множеством легенд в таком эмоциональном диапазоне: от величавой патетики до яростных проклятий? Об этом и идет увлекательный разговор.

А ведь Ленинградское отделение «Детской литературы», участвовавшее в воссоздании этой книги, сулит, что она — лишь начало серии подобных изданий. Неужели мы получим в их числе и две другие части анциферовской трилогии — «Быль и миф Петербурга» и «Петербург Достоевского»?! Дух захватывает...

А. ХОДОРОВ

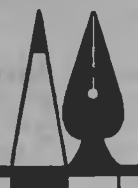
Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.

Нам так долго навязывали нелепые или бесчеловечные казенные цели, что все сверхличное многим из нас уже представляется демагогической выдумкой; на самом же деле начало и конец всяческого благополучия — это колбаса и туалетная бумага. И, однако, классик современной (буржуазной, «made in USA!») психологии утверждает, что если исключить автокатастрофы, то больше всего благополучнейших американских студентов гибнет от собственной руки. Зажрались? Но и в фашистском концлагере больше шансов выстоять имел тот, кто *служил* чему-то или кому-то. И даже неотвратимое поражение человек переносит гораздо легче, если является воодушевленным участником, а не пассивной жертвой событий — «героический пессимизм» полезен для душевного здоровья. Надеюсь, книга В. Франкла сделает менее сомнительными слова Достоевского о том, что, не зная, для чего ему жить, человек истребит себя даже среди полной сытости. Мы уже убедились, что в споре художника и политика всегда прав художник. Труднее поверить, что гениальный писатель может быть мудрее завмага.

Искателей смысла жизни ортодоксальные марксисты считают антисоветчиками, ортодоксальные же фрейдисты — душевнобольными. Франкл без конца повторяет, что человек может стремиться к чему-то высшему потому, что хочет именно высшего, а не потому, что испытывает либидо к собственному отцу или страх кастрации. Оказывается, и это может стать открытием: художник желает именно писать картины, а не размазывать хоть что-нибудь, если приличия не позволяют размазывать...

Франкл вскрывает глубинную порочность всех уютных земных утопий: счастье не может быть целью человеческой жизни, а может возникнуть лишь как побочный продукт при достижении каких-то иных целей.

А. МЕЛИХОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Антон ВОЗНЕСЕНСКИЙ

К ТРЕХСОТЛЕТИЮ ЦАРСКОЙ МЕЧТЫ

Признаюсь, меня поначалу удивляло, что для значительной части ленинградцев старое название нашего города ассоциируется только с именем первого российского императора. Действительно, ведь само название прямо указывает на святость «тезоименинника», а уж святости русские цари себе не присваивали — тем более при жизни. И все же связь эта в нашем сознании не случайна.

Известно, как мало устраивала старая Русь молодого царя, насколько сильно отличалась она от того «царства разума», которое желал видеть он в своих владениях. Энергии у Петра Алексеевича было не меньше, чем у гордых его потомков двумя столетиями позже, только путь к новой России видел он чуть иначе — до основания всего не разрушал, а новое закладывал охотно. Привиделся ему город-мечта, столица Империи, он принялся за строительство, сам ни на кого не рассчитывая, уповая на Бога, полагаясь на самого себя да на российский народ, который любил и в который верил. И поднялась чудо-столица, живое воплощение идей державного ее основателя. Продвигалась Россия по пути «прогресса и цивилизации» — рос город св. Петра. Страдала страна — приходила в упадок столица, в которой, как в зеркале, отразилась вся наша своеобычная история.

Для одних Петербург оставался окном в Европу, для других стал средоточием вселенского зла, язвой на теле страны. Но чуть только начинали о нем спорить, имя Петра Великого вставало во весь свой огромный рост, точно тень его вступалась за свое детище. Вот поэтому, должно быть, император Петр I Алексеевич и город его в устье Невы остались так неразрывно между собою связаны в сознании всякого петербуржца, каждого русского гражданина.

В истории любого города бывают периоды расцвета и упадка, возвышения и падения. Один из таких «темных» периодов, безусловно, переживает наш город и теперь, на наших глазах. До трехсотлетия осталось тринадцать лет — всего ничего, а сколько еще надо сделать, чтобы юбилей стал праздником!..

Сегодня мы все чаще обращаемся к прошлому, с интересом и благодарностью, едва ли не с завистью. В этом смысле уместно вспомнить, как же отмечались юбилеи нашего города в прошлом.

Вот, к примеру, столетие Санкт-Петербурга. 16 мая 1803 года праздник начался с грандиозного военного парада: 20 тыс. человек гвардии и армии под предводительством самого Александра I прошли мимо памятника Петру I перед Адмиралтейской набережной, отдавая ему воинские почести. В то же время, как сообщает И. Божеранов в «Культурно-историческом очерке жизни Санкт-Петербурга за два века», на Неве стоял стодесятипушечный корабль «Гавриил», на палубе которого был установлен ботик Петра I. Был отслужен молебен, после чего над ботиком торжественно взвился штандарт. Троекратный пушечный залп с «Гавриила», из Петропавловской крепости и с Адмиралтейства завершил «официальную часть» торжества. В тот же день Александру I и государыне императрице были поднесены делегацией от города золотые медали с изображением профиля Петра I в лавровом венке на лицевой стороне, а на следующий день, 17 мая, император повелел одну из двух медалей «внести с подобающей честью и приличными обрядами в соборную церковь свв. апостолов Петра и Павла и от лица России положить на гроб отца отечества, в незабвенное свидетельство перед грядущими веками, колико память его России священна»... Начинался новый век, и грудь молодого императора Александра Благословенного, как и его гордого предка сто лет тому назад, была полна благими порывами к преобразованиям отчизны...

С уверенностью можно считать XIX век порой расцвета северной столицы. Должно быть, потому так пышно и радостно был встречен следующий юбилей спустя столетие, 16 мая 1903 года. Дело это, так сказать, не столь давно минувших дней, и на них стоит остановаться поподробнее.

Готовились к празднованию заранее и с большой тщательностью. Была создана особая юбилейная комиссия, выделены

значительные средства на проведение торжеств и по различным городским нуждам. Уже 2 мая началось украшение города. На Адмиралтейской набережной, против памятника Петру I, возводился Царский павильон в «строго выдержанном стиле Людовика XIV». В газете «Заря» от 8 мая 1903 года приводилось следующее описание этого сооружения: «Остроконечная крыша увенчана пятью золотыми орлами петровских времен; павильон задрапирован бледно-желтого цвета сукном с золотым бордюром. По сторонам памятника сооружены 4 дымящихся жертвенника; вокруг решетки идут медальоны, заключенные в лавровые венки с инициалами всех императоров от Петра I до ныне царствующего Государя Императора с датами их царствования. Устраивающиеся здесь трибуны будут иметь форму огромного корабля с мачтами и реями». Позади памятника был установлен герб дома Романовых, вышитый серебром и золотом. Заранее были определены и другие места народных гуляний: Народный дом императора Николая II в Александровском парке (в наше время его занимает Ленинградский мюзик-холл), где шли последние репетиции грандиозного спектакля «Санкт-Петербург» Л. Г. Жданова, Петровский остров, Екатерингофский парк, Новая Бавария, Василеостровский и Варгунинский сады, Царский городок. Гуляния предполагались с 8 часов утра до 12 часов ночи, а для предупреждения несчастных случаев, которых трудно избежать в местах скопления больших масс, были приглашены «48 врачей, 16 фельдшеров и 16 санитаров». На выступах Старо-Исаакиевского моста (наплавного, ведущего от Университета к самому Медному всаднику) стояли пушки времен Петра I. Старательно был убран и Меншиковский дворец (в то время 1-й кадетский корпус), в зале которого в праздничный день состоялся парадный обед, сервированный «более чем на 1200 кувертов» (т. е. приборов). Комнаты, в которых некогда располагались покои ближайшего соратника Петра, привели в современный вид, и в них разместили личные вещи князя из различных музеев. Сторожей дворца одели в униформу солдат петровской эпохи, в специальный костюм нарядили и швейцара. В буквальном смысле слова со всех концов мира шел нескончаемый поток поздравительных телеграмм, в столицу прибывали иностранные депутации. Надо полагать, что всю предпраздничную неделю большáя часть населения Санкт-Петербурга жила исключительно приятными и радостными хлопотами.

Конечно, не обошлось без проблем. К слову сказать, в это время заканчивалось строительство Троицкого (Кировского) моста и набережной на Петербургской стороне. Освящение и открытие моста назначалось на 16 мая — это был один из важнейших пунктов праздника. В наше время вся набережная от Гренадерского моста до Иоанновского — излюбленное место вечерних прогулок ленинградцев и гостей города, а вот тогда многие негодовали, зачем там сделали «безобразные каменные перила взамен чудной металлической решетки Батиньоля (французская строительная компания, по проекту которой и строился мост) и варварски-людоедскую булыжную мостовую взамен дивных торцов Батиньоля»? «Троицкий мост поистине может служить эмблемой франко-русского союза,— писал один возмущенный корреспондент в газете «Заря».— Пройдитесь, читатель, с закрытыми глазами по этому мосту, и ноги вам укажут границу между Европой и Азией»! «Гласом вопиющего в пустыне» называл свое сетование по поводу состояния исторических памятников накануне юбилея другой корреспондент: «Потрачено много, очень много, даже слишком много денег на возведение... более чем сомнительных украшений; все это топорно и аляповато, не стильно и безвкусно, а настоящие Петровские памятники — Ростральные колонны на Биржевой площади, так и остались забытыми и стоят заброшенные, облезлые, грязные, жалкие. У одной из них расхищены цепи, у другой опрокинута на днях одна из гранитных тумб, окружающих пьедестал, да так и валяется около своего места, и, видимо, даже некому ее поднять»... Знакомо? Другие традиционные упреки местной власти: «...В настоящее время ночи в Петербурге стоят темнейшие, а по определению нашей городской управы они должны быть светлейшие, вследствие чего фонари на улицах совсем не зажигаются, и несчастные обыватели Петербурга обрекаются от 10 час. вечера до 2 час. ночи ездить и бродить в египетской тьме» (Заря, № 72 от 14 мая 1903 г.). Знакомо? Или: «По ночам нет возможности дышать от ужасающей заразы, распространяемой бесконечно тянущимися по улицам маститого юбиляра ассенизационными обозами... Вот уже несколько дней, как часы на Николаевском вокзале испортились и остановились. Стрелки их забинтованы в бумагу, которую рвет ветер и клочки которой бьют по циферблату часов. Не означает ли это, может быть, что время хочет остановиться и отсрочить наступление юбилея, чтобы наша Дума могла привести столицу в достойный вид?» Знакомо...

Но радостного все-таки было больше. Самые предпраздничные дни ознаменовались и другими событиями: 6 мая праздновался день рождения Государя Императора, 8 мая — закладка в Кронштадте большого морского собора, 11 мая в Летнем саду открылась «Неделя Петра Великого» — торжественно, с процессией в 500 человек в костюмах петровской эпохи, с герольдами, «голландцами», «турками», карликами, шутами, с Петром Великим, окруженным своим войском и сподвижниками, с пленным Карлом XII, с Нептуном и пр. 14 мая столица праздновала годовщину «Священного Коронования Их Императорских Величеств». Наконец, 15 мая отмечался 200-летний юбилей с.-петербургской городской полиции. Все это делало теплый, ясный май 1903 года хлопотным и незабывающимся.

Торжественный порядок празднования двухсотлетия Петербурга, освящения и открытия Троицкого моста был утвержден по «всеподданнейшему докладу министра внутренних дел» (статс-секретаря фон Плеве) 9 мая 1903 года самим Николаем II и объявлен через прессу.

Пришел долгожданный день. Газета «Заря» так описывала состоявшиеся торжества: «Уже с раннего утра на Невском проспекте и набережной Большой Невы было заметно необычайное оживление. Красивую картину представляла Нева, по которой от Петербургской крепости до Николаевского моста расположились суда гвардейского экипажа и флота. Ряды судов столичных яхт-клубов тянулись вдоль левого берега реки от Троицкого моста до спуска Иорданского подъезда. Здесь же, против Зимнего Дворца, стояла на якоре галера петровского времени. Около 8 часов утра от пристани против Зимнего Дворца двинулись два парохода: один — „Петербург“, с представителями городского управления и всех сословий, и другой — с представителями иностранной и русской печати. Ровно в 8 часов утра загремели пушечные выстрелы из Санкт-Петербургской крепости, возвестившие население столицы о наступлении торжественного дня. Одновременно на галере взвился флаг и раздались звуки исторического петровского марша, сменившегося гимном „Боже, Царя храни“. Пароходы двинулись к пристани домика Петра Великого, у которой уже стоял пароход морского ведомства, предназначенный для перевезения св. иконы Спасителя и духовенства, баржа с установленной на ней верейкой Императора Петра Первого и пароход для буксирования баржи. Когда „Петербург“ высадил своих пассажиров на пристань, к ней подошли катера с управляющим морским министерством, начальником морского штаба и комендантом Санкт-Петербургской крепости. У пристани перед домиком Петра Первого был раскинут ажурный шатер, украшенный гирляндами цветов. Вдоль ограды, окружающей домик, пестрели флаги. По прибытии представителей духовенством была поднята святая икона Спасителя и перенесена к пристани на пароход. Шествие открывали несомые церковный фонарь, запрестольный крест и хоругви. Затем шло духовенство, придворные певчие, представители морского ведомства, столичной администрации, сословий и организаций. При пении „Спаси, Господи“ пароход со св. иконой двинулся по Неве по направлению к Зимнему Дворцу, за ним последовала буксирная баржа с верейкой, а затем длинной лентой потянулись катера с представителями адмиралтейств-совета, высшего морского начальства, Санкт-Петербургской крепости, лейб-гвардии семеновского и преображенского полков. За ними шли паровые катера и гребные суда яхт-клубов. Процессию замыкали перевозные ялики образца петровских времен с гребцами в красных рубахах.

Когда баржа с верейкой поравнялась с крепостью, на среднем флагштоке медленно поднялся Императорский штандарт, а с крепости раздался пушечный салют в 31 выстрел. Ему вторили стоявшие по диспозиции на Неве военные суда, одновременно все суда расцветились флагами. Обе набережные были усеяны народом. На пристани у Дворцового проезда св. икону встретило духовенство и остальные представители дворянства, городов, земства и разных сословий, а также общества хоругвеносцев и городских цехов. Отсюда церковное шествие направилось через Дворцовый проезд и Адмиралтейский проспект к Исаакиевскому собору, где высокопреосвященным митрополитом Антонием были совершены божественная литургия и молебствие.

После церемонии на Неве происходило торжественное открытие Троицкого моста. На Суворовской площади окна, балконы и крыши домов — все кишело людьми. Море голов наблюдалось на Марсовом поле; порядок был образцовый. На площади устроен помост, где был установлен временный аналой, к которому пришел крестный ход с хоругвями; здесь же собралось духовенство с преосвященным Антонием, епископом Ямбургским во главе. У помоста встало несколько чинов полиции в формах петровского времени. В одиннадцатом часу трибуны были заняты нарядной публикой. Сюда съехался весь дипломатический корпус, здесь же собрались некоторые иностранные делегации, прибывшие в Петербург, а также гласные санкт-петербургской городской думы во главе с головою. Стали прибывать государственные сановники и министры. У помоста в ожидании Их Величеств заняло дежурство, которое несли при Государе в этот день генерал-адъютант князь Г. С. Голицын, главноначальствующий гражданскою частью на Кавказе, свиты Его Величества генерал-майор князь Белосельский-Белозерский и флигель-адъютант полковник Петрово-

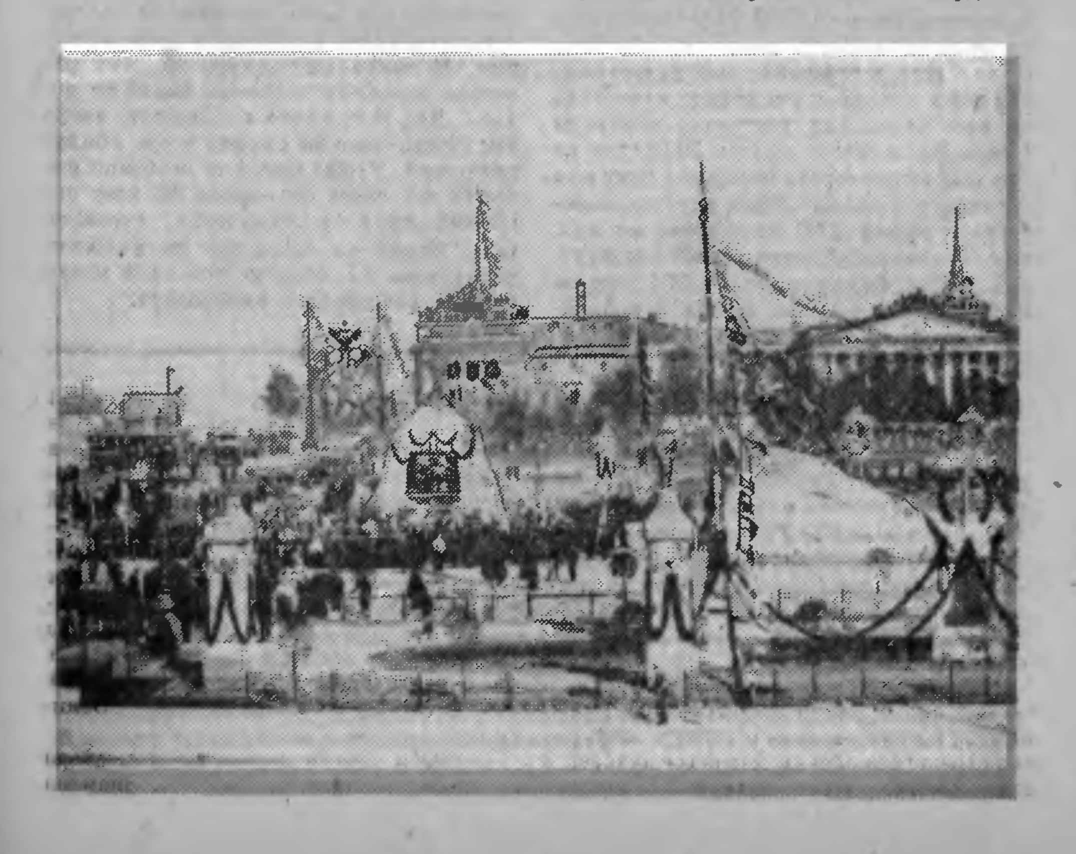
Солово. Вблизи Троицкого моста сгруппировались члены строительного комитета моста. Но вот вдали разносится могучее русское „ура". Население столицы в день юбилея приветствует радостно и восторженно Царя и Царицу. Вскоре Их Величества подъехали к помосту в сопровождении санкт-петербургского градоначальника генерал-адъютанта Н. В. Клейгельса и были встречены городским головой П. И. Леляновым. Государыням и Великой Княгине поднесены роскошные букеты из живых цветов. Государь Император был в мундире лейб-гвардии преображенского полка и в андреевской ленте. Государыня Мария Феодоровна была в белом платье и андреевской ленте. Государыня Александра Федоровна была в платье золотистого цвета. Их Величества вступили на помост, где уже собрались Великие Князья и Княгини. Преосвященный Антоний, епископ Ямбургский, в сослужении духовенства совершил чин освящения моста. Молебствие закончилось многолетием всем потрудившимся в построении моста. Наступил великий момент: раздался удар колокола, а ему вторя, начался колокольный звон всех церквей. Их Величества подошли к разводной части моста, где на подушке лежала на перилах кнопка. Предшествовал Государю и Государыне крестный ход с хоругвями и иконами. Государь надавил кнопку. Несколько секунд — разводная часть моста пришла в движение и, поворачиваясь постепенно, соединилась с берегом, открыв взорам присутствовавших грандиозный мост. Государыни Мария Феодоровна и Александра Феодоровна разрезали две ленты, затем двинулся крестный ход, в котором шествовали Их Величества и Их Высочества и собравшиеся лица Свиты, а также государственные сановники. Преосвященный Антоний окроплял мост святой водой. Их Величества, пройдя через мост, вступили в особо устроенную палатку, где городской голова имел счастье поднести Их Величествам медали в память освящения Троицкого моста и альбом с фотографическими снимками сооружений. Присутствующим было роздано краткое описание Троицкого моста, украшенное художественною виньеткою и рисунками. Их Величества удостоили лиц, принимавших участие в сооружении моста, милостивым разговором. К палатке были поданы экипажи. Их Величества заняли места и отбыли через Троицкий мост к месту памятника Петру Великому.

...К началу божественной литургии Исаакиевский собор наполнился массою богомольцев. Высокопреосвященнейший Антоний, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, совершил в сослужении духовенства божественную литургию. После освящения Даров все духовенство вышло через северный портик и выстроилось у западного портика. Из алтаря все старейшее духовенство вышло к архиерейскому амвону. Митрополит Антоний окадил св. икону Спасителя, на аналое положенную, архимандриты приняли святыню. С крестом и Евангелием духовенство, проследовав через западные двери, общим крестным ходом направилось к памятнику Петру Великому. Здесь, в ожидании Их Величеств, духовенство заняло место у памятника. В глубине площади на эстраде собрались хоры музыки и певчие войск гвардии для исполнения юбилейной кантаты под общим управлением капельмейстера Събботелли. Все трибуны были переполнены. Дивные декорации развивались перед глазами. На Неве — ряд судов. У самой палатки собираются лица Государевой Свиты. По обеим сторонам прохода сгруппировались девочки, воспитанницы школ. За ними — блеск золотого и серебряного шитья лент, эполет и разнообразных мундиров. Площадь у памятника и набережная необыкновенно оживились, когда прибыли войска и к 9 часам построились в парадной форме в определенном порядке. Когда проходил крестный ход с иконою Спасителя от Дворцового проезда по направлению к Исаакиевскому собору, части войск брали на караул, а хоры музыки играли „Коль Славен". В первом часу дня донеслись крики „ура", и вскоре к памятнику прибыли Государь Император, Государыни Императрицы, Государь Наследник и Августейшие Особы, а также Государева Свита и сановники. Их Величества встретил у памятника городской голова, затем высокопреосвященнейший Антоний с сослужащим духовенством с крестом и святою водою. Их Величества и Их Высочества вошли в шатер. Началось молебствие, которое совершали у аналоя перед св. иконой Спасителя высокопреосвященнейший Антоний, соборные с духовенством. Знамена были принесены к аналою. Молебствие закончилось многолетием всероссийскому победоносному воинству и всем верноподданным. Послышалась команда, войска отдали честь, с верков Петропавловской крепости загремел салют. Во всех церквах полился колокольный звон, а стоявшие на Неве суда начали салютационную пальбу в 31 выстрел. Митрополит, осенив св. крестом Их Величества, Особ Императорской фамилии, а также воинство и всех присутствовавших, возвратился с духовенством в Исаакиевский собор, а святая икона Спасителя, сопутствуемая прибывшим с нею духовенством, была отнесена в крестном ходе по Адмиралтейской и Дворцовой набережным через Троицкий мост в домик Императора Петра Великого.

Во время следствия крестного хода колокольный звон не смолкал. Знамена были отнесены к своим частям. Городской голова поднес Государю Императору, Государыням Императрицам и Особам Императорской фамилии выбитые медали, имеющие барельефные портреты Императоров Петра Великого и Николая II. Рисунок на медалях одинаковый с медалями в память освящения Троицкого моста. Затем Их Величества и Их Высочества прослушали сыгранную и спетую кантату, посвященную юбилею столицы на слова К. Случеаского. Скомандовано к церемониальному маршу. Их Величества и Их Высочества, выйдя из палатки, прошли по набережной и остановились на тротуаре. Лихо проходили войска мимо Русского Царя. Государь говорил „спасибо", неслись ответные клики. Войска проходили один раз. После парада Государь Император и Августейшие Особы отбыли с Петровской площади. Одновременно начался разъезд и шествие представителей санкт-петербургского городского управления в Петропавловский собор. Шествие сопровождали представители города и сословий, купечества, мещанства и ремесленников, а также цехи с их значками. По прибытии шествия в собор у гробницы в Бозе почивающего Императора Петра Первого совершена лития, после которой голова с представителями городского управления возложили на могилу Императора Петра Великого юбилейную медаль.

...Красивую картину в день празднования 200-летия Петербурга представлял Невский проспект. По обе его стороны были установлены высокие мачты, увенчанные государственными гербами и украшенные у подножья многочисленными флагами и гербом Саякт-Петербурга. Повсюду виднеются щиты с инициалами Государя Императора и Императора Петра Великого. В окнах и на балконах установлены бюсты Императоров, украшенные зеленью тропических растений и живыми цветами. В некоторых местах с крыш противоположных зданий спускаются целые цепи маленьких флагов. Фасады зданий и балконы убраны цветною материей и коврами. Особенно красивым художественным убранством выделяются здания санкт-петербургской городской думы и Гостиного двора. Гранитная лестница скрыта за большими панно, на левом из которых изображен Петр Великий, читающий указ Сенату о переводе столицы в Санкт-Петербург из Москвы, а напротив — „Царь-плотник". Между ними, в нише, высится во весь рост фигура Петра I, у подножья которого изображена скульптурная группа его сподвижников. Перед каждым панно бьют фонтаны. Работы эти произведены под наблюдением скульпторов Курпатова и Тимуса.

Красивым убранством отличается также Гостиный двор. В средней арке его установлена громадная фигура Петра Великого, стоящего с поднятым топором в руках, на гранитных скалах пустынного берега Финского залива. Фигура Императора и вся декоративная часть художе-



ственно исполнены К. В. Изенбергом. У Гостиного же двора, на углу Садовой и Невского, выделяется на особом постаменте другая статуя Императора. Вдоль Гостиного двора со стороны Невского тянется трельяж, обвитый гирляндами зелени. Обращает также внимание большая арка-панно, воздвигнутая поперек Невского проспекта на Знаменской площади. Панно разделено на три картины: на средней изображен Петр Великий, спасающий утопающих, на боковых — Петербург Петровского и настоящего времени.

Справедливости ради следует заметить, что одними церемониями не ограничились. Вечером того же дня состоялось юбилейное собрание санкт-петербургской городской думы. Среди приглашенных находились члены Государственного совета, министр внутренних дел, представительство от полков, иностранных депутаций и пр. В ознаменование празднуемого события Дума постановила, между прочим, ассигновать 6 млн. рублей на постройку училищных домов для 25 тыс. учащихся. Один из таких училищных домов был торжественно заложен иа другой день, 17 мая (завидная оперативность!) на Гагаринском буяне, а окончательно отстроен по проекту архитектора Дмитриева к 1911 году; ныне здание занимает Нахимовское ВМУ. Здание было рассчитано для помещения в нем 20 начальных училищ и ряда общеобразовательных заведений; читальни, библиотеки, курсов прикладных зданий и т. д. Также было принято решение с 1903/04 учебного года прекратить взимать плату за обучение с учащихся в городских как начальных, так и 4-х классных училищах; поместить во всех городских училищах портреты Петра Великого; в память 200-летия со дня основания города построить одну или несколько больниц общей вместительностью не менее 1000 коек (одна из них, т. н. Клинический повивальный институт, арх. Бенуа, была открыта в 1904 году на Васильевском острове, другая — в Александровском саду — Ортопедический институт, арх. Мельцера, в 1906); кроме того, был объявлен конкурс на составление истории г. Санкт-Петербурга и ассигновано на выдачу премий 8000 рублей; решено было возбудить ходатайство перед правительством о продлении Беломорского имени Петра Великого канала для соединения Онежского озера с Белым морем; открыть кредит в 100 тыс. рублей на постройку городского изоляционного дома и пр.

Любопытный турнир состоялся между двумя командами из петербургского шахматного клуба. Все фигуры были заменены людьми, одетыми в соответствующие костюмы. Гигантская шахматная доска была сооружена на особом помосте. Состоялось три партии, выигравшая команда получила приз по подписке.

18 мая в Летнем саду состоялось закрытие Недели Петра Великого, а через 10 дней, 28 мая, праздник «пришел» уже на Сестрорецкий курорт, где состоялось «торжественное историческое шествие» в петровских костюмах, в котором приняли участие 1000 человек взрослых и 700 детей, с концертом оркестра графа Шереметева, костюмированным балом, «живыми картинами», с бенгальскими и «потешными» огнями, с фейерверком...

...Подводя итоги юбилейных торжеств, газеты писали, что «ряд нерабочих дней нисколько не разнуздал толпы, а, напротив, умиротворил ее дурные инстинкты: вовсе не встречалось на улицах пьяных, отсутствовали даже обычные по воскресеньям уличные скандалы и недоразумения. В толпе ощущалось на этот раз веянье какого-то особенно высокого духа»... Дай Бог, хочется пожелать, чтобы так можно было бы сказать и про юбилей грядущий. Чтобы какой-то особенно высокий дух снова объединил бы всех нас разрозненных, равнодушных, страждущих. Чтобы мы снова так же искренне радовались бы юбилею красивой мечты первого российского императора.

«СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ...»

*Под таким девизом выходит в Ленинграде альманах-газета **«Петербургская тетрадь»**, или «Пб. Т», ближайшая, как догадывается читатель, родственница «Седьмой тетради». Издается альманах-газета при участии журнала «Нева» агенством И.Р.А. Все материалы «Пб.Т» посвящены истории и культуре родного города. На ее страницах печатаются заметки, очерки, статьи, а также добротные литературные произведения малых форм. Скрасить людям жизнь в наше смутное время — такую задачу ставит перед собою редакция нового издания, объявившего, кстати сказать, вместе с «Седьмой тетрадью» конкурс на **лучший святочный рассказ** объемом не более 5 машинописных страниц.*

*Читайте «Петербургскую тетрадь», пишите в «Петербургскую тетрадь»! Адрес ее редакции: 193029 Ленинград, ул. Бабушкина, 25. Телефон: 567-30-07. Принимаются заявки на **приложение** к «Пб.Т» — факсимильные издания оригинальных планов Петербурга 1900 года на 4 листах, цена — 8 р.) и 1828 г. (на 12 листах, цена — 34 р.). Издания высылаются наложенным платежом.*

По случаю юбилея

Анатолий ПЕТРОВ

СТОЛЕТИЕ МАСТЕРА



«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой...» Давно, очень давно, почти тридцать лет назад, глазв пробежали по этим словам, дочитали до конца фразу и в изумлении замерли — остановились на точке, словно это она приковала внимание, а не магический булгаковский текст... И почти тридцать лет служат эти слова ключом к роману «Мастер и Маргарита». Произнесешь их — откроется целый мир, воссозданный специально для нас, суетных и лицемерных, по образцу лицемерной же действительности...

Так он воспринимается, этот шедевр.

Сейчас много пишут и много говорят о булгаковской магии. А ведь совсем еще недавно и имя Мастера цедили сквозь зубы, и головой укоризненно качали иному редактору, дерзнувшему напомнить читательской аудитории о большом писателе, и пальцем грозили и каяться понуждали на пресловутом ковре, расстеленном в каком-нибудь областном, краевом или республиканском синедрионе. И затем отсылали к литературному прокуратору, и он (такая служба!) повелевал сего редактора, а вместе и Мастера (в который раз!) распнуть в назидание всем мыслящим инако, а не одинако.

Сейчас-то бойкие литературознатцы разложили булгаковские романы и пьесы на составляющие, разъяли на части, каждую окропили елеем, отмаркировали, и всё заштабелировали — по непреложным законам науки, именуемой булгаковедением. (Коль есть явление, значит, должна быть и наука, объясняющая это явление.) И никуда от нее не деться. А в науке — школы, враждующие между собой, а в школах — свои направления, свои матры, снисходительно посматривающие на невежественную толпу читающих. Впрочем, толпе этой дела нет до школ, направлений и мэтров. Для нее существует Булгаков, его «Белая гвардия», «Театральный роман», «Собачье сердце», «Бег», «Мастер и Маргарита»...

Автор рассчитывает на непосредственное и свежее восприятие не задавленного ученостью читателя.

Но очень, как кажется, неясно видит автор своего будущего поклонника. Он для него — необъятное Нечто, бесформенное и безликое, лишь душу его чувствует автор, осознает как собственную, способную отозваться именно на это, а не другое слово, на этот образ, на такие вот речевые обороты или зигзаги сюжета. И пишет он для этого читателя — не для науки, помилуй Бог! И не думает о том, как теоретики будут его квалифицировать, какой присвоят ранг (так уж принято, что все авторы расписаны по рангам — от рядового до маршала; иной раз эту табель перетряхивают, тогда у рядового появляется шанс обрести генеральские лампасы, а у маршала — быть разжалованным, а то и вовсе выйти за пределы изящной словесности: такого-то, напишут, в литературе, мол, не было, а что печаталось под именем его — от лукавого).

Долго числился Мастер в разряде несуществующих.

Лишь дух его витал над интеллигентскими кругами.

И рождались легенды.

А теперь он — матерый человечище, он — глыба, от которой многочисленные ученые люди отколупывают кусочки, растирают в порошок, пробуют и на язык, и всяко, стремясь приобщиться к тайнам булгаковской магии, постичь то, что рациональному уму постичь не дано.

А глыбы не убывает.

Но — тс!

Еще и сегодня продолжает мерещиться шаркающая походка, суровый лик видит-

ся с морщинами на высоком челе, с особенной печатью на нем, дающей право судить и — отправлять на Голгофу.

Какой он?
Справедливый? («В белом плаще»).
Жестокий? («С кровавым подбоем»).

Нина МАКАРОВА

МУЖЕСТВО

Из дневника старшего редактора

Ноябрь 1971 г.

Книгу Веры Кетлинской «Мужество» я прочитала перед войной: в далекой сибирской тайге комсомольцы строят город. Преодоление трудностей, молодой энтузиазм, романтика. Нравилась мне эта книга. Не знала, что строили заключенные.

А после войны с таким же интересом прочитала роман Кетлинской о жизни завода «Дни нашей жизни». И вот...

Франц Николаевич Таурин — заведующий отделом прозы «Нового мира» — зовет меня из своего «кабинета». Когда вошла в его закуток, в кресле, втиснутом между письменным столом и стеной, увидела женщину в малиновом свитере, короткие волосы завиты, на лице вежливая улыбка.

— Знакомьтесь...— предлагает Франц Николаевич.— Рукопись Веры Казимировны Кетлинской у вас?

Да, рукопись «Вечер. Окна. Люди» у меня, она уже прочитана в редакции, обсуждена на редколлегии. Говорилось о том, что композиция сложна: детство, современные новеллы, путешествие в историю и путешествия сегодняшние в Мурманск и Петрозаводск; говорилось, что особенно интересна биографическая часть...

Я тогда не знала, что у Веры Казимировны есть оппоненты. Мне казалось естественным, что писательница вспоминает отца и мать. Позже, когда рукопись была уже отредактирована, мы получили из Института марксизма-ленинизма такое заключение: «...страницы, озаглавленные „Второе путешествие через пятьдесят лет“ посвящены обстоятельствам убийства отца автора контр-адмирала К. Ф. Кетлинского в Мурманске в январе 1918 года.

В течение нескольких десятилетий в литературе, посвященной истории гражданской войны на Севере, начальник Мурманского укрепленного района Кетлинский характеризовался как контрреволюционер, его убийство объяснялось как месть революционных матросов.

В последние годы ряд историков, основываясь на вновь выявленных документах, пришли к выводу, что Кетлинский, хотя и не был революционером, но стремился понять революцию, работал в контакте с органами Советской власти и был устранен белогвардейцами и агентами интервентов, готовившихся к оккупации Севера.

В своем романе В. Кетлинская, использовав все новейшие данные по этому делу и выявив ряд новых документов, подробно, обстоятельно рассказала всю историю службы своего отца в царском флоте и при Советской власти...»

Но все это: проверка фактов, специальное рецензирование было потом, здесь же, в кабинете Франца Николаевича, договорились, что работать с автором поеду в Комарово. Там сделаем быстрее.

Декабрь. Комарово.

Могучие ели, большие снега, таинственный закат, будто кто-то за лесами, за морями шевелит угли в костре...

Мы с Верой Казимировной одни в огромной двухэтажной даче. В маленьком домике у ворот живет сторож с женой.

Пока после поезда дождалась шофера в квартире на канале Грибоедова (там живет младший сын с женой и дочерью, у Веры Казимировны там кабинет и большая библиотека, но чувствуется, что она редко в той квартире бывает), пока мы добрались до Комарова — наступил вечер. За ужином Вера Казимировна огорчается, что я не поддерживаю компанию за «рюмочкой водочки».

Кабинет и спальня писательницы на втором этаже. Мне отведена комната на первом. В общих словах мы уже наметили план: я передаю страницы с моей правкой, она работает, обсуждаем только то, что вызовет у автора несогласие или непонимание.

Утром вдвоем пошли на берег Финского залива. Солнечно, замерзший залив, виден далекий собор Кронштадта, а справа и слева, словно висящие в воздухе, темные силуэты фортов.

Часов в двенадцать я поднялась в кабинет Веры Казимировны. К замечаниям она относится с интересом, намечаем куски для сокращений за счет новелл — объем велик для журнала.

Может быть, сговорчива была потому, что знала о предстоящей борьбе. Рассказала об историках, которые продолжают считать, что убийство адмирала Кетлинского — месть матросов. Но это — клевета. Были обсуждения рукописи в Мурманске и Ленинграде, на которые съезжались моряки и историки. Клевета всегда активна: «Новый мир» еще до публикации романа будет получать пространные письма с требованием не публиковать новое произведение Кетлинской, они и заставят рецензировать рукопись в Институте марксизма-ленинизма.

Естественно и человечно, когда дочь заступается за оклеветанного отца. Но как же дочь жила пятьдесят лет с сознанием несправедливости и с такой биографией?

— У женщин-писательниц должна быть мужская биография,— в один из вечеров сказала Вера Казимировна.

Необходимо мужество, чтобы вырастить сыновей и состояться писательнице. В блокадном Ленинграде, в ледяной квартире Кетлинская работала над романом «В осаде».

Только я вернулась в Москву, пришло письмо:

«6 декабря 71 г. Посылаю Вам новый текст „Белой ночи“. Пожалуйста, выньте из наборного экземпляра старый текст, разорвите, а новый вставьте...»

В середине следующего года Вера Казимировна писала: «Скучаю без „Нового мира“, я как-то привыкла за год общаться с этой милой редакцией. А редакция меня уже „перелистнула“, уже у нее другие любимцы и другие тревоги...»

Роман «Вечер. Окна. Люди» вызвал большую читательскую почту: «У меня создалось впечатление, что первую книгу писали две Кетлинские: одна совсем юная, дерзкая, которой все нипочем, другая — умудренная знанием и жизненным опытом, мужественно отстаивающая историческую правду... М. Малков. Кумертау. 13/V—72 г.»

«Я не люблю пышных слов, но должен сказать, что Ваша повесть об отце написана кровью сердца. Большое Вам спасибо за это. Вы тысячу раз правы: „частные судьбы нельзя оскорблять ни ложью, ни полуправдой“. И не надо быть высокомерными с высот семидесятых годов... Ах, если бы и другие дочери и сыновья могли бы написать так хорошо и правдиво о своих невинно погибших отцах! Пусть Вас не „бередит мысль“, что Ваши исторические экскурсы покажутся скучными, наоборот, они самые захватывающие и поучительные... Г. К. Цверава. Бокситогорск. 26/IV—72 г.»

Апрель 75 г.

От Веры Казимировны пакет:

«Дорогие Новомирцы!

Посылаю вам рукопись не совсем в том виде, в каком хотела. Часть I закончена, но после нее следует отступление — „Раздумья о профессии, не подкрепленные дипломом“ (там и раздумья, и опыт, и различные истории из писательской практики, серьезные и смешные, мысли мои и чужие, меня заинтересовавшие, о сути творческого труда и т. д.) — примерно два — два с половиной листа.

Это отступление я не сумела закончить. Заболела, исследовалась, завтра ложусь на серьезную операцию. Надеюсь выжить и в течение второй половины мая — июня дописать и выслать вам. Ну, а если... тогда уж печатайте без оного...»

Рукопись называется «Здравствуй, молодость!». И вот интересно, когда-то за материалы для романа «Мужество», в котором романтика труда и молодая любовь, писательница отправилась на Дальний Восток, а теперь та же самая тема, та же искренность чувств открылись рядом — в стране собственной молодости.

Май 75 г. После телефонного звонка.

«...Боюсь, что своим осипшим голосом я не сумела объяснить выражение „не спешить“.., Я за темпы, а вот с публикацией хотела бы не очень спешить, т. е. рассчитывать на два последних номера. Я уже начала работать и надеюсь за июнь — июль последнюю главу закончить, а без нее часть будет незавершенной, будет вырываться из стиля всей книги... Ведь у меня автобиографические главы, если помните, перемежаются „путешествиями“ — отступлениями, а кое-где и новеллами, худо ли, хорошо ли, но так книга пишется и так должна приходить к читателю.

Если бы я была в полной силе, я бы успела сдать завершающую главу раньше, но я боюсь обещать, все же я еще слабак и только начинаю входить в рабочее состояние. Кончу раньше — сразу вышлю. А в августе мы могли бы с Вами встретиться и сделать все, что подметит Ваш строгий редакторский глаз.

В августе — Вы не в отпуске?

Я очень жду сообщений из редакции и письма от Вас, чтобы распланировать свое время.

Ведь в сентябре (во второй половине) я опять буду в больнице на завершающей операции, после которой буду есть и даже пить как человек. Пока же я привязана к даче и к нежной помощи близких.

Если Вы сможете, Вас будет ждать комната с окнами в сад, сосновый воздух и послушный (в пределах характера) автор...»

Август 75 г.

Вернулась из Ленинграда. Еще три дня провела на даче В. К. Кетлинской. Она очень похудела. Кормят ее через воронку. Но мужество и оптимизм вызывают уважение. «Я —

бодрячок!» — улыбаясь, говорит Вера Казимировна. Родные живут деловито, спокойно, но и семья, и дом, и сад будто чего-то ждут...

Вера Казимировна познакомила с Даниилом Александровичем Граниным. Приехал на велосипеде. Молчит, улыбается, слушает, с хозяйкой почтительно ласков. Обещал прислать «Новому миру» повесть. Когда я уезжала, Вера Казимировна долго стояла у калитки...

Через полмесяца письмо и последняя глава от В. К. Кетлинской: «Надеюсь, Вы оцените, сколько я успела сделать в ней... С Фадеевым кое-что подредактировала, но слова А. А. трогать не могу...

Видели вы учебник истории для IX—X классов?.. Хорошо бы Вам этот учебник иметь на руках, правда?

Очень хочу узнать Ваше мнение о новой главе и С. С. Наровчатова — тоже. Напишите мне или позвоните мне».

27 апреля 76 г.

Вчера похоронили Кетлинскую...

Позвонили Д. А. Гранину насчет его повести — так мы об этом и узнали. Я звонила две недели назад, сын сказал, что в больнице, что началась дистрофия. Умерла, по существу, от голода.

А еще летом, в июле — какая жажда жизни: говорливая, улыбчивая, все рассказывала про себя, а я рвалась домой... и некогда было слушать.

Она сама меняла салфетки на ране: «Извините, мне надо пересупониться». А как рада была Гранину. Заговорили о юбилейной статье Катаева в «Юности»:

— Да вы мне-то расскажите, я ведь не читала...

Сейчас все ожило в памяти. Первый приезд на зимнюю дачу: укрывали вдвоем розы лапником, съездили на могилу Ахматовой. Разговоры о ней. Вера Казимировна рассказала, как Анна Андреевна покупала крохотный флакончик духов в Гостином дворе... на следующий день после постановления о ней и Зощенко.

Кетлинская все успела сделать: защитила отца, простилась с юностью. Вспомнила Пальку Соколова — очевидно, первую свою любовь. О снохе своей Наташе еще в июле сказала:

— Она рада, что у нее родился сын,— мы смотрели со второго этажа дачи, как Наташа катает колясочку между сосен.

Было что-то прощальное в интонации этих слов, отстраненное.

Вера Казимировна старше меня почти на двадцать лет, но я никогда не воспринимала ее старой. Многого не знаю в ее прошлой жизни, но знаю, что было трудно, очень сложно, было время, когда ее книги остро критиковались, пережила с детьми блокаду Ленинграда, но каждый раз ей удавалось устоять. И удавалось громко сказать правду. На IV съезде писателей СССР она выступила против цензуры. После съезда Константин Симонов писал Овечкину: «На мой лично взгляд, лучшими среди других были выступления Кетлинской и Гончара». («Лит. Россия», 1985 г.).

Зашел в редакцию Б. А. Можаев, редколлегии читает его роман «Мужики и бабы». Узнав печальную весть о Кетлинской, горько охнул:

— Жалко! Хорошая писательница, и женщина честная...

Дело прошлое

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

Из воспоминаний камергера

ВИТТЕ

К несчастью для своей репутации, Витте оставил свои мемуары, богатейший и, в общем, довольно правдивый материал о русском прошлом; но вместе с тем они обнажают его неискоренимую нравственную *вульгарность:* дышат личной злобой против Государя, уволившего Витте от власти, и ненавистью к Столыпину, успешно его заменившему. Для людей революционного лагеря Витте остался все же только «царским временщиком», не больше,— следовательно, врагом. Людей же, относящихся к нашему прошлому спокойно или даже положительно, эти черты мемуаров Витте отталкивают...

Ничто ни в происхождении Витте, ни в его биографии не обязывало его быть вульгарным и несдержанным. Отец его был видный провинциальный чиновник из обрусевших немцев: директор департамента при кавказском наместнике, великом князе. Его мать — Фаддеева — из хорошей дворянской семьи, сестра известного генерала. А бабушка по материнской линии — урожденная княжна Долгорукая (одно из лучших имен старой знати). Сам Витте получил высшее образование, сделал блистательную карьеру и часто вертелся в кругах русской и международной элиты. А между тем никаких черт светских, дворянских или немецких, чиновничьих, интеллигентских в нем нельзя было отыскать и признака. Самородок. Мужиковатый гигант, завоеватель, самодержавный делец, Витте азартно ломил свое, сокрушал все преграды данной ему от Бога силищей. Если же препятствия казались ему пока непреодолимыми, он, с чисто мужицкой хитростью, любыми изворотами их обходил. Он преклонялся перед наукой, но сам был на редкость невежественным человеком, по крайней мере в области наук общественных: права, истории, литературы, политики (даже в экономике он брал больше чутьем). Жил — сегодняшним днем, умело маневрируя среди очередных затруднений. Не имел никаких политических убеждений. Зато был — гениальный, властный практик-самоучка, с огромным даром *осуществлять,* добиваться, проводить в жизнь все то, что он своим исключительным жизненным чутьем и даром администратора схватывал, как нужное сейчас для России.

Без всякой внутренней борьбы перешел Витте от реакционных взглядов к манифесту 17 октября. Министр Александра III, друживший с Победоносцевым, он еще недавно, в 1899 году, печатно восстал против земских выборных учреждений, будто бы несовместимых с царским самодержавием. А уже в книге «Самодержавие и земство», написанной для Витте А. И. Путиловым в 1905 году, он же представил к подписи Государя манифест, вводивший у нас народное представительство.

Теории и принципы были не его областью. Но жизнь он видел и понимал, как никто. Он чувствовал, что дело шло к Государственной думе. А тогда уже, по свойству своей натуры, он не мог допустить, чтобы кто-нибудь другой, а не он, связал с русской конституцией свое имя.

Витте окончил математический факультет в Одессе и думал сначала готовиться к кафедре чистой математики. Но по настояниям близких держал еще выпускные экзамены при Институте инженеров путей сообщения и стал служить по железным дорогам. Случай показал его в выгодном свете Александру III. Во время царских поездок по России одна из них ознаменовалась потом крушением поезда (в Борках). Витте как начальник одного из участков железной дороги обратил уже внимание на то, что царский поезд, бывший много тяжелее обычных, шел со скоростью, много превышавшей обычную. Со свойственной ему решительностью он заявил, что в пределах вверенного ему участка не может допустить такой скорости. А когда стал управляющим на юго-западных дорогах, то просто распорядился об уменьшении скорости царского поезда. Это навлекло на него личное резкое неудовольствие Александра III и бойкот со стороны царской свиты. Министр путей сообщения, сопровождавший Государя, вызвал Витте в царский вагон и указал ему, что на других дорогах поезд идет быстрее. Тогда Витте, не смущаясь царским присутствием, ответил: «Другие пусть делают, что хотят, а я ломать головы Государю не стану». Когда вслед за тем произошло действительное крушение поезда, Александр III вспомнил о беспокойном путейце и сначала назначил его членом комиссии, расследовавшей причины крушения, а вскоре предложил ему, уже на государственной службе, место директора департамента железнодорожных дел. Витте сначала ответил, что на частной службе он зарабатывал 50 тысяч рублей в год, а казенное жалованье будет всего 8 тысяч. Государь сказал на это, что он будет выдавать ему еще 8 из своего царского кармана и вообще имеет на него свои виды. Витте, честолюбец по природе, не устоял. Окончательно его подкупила в пользу Государя еще и та мелочь, что на Витте, по гоголевскому словцу, «чинишко был дрянь» (титулярный советник). Назначая его на генеральское место, Александр III, вопреки всем правилам, махнул Витте прямо в генералы: произвел в действительные статские советники.

В Петербурге Витте сразу выделился своей практичностью: знанием людей, вещей и цен. В русской бюрократии было всегда немало лоска, но практического умения зацеплять колесами служебной машины деловую жизнь, заставлять что-то грубое, сырое и жизненное служить целям, намеченным властью, было всего меньше. У Витте обнаружилось именно такое умение, а кроме того дар подбирать себе полезных сотрудников. И хотя неисправимые в своем зубоскальстве петербуржцы перекрестили его из Сергея Юльевича в «Сергея Жульевича» (что было зло и совершенно несправедливо), но репутации доки и ловкача за ним не отрицал никто.

Когда в Петербурге освободилось место министра путей сообщения, то вначале, как мне рассказывал барон Нольде, никто еще и не думал о Витте, как о министре. Александр III по очереди вызывал нескольких «естественных» кандидатов и предварительно расспрашивал их, что бы они предприняли в случае назначения.

Продолжение. Начало см.: Нева, 1991, № 4.

Первого вызванного Государь под конец, уже расставаясь с ним, спросил как о вещи второстепенной: «Ну, а кого бы вы пригласили к себе в товарищи министра?» Ответ был: «Витте. Он так практичен и так умеет все быстро налаживать». Тогда Государь при вызове второго и третьего кандидатов уже нарочно поставил им тот же вопрос: «А кого метите вы в товарищи?» И когда и второй и третий назвали также С. Ю. Витте. Государь, уже не спрашивая больше никого, назначил прямо сам Витте — министром.

Получив так право личного доклада у Государя, Витте еще больше укрепился в царском доверии. И когда уходил министр финансов Вышнеградский, больной да еще заподозренный в получении полумиллионной взятки от Ротшильда, Государь перевел Витте из министерства путей сообщения на гораздо более видный пост министра финансов (Витте уже раньше подсказал Вышнеградскому удачный пересмотр железнодорожных тарифов). Вышнеградский, конечно, никакой взятки у Ротшильда не брал и вообще был прекрасным министром. Судьба наказала его только за его обычное недоверие к людям. Когда при нем хвалили чью-либо честность, Вышнеградский сдвигал очки на лоб и задумчиво спрашивал: *«До какой суммы* он честен?»

Витте, как министр финансов, оказался удачливым. Он не только довел до конца (уже при Николае II) начатое Вышнеградским укрепление твердого курса русского рубля — введением у нас золотой валюты, но проявил и редкую изобретательность вообще в доставании для казны денег. При самодержавно-бюрократическом строе да еще при политике, неблагоприятной евреям, финансовым воротилам Запада, он умудрялся широко привлекать в Россию иностранные капиталы,— сама Россия была тогда еще слишком бедна, чтобы разворачивать промышленность так широко, как этого добивался Витте.

Русские финансы, налаженные Витте, отлично проявили себя и в дальнейшем, несмотря ни на какие испытания. Его преемнику, В. Н. Коковцову, досталось наследство уже благоустроенное, и поддерживать его на высоте было не так трудно. И Витте насмешливо любил называть Коковцова, конечно за глаза, не иначе, как «кухаркой за повара».

Барка, следующего затем министра, Витте расценивал выше. Когда-то он, будучи министром, посылал Барка, еще совсем молодого чиновника, в Германию доучиваться финансовой технике в банке Мендельсона и считал, что эта школа пошла Барку впрок. Помню сказанную при мне фразу Витте (у себя дома), кажется, по поводу назначения Барка только еще управляющим петербургской конторой Государственного Совета (место, влиятельное на бирже). Когда кто-то сказал: «Как — выдвигают Барка? Разве он так умен?» Реплика Витте была: «Деньги-то платят разве за ум? Платят за *нюх* только».

В течение того десятилетия, что Витте стоял у русских финансов, он был не только государственным казначеем, но и министром народного хозяйства. Влияние его сказывалось во многих областях, он немало потрудился над индустриализацией России, над развитием русской промышленности и железнодорожной сети, вообще над нашей европеизацией.

Такова была основная традиция русской монархии, со времен еще Петра Великого. Пушкин верно замечал, что «правительство есть единственный европейский элемент России». Витте, как и сменивший его Столыпин, с блеском служил этой традиции.

Несмотря на то, что Витте был инициатором постройки сибирской железной дороги, он всегда боролся с тенденцией преувеличивать нашу «азиатскую программу», считал, что основной наш путь — европейский, общекультурный. Главную же русскую беду он видел в том, что наше крестьянство продолжало жить вне права, вне свободы, вне собственности, замкнутой, обособленной жизнью.

Витте, как министр и как человек, стоял далеко от русской деревни, его постоянно корили этим. Он на своем энергическом языке возражал: «Это-то верно, но я много лет возился со сложной машиной — финансами, и, какой бы я ни был дурак, нельзя было не понять, что без топлива никакая машина не пойдет. Топливо — это экономическое благосостояние населения, в России на девять десятых мужицкого. А мужики живут бедно, потому что живут без права собственности, в средневековой общине». За пять лет до своего ухода из министерства финансов Витте подавал в 1898 году отдельную записку Государю о крестьянском бесправии, но тогда он не получил никакого ответа. Только в 1902 году, когда министром внутренних дел был его приятель Сипягин, Витте добился от Государя согласия на учреждение под его, Витте, председательством, Особого Совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. И первым человеком, кого Витте ввел в это свое совещание, ввел, как главную свою опору, был граф Воронцов-Дашков, сторонник личной собственности крестьян на землю.

Душой сельскохозяйственного Совещания был, конечно, сам Витте,— он не мог иначе работать. Главной же деловой силой Совещания стал чиновник особых поручений при нем А. А. Риттих, впоследствии главный воротила столыпинской земельной реформы, а позднее и сам министр земледелия. Желая подвести широкую общественную базу под свои выводы, Витте с помощью Сипягина прежде всего организовал широкий опрос *местных людей* в губернских и уездных комитетах по крестьянскому делу. Сводкой всех комитетских трудов и заведовал Риттих, привлекший к этому делу, в числе других, и меня.

Риттих, хорошо меня знавший (он был впоследствии главным шафером на моей свадьбе), откровенно рассказывал мне о своих докладах у Витте, докладах, вылившихся в конце концов в новую записку Витте по крестьянскому делу. Риттих рассказывал, между прочим, и о громадном впечатлении, произведенном тогда на Витте тем, что вынес из своих поездок по деревням русским датчанин Кофод, молочный брат императрицы Марии Федоровны, датской принцессы (мать Кофода была ее кормилицей). Этот Кофод, самоучкой научившийся русскому языку, рассказывал главным образом о страстной тяге самих крестьян почти по всей России к выделу из общины и к сведению своих разрозненных земельных полос в один кусок, в один отруб, так, чтобы вся земля была у хозяина «в одном глазу», по характерному мужицкому выражению. Это послужило впоследствии поводом к инсинуациям врагов реформы, будто Витте, не знавший сельской России, затеял перестроить ее «по датскому образцу». Но совершенно то же, что и заезжий Кофод, сказали, в значительном своем большинстве, местные *русские* комитеты!

Витте инстинктом схватывал в любом вопросе его жизненную сущность и почти всегда верно, хотя иногда по-обезьяньи грубо и очень часто безграмотно. А затем уже он быстро с этой сутью сживался и невольно начинал отождествлять *себя самого* с этим своим пониманием государственного вопроса. Противоположная точка зрения тоже немедленно срасталась в его представлении с личностью очередного противника (будь то Плеве или Горчаков, Трепов или Куропаткин). В свои принципиальные политические споры он немедленно вносил личную страстность и безудержную свою властность (а часто и бесцеремонность приемов). Отчасти поэтому и его мемуары кажутся сплошным отталкивающе желчным сведением личных счетов с подлинными или воображаемыми супостатами. А между тем там немало жизненной правды! Но как все это кажется уже далеко...

Крестьянским хозяйствам нужна их личная собственность на землю, без этого не может быть ни кредита, ни прочных сельскохозяйственных улучшений, ни вообще здорового государственного будущего у России. Вот что сразу понял Витте в земельном вопросе. Он не уставал повторять Риттиху: «Да ведь это черт знает как важно!» Говорил: «Кому нужна была община? Только властям для удобства управления и денежных сборов. Понятно, что пастуху проще гонять целое стадо, нежели возиться с каждой овцой отдельно. Но ведь тут не стадо, а народ, люди! Люди же, рано или поздно, во всех странах захотят жить по-человечески».

Александр II освободил крестьян «с землею»; но отводить тогда же, на всем пространстве России, отдельные участки каждому домохозяину в собственность было бы задачей слишком долгой да по отсутствию землемеров тогда неосуществимой. Земли, для начала, отводились в надел целым селениям, чаще всего в общинное владение. Это была, так сказать, еще черновая работа. Но Александр II тогда уже предвидел, что идти надо к мелкой личной собственности крестьян на землю. Его реформа сохраняла за крестьянами право и возможность выдела из общины, но крестьянская политика Александра III сводила эту возможность на нет. И попытка Витте сломать эту привычную практику ему не удалась.

Живя в общине, где земли время от времени переделялись на прибыльные души, то есть на прирост населения, крестьянство легко поддавалось революционной пропаганде, мечтам о «черном переделе» всех земель, в том числе и помещичьих. В 1902 году, в самый год открытия виттевского Совещания, в нескольких губерниях произошли крестьянские беспорядки, захваты соседних помещичьих владений. Крестьян тогда усмирили и высекли, но Витте окончательно убедился в невозможности медлить с земельным вопросом, в неотложности мер, направленных к тому, чтобы использовать и поощрить проснувшееся уже в мужиках стремление лучше устроиться на той земле, которая уже им принадлежит. А для этого прежде всего надо было выделиться из общинного хаоса.

Виттевское Совещание, проработав два с половиной года, было закрыто (происками правых) весной 1905 года, неожиданно для самого Витте, и не принесло прямых результатов. Но оно успело оставить ценнейшие материалы, которые легли *всецело* в основу столыпинской земельной реформы 1907 года. И столыпинский указ 6 октября о крестьянском равноправии, и его же указ 9 ноября о выделе из общины, и развитие в небывалых раньше размерах переселения за Урал, и политика широкой скупки Крестьянским банком помещичьих имений, из слабых рук, для последующей разбивки на мелкие участки, для продажи отдельным крестьянам в собственность — все это отвечало личному взгляду Столыпина, но проходило тоже по подсказу виттевского Совеща-

ния. От Витте унаследовал Столыпин и деловой состав работников земельной реформы, во главе с Риттихом.

Я был деятельным участником реформы и при Столыпине. Но с удовольствием вспоминаю, что еще для Витте в 1904 году лично мною был составлен «Журнал Сельскохозяйственного Совещания» — о крестьянской судьбе, подчеркивавший, что и в области правосудия крестьяне были на особом положении. Немногие даже из русских людей знают и четко сознают, что справедливо прославленный на весь мир русский суд, свободный и независимый, созданный судебными уставами Александра III, на крестьян, то есть на девять десятых русского населения, не распространялся. В самом важном для них, в делах земельно-имущественных, крестьяне ведались волостными судами, то есть своими односельчанами, подвластными земским начальникам, то есть администрации.

Работа в сельскохозяйственном Совещании сделала меня тогда уже человеком, которого Витте привык видеть и узнавать еще до своего назначения председателем Комитета министров.

С этим назначением вся жизнь Комитета и его канцелярии резко изменилась. Изменилась и обстановка моей службы. Текущие мелочи управления — то, что в Думе потом получило название «вермишели»,— Витте не интересовали. Зато по любому поводу возникали при нем крупные политические вопросы, и он любил, при предварительных докладах канцелярии, сам возбуждать такие вопросы и узнавать по ним мнения своих сотрудников. В заседаниях он не раз перебивал других министров, когда они высказывали трафаретные правые мысли, и замечал: «Такие речи, ваше превосходительство, хорошо произносить в Петербурге и во дворцах, а в России они встречают совершенно другой отклик».

Через год, когда политический ветер — в связи с неудачами русско-японской войны.— изменился, Витте уже провел в Комитете проект указа «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», получивший частичное утверждение Государя 12 декабря 1904 года. Говорю «частичное утверждение», потому что «боевой» пункт — «о привлечении выборных от населения к законодательству» — был в последнюю минуту исключен Государем. Но в указе 12 декабря остались — и вскоре вылились в подробные узаконения — два политически важных пункта: о религиозной свободе и о свободе печати. Комиссия о печати, учрежденная под председательством директора Публичной библиотеки Д. Ф. Кобеко, не только выработала закон, давший печати значительную свободу, но была примечательна еще тем, что в состав ее Витте ввел целый ряд литераторов как правых, так и левых. В Комиссию вошли: историк Ключевский, поэт Голенищев-Кутузов, либеральные писатели Кони и Боровиковский, журналисты Арсеньев, Стасюлевич (левые), князь Мещерский, Суворин и Пихно (правые), философ Радлов, беллетрист Голицын-Муравлин и другие. Я был откомандирован в делопроизводство Комиссии, и эта работа — одно из самых приятных служебных воспоминаний, лестная для Витте страница русской жизни.

При своем издании указ 12 декабря почти не произвел впечатления на русское общество. Он вышел перед рождественскими праздниками, а сейчас же после праздников произошли события гораздо более яркие и театральные. 9 января священник Гапон, революционер и полицейский провокатор вместе, привел за собой толпу рабочих к Зимнему дворцу; рабочие шли с царскими портретами и иконами, но и с требованиями свобод — они были встречены выстрелами. Одна из самых трагических страниц последнего Петербурга... А 8 февраля в Москве был убит революционерами великий князь Сергей Александрович, дядя Государя, московский генерал-губернатор.

Русская же печать, обязанная Витте сравнительной свободой, вскоре использовала эту свободу для хулиганских нападок на того же Витте, изображая весь его режим как сумасшедшую «Виттову пляску». Но для историка — и дарование свободы печати, и, еще более, отмена преследований за веру — заслуги перед Россией бесспорные!

Вскоре после издания указа 12 декабря я был приглашен профессором Ивановским пообедать у него с другими профессорами. Мои бывшие учителя стали уже терять надежду, что я к ним вернусь, но любили узнавать от меня последние петербургские новости. Я рассказал, что мог, о комиссии Кобеко, а затем разговором завладел старый остроумный профессор Дювердже. Он скоро перешел к личной характеристике Витте, которого прекрасно знал, и закончил словами: «Все будет у нас, господа. И мир с японцами, и конституция. И все эти новости вырастут там, где произрастает наш всероссийский большой лопух — Витте!»

Прозвище было подходящее. И в стиле самого Витте, примитивно огромном.

Предшествовавшие указу 12 декабря доклады канцелярии Комитета министров у Витте, а еще больше речи самих министров в заседаниях (на общую тему: «России нужно больше законности и больше свободы!») были полны оживления. Помню, как после интереснейшей речи П. Н. Дурново, товарища министра, заведовавшего полицией, о недочетах нашей административной высылки (без суда), барон Нольде грозился в шутку не пускать меня больше в заседания: «А то Дурново вас тут, по молодости лет, распропагандирует».

П. Н. Дурново вообще производил впечатление самого умного, наиболее живого и самого независимого из всех тогдашних коллег Витте. Витте впоследствии, став уже конституционным премьером, провел именно Дурново в министры внутренних дел, несмотря на упорное сопротивление Государя этому назначению. Эта позднейшая история с назначением Дурново министром обычно излагается в воспоминаниях современников, в том числе и в историческом труде Ольденбурга, неверно, в совершенно превратном виде: будто Витте в революционные годы 1905—1906-го совершенно растерялся, и только Дурново, решительный министр внутренних дел, назначенный самим Государем *в противовес Витте*, спас положение своей твердостью и безбоязненными арестами главарей революции.

Дело в том, что у Дурново была в прошлом неприятная история, навлекшая на него гнев Александра III — и недоверчивое (уже по наследству) отношение Николая II. Заведуя полицией, Дурново както распорядился произвести обыск у одного испанского дипломата, которого подозревал в романической переписке с любовницей самого Дурново. В припадке ревности он и замыслил найти и извлечь подлинник ее письма. Отсюда возник довольно острый международный скандал: нарушено было право дипломатической «внеземельности». Александр III, считавший самого себя собственным министром иностранных дел, жестоко тогда рассудил и на представленном ему докладе о проступке Дурново положил, со свойственной ему резкостью, высочайшую резолюцию: «Убрать эту свинью в сенат». Тут разгорелся новый скандал, уже внутренний — страшно обиделись все сенаторы! Дурново все-таки стал сенатором и держал себя в сенате так умно и так либерально, что понемногу с собой там всех примирил, а при Николае II вернулся и к заведыванию полицией. Без его опытности в полицейских делах министры обойтись не могли. Но назначить Дурново на роль министра Николай II все-таки не пожелал. И когда Витте, сознававший собственную полицейскую неопытность, представил именно на *эту* роль Дурново, Государь уперся. Витте же, во-первых, хотел, чтобы политическая полиция находилась в испытанных и верных руках, а, во-вторых, хотел еще, втайне, чтобы «одиум» политических репрессий падал не на него, Витте, а на другое лицо; он же сам мог рисоваться «налево» своим конституционным либерализмом. Поэтому он продолжал настаивать и умолял Государя согласиться на назначение Дурново министром внутренних дел. Третье или четвертое представление об этом Витте вернулось наконец (в день, когда я был дежурным секретарем при Витте-премьере) от Государя с его пометкой синим карандашом (вижу ее, как сейчас): «Хорошо, только не надолго». Таким образом, легенда о том, что Дурново был назначен помимо и вопреки воле Витте, сущий вздор.

Но Дурново оказался и сильнее, и умнее, и коварнее, чем рассчитывал Витте. Он не стал играть роли услужливого громоотвода при Витте. В то же время присутствие Дурново в кабинете помешало Витте привлечь в свой кабинет министров общественных деятелей, в частности Гучкова (который стал впоследствии общественной опорой для кабинета Столыпина).

Обстоятельства вынуждали и самого Витте, для подавления смуты, прибегать к военным и полицейским репрессиям. Так, лично Витте настоял на посылке в волнующуюся Москву генерал-губернатором и усмирителем адмирала Дубасова. Роль «благородного либерала», рядом с «полицейской собакой» Дурново, у Витте не вышла, и составленный им, как премьером, кабинет министров, никакого «политического лица» не получил.

Единственной переменой в составе министров, происшедшей при Витте и имевшей значение политической, яркой *политической новизны* — был уход из оберпрокуроров Синода Победоносцева. Четверть века (1880—1905) Победоносцев был душою русский реакционной политики, автором той политической «закупорки», которая и была исторически скрытой, но коренною причиной происшедшего, в конце концов, взрыва государственного котла.

Перед уходом Победоносцев сказал Витте: «Я не могу один опровергать целое мировоззрение». Он всегда считал идею народного представительства «великой ложью нашего времени». Но величайшей ложью самого Победоносцева была его долголетняя попытка *остановить вообще время* на политических часах царской России. За эту ошибку русская монархия, в сущности, и расплатилась гибелью.

Но в бурные дни 1905—1906 гг. уход с политической сцены старика Победоносцева прошел мало даже замеченным. Японская война — Витте недаром заранее так ее боялся и так противился ей всегда — разворачивалась все тягостнее для России. Сухопутные и морские бои оканчивались поражениями, ранили русскую гордость и разжигали революционное движение внутри России. Для себя Витте с каждым днем укреплялся в мнении, что необходимо: 1) заключить мир и 2) дать стране народное представительство. Но при каждой встрече с Государем

Витте убеждался, что *ни того, ни другого Николай II не желает.* Государь верил, что Япония истощена своей удачной войной гораздо более, чем Россия своей неудачной. Он надеялся, затянув войну, дотянуть до победы. Во внутренних делах он также считал, что неограниченная самодержавная власть, унаследованная им от предков, гораздо лучше для России, чем парламентская монархия, и отступал только шаг за шагом, надеясь ограничиться уступками несерьезными.

Под давлением жизни и советов иностранных правительств он согласился летом 1905 года начать мирные переговоры и назначил для ведения их в Портсмуте того же Витте, но сам все время надеялся — и в этом смысле инструктировал Витте,— что из переговоров ничего не выйдет. Когда же японцы проявили, под давлением англо-американцев и неуверенности в дальнейшем ходе войны, неожиданную умеренность и приняли виттевские условия, вызвавшие в Японии после их принятия народный бунт, Государь вынужден был подписать мир, но сам был *в отчаянии.* Его историк и панегирист Ольденбург, хотя и приписывал Государю весь успех портсмутских переговоров, но, судя по его же признаниям, если бы в России не было тогда «пораженца» Витте, то Государь, вероятно, продолжал бы войну. Неизвестно, удалось ли бы ему дотянуть до победы при начинавшемся уже внутреннем развале — или революция восторжествовала бы уже тогда и для ее усмирения верных войск уже бы не хватило. Во всяком случае, при этом варианте, не было бы у нас «думского» периода русской монархии, между двумя войнами (1906—1914 гг.), а именно это время оказалось русским расцветом, гордостью нашей истории и лучшей возможной защитой памяти Государя Николая Второго.

Согласно Портсмутскому договору Россия сохраняла на Дальнем Востоке свое великодержавное положение: за свои военные неудачи мы отделались только уступкой половины Сахалина японцам. И все-таки, когда Государь пожаловал в награду Витте графский титул, то немедленно враги — в правых и придворных кругах — приклеили к Витте прозвище: «граф Полу-Сахалинский» (то есть полу-каторжник). Но в широких русских кругах имя Витте стало все-таки популярным.

Первую часть поставленной себе задачи он, таким образом, разрешил: мир, вопреки желанию Государя, был силою вещей заключен. Теперь, думал Витте, и вторая задача окажется посильной: добиться, тоже вопреки Государю, но имея за себя Запад и большинство населения в России, введения у нас народного представительства. Тогда станут возможными очередные неотложные дела: внутреннее успокоение, перевозка обратно в европейскую Россию разбитой, но еще дисциплинированной армии и заключение за границей большого денежного займа.

Перед войной, уходя из министерства финансов, Витте оставил в распоряжении Государя огромную, по тому времени, свободную наличность — около полумиллиарда золотых рублей; явно было, что от них ничего не осталось. Не беда: будет у меня власть, будут и деньги. И Витте был поглощен новыми своими планами — как подобрать в сотрудники сплоченную дружину министров и как найти пути к общественному мнению: привлечь его на свою сторону. Портсмутский мир был уже немалым козырем «там», в либеральных кругах.

А в это самое время ближайший сотрудник по Совету министров барон Нольде стал собираться — и действительно выехал — ранней весною, к неудовольствию Витте, на Кавказ, для свидания и сговора с графом Воронцовым-Дашковым. Меня Нольде взял с собой в эту поездку в качестве секретаря. И так как на обратном пути мы были задержаны на полдороге, в Новочеркасске, всеобщею, в том числе и железнодорожною, забастовкой, то приехали в Петербург уже после манифеста 17 октября о Государственной думе. Впрочем, история этого манифеста была уже подробно рассказана в мемуарах Витте и в других воспоминаниях современников. Витте поставил Государя перед дилеммой: или военная диктатура или конституция. Но кандидат в диктаторы великий князь Николай Николаевич наотрез отказался силой расправиться с революцией и сам убеждал царя дать народное представительство.

Нить моих личных воспоминаний о Петербурге плетется заново уже после возвращения нашего в Петербург в конце октября 1905 года.

Витте мы застали живущим уже в запасной половине Зимнего дворца, где его легче было охранять от террористов. Там же стали с той поры происходить и заседания преобразованного Совета министров. Мариинский дворец перестал быть местом, где творилась политика, и стал постепенно выпадать из моей памяти. Изменилась и внешняя обстановка моей службы. Гофмейстер Вуич, временно заменивший барона Нольде в его отсутствие, человек хотя и бездарный, но дельный, воспользовался этим отсутствием, чтобы вытеснить вообще Нольде у Витте. Вуич был гораздо моложе и «наряднее» Нольде, к нему доброжелательно отнеслась графиня Матильда Витте, а кроме того, для нее, как и для самого Витте, острой приправой к смене управляющего делами послужило то обстоятельство, что Вуич был женат на дочери Плеве, еще недавно главного врага Витте в Петербурге, в он переходил таким образом в услужение Витте и не скупился на выражения восторга и преданности своему новому покровителю. Впрочем, эта «измена» всего через полгода, с падением Витте, оборвала, и уже навсегда, служебную карьеру Вуича.

Но в то время Вуич торжествовал. Нольде был месяца через два назначен членом Государственного Совета. Дела Совета министров ему больше не поручались, он сохранил только кавказское представительство. Единственное дело, порученное ему еще Витте — и то скорее случайно,— было проверить новую редакцию Основных законов Российской империи. Законы эти, раз учреждена была Государственная дума, должны были быть пересмотрены. Манифест 17 октября объявил целый ряд «свобод», но как, на каких условиях, оставалось еще неясным. И если бы отложить точное решение этих вопросов «до Думы», то для Думы создался бы явный соблазн вообразить себя Учредительным Собранием и расширить свою власть до крайних пределов. Государь этого опасался и поручил, помимо Витте, канцелярии Государственного Совета выработать проект новых Основных законов, этим занялись государственный секретарь барон Икскуль и в особенности его помощник Харитонов, умный и талантливый бюрократ, впоследствии государственный контролер. Харитонов был близким другом Нольде и думаю, что именно через него Нольде и получил доверительно первые оттиски проекта, когда они еще не были официально разосланы, что произошло в начале 1906 года. С этим «сокровищем» Нольде немедленно поехал к Витте, был им принят и привез от него поручение лично мне, как человеку, готовившемуся к кафедре государственного права и имевшему в своей домашней библиотеке французские тексты всех конституций мира, изучить харитоновский проект и дать к нему подробные замечания. От себя же Витте добавил: «Пусть он (то есть я) возьмет побольше из японской конституции, там права Микадо наиболее широкие. И у нас должно быть так же».

Думаю, что Нольде получил это серьезное поручение, в обход Вуича, только как ранний добытчик самого текста: к тому же, по моим воспоминаниям, это происходило еще в конце 1905 года.

Во всяком случае, я погрузился в изучение Основных законов с большим энтузиазмом, тем более, что и тенденция Витте — оставить побольше за Государем — отвечала моим внутренним настроениям. Живо составленная подробная записка была вскоре представлена Витте, понравилась и испещрена им одобрительными замечаниями: она-то и легла в основу позднейшей редакции Основных законов, принятой Советом министров. К такому выводу о значении моей записки пришел изучавший историю составления новых Основных законов знаменитый юрист профессор Николай Степанович Таганцев. Записка эта (возвращенная впоследствии Витте старику Нольде) была (уже его сыном) показана Таганцеву. Таганцев напечатал свою статью об Основных законах и ходе их разработки, кажется, в «Журнале Министерства юстиции»; когда же узнал от Нольде-сына, что заинтересовавшая его и расхваленная им записка была моею, то пожелал тогда со мной познакомиться (причем был поражен моей молодостью). Я же был поражен тогда его глубокой старостью. Это знакомство было уже незадолго до последней речи Таганцева в Государственном Совете, сказанной *накануне революции* с большим волнением (к сожалению, оправдавшимся!). Таганцев сказал тогда (и это имело резонанс): «Отечество в опасности!»

Кроме этого специального поручения, Витте и вообще меня не забыл в те тревожные месяцы 1905 года. В заседании Совета министров меня при Вуиче уже не брали, но Витте распорядился, чтобы я был включен в число шести чиновников, поочередно при нем дежуривших в дни его премьерства (больше одного дня в неделю нельзя было физически выдержать этой работы, так ее было много!). Дежурили только начальники отделений канцелярии Совета министров, личный секретарь Витте и я. Дежурные приезжали рано утром в Зимний дворец, на «половину» Витте, и оставались до поздней ночи, причем и завтракали и обедали у Витте, в присутствии его жены.

Вот тут-то в зиму 1905—1906 гг. я и видел часто Витте «в халате» (в прямом и переносном смысле этого слова) и мог оценить его живость и простоту в обращении с подчиненными. Ко мне он был расположен, между прочим, и потому, что я был из родного ему Тифлиса. Дружа с тифлисским губернским предводителем дворянства, князем Д. З. Меликовым, Витте, очевидно, навел у него справки о нашей семье и спросил меня при первой встрече на дежурстве: «Как это вышло, что я не знал на Кавказе вашего отца?» — «Отец мой приехал в Тифлис только в 1880 году, когда вас уже там не было».

Жена Витте тоже была безупречно любезна, хотя и подшучивала над моим тогдашним идеализмом (Вуичу сказала как-то: «У него голубые глаза доверчивой лани»). От былой красоты в ней оставалось, по-моему, мало, но муж был в нее, как будто, еще влюблен. Еврейка да еще разведенная жена (по первому браку она была за Лисаневичем, и дочь ее, Веру,

Витте удочерил, очень любил и выдал за Нарышкина замуж), она, конечно, в Петербурге мешала карьере мужа. При Дворе ее не принимали, чем Витте был очень задет, тем более, что он женился на ней с разрешения и даже одобрения императора Александра III. В обращении она была гораздо менее вульгарна и непосредственна, чем сам Витте, но придирчивый Петербург ставил ей «всякое лыко в строку». Очень осуждали, например, то, что, приехав в запасную половину Зимнего дворца (Дворцовая набережная, 20), она немедленно заказала себе почтовую бумагу с золотыми буквами «Palais d'hiver» — вместо того, чтобы просто указать адрес набережной. Суждения ее всегда казались мне умными и меткими.

Дружелюбное отношение и графа и графини [ко мне] сразу, однако, исчезло..., когда я стал близким по службе к ненавистному для них Столыпину. В начале 1911 года Витте обращался к Столыпину-премьеру с личным письмом, где жаловался, что крайне правые все время устраивают покушения на его жизнь, причем давал понять, что это делается, мол, не без ведома Столыпина. Столыпин, сам далеко не ладивший с крайними правыми, ответил не сразу, довольно пренебрежительным и ядовитым письмом, а Витте — решив почему-то, что письмо это составлял я,— сразу вычеркнул меня из своего сердца и своей памяти.

Как инженер и математик, Витте был убежден, что, дав России Думу, он вышиб из-под ног революции главную ее базу, так что отныне русская передовая интеллигенция будет поддерживать государственную власть и, в частности, его, как премьера. Но он не рассчитал того, что у наших передовых общественных деятелей не было еще достаточно политического опыта; здравый смысл часто уступал в них место политическому азарту, а, главное, привычке идти, уже много лет, в ногу с левыми, с революцией. После 17 октября Витте получил, вместо желаемого оперного апофеоза, травлю и смуту со всех сторон.

Кстати — так как в трагическое почти всегда вплетается и смешное,— вспоминаю по этому поводу следующий курьез. Через несколько лет, окончательно затравленный справа, Витте решил написать для Государя оправдательную справку, составил ее сам и начал малограмотной фразой о том, что он, Витте, испросил манифест 17 октября исключительно «*в видах* резкой смуты во всех частях нашего отечества...» Государь, хороший стилист, не мало тогда смеялся: выходило, будто Витте не *потому* решился на манифест, что уже была смута, а *для того*, чтобы была смута.

По сигналу, данному из-за границы (из Парижа, где был их съезд) революционными вожаками, в зиму 1905 года по всей России разгорелись восстания, в особенности на окраинах. Авось правительство растеряется и не удержится! Несмотря на то, что для огромного большинства населения Думы было достаточно. Но характерно (и в этом, конечно, вина была уже не Витте, а Милюкова), что кадетская партия не решилась тогда встать на сторону власти — она пошла с теми, кого сам же Милюков позже назвал «ослами слева».

Во время самого страшного из восстаний — московского, поднятого непримиримыми, крайними революционерами и подавленного только войсками, когда на улицах кипели бои, чего *в эти дни* требовали от государственной власти культурные и умеренные русские либералы? Наши жирондисты, кадеты? «Вывести из Москвы войска, ибо присутствие их поддерживает в населении неудовольствие и возбуждение!» Кажется невероятным, но это факт.

Ощупью Витте должен был приходить к тому, что позднее объявил уже как принцип Столыпин: «Революции — беспощадный отпор, стране — реформы». Успокаивая Государя, скоро переставшего вовсе ему верить, Витте упрямо, как вол и гигант, работал всю зиму 1905—1906 гг., но внутренне сам был подавлен и разочарован. Он вечно и все острее ощущал глубокое несходство взглядов и натуры своей и Государя Николая II.

При каждом моем дежурстве, при каждом попадавшем ко мне обмене писем между царем и его министром все яснее видел и я, как прав был старый петербуржец Нольде, когда говорил: «Государь — это художник-миниатюрист, а Витте — грубый декоратор для большой публики. Такие люди *не могут* понять друг друга, это выше их сил!»

В Витте, при личном общении, всегда поражала казавшаяся невероятной смесь: невежественного, вульгарного обывателя — и гениального дельца огромного калибра и силы, с прирожденной политической интуицией.

Государь, безупречно светский, был несравненно тоньше Витте, внимателен к людям, к их психологии вообще, к оттенкам и мелочам, к форме, словам, к эстетике жизни, но зато он бывал нередко способен «из-за деревьев не видеть леса».

Витте не отрицал у Государя ни ума, ни обаятельности, ни тонкости. Но он думал по-пушкински, что и глупцы и сумасшедшие бывают иногда удивительно тонкими. Он решительно предпочитал Николаю II его отца Александра III, хотя сам же рисует его в своих мемуарах человеком умственно заурядным, но имевшим определенную и постоянную волю. В Николае II он чувствовал враждебность к себе, а стало быть, и «неверность» и, кроме того, приписывал Государю трагические и сумасбродные черты и причудливый характер Павла Первого, и совершенно искренне за него *боялся*. Сам же он, Витте, был воплощением и своеобразным перерождением формулы: «Государство — это я!» В нем жило стихийное, смутно неразборчивое — как жизнь, но как жизнь и творческое, ощущение власти. «Вся власть — мне! И тогда все пойдет хорошо». Таково было его единственное, но зато искреннее и глубокое «политическое убеждение».

На этом пути он, конечно, не мог не столкнуться — и все время сталкивался — с Государем, тонким, впечатлительным и *ревнивым*. Отношение к царю Витте вылилось в конце концов в плохо скрытую ненависть. Правда, к ненависти этой примешивалась и тревога, жуткое, пророческое предвидение того, что для Государя и для царской семьи смута может кончиться кровью.

Государь же всегда говорил про Витте: «Он отделяет себя от меня»,— и это была правда. Витте, чтобы заставить Государя делать то, чего тот не хотел, чередовал при нем свою настойчивость с грубым подлаживанием и лестью. Государь видел насквозь эту игру, для него слишком примитивную, а потому считал Витте «грубым хамелеоном». Крайне им тяготясь, он не видел редких достоинств Витте, считал его врагом, кандидатом в президенты российской республики, что было уже неверно и весьма несправедливо.

Витте, полный жизненного динамизма, эстетикой отношений пренебрегал, и жизнь ему за это жестоко мстила — у Государя. Там настигала и наказывала его эта никак ему не дававшаяся и всячески им попиравшаяся эстетика жизни, *форма* человеческих отношений.

Но случалось ему делать оплошности и вне царских приемов. Столкнувшись с Советом рабочих депутатов в 1905 году, он сам, своей рукой, у себя в кабинете Зимнего дворца, писал в начале ноября воззвание к рабочим, уговаривая их прекратить забастовку. Воззвание начиналось словами: «Братцы-рабочие!» Эти «братцы» были одною из политических безвкусиц, губивших и погубивших Витте. Воззвание не имело успеха. Главари забастовки презрительно отозвались, что «рабочие ни в каком родстве с графом Витте не состоят».

Государя крайне раздражала безвкусица Витте. Оставлял его у власти только для того, чтобы Витте достал денег. Витте и удалось заключить во Франции огромный, небывалый по тому времени, внешний заем, спасший тогда наше и финансовое и политическое положение.

Заключение займа было всецело личною заслугою Витте, хотя в «Истории» С. Ольденбурга неверно приписана только Коковцову и самому Государю. На деле заем в Париже провел голландский банкир Нейтцлин, находившийся в непрерывных телеграфных отношениях с Витте, который и руководил всем. Все телеграммы были шифрованными, и я на дежурствах немало возился с этим специальным и трудным шифром. Коковцов был послан, по поручению Витте, в Париж только для того, чтобы дать формальную подпись от имени русского правительства под уже готовыми условиями займа. Все, что Витте говорит об этом в своих мемуарах, сущая правда. ⟨...⟩

Витте знал, что его преемником будет опять Горемыкин, старый его соперник, и это его успокаивало. Он считал Горемыкина бесцветно оловянным чиновником, знал, что тот — не оратор, по убеждениям близок к Победоносцеву, значит, с Думой поладить неспособен, значит, в трудную минуту Государь опять обратится к нему, Витте... Думал подобно Бисмарку при отставке: «Le roi me reverra». Опасность — и прочная смена пришли неожиданно из провинции, в лице саратовского губернатора Петра Столыпина.

Витте уходил от власти в 1906 году, опальный у Государя и полупризнанный русским обществом. Он не переоценивал своей популярности, сам отлично сознавал свой «фатум». По этому поводу есть у меня такое шутливое воспоминание. Раз как-то за завтраком, выпив за едой, как всегда, обычную полубутылку шампанского, Витте с горя расшутился и стал уверять, что хотя ни золотая валюта, ни Портсмут, ни конституция не дали ему славы и не дадут бессмертия, но у него все-таки есть еще один, последний шанс. Есть только одна прочная слава на земле — единственная — кулинарная: надо связать свое имя с каким-нибудь блюдом. Есть «беф Строганов», «скобелевские битки»... «Гурьев был министром финансов, наверное, хуже меня, а навсегда его имя знаменито! Почему? Благодаря гурьевской каше». Вот и надо, мол, изобрести какие-нибудь «виттевские пирожки», тогда это, и только это, останется.

Он в тот день рассчитывал — в видах бессмертия — на свои крошечные горячие ватрушки с ледяной зернистой икрой внутри — к водке. Это было, разумеется, только шуткой. В тайниках души Витте верил именно в свою *политическую* звезду, в свое неизбежное «второе пришествие» к власти.

Судьба решила иначе: ни тебе ватрушек, ни власти, ни кулинарной, ни думской славы.

1951

Публикация **С. С. ТХОРЖЕВСКОГО**

Продолжение следует

Петербург. Петроград. Ленинград

Константин ИВАНОВ

ВО ВКУСЕ УМНОЙ СТАРИНЫ

По убеждению братьев Брюлловых, гармония архитектуры и ландшафта связана не только с повышением функциональных особенностей строения — в их единстве реализуется эстетический и даже этический принцип. Во взаимосвязи всего сущего — критерий и такого понятия, как красота: отдельный предмет, человек вне связи с другими людьми не может быть красивым.

Эта эстетическая концепция у К. П. Брюллова получила наиболее яркое отражение при создании им особого вида портрета — портрета-картины, а у его брата, знаменитого архитектора,— в искусном слиянии возводимых им зданий с окружающей природой. Еще в юности Александр Брюллов мечтал о строительстве здания у воды. Был выполнен даже проект такой постройки. Желание, однако, осуществилось лишь по возвращении из Европы, где братья провели ряд лет в качестве пенсионеров Академии художеств. Архитектурный дебют А. П. Брюллова связан с живописными окрестностями Павловска.

В элегии В. А. Жуковского «Славянка» есть такие строки:

И вдруг открытая равнина предо мной!
Там мыза, блеском дня под рощей озаренаа;
Спокойное село под ясною рекой,
Гумно и нвва обнаженаа.

«Село» — сохранившаяся до наших дней деревня (ныне и железнодорожная станция) Антропшино. «Мыза» — усадьба Графская Славянка. Располагались они по обоим берегам Славянки, принадлежали сказочно богатой семье Скавронских.

Графиня Ю. П. Самойлова, последняя из рода Скавронских, в Италии познакомилась с К. П. Брюлловым. После первой встречи они стали друзьями на всю жизнь.

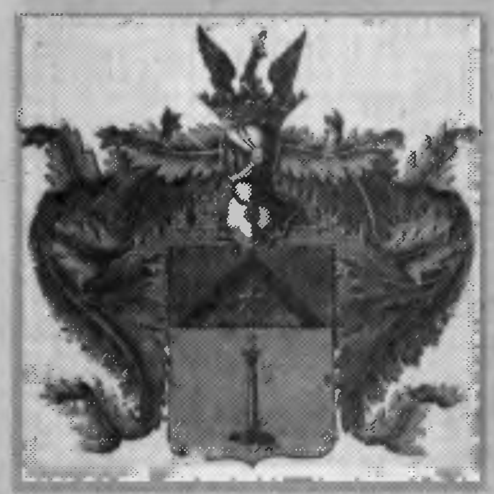
В 1829 году хозяйка Графской Славянки Самойлова задумала на месте обветшавшего, к тому же лишенного многих удобств дома построить новую дачу, а при ней театр и ряд хозяйственных построек. Через посредство своего друга она обратилась к А. П. Брюллову: «В качестве друга Вашего брата я решаюсь писать вам и просить вас быть архитектором дачи, которую я собираюсь строить в моем имении в Славянке близ Петербурга. Мне дорого иметь архитектором того, кто носит имя Брюллова... И потому я жду вашего согласия на постройку моего дома и позволю себе тогда прислать вам все нужные указания. Скульптуру и живопись взяли на себя Гальберг и Щедрин». Александр Павлович согласился и в 1831 году приступил к строительным работам. В планировке здания, в оформлении интерьеров отразились и новые веяния и своеобразие личности молодого архитектора. Своеобразие это проявилось прежде всего в новаторстве функционально-планировочных решений. Роскоши предпочтя комфорт и уют, он отказывается от антресольного принципа планировки, при котором хозяева ютились на верхних полуэтажах, парадные же апартаменты предназначались для приема гостей. Исчезает анфилада — ряд смежных комнат, двери которых расположены на одной прямой. Композиционным центром помещений первого этажа становится большой зал, соединенный через вестибюль с главным входом, а через лоджию с садом. Из личных покоев графини был выход в цветочную оранжерею. В новом романтическом стиле был решен и фасад, обращенный к парку. Его элементами стали лоджия, а над ней балкон, в угловых частях здания ограниченный эркерами. Эркеры венчали крытые бельведеры-ротонды, из которых обозревалась живописная долина Славянки.

С царским великолепием руками Гальберга и Щедрина были отделаны и внутренние покои. Самим А. П. Брюлловым был создан «Готический кабинет». Современники по достоинству оценили усадебный дом в Графской Славянке. Позднее «Библиотека для чтения» в статье «Художества России», рассказав об «обширности неподражаемого таланта и деятельности А. П. Брюллова», о возведенных по его проектам зданиях, о «баснословном возобновлении Зимнего дворца, которому с трудом будут верить потомки», пишет: «...нельзя пропустить без упоминания дома графини Самойловой, построенного в Графской Славянке, поблизости Петербурга. Прекрасная наружность дома отличается новизной в Петербургском зодчестве и соединена с отличным вкусом внутреннего убранстаа и с отличным удобством расположения».

В усадьбу Самойловой съезжалась петербургская молодежь. Чаще других здесь бывали братья Брюлловы. Последний раз в Графской Славянке Юлия Павловна появилась в 1839 году. В тот год Карлом Павловичем был выполнен портрет Ю. П. Самойловой с приемной дочерью Амацилией Пачини. Художник подчеркнул торжественную красоту и другие достоинства 37-летней женщины.

В Павловске по проектам А. П. Брюллова были построены дома для графини Соллогуб, князя Урусова и камердинера Свистунова. Александр Павлович принимал участие в конкурсе по составлению проекта памятника Марии Федоровне.

В 1830-е годы раскрылись талант и удивительное трудолюбие архитектора Брюллова. В 1837 году ему в связи с предстоящей свадьбой великого князя Константина Николаевича поручают перестройку Мраморного дворца. Это доверие — знак милости монаршей. Александру Павловичу присваивается дворянское звание, утверждается фамильный герб. Он жалуется Орденом Святого Владимира 4 степени. Николай I дарит часы, которые как семейная реликвия хранятся в семье правнучки архитектора Софьи Вадимовны Брюлловой. Братьям Брюлловым в Павловске на пустыре, омываемом Славянкой и Тызвой, где, по беглому замечанию художника Соколова, местами рос бурьян и валялись крупные камни, выделяются участки общей площадью 2995 кв. саженей. По соседству участок в 1029 кв. саженей получает их свояк — профессор Петербургского университета О. И. Сенковский. Осип Иванович сразу же передает его Брюлловым. Подготовленный Александром Павловичем проект дома великий князь Михаил Павлович, хозяин Павловска, отклонил, уважительно заметив, что «от архитектора Брюллова можно ожидать дом красивее». По новому проекту здание стало двухэтажным. Архитектура северного, обращенного на улицу фасада отличается крайним лаконизмом, лишена каких-либо архитектурных украшений. На каждом этаже по два сдвоенных окна. Садовый фасад, как и в Графской Славянке, выполнен более свободно, живо. Такие же элементы, как балкон во всю ширину здания с вынесенной над ним кровлей, украшенной деревянной резьбой, эркер под балконом, наполовину скрытый садовой зеленью, содействовали слиянию архитектурных красот с живописным пейзажем. На линии северного фасада находились две небольшие хозяйственные постройки. В одной из них размещались летняя кухня и столовая, в другой — людская. Крытой галереей центральный корпус соединен с четырехъярусной кирпичной башней, выполненной в духе средневекового зодчества. Диссонанс башни с Большой дачей не является случайностью или просчетом архитектора. Это, скорее, пример, и весьма яркий, его приверженности новому, формировавшемуся при его активном участии, направлению в архитектуре — эклектике («архитектуре выбора»). В этом высотном акценте, думается, воплощена фамильная символика. Привлекает внимание, например, такая архитектурная деталь: со стороны сада в прямоугольную вписана как бы вторая, круглая, увенчанная куполом, башня. По семейному преданию, каждому из сыновей посвящалась башня, а каждой дочери — один из трех верхних этажей. Документальных свидетельств тому нет — не будем и настаивать. А вот суждение Н. Б. Брюлловой о других обстоятельствах, побуждавших ее прадеда к сооружению башни, заслуживает серьезного внимания. Одно из них связано с символикой сословного герба, отразившей граничившее с одержимостью трудолюбие Александра Павловича: над колонной, покоящейся на бобре, пчела. Известно, что бобр и пчела — извечные символы трудолюбия. Грамота, герб и его описание от Нины Борисовны поступили в Русский музей.



Герб Брюлловых

Башня имела и практическое значение — она своеобразный бельведер, с которого можно было обозревать окрестности, вести наблюдение за звездным небом. Дело в том, что дача в Павловске строилась в пору увлечения ее хозяина астрономией, сооружением Главной Пулковской обсерватории, причем увлечение А. Брюллова наукой о небесных телах, математикой и механикой не являлось проявлением дилетантизма, а носило профессиональный характер. Так, предложенный им проект обсерватории Комиссией при Академии наук был признан лучшим «по причине большей сообразности оного с учеными потребностями». Современники высоко оценили не только архитектуру обсерватории, но и инженерные достижения ее создателя. В цитированной нами статье из «Библиотеки для

чтения» отмечалось, в частности, что обсервационная башня в Пулкове вращается по тройной железной дороге с изумительной легкостью. «Ребенок может поворачивать башню без натуги».

Увлекся астрономией и Карл Павлович: надеялся, что ему поручат роспись купола строящейся обсерватории. По свидетельству Н. Рамазанова, художник, «завладевший европейской славой», занял «скромное место на скамье между студентами Петербургского университета». Ночи проводил в обсерватории Академии наук. Павловская башня стала домашней обсерваторией...



Дача Брюлловых в Павловске

Описание внутренних помещений, покоев Большой дачи находим в той части рукописи «Воспоминаний» П. П. Соколова, которая не вошла в подготовленную и изданную Э. Голлербахом книгу.

Половину первого этажа, по словам Павла Петровича, занимала одна большая комната, «или зал на три света, еще со стеклянным балконом внутри сада». «Потолок этой комнаты посредине держался на столбах, между которыми стояли два камина vis-a-vis и над ними пролет. Она была так велика, что могла собою заменить зал, и гостиную, и апартаменты для интимной беседы с мягкой мебелью и роялем, затем в левом конце у окна стоял большой бильярд, на котором я и выучился играть».

Смежное помещение — столовая, отделанная красным деревом. На первом этаже находился и кабинет Александра Павловича. Второй этаж занимали спальни и детские. Первый ярус башни — часть кабинета хозяина, на втором — библиотека, над ней комната для приезжих. Зал, по словам С. В. Брюлловой, украшала помпейская живопись.

Возле дома — сад, спускавшийся по склону к Славянке. На реке запруда. У берега плот с привязанной к нему лодкой. Через реку был перекинут мост, построенный по проекту П. К. Клодта. В центре сада — фонтан, на лужайках цветники. Имелись и оранжереи. Все это хозяйство усилиями садовника содержалось в «роскошном виде».

Вид на дачу со стороны Славянки изображен на картине Сократа Воробьева (1855 г.). Хранится полотно в семейной коллекции Н. Б. Брюлловой. Художник, по свидетельству внука архитектора Б. П. Брюллова, на фоне яркой зелени изобразил Александра Павловича, его жену и детей.

1852 год. А. П. Брюллов в Италии. Приехал по случаю кончины брата Карла. В дни горя и мучительных раздумий Александр Павлович находил утешение на природе. В письмах жене, которые он называет «журналом моего курьерского путешествия», есть такие строки: «Величие прошедшего растет при ночной тишине, потому все ничтожное исчезает в полумраке ночи, очерк же прекрасного с точностью определяется и все оживляется поэзиею воспоминания». Чувство очарования рождалось в поэтической натуре Александра Павловича и при воспоминании о любимом Павловске: «Без тщеславия скажу тебе (жене.— *К. И.*), что теперь, иногда пробегая прекрасные места, не могу не вспомнить о Павловском, и должен сознаться, что сад ничего не потерял в глазах моих, но еще стал прелестнее, надобно только уметь сравнивать, не надобно искать Италии у нас, а признать только свое прекрасное в нашем крае и найдем, что оно так же выражает красоту природы, а на труд и попечение человека смотришь еще с большим уважением. Когда же я себе представляю, что там я хожу у себя и с тобой, моя душа, то наши милые холмы вырастают для меня в высоты Альп, наши березы и осины превращаются в пальмы, и мы живем в стране, избранной для человека...»

Как заповедный уголок, олицетворение красот родной природы и души русской, оживала Брюлловка и в сознании друзей этой семьи, оказавшихся за границей. Так вспоминали о ней скульптор П. К. Клодт и художник М. Н. Воробьев, отец Сократа Воробьева. В письме, отправленном первого ноября 1845 года из Палермо, Максим Никифорович называет Павловск Новой Смирной. «Хорошо в Палерме погулять, но знаете ль, как оглянусь в Питер, на родину, так представляю себе скромную Новую Смирну. Право, она мила: в ней нет ни огромных гор, ни безмерного моря, но маленькая речка, хозяйственно устроенный сад, дом, гостеприимство чистосердечных хозяев... Вот что дорого и чего здесь не встретить. Мило все это вспоминать, а вспомнишь и сделается грустно».

Скульптор П. К. Клодт в 1843 году выезжал в Берлин, где следил за установкой подаренных русским царем прусскому королю двух скульптурных групп «Конь с водничим». Скульптура вызвала всеобщий восторг. Официальные круги и публика принимали Петра Карловича с исключительными почестями, которые иному художнику могли бы вскружить голову. С Клодтом этого не случилось. В письме своему другу А. П. Брюллову он признается: «...что мне в том, что я обедаю у короля и принцев, хоть и лестно, но скучно, лучшие яства и вина я бы променял на черный хлеб и квас. Чрезвычайно бы хотел застать вас и жену еще на даче, потороплюсь, сколько можно».

Дача Клодта находилась по соседству с А. П. Брюлловым и строилась при участии последнего. При даче обширный сад, в конце сада — мастерская, в которой скульптор работал над новыми группами. Сюда с царской конюшни доставляли лошадей. «Водничим» была двенадцатилетняя дочь Петра Карловича. Юная всадница не только умело управляла своим «Амалетбеком», но и поднимала его на дыбы.

Общение с итальянской природой Брюллов называет «эпическими наслаждениями», «художественною жизнью». Ради них он уходил из дома с восходом солнца, иногда с закатом. И в Павловске сну он нередко предпочитал артистические наслаждения природой. Профессор Ф. И. Иордан, уроженец Павловска, однокашник братьев Брюлловых по Академии, любил бывать на их «превосходной» павловской даче. «Много приятных дней и вечеров провел я в этом семействе»,— вспоминал позднее Федор Иванович.

Дружба семьями на десятки лет связала Брюлловых с Крамским, с семьей основоположника акварельной живописи в России П. Ф. Соколова, женатого на Юлии Павловне Брюлловой.

Своими людьми в семье Брюлловых была компания их петербургских друзей — М. И. Глинка, Н. В. Кукольник, А. Н. Струговщиков, Яненко. Вместе с



А. П. Брюллов. Акварель П. Ф. Соколова. Из семейного собрания Чулановских, потомков А. П. Брюллова

Брюлловым появлялись они на концертах в Павловском вокзале. Принимали участие в домашних музыкальных вечерах.

Много и других интересных людей видела и слышала эта дача. Бывали здесь В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, Н. А. Некрасов. Как близкий знакомый посещал Брюлловых на Павловской даче профессор Петербургского университета, издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич.

С Павловском на протяжении 80 лет были связаны дети, внуки Александра Павловича и Александры Александровны Брюлловых, а их сын Павел и внук Борис здесь и родились.

Антресоли

В фонде Булгакова в Институте русской литературы АН (Пушкинский дом) сохранился небольшой текст на одном листке, написанный карандашом рукой автора (ф. 369, ед. хр. 565). Поступил он сюда в 1978 году от второй жены Булгакова Л. Е. Белозерской (1895—1987).

Перед нами — очень своеобразное произведение, жанр которого нелегко определить. Построен он как запись («стенограмма») телефонного разговора М. А. Булгакова с неизвестным человеком, позвонившим Л. Е. Белозерской в ее отсутствие и говорив-

шего с Булгаковым. Но стиль этого диалога такой «булгаковский», настолько напоминает разговоры персонажей его пьес, что законно возникает предположение, что текст все-таки не застенографирован, не воспроизведен буквально, а в какой-то степени сочинен или, по крайней мере, переработан драматургом.

В результате создается образ, очень определенный и узнаваемый,— образ бывшего гвардейского офицера, ставшего служащим при манеже, привычно пьяного (и еще более опьяневшего перед вторым телефонным звонком), однако сохраняющего дворянско-офицерский гонор и преувеличенное чувство собственного достоинства. В Константине Аполлоновиче, как он себя представляет (произнести фамилию уже не хватает сил), ощущаются черты прежних персонажей булгаковских пьес — де Бризара из «Бега»,— отчасти, может быть, даже Мышлаевского, но в новом качестве: бывший офицер опустился, спился, найдя себе не очень почетное, но все же более или менее респектабельное занятие.

Сюжет «Стенограммы» связан с одним из двух излюбленных занятий Л. Е. Белозерской в 1928—1932 гг.— увлечением верховой ездой (другим было вождение автомобиля). Над мечтой жены — завести собственную машину — Булгаков, доходы которого в те годы отнюдь не соответствовали таким стремлениям, посмеивался: «Дорогая кошечка, на шкаф, на хозяйство, на портниху, на зубного врача, на сладости, на вино, на ковер и автомобиль — 30 рублей» (ф. 369, ед. хр. 567). Об этих своих увлечениях Л. Е. Белозерская писала в книге «О, мед воспоминаний» (Ann Arbor, 1977), где приводила и текст публикуемой сценки, но в «Страницы жизни», подготовленные ею в 1983 году для книги воспоминаний о Булгакове (Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988, с. 192—236, ср. с. 503—504), она все эти материалы не включила.

Как ни миниатюрна сценка «Стенограмма», она дополннет наши представления о творчестве Булгакова-драматурга.

Михаил БУЛГАКОВ

СТЕНОГРАММА

Сценка

Зво в о к

Я: Слушаю вас.

Голос: Любовь Евгениевна?

Я: Нет. Ее нет, с сожалению.

Голос: Как нет?.. Умница-женщина. Я всегда, когда что-то не так... (*икает*) ей говорю...

Я: Кто говорит?

Голос: Она в манеж ушла?

Я: Нет, она ушла за покупками.

Голос (*строго*): Чего?

Я: Кто говорит?

Голос: Это супруг?

Я: Да. Скажите, пожалуйста, с кем я говорю?

Голос: Кстин Аплоныч (*икает*) Крам... (*икает*).

Я: Вы позвоните ей в 5 часов, она будет к обеду.

Голос (*с досадой*): Я... не могу я обедать... не в том дело! Мерси. Очень приятно... Надеюсь, вы придете?..

Я: Мерси.

Голос: В гости... Я вас приму. В среду? Э? (*Часто икает.*) Не надо ей ездить! Не надо. Вы меня понимаете?

Я: Гм...

Голос (*зловеще*): Вы меня понимаете? Не надо ей ездить в манеж! В выходной день, я понимаю, мы ей дадим лошадь. А так не надо! Я гвардейский бывший офицер и говорю — не надо — нехорошо. Сегодня едет, завтра поскачет. Не надо. (*Таинственно.*) Вы меня понимаете?

Я: Гм...

Голос (*сурово*): Ваше мнение?

Я: Я ничего не имею против того, чтобы она ездила.

Голос: Все?

Я: Все.

Голос: Гм... (*Икает.*) Автомобиль? Молодец. Она в манеж ушла?

Я: Нет, в город.

Голос (*раздраженно*): В какой город?!

Я: Позвоните ей позже.

Голос: Очень приятно. В гости, с Любовь Евгениевной? Э?.. Она в манеж ушла?

Я (*раздраженно*): Нет...

Голос: Это ее переутомляет! Ей нельзя ездить... (*Бурно икает.*) Ну...

Я: До свидания... (*Вешаю трубку.*)

Пауза — три минуты

Звонок

Я: Я слушаю вас.

Голос (*слабо, хрипло, замирая*): Попроси... Лю... Бовгеньину.

Я: Она ушла.

Голос: В манеж?..

Я: Нет, в город.

Голос: Гм... Ох... Извинит... что пабскакоил. (*Угасает.*)

Вешаю трубку

Вступительная заметка,
подготовка текста и публикация
Я. С. ЛУРЬЕ

Совсем недавно. Совсем давно

4 ноября 1988 года в небольшом голландском городке Заандаме, что расположен близ Амстердама, произошло знаменательное событие. Его участниками, кроме мэра города господина А. Лемса, советника по культуре господина А. Бринкмана, других сотрудников муниципалитета, а также их коллег из Амстердама и Гааги, были представители советского посольства, в том числе временный поверенный в делах А. Бурлаков.

Над улочкой Кримп развевались государственные флаги Нидерландов и Советского Союза; взволнованные гости спешили к домику за красивой железной оградой. Приближался момент открытия обновленной экспозиции музея Петра I. В торжестве принимали участие и две ленинградки — сотрудницы Государственного Эрмитажа: заведующая отделом истории русской культуры Г. Н. Комелова и заведующая сектором «Дворец Меншикова» Н. В. Калязина.

•

Н. КАЛЯЗИНА

«НАД БЕДНОЙ ХИЖИНОЮ СЕЙ...»

Дом-музей Петра I в Заандаме

Несколько лет иазад сотрудники Государственного музея в Амстердаме задумали устроить большую выставку архиввых и других подлввных материалов, которая бы рассказала о давяях и тесных торговых, промышлеяных, культурвых русско-голландсквх связях. В мае 1989 года выставка экспонировалась в Амстердаме, а затем в в Москве.

Вспомнили в связи с этим и про Дом-музей Петра I в Заавдаме. Муниципалитет Заандама, в лице Антона Бринкмаиа, обратился в Мвнистерство культуры СССР с просьбой прислать в Заандам специалиста по музеям петровского времени для установления связей и консультации. Выбор пал на меня.

Вероятко, голландцы хотелв напомнить нам, что Дом-музей Петра I — это не только достопримечательность Заандама, но и страница русской истории. Страница же эта любопытна и малоязвестна.

Немного насчитаем мы за пределамв нашей страны памятников или музеев, посвященных России вли русским людям. А этот музей посвящев основателю нашего города, человеку, настолько поразившему голландцев, что они сохранили вещественаую память о яем до наших дней.

Но не только Дом-музей Петра I — свидетельство чувств уважения и дружбы голландцев к русским. Совсем рядом с центральной улицей города, которая ведет от железнодорожного вокзала к реке в дамбе, расположен так называемый «русский квартал». Все улицы в нем, застроенные новыми муниципальными типовыми кирпичными домами, носят русские имена: Петра Великого, Головкина, Меншикова, Языкова, Пушкина, Льва Толстого. Посреди каждой из них стоят памятники, посвященвые тем, в честь кого улвцы названы.

На одной из площадей города еще один интересный для нас памятник: на высоком постаменте — Петр I с топором в руке. Монумент выполпен по проекту скульптора Л. А. Бервштама и подарен городу русским правительством в 1911 году. И с тех пор так и стоит на своем месте. Точно такой же памятник стоял и в Ленинграде на набережной Невы перед Адмиралтейским спуском, но в 1919 году его признали антихудожественвым и снесли.

А вот и узенькая улица Кримп, и «Дом Петра Великого», как написано на указателе. Сквозь огромное полуциркульное окво кирпвчвого строения-футляра, сооруженного в пышном русско-византийском стиле, просматривается деревянвое строение. Вход в музей сбоку, между футляром и соседним домиком, выстроенным в том же стиле,— в нем живет хранитель музея, его директор и экскурсовод — госпожа Люси Блом.

Домик Петра I поднят иа высокий фундамент. Внутрв темновато, потому что свет проввкает только через окна футлира. Две небольшие комиатки, на стевах — картины, портреты, гравюры, тексты. Справа от входа — камин, лестница, угловой шкафчик в стене; слева — дверь в другую комнату, перегородка с устроенным в ней шкафом-нишей для спанья. В дверном проеме виден длинный стол на точеных ножках, несколько стульев треугольной формы (на них садятся задом наперед, опираясь руками о спинку), это у голландцев стульи для беседы.

Внимательнее оглядевшись вокруг, замечаешь, что буквально все стеяы испещрены надписями-автографами посетителей. Поражают даты: 1796 год, 1812—1814-й и так далее.

Дом очень старый, во нельзя сказать, что он дряхлый, хотя ему уже более трехсот пятвдесяти лет. Построили его в 1632 году — яа фасаде сохранилась доска с этой датой.

Какова же его история? Бывший директор заандамского городского архива господин Зонье, собрав все извествые ему документы, весьма подробно ее изложил. Брошюрка с текстом этой истории вышла ко дню открытия обновленной экспозиции. На русский язык ее перевел советсквй атташе по культуре В. В. Найденов, а мы с Г. Н. Комеловой отредактиро-

вали — как специалисты в области культуры и истории петровского времени.

Дом был построен из соснового леса, который шел обыкновенно на сооружение баркасов. Так же, как баркас, дом обшит досками внахлест, сверху вниз, чтобы влага легко с них стекала, что немаловажно в сыром заандамском климате. К осени 1697 года, то есть ко времени начала нашего рассказа, в доме жил кузнец Геррит Кист.



Ранним воскресным утром 18 августа 1697 года кузнец рыбачил у берега Фоорзаана. Несколькими годами ранее Кист работал в России и поэтому сразу узнал среди шести спутников, подплывших к берегу на небольшом суденышке, высокого и быстрого в движениях молодого человека. Это был царь Московский Петр Алексеевич, под именем урядника Петра Михайлова совершавший свое первое заграничное путешествие в составе Великого посольства. Петр Михайлов числился в составе отряда волонтеров из 35 человек, во главе с командиром, князем А. М. Черкасским. Они выехали из России «для учения воинского поведения и морского дела». Были среди них У. Синявин — будущий комиссар от строений в Петербурге; А. Кикин — будущий советник Адмиралтейства; Г. Меншиков — будущий корабельный мастер; А. Голицын, А. Головин, С. Нарышкин, О. Щербатов, А. Щербаков — будущие сподвижники Петра. Был среди них и человек, особенно близкий тогда Петру,— его денщик и личный казначей Алексашка Меншиков. Петр приехал из Амстердама, чтобы ознакомиться со строительством малых судов на верфях города.

Он условился с кузнецом, которого тоже сразу узнал, о том, что снимет комнату в его доме. Впрочем, как стало известно только теперь, дом не принадлежал Герриту Кисту. Хозяином его был некий сапожник по имени Ян Клейн, а Кист снимал у него дом и жил в нем вплоть до 1717 года.

В этот же день, 18 августа, Петр нанялся работать на верфь Лейиса Тееувиса Рогге, расположенную совсем близко от дома. Он изучал плотницкое корабельное дело, расспрашивал о мельчайших деталях судов и их голландских названиях. Попутно он и все его спутники прилежно учили голландский язык. За ту неделю, до 25 августа, что Петр трудился на верфи Л. Т. Рогге, он успел навестить семьи мастеров, работающих в России, осмотреть другие верфи и многочисленные заандамские мельницы. Петру мешало назойливое любопытство жителей города, инкогнито его было раскрыто не без помощи мастеров, ранее работавших в Москве. Да и само его независимое поведение было, конечно, необычным для рядового ученика мастерового. Но, самое главное, в Амстердам прибывало его Великое посольство и все большие дела ожидали царя там. Был куплен буер, и в воскресенье, 25 августа, Петр со спутниками уехал в Амстердам.

Первый голландский историк путешествия Петра I в Голландию купец Я. К. Номен писал позднее, что Петр уехал, заплатив Герриту Кисту всего семь гульденов за семь дней, что по тем временам было весьма немного и обидело кузнеца, ожидавшего, вероятно, от царя много больше. Кист помнил свою обиду вплоть до следующей встречи с царем в 1717 году, когда и высказал ему ее.

Петр еще дважды посетил Заандам и свое скромное жилище: 3 сентября того же года и 21 мая 1698 года, когда он заехал туда попрощаться со своими знакомыми и друзьями перед отъездом в Россию.

Через 19 лет он совершил свою вторую поездку по Европе. Он не забыл посетить место своего ученичества: 5 марта с небольшой свитой приехал в Заандам и провел день в обществе хорошо ему известного купца и судовладельца Корнелиса Михальса Калфа. А через четыре дня, 9 марта Петр вновь прибыл в Заандам вместе с супругой Екатериной и большой свитой и показал царице домик, где останавливался в юности и где еще жил кузнец Геррит Кист...

Дальше домик продавался и переходил от одного владельца к другому, и истории ничего не известно о нем вплоть до 1780 года, когда его посетил командующий русским флотом граф Алексей Орлов. От кого и как он узнал про этот дом, связанный с именем Петра I, мы не знаем. Известно лишь, что он побывал в нем 4 сентября 1780 года и подарил хозяину дома, которым тогда был Дирк Юриан де Фриз, золотую медаль со своим изображением. Эти сведения сохранились в инвентаризационном акте имущества, составленном по смерти де Фриза в 1789 году, где среди перечисления собственности умершего сказано: «расположенная на Кримпе и состоящая из дома и пристройки для лодок, именуемая домиком царя Петра». Этот акт — первый, известный нам официальный документ, в котором дом упоминается под своим нынешним названием: «Домик царя Петра». А. Орлов как бы открыл дом для истории и рассказал о нем — с тех пор он стал посещаться путешественниками.

В самом конце XVIII века Заандам посетил амстердамский художник и издатель сборника «Достопримечательности этой страны» Е. Маскамп. Он задумал сделать рисунок домика и включить его изображение в свой сборник. Одновременно Маскамп предпринял попытку спасти дом от уничтожения и сохранить его для потомков, узнав, что хозяин собрался продать его на слом. Художник посоветовал некоему Яну Антони Бюлсингу приобрести этот домик, пообещав большие прибыли, если новый хозяин откроет дом для посетителей.

Бюлсинг внял совету и, очевидно, ему мы обязаны сохранением дома и открытием музея. Хозяин завел книгу записей посетителей и предложил в ней «делать добровольные пожертвования в пользу бедных и в фонд содержания домика». Он расширил земельный участок, прикупив соседние участки и, похоже, не пожалел об этом, ибо, затратив на все это в общей сложности несколько более 116 гульденов, он в 1818 году продал королю Нидерландов Вильгельму I за 6000 гульденов «дом с двором, расположенный на Кримпе... в западном Заандаме, известный под названием домик царя Петра Великого, вместе со всей меблировкой и утварью, включая находящиеся в нем картины, три деревянных стула, стол и золотую медаль». Да, да, золотую медаль, подаренную графом А. Орловым.

Эта купля-продажа имела свою историю и свои причины.

В период наполеоновских войн (1795—1814 годы) дом Петра усиленно посещался французами, оставившими на стенах многочисленные автографы. 11 октября 1611 года в нем побывал сам Наполеон с супругой. После окончания войн дом посетил и русский император Александр I с супругой в сопровождении короля и королевы Нидерландов. Их принимал Я. А. Бюлсинг. Он угостил августейших посетителей мадерой, подарил Александру последний бокал из сервиза, которым пользовались родители императора во время посещения ими дома в 1782 году. Скоро сестра Александра Анна Павловна стала женою наследного принца Нидерландов, будущего короля Вильгельма II. Ей-то и подарил свекор в 1818 году дом царя Петра, приобретенный у Бюлсинга. Анна Павловна стала королевой Нидерландов и прожила в этой стране долгую жизнь — до 1865 года. Она никогда не забывала о домике прапрадеда, поддерживала его и завещала сыну Вильгельму Фридерику. Может быть, именно интересу Анны Павловны к частице своей Родины на голландской земле мы также обязаны его дальнейшим сохранением и неизменным вниманием к нему голландцев. Предполагается, что по желанию Анны Павловны были снесены строения перед домом Петра, а для его сохранности сооружен каменный футляр с аркадами — по образцу футляра над домиком Петра I в Петербурге.

Страшное наводнение 1825 года нанесло дому большие повреждения. В результате пришлось заменить пол, а впоследствии поднять дом на каменный фундамент. В 1894 году, по указанию его нового владельца Николая II (дом стал собственностью русского царского дома с 1886 года), был сооружен новый каменный футляр, который проектировал и строил амстердамский архитектор Г. В. Салм. Тогда же вся территория была огорожена новой оградой с кирпичными столбами и металлической орнаментальной решеткой. Несколько позже засыпали канал, протекавший по улице Кримп, и дом приобрел вид, который и сохраняется по сей день. Дом принадлежит к числу редчайших деревянных жилых сооружений середины XVII века, сохранившихся до нашего времени. Построен он так, как в течение многих столетий строились все голландские дома в районах Заандама и Ватерланда.



Обычный голландский дом имел высокую крутоскатную крышу и состоял из одного или двух помещений, между которыми размещался камин-очаг. Теплая стенка камина в зажиточных домах выкладывалась расписной дельфтской керамической плиткой. Возле камина протекала жизнь семьи в холодные и сырые времена года. В этом камине-очаге хозяйки готовили пищу, для чего подвешивались на крюках котлы. На плитках, украшавших камин, изображались сцены из жизни Голландия, библейские сюжеты.

Спали голландцы в стенных шкафах. Такой шкаф, характерный для быта голландцев XVII века, сохранился и в доме Петра. Но старые обычаи были забыты уже в конце XVIII века, и потому этот шкаф породил множество вопросов. Например, как Петр, такой высокорослый, мог умещаться в столь небольшом объеме? И относили это на счет непритязательности царя в быту, забывая, что в то время на севере Европы существовал именно такой обычай — спать в закрытых стенных шкафах не только потому, что они защищали от холода и воров, но и по медицинским соображениям: спанье полусидя считалось более здоровым. Конечно, и Петру в Голландии пришлось соблюдать этот обычай. Шкаф-постель с деревянными дверцами, сохранившими остатки



тканой обивки, размещена в перегородке, разделяющей комнату на две половины.

Предметы мебели, сохранившиеся от времени Петра I или, во всяком случае, относящиеся к тому времени,— и уже упоминавшийся длинный стол на ножках токарной работы, и три треугольных стула, и шкаф-кровать — зафиксированы в самых ранних известных документах. Наиболее полный документ — акт 1886 года, составленный при передаче дома в качестве подарка от нидерландской короны русскому царю Александру III.

Среди исторических картин к портретов, находящихся в музее около двухсот лет, следует отметить большой портрет Петра I, записанный в акте под первым номером. На нем царь запечатлен в костюме голландского мастерового. Петр сидит в окружении чертежей, плотницких инструментов, то есть в той обстановке, какой она могла быть во время пребывания царя в Заандаме. Картина исполнена художником И. А. Портманом много позже события в 30-х годах XIX века, вероятно, с портрета Петра 1710-х годов, по заказу некоего господина ван дер Хоопа.

Портрет Петра I и его жены Екатерины, висящие на задней спинке шкафа-кровати, по всей видимости, являются копиями с портретов времени второго заграничного путешествия.

В акте упомянута картина, подаренная князем Демидовым, на которой Петр также изображен в интерьере дома, но в еще более зрелом возрасте, чем на картине Портмана. С топором в руках он делает какую-то судовую деталь. Перед ним разложены инструменты, а за столом сидит и пишет молодой человек, по литературным данным — А. Д. Меншиков. Ни фон, ни обстановка не свидетельствуют о том, что картина писалась с натуры. Бронзовая дощечка с надписью указывает на принадлежность картины Анатолию Демидову Сан-Донато, русскому посланнику во Флоренции, женатому на племяннице Наполеона.

В первой комнате дома, на камине и возле него находятся предметы, упомянутые в акте, лестница, закладная мраморная доска и овальная деревянная доска с неграмотным русским переводом изречения Александра: «Ничего не мало великому человеку».

До 1917 года дом находился под присмотром русского генерального консульства. После Великой Октябрьской социалистической революции он оставался некоторое время в собственности семейства Романовых, так как, по выражению голландской стороны, «новое правительство России не давало на этот счет никаких распоряжений». В конце концов дом был передан муниципалитету города Заандама с обязательством содержать его за счет доходов от посетителей. С 1948 года он зарегистрирован в кадастре земельных владений Нидерландов как собственность Нидерландов и наследников Николая II. С 1968 года дом находится в ведении министерства культуры, отдыха и общественных работ, а расходы по его эксплуатации распределяются между этим министерством и общиной города Заандама.

Дому, можно сказать, повезло с его хранителями — их официально известно всего четыре за полтора столетия. Первой хранительницей, консьержкой и экскурсоводом была госпожа ван Хаутен. Она опекала дом пятьдесят лет — вплоть до своей смерти в декабре 1917 года. После нее за домом также более пятидесяти лет присматривал господин Я. Схол. С 1971 года и по настоящее время хранителями являются представители русско-голландской семьи Блом. Мать — Валентина Григорьевна Блом-Бутко — девочкой попала с Украины на рынок невольников в Германию, там по окончании войны вышла замуж за голландца из Заандама. Теперь Валентину Григорьевну заменила ее дочь Люси Блом.

Такова документальная история Дома-музея Петра I в Заандаме. Однако достойны внимания и многочисленные страницы его духовной истории, его вклада в развитие интеллектуальной культуры народов двух наших стран.

Перелистаем лишь несколько страниц. Тема пребывания Петра I в Заандаме вдохновляла не только живописцев, скульпторов, графиков, но и поэтов и музыкантов. Дом-музей посещали все знаменитые личности XVIII—XIX веков. Сопровождавший наследника русского престола Александра Николаевича замечательный русский поэт В. А. Жуковский был здесь 17 апреля 1839 года и оставил нам свой поэтический отчет:

Над бедной хижиною сей
Летают ангелы святые
Великий князь,
благоговей,
Здесь колыбель империи
твоей,
Здесь родилась Великая
Россия.

Впечатлениями о доме навеяно большое стихотворение другого известного русского поэта П. А. Вяземского:

В священном месте сем
паломник молодой,
Пред яркой памятью Петра
благоговея
И с ним к отечеству любовью
пламенея,
Здесь слухом набожным
и жадною душой,
Внимал таинственно
минувших лет преданию,
И повесть славную и чудную
читал,
Которую в урок
и к подражанию
Потомству своему
сам предок завещал...

В 1897 году исполнилось 200 лет со времени пребывания Петра I в Заандаме и по этому случаю городские власти организовали большие торжества. Программу праздника составляло пышное маскарадное шествие в костюмах конца XVII века, инсценирующее прибытие Петра I в город, официальные обеды и приемы. В один из дней праздника местные театралы-любители показали гостям спектакль «Петр Михайлов. Историко-бытовые картины голландской жизни XVII века». Пьеса была написана Герритом Яном Хонигом — историком и этнографом, сыном местного историка-краеведа и собирателя единственной теперь в своем роде коллекции материалов о Доме-музее Петра I.

Главным же актом программы праздника стало торжественное открытие обновленного дома-музея в новом кирпичном футляре. Присутствующие на торжественном акте представители русского правительства и сотрудники посольства пожаловали городу и музею две медали — золотую и серебряную, в память создания русского флота, которые и по сей день бережно и уважительно хранятся в сейфе ратуши. Художник Салм, сын архитектора и автора проекта, исполнил две ак-

варели с видами дома — при Петре и современным, а местный ювелир Схорль изготовил серебряные модели домика, которые продавались всем желающим за 750 гульденов.

Много лет спустя, в 1947 году, состоялось празднество и в честь 250-летия пребывания Петра I в Заандаме.

И вот — 1988 год. 31 октября в зале городского архива Заандама собралось небольшое совещание. На нем присутствуют представители ратуши, архива, музея, архитекторы, краеведы. Бурно и заинтересованно дебатируется вопрос: как и что показать в обновляемой экспозиции, учитывая те экспонаты, что прислал в дар музею Эрмитаж. Это — 25 копий с редчайших гравюр начала XVIII века. Окантованные в дубовые рамки, уже под стеклом, они расставлены вдоль стен. Мы отобрали их из материалов Эрмитажа, как наиболее редкие и ценные, связанные с темой пребывания Петра I в Голландии. Здесь портреты самого Петра того времени, портреты голландцев, с которыми он был знаком, виды Москвы конца XVII века. И самые первые виды Санкт-Петербурга — то есть все то, что, по нашему мнению, могло бы дополнить и расширить экспозиции дома Петра I, помочь посетителям музея лучше представить Россию.

Голландская сторона дополнила вводную выставку местными темами и материалами, решив показать особенности строительства жилых домов в Заандаме, виды города и верфей конца XVII века. Эти материалы представил городской архив и также только в копиях.

Несколько дней активной работы, и 4 ноября 1988 года — открытие обновленного Дома-музея Петра I. Вписана новая строка в историю дружеских отношений Ленинграда с Заандамом, Дома-музея Петра I с Эрмитажем, отношений, которые, как мы надеемся, будут продолжаться и развиваться.

Мини-мемуары

Рюрик ИВНЕВ

КОГДА М. БУЛГАКОВ ЕЩЕ НЕ БЫЛ БУЛГАКОВЫМ

Осенью 1918 года по дороге в Москву я остановился во Владикавказе. Там я встретил писателя Юрия Слезкина, которого знал еще по Петербургу. Как его туда занесла судьба, не знаю, но он занимал в этом городе должность заведующего ЛИТО Наркомпроса.

Там я встретил также несколько сравнительно молодых местных писателей, фамилии которых забыл. Возможно забыл бы и М. Булгакова, который, кстати, тогда не называл себя писателем. Тогда он только набирал силы, хотя и держался уверенно. Юрий Слезкин очень обрадовался, увидев меня, старого петербуржца, и первым делом решил устроить большой вечер поэзии при моем участии. Планировалось, что я буду читать не только стихи, но расскажу и о меньшевистской Грузии, из пределов которой был выслан за мою лекцию о Советской России.

Забавно выглядела афиша: такого-то сентября в зале кинотеатра «Гигант» будет «интимный вечер поэзии». Публики собралось много. Это напомнило мне Политехнический музей в Москве. Кроме приглашенных местных писателей (их было два-три человека), выступали Юрий Слезкин и Михаил Булгаков. Что именно они читали, я не помню, но, очевидно, публике это нравилось, судя по дружным аплодисментам, то и дело раздававшимся в зале. После окончания вечера многие из публики пришли за кулисы, чтобы побеседовать с выступавшими. На другой день в местной газете была опубликована статья о хорошо прошедшем и радушно встреченном публикой литературном вечере при нашем участии.

Много лет спустя в «Записках на манжетах» Михаила Булгакова я прочитал несколько строк о себе и Осипе Мандельштаме, который был во Владикавказе, очевидно, уже после меня, и эти заметки открыли мне глаза на огромный талант М. Булгакова, а также на литературный прием, с помощью которого он добивается наивысшего эффекта в описании какого-нибудь эпизода.

Дело в том, что я в публичном выступлении рассказал о своей «Одиссее», о том, как случайно встретил В. С. Мейерхольда около призывного пункта, как он обрадовался и спросил меня:

— Как вы сюда попали?

Я ответил:

— Вы мне лучше скажите, что мне делать? — И вкратце рассказал ему, что, спасаясь от белых, я на пароходе из Ялты ехал в Батум, а в Новороссийске всех лиц призывного возраста задержали.

Мейерхольд ответил:

— Идемте ко мне, я живу рядом, там все решим.

Я ему:

— Это же прямо как в сказке. Положение было такое до встречи с вами, что, увидя рядом канаву, я подумал: остается только лечь в нее и ждать — что-нибудь да должно случиться.

Этот эпизод Михаил Булгаков, очевидно, хорошо запомнил и очень оригинально пересказал по-своему.

Он писал: «Поэты бегут в разные стороны. Рюрик Ивнев из Грузии в Москву, говорит, в Москве лучше. Осип Мандельштам едет из Москвы в Грузию, говорит, на юге лучше». И наконец, самое главное, как он изобразил эпизод с Вс. Мейерхольдом: «Все сейчас ездят, и Рюрик Ивнев доездился до того, что лег в канаву и сказал — „что-нибудь да случится же“, — и действительно случилось. Кто-то подошел и накормил его обедом».

Я заметил еще в тот далекий 1919 год, что М. Булгаков держал себя как-то настороженно. Время было сложное, и всякое могло тогда случиться. Он много работал. Писал и лечил. Кроме «Мастера и Маргариты» им написано множество блестящих произведений, вошедших в золотой фонд не только русской, но и мировой литературы. Это один из немногих избранников, чьи книги не будут забыты, и каждый читатель находит в них что-то свое, а это явный признак огромного таланта.

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 1990 ГОД

Редакционная коллегия журнала «Нева» присудила премии за лучшие публикации в 1990 году:

ФЕДОРОВУ Евгению Борисовичу — за повесть «Жареный петух» (№ 9)

САГИЯНУ Амо — за цикл стихотворений (№ 10)

ТОПОРОВУ Виктору Леонидовичу — за публицистическую статью «После поражения» (№ 6)

КОРОБЦОВОЙ (КОНОНОВОЙ) Алле Викторовне — за искусствоведческие статьи: «„Рассея“ Бориса Григорьева» (№ 8) и «„Скульптуры Дмитрия Каминкера“» (№ 10)

Поздравляем наших лауреатов!

Сдано в набор 28.01.91. Подписано к печати 23.04.91. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 25,21 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 768.
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15